

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

3

НОВЫЙ  
МИР

2002

3



2002



# НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**В 2002 И В 2003 ГОДАХ  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Гимназист (повесть);  
МИХАИЛ АРДОВ. Книга о Шостаковиче;  
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);  
ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ. Другой художник (стихи);  
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);  
СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);  
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Самтредиа (маленькая повесть);  
МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;  
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);  
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Орфография (роман);  
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);  
МИХАИЛ ВИЗЕЛЬ. Литературные игры в Рунете;  
РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);  
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;  
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;  
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);  
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);  
ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);  
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);  
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);  
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Неадекватен;  
ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);  
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);  
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);  
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;  
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);

(См. на обороте)

**ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Перед вторым пришествием** (роман);  
**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы**;  
**ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Горизонт событий** (роман);  
**ЕЛЕНА ПУДОВКИНА. Собрание вод** (стихи);  
**ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Поэт и замарашка** (повесть);  
**ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы**;  
**ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник** (роман); **Призрак среди руин** (повествование в рассказах);  
**ВЯЧЕСЛАВ РЕПИН. Адреналин** (роман);  
**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек** (документальное повествование);  
**РОМАН СЕНЧИН. Нубук** (повесть);  
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период** (роман);  
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания**;  
**ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам** (параллели);  
**МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. «Отдай мое»** (повесть);  
**АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом** (роман);  
**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч** (повесть);  
**АНТОН УТКИН. Новый роман**;  
**СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Ура!** (повесть);  
**ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Питомник** (рассказ);  
**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Ангел мертвого озера** (роман);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА**, **АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА**, **АНДРЕЯ ВОЛОСА**, **ФАЗИЛИЯ ИСКАНДЕРА**, **АНАТОЛИЯ КИМА**, **МАРИНЫ ПАЛЕЙ**, **АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО**, стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК**, **СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ**, **БАХЫТА КЕНЖЕЕВА**, **ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА**, **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **СЕМЕНА ЛИПКИНА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ**, **ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ**, **ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА**; статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА**, **НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА**, **ЮРИЯ КАГРАМАНОВА**, **АЛЛЫ МАРЧЕНКО**, **ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО**, **МАРИИ РЕМИЗОВОЙ**, **ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА**, **ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2002 году: \$ 10,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 120.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.  
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организаций) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_





## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2002». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2002 года — 330 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

# НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 3 (923)

Март, 2002 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЬГА ПОСТНИКОВА — Седая полынь, стихи	7
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ — Диверсант. Назидательный роман для юношей и девушек	11
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Прячься в свою же тень, стихи	82
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Цю-юрихь, рассказ	86
ЛАРИСА МИЛЛЕР — Цветные мелки, стихи	103
АННА МАТВЕЕВА — Восьмая Марта. Повесть в диалогах	107
ВЛАДИМИР ЖИЛИН — Знатоки заката, стихи	119

### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Какое евразийство нам нужно	123
---	-----

### ПОЛЕМИКА

РЕВЕККА ФРУМКИНА — Люблю отчизну я, но странную любовью... Идеологический дискурс как объект научного исследования	139
---	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ — Мысль, разомкнувшая круг	146
--	-----

### ОПЫТЫ

ЛЮБОВЬ СУММ — Одиссей многообразный	152
-------------------------------------	-----

### МИР ИСКУССТВА

ЖАННА ГОЛЕНКО — Умирающий лебедь	163
ОЛЬГА НЕТУПСКАЯ — Драммы Лермонтова на современной сцене в свете романтизма и антиромантизма. Вступительное слово Б. Н. Любимова	168

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ — Обоснование счастья. О природе фэнтези и первооткрывателе жанра	174
--	-----

(См. на обороте)



## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Ольга Славникова. Запретный сад	186
Дмитрий Шеваров. Промельк неба на бедной земле	189
Виталий Каплан. Полеты над плоскостью	194
Татьяна Давыдова. «Чёрт советской литературы» в записях и заметках	196

---

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПАВЛА КРЮЧКОВА	199
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО	207
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	214
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	218

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

С. КУТАТЕЛАДЗЕ — Наш великий соотечественник	223
--	-----

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	224
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	226
SUMMARY	240

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА МАКАНИНА  
С 65-ЛЕТИЕМ!**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ДЕБЮТ»,  
УЧРЕЖДЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОНДОМ  
«ПОКОЛЕНИЕ»!**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АВТОРОВ  
РОМАНА СЕНЧИНА,  
ИЛЬЮ КОЧЕРГИНА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ЭВРИКА»,  
УЧРЕЖДЕННОЙ А. П. ПОТЕМКИНЫМ  
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРОЗАИКОВ И ДРАМАТУРГОВ!**

---

---

ОЛЬГА ПОСТНИКОВА

\*

СЕДАЯ ПОЛЫНЬ

Аптека

*Женщине, имени которой не знаю.*

Когда чернота подступает  
к набухшим глазам изнутри,  
И вычерпана душа,  
и за вид свой неловко,  
За эуфиллином иду я в аптеку  
на улицу Ферсмана, 3,  
Ищу за стеклянной стенкой  
склоненную пепельную головку.

Уже просветили рентгеном,  
диагноз означен,  
И кашлем уже возмущались  
мои соседи.  
Спасибо, что так несвирепо глядишь,  
что облик прозрачен.  
Не верится даже,  
что вдруг дождалась милосердья.

Стыдишься, назвав  
эти учетверенные цены,  
Но в исповедальне,  
где воздух от брома горчит,  
не сапфир от хандры,  
не десятивековый бальзам Авиценны,  
не крапиву сухую,  
хоть сердце кровоточит, —

О, дай мне лекарства  
от злобы, от нечистоты,  
Когда панельные башни  
во взгляде моем колеблемы.  
И как алкоголик просит  
настойку календулы,  
Прошу доброты,  
и всегда исцеляешь ты.

---

Постникова Ольга Николаевна родилась в 1943 году. Окончила Московский институт тонкой химической технологии. Инженер-реставратор высшей категории. Стихи печатались в альманахе «День поэзии», журналах «Новый мир», «Знамя», «Согласие», «Дружба народов». Автор нескольких лирических сборников. В 1994 году удостоена литературной стипендии Фонда А. Тёпфера (Германия). Живет в Москве.



\* \*  
\*

В этом прямоугольном закате  
Ты, наверно, забыл обо мне.  
А на географической карте  
Караваны идут по стене.

Эта карта старинной печати,  
У верблюдов кривые горбы,  
И в печали бумажной клетчатки —  
Две-три надписи, пункты судьбы.

И кровавыми креслами Фалька  
Освещается бледность простынь,  
Только ласковость скользкого талька,  
Невесомая хрупкость пластин.

Мы простились, а это фрагменты  
Наших скорых случайных жилищ,  
Диафильма детского лентя,  
Где, смеясь, после жизни лежишь.

Что же ты умираешь вторично?  
Я однажды уже прожила  
Это таинство смерти публичной,  
Эти предгробовые дела.

Надо так уходить монотонно,  
Надо так планомерно стареть,  
Чтоб из памяти магнитофона  
Даже голос любимый стереть.

### Возвращения

*С. М. Олиновой.*

Как Вацлав Нижинский в высоком прыжке,  
Антично фиксируя тело,  
Летит трясогузка к песчаной реке,  
Мерцающая то черно, то бело.

Мне каждый художник оставил свой дар.  
А этот рассвет как подкрашенный пар  
Азийских картин Кузнецова.  
И влита в тоску разлучаемых пар  
Застенчивость овчего зова.

И древние правды страшнее стократ  
И Богом Единым бездонны,  
Когда они собраны в имя Сократ  
Над сизым цветком белладонны.

И даже в лечебнице разум пленен  
Виденьями давнего века:  
Печати крахмальных печальных пелен  
И жесткие ткани Эль Греко.

И это уже никогда не пройдет.  
 Все травы любя поименно,  
 Увижу: опять земляника цветет —  
 И вспомню платок Дездемоны.

### Луна

О, полнолуния мучительное время!  
 И светом сдавлено чувствительное темя.  
 И бледным янтарем ты в облаках сонливых,  
 Прибежище самоубийц счастливых,  
 Хранилище судеб давно забытых  
 И не допущенных навеки в Божью свиту  
 Всех зачатых детей, но не рожденных,  
 Тех неполюбленных, тех некрещеных,  
 Тех безымянных, что златой лактозой сыты,  
 Тех, похотью и болью оскверненных,  
 Почти невидимых в лучах твоих зеленых.

\* \*  
 \*

Родства запоздалый помин  
 Мне горечью к сердцу прихлынет:  
 Как много в России полыни,  
 Седая до сини полынь.

Фамилию деда храня,  
 Была крещена половодьем,  
 Осталась поповским отродьем,  
 Как звали соседки меня.

Темнеет лицо до бровей,  
 В минуту сжимаются годы,  
 Когда я вступаю под своды  
 Поруганных этих церквей.

Но там, где без часу и дня  
 Прошу о последнем покое,  
 Как будто родною рукою  
 Он крестит и крестит меня.

\* \*  
 \*

Тварный мир, ты меня не оставил,  
 Ты измучил меня, но простил,  
 Гудом овода жадно восславил  
 Да кислятиной терна прельстил.

Не заметив гордыни капризной,  
 Отрицанье мое осмеяв,  
 Наградил предвечерней отчизной —  
 В треске трактора, в стрекоте трав.



Так доступно мне было небытье,  
Так известен запястья узор  
(Новой линии тщетно открытье),  
Но, хуленье простив и укор,

Смертным лезвием дерзко натешив,  
Ты отринуть меня не хотел,  
Дал кипрея пурпурных наверхий,  
Подзаборный дарил чистотел.

Избывая свое плодородье  
В очуменье железных путей,  
Ты призвал меня к вечной свободе,  
К дожданью высоких вестей.

Обойми меня, травленный смогом,  
Черных домен бескупольный дом,  
Дай мне выжить под небом, под Богом,  
Как надеждой, поденным трудом.



---

---

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ



## ДИВЕРСАНТ

*Назидательный роман для юношей и девушек*

1

*Наш герой, влюбленный патриот и враль, рвется на фронт. — Прощание с Этери. — Первое звучание «мананы». — Жуликоватый незнакомец по имени Алеша подружится с ним. — Оба, с трудом вернется, станут диверсантами высочайшего класса! — Даешь Берлин!*

**28** августа 1941 года мне исполнилось (как я уверил себя) шестнадцать лет, войне же было два месяца с неделей, войска наши отступали, показывая немцам спину, войска ждали человека, который остановит их, повернет лицом к подлому захватчику и обратит его в бегство. Таким человеком мог быть только я, Леонид Филатов, для чего и отправился в военкомат.

К этому дню, началу моей личной войны с Гитлером, я готовился пять лет. В Сталинграде должны помнить мальчика, бегавшего наперегонки с трамваем: так я воспитывал в себе выносливость, столь нужную защитникам республиканской Испании. Потом мы переехали в Грузию, и мне выпал редкий шанс: мать учила русскому языку местных школьников, а сыну ее разрешали прыгать через класс, вот почему я так быстро кончил среднюю школу. Как ни любили в районе мать, никто не решался отправить меня на фронт: непризывной год! Напрасны были справки о первом месте на спартакиаде, о парашютных прыжках, о готовности с оружием защищать Родину. Но я наседал, умолял, требовал, и, чтоб отвязаться от меня, военкоматский майор пообещал: вот когда исполнится шестнадцать, тогда и...

И в день, назначенный майором, я покинул дом, бежал, оставив матери краткое послание, твердо указав, что вернусь победителем через год, если не раньше. Мать заседала где-то (наступал новый учебный год!), я смело полез в шкаф и надел единственный взрослый костюм, чтоб молодецом предстать перед майором, прикрутил и прицепил к лацканам нагрудные значки, и если что меня отягощало, так это — расставание с Этери, одноклассницей, которую я любил и которая любила меня, поклявшись до гроба хранить верность. Жили мы в райцентре, учительский дом часто навещался учениками, и мы решили, что Этери придет ко мне, благословит на ратные подвиги, и никто не узнает о нашем первом поцелуе. Время шло, я смотрел и смотрел в окно, а Этери все не было и не было. Сердце мое сжималось в тоске.

---

Азольский Анатолий Алексеевич родился в 1930 году. Закончил Высшее военно-морское училище. Автор романов «Степан Сергич», «Затяжной выстрел», «Кровь», «Лопушок», «Монахи», многих повестей и рассказов. В 1997 году удостоен премии Букер за опубликованный в «Новом мире» роман «Клетка». Живет в Москве.

Журнальный вариант. Полностью роман публикуется издательством «Грантъ».



Да, сжималось и скорбело. Но я уже чувствовал в себе невесомость листочка, который вот-вот сорвется с ветки ураганом, бушевавший над страной, над миром, и ветка легко расстанется с едва распустившимся плоским клейким побегом.

Окинув стены прощальным взглядом, я выбрался из дома и отправился на войну без напутствия любимой, догадываясь уже, что мать Этери воспротивилась прощанию. Губы мои шептали имя тоненькой девушки, которая была старше меня на два года, и если кто и удерживало меня от слез, так это радость оттого, что наконец-то я иду защищать Отечество. Иду — высмеянный матерью, которая в запальчивости как-то сказала, что я — недоразвит, глуповат и вообще родился недоношенным.

До Зугдиди — три часа езды на арбе или тридцать минут на полуторке. Едва я приблизился к мостику через давно высохшую речку, как услышал звавший меня голос Этери, и мне стало мучительно нежно, сладостно, ноги мои подкосились. Я увидел Этери, выбежавшую из-под дырявого настила. Ручонки же ее сжимали флейту. Семья Этери славилась музыкальностью, порою приглашали и меня в свой оркестр, ни флейты, ни скрипки не доверяли, но я освоил маленькую гармошку, научился играть на зурне и семейный квинтет не портил.

Мы обнялись. Мы плакали. Впервые ощутил я губами гладь неродного женского тела, я прикоснулся к векам Этери и к ее ушкам. Я почувствовал свой вкус винограда, когда наши губы сблизились, нарушая все запреты Этериной мамы. Рыдающая любимая сказала, что будет ждать меня до победного нового года и поэтому никуда из села не уедет, в институт не поступит, в техникум тоже, всю осень будет она помогать дяде Гиви собирать чай. Потом она отстранилась, и флейта исполнила песню, которую мы любили. Это была «манана», местная, как уверяла Этери, мелодия, из века в век передаваемая и сохраняемая, но я, всегда всем увлекавшийся, музыкой тоже, слышал в народном напеве этом нечто европейское, поэтому и мне, русскому, так легло на ухо эта грузинская песня.

Запылившаяся дорога (приближался грузовик) укоротила наше прощание, Этери нырнула под мостик... Обрывая все связи с прошлым, я на ходу вскочил в грузовик и выпрыгнул из него на окраине Зугдиди. Две лепешки, ломоть сыра и пачка убедительных бумаг лежали в узелке, расчищая мне дорогу на фронт. Я шел к светлому будущему, к победе, стремясь попасть в военкомат до того, как всеильный майор закроется в кабинете на обед. Присев на минутку перед штурмом цитадели, я вдруг обнаружил рядом с собою, на скамейке, красноармейца без пилотки, парнишку чуть постарше моих лет, который проявил ко мне истинно мужское внимание, предложил закурить, получил отказ, но ничуть не обиделся и дружески похлопал меня по плечу. «Иду на фронт!» — не без гордости сообщил я, и красноармеец понятиливо кивнул так, будто речь шла о посадке на поезд в Тбилиси. «Алеша», — назвал он себя, протянув узенькую, но очень крепкую ладонь. «Из госпиталя», — добавил он, и я с уважением глянул на розовеющий шрам от уха к темени, начинавший прикрываться светлыми волосиками. Стираное-перестираное обмундирование на парнишке давно потеряло благородный зеленый цвет, на ногах — великанские ботинки, лихо закрученные обмотки были из едва ли не простынного материала. Да, вот он — истинный воин Красной Армии, получивший ранение в смертельной схватке с подлыми захватчиками. И — развязность, естественная для человека, состоявшего при большом, трудном и опасном деле. «Куда спешить-то... — остудил красноармеец мой пыл, когда я попытался встать. — Никуда от тебя военкомат не убежит, везде заварушка с этими новобранцами, но ты-то ведь — добровольец...» С еще большим пренебрежением отнесся он к моим опасениям насчет скорого, до появления меня на фронте, полного разгрома врага и окончания войны. «Да оставят специально для тебя парочку немцев, — пообещал он. — Убьешь их и вер-

нешься к мамаше. К ноябрьским праздникам не управишься, но уж ко Дню конституции — запросто...»

Так произошла наша встреча. Знать бы, какое петляние событий последует за этим знакомством, предвидеть бы неотвратимые итоги — и я в панике дал бы деру, сиганул бы в переулок, чтоб побежать к матери, заседавшей то ли в исполкоме, то ли в роно, спрятаться за нею, чтоб глаза мои не видели майора! Знать бы да ведать — да кто ж знает и ведает? И Алеша, загляни он в будущее, поерзал бы, наверное, на скамейке да потопал бы на базар, где всегда есть чем разжиться, словом не обмолвившись с глупеньким школяром.

Оно и произошло бы так, не развяжись мой хвастливый язык. Ни с того ни с сего я стал врать, шепотом сказал бывалому пареньку-красноармейцу, что не просто на фронт еду я, а отправляюсь в специальную школу, после чего буду заброшен в тыл отступающего врага, стану взрывать мосты, поджигать склады с горючим и пускать под откос поезда, то есть делать все то, о чем просил Иосиф Виссарионович Сталин, когда 3 июля обращался к народу.

— Пускать под откос поезда... — задумчиво промолвил юный красноармеец, вслушиваясь в каждое слово свое. — Взрывать мосты... Поджигать... А ведь это очень опасно! — предостерег он меня и быстренько сунул руку в карман, откуда достал пилотку, а вслед за нею и пачку «Казбека»; дорогие папиросы эти явно не соответствовали облянявшим до рыжевато-сти брюкам и гимнастерке. Красноармеец острым, как лезвие, ногтем полоснул по оклейке коробки, раскрыл ее, извлек папиросу, поразил меня красивейшей зажигалкою в форме маузера калибра 6,35 (в оружии я разбирался), закурил и завел пустяковый разговор о девушках и танцах, о здешней мирной жизни, о родителях моих; проявлял скромное любопытство, вдохновляя меня на подробности уважительными интонациями, округляя в восхищении глаза. Я все более проникался его интересом ко мне и без утайки рассказал об отце, умершем три года назад, о матери, преподававшей в Сталинграде немецкий язык, а здесь — русский, о моих достижениях в спорте и о неукротимом желании повернуть ход войны вспять, гнать немцев до Берлина. Лишь об Этери умолчал я, святое имя так и не слетело с моих губ...

Красноармеец Алеша услышанным не удовлетворился. Развязав мой узелок и понюхав сыр, он принялся изучать мое школьное свидетельство, комсомольскую характеристику, многочисленные удостоверения к нагрудным значкам за умение стрелять, бегать, работать ключом на коротковолновых станциях, прыгать, плавать и взбираться на кручи. Особое внимание уделил он Почетной грамоте «За отличную стрельбу тремя патронами», сообщив невероятное: ни единого патрона к винтовке он на фронте не получил; правда, добавлено было им, в казенной части винтовки зияла просверленная дыра. Прочитал он справку и о том, что мною окончены радиокурсы, а бумажкой этой я очень гордился, она, по моему мнению, открывала мне досрочный путь в армию, как, впрочем, и пять значков на пиджаке. Особое внимание уделил он моему пропуску — с фотографией — в радиотехнический кружок при техникуме. Зато журнал «Радиофронт» не удостоился его пытливого внимания, хотя там на странице 16-й излагалась суть моей переписки с редакцией. Правда, фамилия моя (Филатов) подменилась сокращением «читатель Ф — ов».

Все узнал он обо мне и о людях, меня окружавших. Не только фамилии, но и прозвища учителей стали ему известны. Допытался он и до того, что нагрудный значок парашютиста получен мною не совсем праведным путем, потому что прыгал я всего-то — с вышки в городском парке. Проверил красноармеец и мой немецкий язык, высоко оценив не только его: он заявил, что немцы, попади я к ним в плен, ни под какими пытками не вытащат из меня военную тайну.

— При отсутствии у них переводчика, — добавил он. А затем поднял на меня глаза и со вздохом промолвил: — Да тебе сиднем сидеть бы еще в детском саду... Шестнадцать лет, говоришь?.. Пятнадцать, — угадал он. — Если не меньше.

Я густо покраснел — так густо, что ушам стало жарко. Он прав был, красноармеец Алеша: в выкраденном мною девственном школьном свидетельстве датой рождения поставлен был август 1926 года, а если присмотреться к метрике, то следы подчистки обнаружались бы. Я, сам того не подозревая, проявил черты будущего политического деятеля государственного масштаба, ибо совершенно искренно полагал: чем нравственно выше и благороднее цель (защита Отечества), тем допустимее обманы, мелкие подлости и вообще нарушения всего и вся (в том числе и желания защищать Отчизну).

— Но, — задумчиво продолжал Алеша, — если б тебе настучало девятнадцать и ты уклонялся от призыва, то был бы разоблачен немедленно. А как ты есть непризывной и лезешь сдуру добровольцем, то никто не всмотрится в цифры...

Он долго вглядывался в меня, еще раз густо покрасневшего. Видимо, красноармеец Алеша гадал: что я еще напортачил?

— Небось авантюрной литературы подначитался, а? Как же, как же... «Пятнадцатилетний капитан» — это не про тебя?

Перебрав все документы в узелке и завязав его, паренек в красноармейской форме погрузился в долгое раздумье, и предметом его дум не мог не быть я. Паренек думал сосредоточенно, и было приятно сидеть рядом с ним, думающим. Такое же чувство приятности испытывал я в Сталинграде, когда часами смотрел на отца, что-то писавшего в своем кабинете.

Напряженная работа мысли дала наконец плоды, красноармеец пощупал борт еще отцу купленного костюма, глянул на мои скороходовские ботинки и насмешливо произнес:

— Хорош матерьяльчик... Ишь вырядился... Никак, на первомайскую демонстрацию. Сколько, по-твоему, дней добираться до этих спецкурсов? — спросил он так, что я понял: не одни сутки придется ехать.

Никаких спецкурсов, напомним, майор мне не обещал. Отражая однажды мой очередной наскок, он выразился туманно: отправлю тебя, мол, на какие-нибудь курсы допризывной подготовки.

— Да и жратвы у тебя нет на дорогу, — съязвил красноармеец. — На ужин едва хватит. Или ты думаешь получить сухой паек?

Продолжая и развивая тему, он подвел меня к решению: костюм и ботинки надо продать! А на вырученные деньги купить одежонку попроще, носить-то ее — неделю, не больше, на курсах выдадут все новое, армейское. Да еды кое-какой прихватить на дорогу, не ходить же по вагонам с протянутой рукой.

— Ну, а в Берлине, — утешил он меня, — я тебе достану костюм лучше, обещаю. Мы Берлин разграбим! У меня, — прибавил он с улыбкой, показавшейся мне зловещей, — свои счета с этим городом.

Получив мое согласие на куплю-продажу, он бодро поднялся.

— За мной! — скомандовал он, напяливая на голову пилотку. — Вперед!

Минувя калитку, мы перелезли в чей-то сад, одолели два заборчика и оказались в пустой квартире пустого дома, здесь я снял значки с пиджака и зажал их в кулаке. Раздетый до трусов и майки, сидел я на единственном стуле в комнате, ожидая красноармейца Алешу. Время шло, солнце перемещалось по небу, сдвигая тени, где-то рядом плакал ребенок, невдалеке шумел базар, где все покупалось и все продавалось, но откуда почему-то не возвращался мой приятель. Хотелось кушать, я развязал узелок и увидел, что моих документов — нет! Ни метрики, ни свидетельства, ни удостоверений к значкам, ни характеристик, ни почетных грамот за первые места на соревнованиях.

Страшное подозрение вошло в меня: я ограблен! Меня облапошил обычный базарный жулик, каких полно в Зугдиди! Кончено с армией, фронт отдалился, и не немецкий эшелон пошел под откос, а вся жизнь моя, потому что кому я нужен без документов, ни один военкомат меня не возьмет, и Этери отвернется, когда я вернусь домой сегодня вечером.

Беда, настоящая беда! Самое время вспомнить, что мать и многие — здесь и в Сталинграде — считали меня глупеньким, я частенько ловил на себе соблезнующие взгляды друзей дома и товарищей по школе, хотя учился не хуже их...

Я заметался по комнате, будто вокруг меня — пылающие стены. И — замер. Застыл от неожиданной мысли, водой окатившей меня. Я понял, что все происходящее — закономерно, идет по правилам жизни, потому что документы мои должны были пропасть! Обязательно! Ибо у гасконца д'Артаньяна, едущего в Париж, пропало ведь рекомендательное письмо к господину де Тревилю, который в те времена исполнял обязанности военкома! И у меня своровали рекомендательные письма к зугдидскому де Тревилю!

Вдруг как из-под земли появился Алеша. На его лице была написана уверенность в том, что еще до захода солнца мы будем в рядах сражающейся Красной Армии. Он переоделся, он приобрел где-то вполне справное обмундирование, зеленое, не стираное, не штопаное и не прожаренное, кирзовые сапоги заменили ботинки и обмотки, на пилотке алела настоящая красная звезда, на мою долю достались рубашка и брюки, снятые, без сомнения, с хилого четырнадцатилетнего пацана, и я поэтому выглядел переростком, юношей вполне призывного возраста. Продемонстрировал Алеша и вещмешок с едой, часть ее мы съели и быстрым шагом направились в военкомат. Перед входом в него было произнесено следующее:

— Слушай, смотри, учись и молчи!

В военкомате царил обычная для начала войны и уже знакомая мне неразбериха, многоголосый шум забивал уши, навзрыд плакали женщины во дворе, а в коридорах толпилось несметное количество суетящихся людей, одетых кто во что горазд.

Никто ничего не знал и никто никого не слушал. Взяв меня за руку, Алеша ринулся в самую гущу, протаранил толпу у кабинета военкома, пробил саму дверь, отшвырнул меня в угол и атаковал майора, защищаемого другими командирами и политруками. Он умел звонко, четко, по-военному говорить, вытягиваться в струнку и тупо смотреть. Он всем говорил о себе, но демонстрировал почему-то мои документы. Он превозносил и меня, суя недоверчивым свою справку о ранении. Веером раскладывал он на столе почетные грамоты из моего узелка, заодно демонстрируя значки, которые он успел приделать к своей новенькой гимнастерке. Он же заодно мою фотографию на пропуске подменил своею.

Разинув рот и хлопая глазами, смотрел я и слушал, чтоб научиться, но так ничего и не понял: уж очень необразованным был я! Лишь года через полтора понял я, как преотлично орудовал Алеша, объегоривая военкоматских командиров. Великая держава, занимавшая одну шестую часть земной суши, втянула себя в очередную катастрофу и выбиралась из нее увеличением числа людей под ружьем. В валовом, так сказать, исчислении военкомат мог выполнить план, по этому показателю — контингенту людей с винтовками — российское государство прочно занимало первое место в мире, но со штучным же набором испытывались трудности, и быть того не могло, чтоб Москва не взывала панически, требуя особых людей для спецшкол, а таковые парни в зугдидских селениях не водились. Разнарядка же пришла, запрос был, требование на спецконтингент имелось, и оно нашлось в сейфе. Неумолимый майор сдался, машинистка отстучала на официальной бумаге текст, удовлетворивший Алешу: два человека (два!) с прекрасными анкетными данными направлялись в распоряжение сталинградских оперативно-учебных спецкурсов, и Алеша, по которому тюрь-



ма плакала, прикрывался безупречными документами Филатова Леонида Михайловича, то есть моими.

Я стал щитом его, за моей спиной он прятался, чтоб выскочить из-за нее и вонзиться в того, кто поднимал на нас меч. Больших и скрытых возможностей был красноармеец Алеша, и, заговаривая майору зубы, он отнюдь не преувеличивал свои достоинства. Он скорее преуменьшал их. Он, например, свободно говорил по-немецки. Конечно, половину того, что наплел он майору, нельзя было проверить, но военкоматское начальство рассуждало здраво: стоит ли проверять тех, кого проверят еще не раз в спецшколе? Как выяснилось позднее, руководство спецшколы мыслило в том же стиле: надо ли проверять тех, кто уже неоднократно проверен?

Еще при скамеечном знакомстве Алеша назвал свою фамилию, но так невнятно проговорил ее, что не разберешь: Обриков? Добриков? Ховриков? «Бобриков», — прочитал я на врученной нам бумаге.

Алексей Петрович Бобриков, запомните это!

Майор проводил нас до крылечка. Он пристроил к войне путавшегося под ногами недоросля, для верности определив к нему опекуном обстрелянного воина. Пятидесятилетний служака, не раз на дню слушавший сводки Совинформбюро, выдал нам воинские требования на проезд в бесплацкартном вагоне (теплушке) и благословил нас на ратные подвиги.

— Вы, ребята, того... в ящик не гикайтесь...

Вечная слава тебе, орденоносец и трудяга, хлебнувший лиха и в Гражданскую, и на финской. Да святится имя твое, приводить которое не стоит. И все прочие имена собственные и разные наименования будут даны в беллетризованном искажении, в стыдливо-грусливой подмене.

И мы поехали. Оглушенный шумами новой жизни, я напрасно искал в себе мелодию «мананы», она заглохла на многие месяцы. Я отгонял от себя мысль о матери, которая страдает сейчас, читая мое жалкое послание. Я думал об Этери, о вкусе раздавленной губами виноградины. Но не только о ней: я смутно догадывался о том, какой важности для себя решение принимал Алеша Бобриков, когда, сидя на скамеечке рядом с глуповатым малолеткою, то есть со мною, высмотрел в чаше жизни, вдруг ставшей военной, спасительную для себя тропу. Поразительно, с какой легкомысленностью поверил он придурковатому хвостуну и наивному гордецу; не исключено, что, поварившись в госпитальном котле, он унюхал там запах деликатеса, весть об иной, не окопной судьбине, а может быть, и сам здраво рассудил, что такие курсы должны существовать и другого пути, как на такие курсы попасть, ко мне примазавшись, у него нет, потому что к моменту встречи с зугдидским школяром все его двоюродные и троюродные братья и сестры были уже арестованы и умирали в лагерях, та же судьба постигла отца, мать, дядю и тетю. Лишь позже сорвавшийся в бега Алеша узнал случайно и достоверно, что мать покончила с собой в тюрьме. Отца его не расстреляли, что в некотором смысле почетно, не убили, а — забили палками на лагпункте, о чем Алеше рассказали сами палочники. Встреча с сосунком и нефальшивыми документами выталькивала Алешу из эшелонно-окопной колеи на путаные стежки-дорожки; ему, много лет жившему под чужими фамилиями, представлялась редкостная возможность легитимизироваться, как бы воскреснуть, он ведь назвался Бобриковым, когда его в июне 1941-го забривали на Украине под грохот немецкой артиллерии. Восстать из пепла — вот что задумал он! А значило это для него чрезвычайно много: он был последним в дворянском роду и обязан был оставить истории документальную повесть о себе. В коловерти войны, в судорогах и суматохе, в месиве людей — только здесь и только в это время можно было придумать себе новую биографию и прилепить ее к настоящей фамилии, которой уже перевалило за триста лет.

Спецкурсы ему сам бог послал. Они вытаскивали его из окопов, где он был одним из многих, где не находилось применения его многообразным способностям.

— Путь к Берлину лежит через Сталинград! — браво сказал Алеша, когда в Ростове мы пересаживались на сталинградский поезд.

Что оказалось верным для всей страны, стало справедливым и для нас.

Удивительные, невероятные приключения выпали на нашу долю, уже на втором году войны я не завидовал более Джиму Хокинсу из «Острова сокровищ», а книгу эту я любил пламенно. Мы повидали потом злодеев много пострашнее старого пирата Сильвера. Мы и в Берлин вошли — правда, уже после капитуляции его. На стене рейхстага мы не расписывались. Алеша не врал, у него были свои счеты со столицей Германии. Неделю жили мы в роскошной квартире на Ляйпцигерштрассе, 10, из окон ее хорошо обозревалось Министерство авиации, принадлежала же квартира сбежавшей оперной певице, а прислуживали нам две хористки, какой месяц уже прозябавшие без работы по приказу Геббельса, запретившего театральные увеселения. От голода и страха были они так воздушно-легки, что танцевали на белом рояле. Обе причем ходили нагишом, обе уверяли нас, что за тринадцать лет нацизма и запретов они перестали ощущать себя свободными немками, а сейчас — как бы восстанавливаются, реабилитируются... Одной из них я подарил маузер, то есть зажигалку Алеши, что его обидело.

## 2

*Вихри враждебные веют над ними. — Алеша учит молокососа Леню жить, показывая дурные примеры. — С цыганенка сдирают кожу. — Их Сталинградская битва. — Великий путь по Волге. — Освоение коровника*

Смерчи, тайфуны, торнадо, грозы, кипящие желтыми молниями, — нет, ничего подобного я в небе не видел, но землю как бы искорежили потрясавшие мир звездно-планетарные явления. Я был так напуган, что до Ростова не слезал с верхней полки, опасаясь злодея, что железным крюком вытянет меня в окно.

Направление воздушных потоков, якобы сметавших с лика Земли все живое и неживое, определить было невозможно, и если, понятно, воинские эшелоны везли наскоро одетых и обутых людей на запад, а восток людей манил остаточной тишиной мирного времени, то что гнало семьи в Крым или Донбасс — никому не ведано, странно, таинственно. Весь мир, кажется, был взбаламучен, пернатые, хвостатые и четверногие метались по все сжимающейся поверхности планеты, ничего не понимая и своими стонами, лаем, клекотами спрашивая у людей: да что же это с вами происходит? Год спустя я имел беседу с волком, на которого натолкнулся, когда — с рацией на спине — километров на двадцать уходил от группы для передачи очень длинного текста. Присел — и увидел серого хищника, который, ничуть не напуганный, придиричиво наблюдал, как растягиваю я антенну и забрасываю ее повыше и подальше. Наблюдательный и чуткий, он не делал ни шагу ко мне, но им же отмеренным расстоянием давал понять: ближе — нельзя. Исстрадавшиеся глаза его спрашивали: да что же это с вами, людьми, происходит, почему растревожен лес? Возможно, много веков назад пращи и палицы двуногих заставили волков подойти к людям и почувствовать радость оттого, что рука человеческая легла на их загривок.

В ту пору на железных дорогах творилось то же, что и во всех военкоматах, где кто рвался на фронт, а кто заполучал отсрочку от призыва, намереваясь отсидеться в тылу. Тысячи людей набивались в вагоны и ехали на запад, сталкиваясь с убежавшими на восток. Не очень дружелюбно встречали тех и других жители взбаламученных войною городов.

Без Алеши я бы не добрался до Сталинграда. Напористый и хитрый, он в совершенстве знал станционное хозяйство Юга и Востока, подцеплялся к любому эшелону, втискивался в самый удобный вагон, не доверяя всемогуществу документа, подписанного майором. Найти в скопище людей земляка или родственника — это он умел, закадычные друзья поили нас и кормили, ни минуты не сомневаясь в том, что с Алешей они когда-то провели приятные часы. С украденным котелком бегал я на котлопункты за кашей, великорусский мат, восточная божба и грузинский лай окружали меня, и ни разу меня не турнули, не прищучили и не обшмонали, как выражался Алеша. На моем лице, сказал он, написана полная благонадежность и вера в скорую победу.

Вера эта сильно поколебалась в Ростове, и вовсе не потому, что мимо нас промчались, испуская дурной дух, сразу десять санитарных поездов. Я стал свидетелем необыкновенного явления, на моих глазах произошло омовение черного цыганенка. Его, голого, мать подтянула к бурной и мощной струе водопроводной колонки, подставила под нее и визжащее смуглое тело натирала песком, потому что мыла — догадался я — на третьем месяце войны в стране уже не было, что уж тут говорить о снарядах, патронах и винтовках.

О, как он орал, как извивался этот полюбившийся мне мальчишечка, над которым впервые проводилась водно-песочная экзекуция! Как страдал он!

Десять дней прорывались мы к Сталинграду. Знакомый город удивил меня тишиной и мирным житьем-бытьем. Алеша мог бы найти и здесь подзабытую родню, однако доверился мне. Прямо от вокзала по Рабочекрестьянской улице пошли мы к станции Сталинград-2, невдалеке от которой жили старые друзья отца. Они и дали нам ночевку. Алеша строго предупредил меня: о спецшколе — ни слова! Утром он смотался куда-то, наказав сидеть и ждать, вернулся к вечеру, чрезвычайно озабоченный. Мы простились и ушли в ночь, спрятав меня Алеша на речном вокзале, сам отправился на разведку, новости принес тревожные. Спецкурсы приступили к эвакуации, так никого и не обучив. Погрузка через час, начальник — зверь, берет только годных и нужных, отсеб большой, надо поэтому идти в атаку, не заботясь о тылах.

На пароходик еще не начали сносить ящики и мешки, а мы уже были на нем, прокравшись мимо сонного часового. В носовом кубрике Алеша нашел земляка, из-под Пскова на этот раз, и тот разрешил нам вздремнуть. Но мы не спали. Мы видели, как парни и девушки, еще не одетые в гимнастерки, таскали на себе имущество курсов, и сходня прогибалась под тяжестью их. Белый пар окутал трубу, гнусаво проскрипел гудок. Судно, перегруженное людьми и ящиками, выбралось на середину Волги и поплыло в сторону Горького. Только тогда предстали мы перед начальником курсов. «Забрали в военкомате!» — отвечивал я, когда у меня спросили паспорт (метрику я припрятал). Школьные документы убедили начальника, что мне, бывшему десятикласснику, по крайней мере семнадцать лет. «Восемнадцать!» — было решение начальника: избавиться от нас он уже никак не мог, не выбрасывать же за борт парней, у которых на руках направления из военкомата.

Восемь дней и ночей плыли мы по великой русской реке. Немцы за это время вышли к Ленинграду, охватили Киев, продвинулись к Вязьме, отсекли Крым. Ноги не держали меня на палубе, хотелось прыгнуть в воду, доплыть до берега и бежать впереди по-черепашьи чапающего парохода. Никто, к моему удивлению, такого желания не испытал. Очень серьезных, степенных и медлительных людей набрали учить диверсантскому делу, где нужна быстрота, отвага, прыгучесть. Все спали, ели и читали. Кто-то, правда, подал мысль: а не заняться ли теорией? Всех торопящихся одернул начальник: никто не должен знать, кто мы и что находится в заколоченных ящиках!

Эти ящики мы сгрузили в Горьком, машины привезли нас в городишко на границе двух областей. Там было много церквей, два кинотеатра и базар, лес подступал к окраинам этого мирного поселения, а за лесом раскинулись совхозные поля. В недавно отстроенной начальной школе расположилось начальство. Распаковали имущество, в секретных ящиках лежали столярные и плотницкие инструменты. Мы разобрали их и набросились на коровник, который через сутки превратился в казарму. Нас построили: пятьдесят три человека в строю, Алеша был не единственным красноармейцем; уже в Горьком к нам прикрепили бойцов, отозванных с фронта. Будущие учителя наши и наставники сделали перекличку, посоветовались и разбили нас на группы, красноармейцы, ранее принявшие присягу, стали помкомвзводами и приколоты к петличкам треугольники. Хотели было по группам-взводам расселить нас в перестроенном коровнике, но оказалось, девушки (их было девять) требуют особого ухода и специального помещения. Вновь застучали топоры, деля уже раскроенный на комнаты коровник и разгораживая уборную. Умывальники решено было оставить общими.

19 сентября я принял присягу. В этот день немцы взяли Киев, было очень горько. Зачитали приказ о зачислении всех на курсы. Стало известно, что относимся мы к какому-то разведуправлению при Генштабе, но именоваться будем «школой пожарников».

За те недели, пока Этери наигрывала мне «манану», я похудел на два с половиною килограмма и, волею начальства, повзрослел на два, то есть на три года, став восемнадцатилетним, что и отмечено было в моих документах. Оправдывая щедрость руководства, я старался быть старше своих настоящих лет, но так и не научился пить и курить.

## 3

*Прыжки, бег, стрельба, морзянка — мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь... — Предательство Алеши. — Первое знакомство с женской плотью. — Д'Артаньян присматривается к маршальскому жезлу: Леонид Михайлович Филатов — уже младший сержант*

Жадно и пылко набросился я на учебу, радуя наставников. Я метался между ними, не зная, кому отдать предпочтение и чему посвятить свободные от занятий часы. Одно время я увлекся минами, освоил несколько типов, проник, мне казалось, в таинства взрывателей всех конструкций, но истинное наслаждение получил я от прыжков с парашютом, радость доставлял сам процесс раскладки его на брезенте, я любовно прощупывал каждую стропу и зорко следил за помогающим мне напарником. «Р-5» и «У-2» — с них падали вниз, я полюбил эти верткие самолетики. Приходилось прыгать с парашютами разных типов: ПД-41, ПД-6. Приземление скоротечное, прыгали, не защелкивая карабина на тросике, да я еще гордо отказался от приспособления, которое инструктор называл *соской* и которое так подвязывало правую руку к вытяжному кольцу, что оно выдергивалось как бы само собой. «У меня три прыжка!» — напомнил я в запальчивом гневе, на что выпускающий инструктор заметил добродушно: «Там разберемся...» Провалившись в бездонную свободу, выгнув спину, падал я, ощущая власть над собою, небом и черными людишками на заснеженном поле, над общей площадкой приземления. Птицею, пикирующей на врага, летел я к цели, а потом стал добычею когтей парашютных строп. Приближалась земля, отдаляя сладостный миг, пережитый минутами раньше, когда ни под ногами, ни в руке не ощущалась опора. Свистящий ветер напел мне «манану», и последним аккордом ее был удар земли о мои ноги. Восхищенный собою, я не стал ссориться с инструктором и согласился с тем, что первый парашютный прыжок был совершен мною 25 октября 1941 года, о чем и была сделана запись. С полным правом носился теперь



на моей гимнастерке значок парашютиста. Некоторые мастера этого спорта прикрепляли к значку металлическую пластинку с цифрами — количеством прыжков, и я надеялся, что к концу войны у меня их будет «15», «20», а то и больше, до Берлина ведь — тысячи километров, десятки десантирований в тыл. Своими расчетами я поделился с инструктором по радио, и специалист по работе на ключе поставил передо мной задачу: стать непревзойденным радистом! В таких острая нужда. Треть всех радистов гибла сразу же после приземления или до него, треть неизвестно куда пропадала, едва успев отправить единственную шифровку. Остальные всего месяц-другой выходили на связь, чтоб затем умолкнуть навсегда. Признания инструктора только подстегнули меня, я весь отдался радиоделу и на тот случай, когда буду ранен, научился и левой рукой отбивать на ключе морзянку.

Бег я полюбил еще с детства, я занимался им и в Сталинграде, и после него. За три недели скитаний по железным и водным дорогам страны тело мое изныло от желания ускоренно передвигаться и усиленно дышать. Вставал я на курсах за сорок минут до подъема и к началу общей физзарядки (от нее меня освободили) трижды обегал — под дождем, снегом или солнцем — лесок. Насыщенный кислородом и мечтами воздух прокачивался через легкие, свежая кровь промывала организм, я бежал как бы впереди себя, и каждый пружинящий шаг сбрасывал с меня беды и скверны минувших суток. Временами чудилась «манана» и гнусавая просьба флейты не забывать селение, которое защищало уже двенадцать мужчин, и я в том славном числе. В день присяги я написал матери и Этери, ответ пришел не сразу. Мною гордились, в один голос мать и Этери сообщали мне о дяде Гиви и тете Нино, о том, сколько винограда собрано (цифры зачеркнула цензура). Делая круг и возвращаясь к исходной точке бега, я намеренно сбивал дыхание, чтобы восстановить его через минуту, и в таком же рваном ритме мелькали передо мной картины предрекаемого будущего: автоматная очередь, косящая врагов, генерал, вручающий мне орден, изловленный мною Гитлер, — и я уже не бежал, а летел над землей с восхитительным ощущением свободы.

И Алешу я увидел перед собою — где-то рядом, вместе со мной косящего немцев и с таким же, как у меня, орденом. Ему великодушно прощалась измена.

Да, Алеша меня предал!

Еще не начали перестраивать коровник, а мой друг и верный товарищ забыл, с кем сидел он на скамейке 28 августа, кого привел он в гомон военкомата, с кем делил вагонную полку. Что парень он компанейский — это я знал и видел, но никак не ожидал такого грубого разрыва. Я стал для него одним из тех, кого судьба случайно объединила под крышею казармы. Он переметнулся в другую группу, он дружил сразу со всеми, ни словом, ни жестом не выделяя меня. А я страдал, мне было больно, я полюбил и я уважал красноармейца Алешу, интересного и загадочного, из незнакомого мира пришедшего ко мне, умевшего прикидываться туляком, костромичом или украинцем, скорого на руку и быстрого в речи, справно-го и ладного. От Алеши протягивались какие-то дополнительные ниточки к Этери, которой я уже написал о друге и которого она заочно полюбила.

Горько мне было, очень горько, и все же верилось: будем мы вместе и генерал обоим пожмет руку, поздравляя с успехом.

Вера укрепилась, когда во второй половине ноября Алеша поймал меня в Ленинском уголке и в самое ухо прочитал суровое наставление. Он не оправдывался, он во всем винил меня, слишком юного для того, чтоб понимать нависшую над нами угрозу. Неужели, грозно спросил он, я не вижу, как происходит отбор курсантов на задания? Кого из нескольких десятков выуживают недоверчивые командиры из Генштаба? Младенцу ясно, прошипел Алеша, что сдружившихся на курсах ребят обязательно разлучат!

Он прав был, мой дальновидный друг. С начала ноября на курсах стали появляться те, кого мы шутливо называли работодателями. Вместе с инструкторами решали они, кого брать на фронт в ближнюю разведку, а кого посылать за линию фронта. Совещались тайно, оставляя нас в неведении. И кое-кого увозили с собою. Ни скромных проводов, ни словечка после ужина, ни адресочка на память: девчата и парни, с кем вчера еще ходил на увольнение в город, ночью исчезали. Их тихо будили, они ни о чем не спрашивали, забирали из тумбочки полотенце и мыло, скатывали матрац — и утром пустая койка напоминала о том, что нас ждет. И Алеша подметил правильно: не ценили юношескую дружбу командиры из Разведуправления! А если парень и девушка сидят часто рядышком на скамье, когда крутили кино, то разлуку им инструктора обеспечат!

Почему — об этом догадался Алеша:

— Потому, что друзьям или влюбленным легче сговориться на нехорошее. А малознакомые или чужие будут друг за другом следить. Понимать надо, Леня.

Учебу на курсах Алеша считал никудышной. Лес, куда нас возили на ориентирование, исхоженный, патроны на стрельбище дают по счету, разоружать мины не позволяют, организацию немецкой армии мы не знаем, допрашивать пленных не учат, с приемами ближнего боя только знакомят. Вывод один, заключал Алеша: самим добираться до сути, именно самим, потому что инструкторы обо всем докладывают начальству и косятся на всякое рвение.

Суровый нагоняй, учиненный мне в Ленинском уголке, пошел на пользу. Я написал Этери, что Алеша мне уже не друг, и старался не попадаться ему на глаза. При редких же встречах мы обменивались многозначительными взглядами, поднимая незаметно кверху большой палец. Мы верили, что попадем в ту группу, что полетит в немецкий тыл, и что наступит день, когда поверженный Берлин будет под нашими ногами.

Я продолжал бегать, и в скором времени ко мне присоединилась Таня. Дневальный будил ее, она выбегала вслед за мною на чернеющую дорогу (снег лежал на полях) и держалась за спиную минуту или две, а потом отставала; организм ее, до войны трусивший мелким хозяйственным шагом, явно уступал моему, закаленному и натренированному, но Таня, наверстывая упущенное, крепла с каждой пробежкой и выполняла уже норму ГТО. Раньше я девушку эту не замечал, ни с кем она не дружила и не пыталась учить нас вдвевать нитку в иголку. Однажды увидел ее в городе — она с руки, как птенца, кормила зарванного мальчугана. Еще до морозов всех девчат свели в одну группу, они часами сидели у раций, сутулясь и не поднимая глаз. Позвоночник, наверное, кривился, спина затекала — этим я объяснял тягу Тани к бегу. Группы строились на физзарядку, когда кончалась наша ежеутренняя пробежка, и мы расходились умыться. Воду привозили в бочках, ее всегда не хватало, не раз мы оказывались рядом, и с некоторым удивлением я посматривал на ноги Тани. Была она выше меня ростом, на сантиметр или два, крупнее. Что бедра ее более развиты и объемнее — это понятно, четырехглавые мышцы у мужчин и женщин, знал я из анатомии, устроены по-разному, но икроножные мышцы-то бегунов и бегуний — одинаковые, должны рельефно выделяться, но у Тани, которая весила больше меня, их, этих икроножных, будто не было вовсе, ноги тоненькие, как у Этери, и как могли нести они на себе массивную фигуру моющейся справа от меня девушки? Спрашивать я не решался и однажды, не вытерпев, стал прощупывать Танины конечности. Больно ударив меня по рукам, вся покраснев, она сказала, что не ожидала от меня такого хамства и еще до утреннего построения доложит начальнику курсов о моем недостойном поведении. Не сразу понял я, в чем обвинен, а потом признался, что именно интересовало меня. Из долгого взгляда Тани убрались колючки, она подумала и заявила наконец, что слова свои берет об-

ратно и докладывать не станет, потому что верит в мою искренность. В знак полного доверия ко мне она сама протянула ногу и несколько раз согнула ее в голеностопном суставе. В ответ я предложил ей охватить ладонями мои бицепсы. Так мы и подружились. Однажды мы побежали рядом, и Таня сказала, что война кончится не скоро, что ей обязательно надо вернуться с войны живой и здоровой, потому что мать ее совсем слабенькая, а братику всего семь лет, но чтоб выжить и победить, мало удачи, нужна жестокость, прежде всего — к себе, нельзя в эти страшные месяцы позволять то, что до нападения немцев разрешали себе миллионы людей. От жестокости к себе и своим появится и ненависть к немцам — такую мысль внушала она мне, и я был полностью с нею согласен.

Пустели койки в казарме, ряды наши редели, чтоб пополниться, привозили ребят и парней в гражданском платье, приезжали и красноармейцы, и как-то утром я не увидел Тани, дневальный же ткнул пальцем в ту сторону, где — по сводкам — громыхали сражения. Мне стало грустно. Падал редкий снег, парный след оставили на дороге полозья саней, увозивших Таню на войну.

Наступала и наша очередь. Алеша все рассчитал точно: воевать мы будем вместе, это уже решил начальство. Каждую ночь я ждал толчка дневального, но судьба распорядилась иначе. Меня и Алешу задержали на курсах, мы подменили посланных на задание инструкторов, новый набор едва уместился в коровнике, я учил парней и девушек бегать на лыжах, развинчивать немецкие мины, стрелять навскидку. Учебные планы стали нацеленными и жесткими. Немцев под Москвой разгромили, и вместе с радостью вошло опасение: а вдруг без нас победят? Не победят, решил я, потому что прикинул: если в одном большом сражении не разгромили немцев, то сколько же их надо для окончательной победы?

Дружба наша еще более окрепла после дежурств на станции. В помощь патрулям НКВД курсы ежедневно посылали на станцию подмогу, очень часто выбор падал на меня и Алешу. Ни одного шпиона мы, грустно признаваясь, не поймали, но Алеша научил меня с одного взгляда определять человека: кто он и куда путь держит.

Настал торжественный день. Мне и Алеше присвоили воинские звания младших сержантов. О треугольничках в петлицах я написал Этери и матери, их ответом была посылка. Я гордился собой. Докладывая о себе по уставу, я комкал не такое уж обязательное слово «младший». И звонко выпаливал: «...сержант Филатов по вашему приказанию прибыл!»

#### 4

*Увлечение музыкой. — Наконец-то — на фронт! — Мужественный командир Калтыгин учит их военному делу. — Полковник Костенецкий, исходя из высших государственных интересов, посылает необученный молодежь на верную смерть*

Еще в октябре через город прокатилась волна малодушно отступавших москвичей, и нам достались инструменты какого-то спешившего на Урал ансамбля. Часть их перенесли в Ленинский уголок, и я, неделю потерзав аккордеон, начал сносно играть на нем. Столько же времени ушло на пианино, балалайка же забренчала у меня с первого шипка. На рынке был выменян за три пачки махорки учебник музыки профессора Павлюченко, нотную грамоту я освоил быстро, ухо научилось беспокоиться, а потом страдать от наглости звука, искажавшего лад. Такие же слуховые неудобства испытывал я, когда на общих собраниях начальство превозносило, в назидание и подражание, подвиги «славного советского разведчика товарища К.». Во всех повествованиях о нем ощущалась фальшь. Своими сомнениями я поделился с одним инструктором, и тот поддержал меня.

— Что верно, то верно, — сказал он раздумчиво. — Вот хвалят его за то, как он, окруженный в путевой будке, вырвался все-таки. А кто, спрашивается, звал его в эту будку? Ведь нельзя же задерживаться у железнодорожной колеи! Немцы патрулируют вдоль и поперек, на особо важных участках охраняют перегоны бронетранспортерами, а он... Нет, так нельзя. Не позавидуешь боевым друзьям этого героя. На собственную задницу ищут приключений.

Грубовато, конечно, но справедливо. Тем более что сам «товарищ К.» благополучно выскакивал из всех капканов, чего нельзя было сказать (и об этом не говорилось!) о его подчиненных.

Так и запомнил я фальшивящий звук «ре минор», почему-то объединенный с «товарищем К.»

Сидеть в тылу было стыдно, не раз и не два писали мы рапорты. Уже гибли те, с кем ходили на стрельбище, пополнение на курсы прибывало и убывало, и я не знал, что писать Этери, у которой пропали без вести два племянника и двоюродный дядя. Наконец начальство намекнуло: скоро, скоро, завтра или послезавтра. К весне таинственность ночных исчезновений улетучилась, потому что техник-интендант, выдававший приданое, то есть малопоношенное обмундирование для дороги и фронта, загодя узнавал, кого снаряжать в дальний путь, и приносил отобранным курсантам груды одежды на примерку да связку сапог, сдергивая с матраца простыню и освобождая наволочку от подушки. Все на курсах знали поэтому, кто не выбежит на физзарядку и не пойдет в столовую на завтрак.

День прошел, другой, неделя, а мы продолжали спать на простынях. Победное шествие к Берлину началось — этот день я запомнил — 10 марта. Алеша разбудил меня ночью, рядом с ним стоял инструктор, на отрешенном и белом лице его синели глаза, от сини все зеленое казалось черным. Нас накормили. Я заглянул в Ленинский уголок и прикоснулся пальцами к желтеющим клавишам пианино. Инструмент был таким чутким, что от одного касания рождался звук многоголосого гудения толпы немых. (Никогда я не пробовал подбирать на инструменте «манану», эту мелодию я носил в себе, как тайну, и я знал, что через всю войну пронесу ее.)

Сухой паек на трое суток, красноармейские книжки, предписание следовать до станции Горюхино в распоряжение командира в/ч номер такой-то... «Не подводите!» — сказал на прощание начальник курсов. Луна и звезды освещали наш путь, полуторка подвезла нас к свердловскому поезду.

Солнце было за нашей спиной, когда мы вышли на площадь у трех вокзалов. Трижды проверялись патрулями наши документы, я торопил Алешу: пора, пора на поезд! Опять темный ночной вагон, матерщина и чей-то истошный крик со слезами и проклятьями. На станции Горюхино в несметном количестве сидели на снегу раненые, ожидая вагонов. Никто ничего не знал и о нужной нам в/ч не слышал. Наш путь лежал к Берлину, мы пошли поэтому в сторону падающего солнца. Каждый шаг приближал нас к победе, я был уверен: погибну героически, но так погибну, что останусь в живых!

Заночевали в избе, в пяти километрах от пункта назначения. И опять вставало солнце. Дорога вела через заснеженное поле, в шинели было жарко. Из-за косогора поднялись скворечники поселка с немаловажным военно-штабным значением, потому что с вечера — мы подсчитали — в его сторону прошло двенадцать мотоциклов и девять легковых машин. По количеству шинелей у двухэтажного дома мы догадались, что подошли к штабу. Нас привели к майору, ехидному толстячку, который перед разговором с нами снял нарукавники, те самые, что у всех бухгалтеров, обтиравших локтями столы. Нас дотошно расспросили, майор позвал на помощь двух капитанов, те, перебивая нарочно друг друга, задавали нам подчас глупые вопросы. Осведомились наконец, сыты ли мы. Позвонили куда-то и сказали, что полковник Костенецкий в отлучке, с нами он по-

беседует послезавтра. А сейчас (капитаны хмыкнули) придет наш непосредственный начальник старший лейтенант Калтыгин Григорий Иванович, ему мы обязаны подчиняться, по всем вопросам обращаться только к нему или через него, отныне он для нас — царь, бог, воинский начальник, он выше командующего армией, и нам повезло, очень повезло, мы будем воевать под знаменами Григория Ивановича Калтыгина, который ждет нас не дожидаясь, он мечтал о таких, как младшие сержанты Бобриков и Филатов, мечтал!.. (В хвалебном пассаже ухо мое уловило неверную нотку, не укрылась она и от Алеши, он легонечко толкнул меня локтем в бок: бди!)

Мы ждали. Того, с кем придется прыгать с парашютом, пролезать через минные поля, ходить по немецким тылам и добывать свежие, ценные и самые правильные разведданные.

Темная исполинская фигура мелькнула за окнами, потом кто-то протюжил сапогами приступки, счищая грязь, и бухнула дверь. Вошел командир без шинели, гимнастерка в ремнях, портупья, два ордена — Красной Звезды и Красного Знамени, пистолет в кобуре, руки длинные, до колен, как у гориллы.

— Калтыгин, по вашему приказанию... — доложил он, не прикладывая руку к фуражке и тоном показывая, что только по случаю он здесь, заглянул сюда не во исполнение приказа.

— Пополнение получай, Григорий Иванович. Подучи сержантов. И готовься к заданию. Вся группа в сборе. Мы для тебя специально отобрали самых лучших.

Старший лейтенант Калтыгин глянул в нашу сторону, но так нас и не увидел. Чему удивился и поднял глаза к потолку, уж не к нему ли прилипло пополнение? Пожал плечами: где, мол, пополнение-то?

Оскорбленные, мы во все глаза смотрели на майора, ища в нем заступника. А тот приказал нам выйти. Долго беседовал с Калтыгиным. Мы ждали покорно, в душе нарастала досада. Нет, не ожидали мы такого приема!

Бухнула дверь, заскрипело крыльцо. Калтыгин протопал мимо нас, обдав меня и Алешу жаром неостывшего гнева, но дав знак следовать за ним. Гусятами за гусыней топали мы по грязи за грубым старшим лейтенантом, который привел нас в бревенчатое строение, когда-то бывшее школой. На стене комнаты косоуго висела доска, нагроможденные друг на друга парты упирались в потолок. Калтыгин повернулся к нам, разительно изменившись. Само добродушие смотрело на нас, заботливость и надежда, что он, бывалый командир, не осрамится перед еще более бывалыми сержантами, хоть они и младшие.

— Орлы!.. Вот мы и вместе!.. — произнес он с глубочайшей радостью. — Кровь из носу — так я сказал себе, когда узнал, что готовят в тылу двух настоящих разведчиков... Кровь из носу, но затребую их для себя, потому что не могу без них, не могу! Воевать так воевать, как говорил Наполеон. А повоевать нам придется на всю катушку...

Он изливал вовсе не казенные слова... А мы тарасили на него глаза! Росту Григорий Иванович был, нам казалось, за два метра, и сила в нем угадывалась колоссальная, в скрипе новенького командирского ремня чудилось постанывание мышц в неутоляемой жажде прыжка, работы, напряжения, удара, которым Калтыгин мог прихлопнуть барана. Григорий Иванович не стоял, а был водружен на землю, он раскачал бы ее, пожалуй. Атлант, что и говорить. Небосвод раздался бы вширь под напором его широченных плеч, а для замера объема легких Калтыгина требовался не спирометр, а цистерна. Оставалось загадкой, как мог мужчина такой комплекции ужом вилать по немецким тылам. (Когда ослепление наше прошло, мы более трезво оценили нашего командира: рост 178 сантиметров, вес 92 килограмма.)

— ...и мамашу родную забудьте до конца войны, и батька родного тоже, — проникновенно продолжал Григорий Иванович, задушевно роко-ча. — Я ваша мамка таперича, я! И отец заодно! А вы — сынки мои!



Речь его оборвалась, потому что в комнату вошел странно одетый товарищ: галифе из серо-стального коверкота, такая же гимнастерка, на ней — ни единого знака различия, но от начищенных хромовых сапог исходило сияние, наводящее на мысль о шпалах или даже ромбах в петлицах. Правда, примышляемое воинское звание понизилось, когда вошедший суетливо задвигался по комнате, неизвестно что ища, да и прическа была чересчур вольной: чуб с казацким забросом.

— Гриша, ты чего пристаешь к юношам?.. Да не страдай ты их! Обогрей, накорми, напои. Ребята они справные, я тебе говорю...

Григорий Иванович корпусом развернулся к товарищу в коверкоте и хrome. Речь его лишилась пафоса и напевности.

— Справным был конь у моего деда Онуфрия, и того цыгане умыкнули... Прислали, понимаешь, пополнение, молоко на губах не обсохло. — Жестокая обида звучала в голосе. — От мамкиной титьки с ревом отрывали желторотиков. Как мог, отпихивался от таких подчиненных... Цацы пионерские. Свалились на мою грешную голову. И спихнуть их некому, кому нужна мелюзга эта. Сопли, что ли, подтирать им, а?

Постреляв узенькими глазками по углам, партам и нашим сапогам, человек удалился. Мы, обиженные, пылали возмущением, но защищать себя не решались. Молчали. Тем не менее Григорий Иванович просипел:

— Р-разговорчики — отставить!

Сменив затем гнев на милость, он без кривляний в голосе поинтересовался: сыты? мыты? что пишут родные? аттестаты где?

Нас поставили на все виды довольствия, а в бане мы могли повторить то, что сделал с нами Григорий Иванович: выскочили голыми на мороз и полезли в снег, совершив оздоровительную процедуру. Тертый Алеша армейские порядки знал и поведение командира нашего объяснял так: человек он, старший лейтенант Калтыгин, с норовом, службу понимает, а тот, кто в коверкоте и хrome, определенно из органов, вот ему и нагородил чушь Григорий Иванович.

Жить в школе нам не разрешили, отвели в дом неподалеку, хозяйке строго наказали: больше никого не пускать. До линии фронта — шестьдесят километров, до штаба — десять, фамилия майора — Лукашин, он — из разведбатальона, капитаны приезжают и уезжают, а Лукашин сидит в поселке Крындино и первым выслушивает рассказы тех, кто возвращается с заданий. Хороший поселок с хорошим названием: им мы всегда потом называли штабы фронтов и армий, что неумолимо передвигались на запад. И во всех Крындиных старший — майор Лукашин. Он и определяет, кого куда посылать, где переходить линию фронта. Бомб на Крындино не сбрасывали, снаряды сюда не долетали. На всех фронтах шли упорные бои, каждый день гибли тысячи, лишь в Крындине не было ни одного убитого, зато живые могли повергнуть в тяжкие раздумья. Под вечер первого дня нашей новой службы из полуторки выкинулись двое бойцов, приземлились у крылечка школы, один из них так бурно, даже буйно хохотал, что уняли его выстрелом под ноги. Немедленно прибежал майор Лукашин, стыдить помешанного не стал, а что-то тихо сказал ему на ухо. И сумасшедший увял, умолк, испугался, его обыскали, вытащили гранату, повели в баню... Станный, очень странный народ прибывал в Крындино! Группами по два-три человека, кто в бинтах, кто в такой степени изнеможения, что, даже выпавшись и откормившись, они, бойцы эти, проявляли тупое безразличие: им бы расположиться в избе да поспать, так нет — валились у крыльца, что-то жевали, смотрели на солнышко. Кое-кто до Крындины не добирался, застревал в частях на передовой, их разыскивал сам Костенецкий, почему и не спешил осматривать нас и определять, на что мы способны.

Утренний бег освобождал меня от мыслей о грядущих неудачах, Алеша тоже не сникал, принося очень неутешительные сведения о старшем лей-

тенанте Калтыгине. Видимо, это о нем славословили на курсах, когда ставили всем в пример «товарища К.». Немого разговорил бы Алеша, так ловко умел он слушать и не верить; очень подвижное лицо его всегда выражало то, что хотел услышать собеседник.

Калтыгину не везло, «товарищу К.» удача не сопутствовала — такая горькая молва окутала нас. Вся группа его погибла в феврале при переходе через линию фронта, а ребята были опытными, умели заправски пересекать нейтралку и просачиваться сквозь немецкие окопы. Две недели же назад, тоже при возвращении к своим, Калтыгин с двумя разведчиками попал в засаду. Старшему лейтенанту грозило понижение, его могли отправить в дивизию, на передовую, сидеть у стереотрубы или по ночам притаскивать «языков», то есть заниматься работой, не соответствующей квалификации разведчика его масштаба.

Судьба обидела меня, с самого начала службы не обкатав придирами человека, которого каждый военнослужащий вспоминает, восхищаясь им и проклиная его. Имя этого человека — старшина. Это кривоногое, вьедливое и туповатое существо с треугольничками в петлицах уставом вознесено над мало-мальски думающими честными людьми, которых он третирует, злит, обманывает, дурачит и веселит неумением говорить по-русски. Обкатанный Алеша хамство Калтыгина признавал нормою, ни уши, ни щеки его не краснели от глупостей отца командира, я же терзался жестокой обидой. Потом уж полюбил я Григория Ивановича, дурного и самолюбивого, хитрого и щедрого, и любовь эту ощутил — до боли в сердце — в какой-то, не помню, день осени 1944 года. Я просыпаюсь в кузове «студебеккера», ногами к заднему борту, угасающая осень, небо я вижу в обрезанном овале, оно — на переходе от серости к голубизне; так туго натянут брезент, что ухо различает попискивание воздуха, трущегося о него; Алеши еще нет, его и меня третьи сутки таскают на допросы к нашему московскому опекуну, меня отпустили три часа назад, вот-вот отпустят и Алешу; черная фигура его переваливается через борт, Алеша находит меня холодной рукою, ложится рядом, набрасывает на головы наши плащ-накидку, зубы его стучат, Алеша шепчет: «Гришке — каюк!.. Гришку — под нож! И нам всем крышка!» Вот тогда-то и почувствовал я любовь к отцу нашему, командиру и благодетелю, тому, кто меня и Алешу втоптывал в грязь, вечно скуля и жалуясь Лукашину и Костенецкому на приданных ему «пацанов». Но он же и грудью защищал нас и от немцев, и от того же Костенецкого, и от московского Начальника нашего. Он, бывало, униженно просил о снисхождении, тут же гордо отвергая нашу помощь, к чему мы привыкли, потому что при всех шараханьях Калтыгина, при всех его отступах вправо и влево генеральной линии своей жизни он не изменял, следовал ей неукоснительно... (Да никакой линии вообще не было, а всего-то, сообразил я позднее, — знаменитый русский национальный характер, растраченный революцией и собранный воедино руководящими указаниями начальства, повсеместного и всепроникающего!) В Крындине, пинаемый Калтыгиным, стал я думать, учился размышлять, вглядывался в Григория Ивановича и людей, нас окружавших, мог бы многому не удивляться и привыкнуть к тому, что удары по тебе наносятся и сзади, и тем не менее как громом поражен был, когда в мае 1943 года предали меня — и Алеша, и Григорий Иванович. Мог бы и в апреле 1942-го, там, в Крындине, догадаться, что и Костенецкий предаст всех нас троих, отправляя на верную смерть.

Но в марте полковник не торопился увидеть нас. Лукашин прикрикнул на Калтыгина, и Григорий Иванович взялся за дело. Для начала он разжаловал нас, мы убрали из петлиц треугольнички, ходили в стираном рванье и дырявых шинелях. За школою рос могучий, поцарапанный осколками дуб, на него мы забирались и поочередно, навьюченные и увешанные оружием, прыгали на землю с пятиметровой высоты, и развалив-

шийся на солнышке Калтыгин отпускал язвительные шуточки, слух у него оказался острым, звяканье металла, расованного по карманам, не только улавливал, но и указывал, где что неверно лежит.

— Не на бабу прыгаешь! — орал он. — На землю! Кормилицу и спасительницу!

Пот заливал глаза, волосы под каскою мокрые, мы прыгали и вновь забирались на дуб, добываясь бесшумного приземления. Когда не к чему было придраться, Григорий Иванович изрекал пошлости о предметах в мошонке. Пистолет, нож, автомат, гранаты, диски, обоймы, рация, паек — все это прилипало к нам вместе с кожей, мы научились держать на себе гремящие и стесняющие движения предметы, перемещать беззвучно и быстро невесомое тело свое в любом направлении, броском, пулею, ножом или кулаком опережать устремленного на тебя немца.

Очень грамотный Алеша сказал мне, что наш командир знаком с методом Станиславского, учением Павлова и Уставом караульной службы. По сведениям Алеши, Григорий Иванович кончил еще до войны добротные разведкурсы. Навыки бесшумного проникновения отрабатывались нами и в лесу, там еще лежал снег, встречались и мины. Трудились мы безропотно, учились жадно, взхлеб, и Григорий Иванович оттаял, вернул нам знаки воинского различия.

Паек мы отдавали хозяйке, она нас и кормила, Алеша бегал с котелком на кухню к радистам, Лукашин дважды ловил его и распекал за жадность. Наконец было получено задание, с ним ознакомили только Калтыгина, и то лишь усеченно, не сказано было, когда, где и кого. «За языком пойдем!» — объявил Григорий Иванович.

Еще неделю готовились мы, Григорий Иванович не мог не похваливать нас, мы очень старались, прыгали с парашютом ночью, метали ножи точно в цель, согласованно передвигались в лесу, умели слушать птиц и деревья, наловчились бесшумно, быстро и бережно укладывать пленяемого на землю, оглушив его и ослепив. Тем не менее от Лукашина мы знали, что Калтыгин жалуется на нас, и весьма обоснованно. Мы никак не вписывались в его расчеты. Я, к примеру, на радиста группы не тянул, в радиостах у Калтыгина ходили обычно невзрачные худосочные девушки, он вообще предпочитал держать рацию отдельно от группы, прятать радиста на хуторах или в лесной глуши. Дальнюю разведку поручал он придурковатому на вид мужичку, и Алеша вполне годился на эту роль, мне же еще предстояла нудная и долгая учеба на хваткого молодца с отличной диверсионной подготовкой.

Однажды утром после завтрака сидели на крылечке и гадали, что придумает на сегодня куда-то убежавший Калтыгин, какую науку преподаст и много ли будет материться. Спасая легкие от Алешиной самокрутки, ушел я к зеленеющим яблоням и проморгал момент, когда к избе подъехал «виллис» с Лукашиным и Костенецким. Вошел в избу — а там оба командира слушали, развесив уши, вранье Алексея Бобрикова. Еще на курсах я понял, что биография моего друга — темна и загадочна, но что уличить его во лжи — невозможно: Одесса, откуда Бобриков, под немцами, а Стрыйский военкомат, призвавший его, разбомблен и сожжен, — попробуй проверь, пошли запрос. Появился я вовремя, избавил Алешу от вранья, переключились на меня: чему обучался на курсах, что пишут родные, нет ли жалоб на Калтыгина. Крестьянская изба, две лавки, между ними стол, два младших сержанта, майор и полковник, — так сидели, так за вопросом следовал ответ, дневной свет слепил, Костенецкий казался черным, смотреть на себя он не позволял, под взглядом и словами его глаза мои опускались все ниже и ниже, но уши-то — не отведешь в сторону, встревоженный слух мой нотно записывал речитатив и провальное молчание оркестра, то есть Алеши и Лукашина, которые, будто воды в рот набрали, как-то выжидательно безмолвствовали, словно пригнулись перед

близким взрывом. Отвечал я быстро, паузы между вопросами затягивались, и наступил момент, когда не поймешь, тишина это или грохот. Резко поднялся Костенецкий, блеснула золоченая оправка его очков, потом пугающе странный взгляд Лукашина — и бухнула дверь, забила крыльями курица в сених, мы увидели отъезжающий «виллис», переглянулись, и вдруг забежавший по избе Алеша сказал то, что я боялся услышать:

— И-эх!.. Он похоронку на нас готовит!.. Ты понял, понял это, Леня? Не-ет! Не получится! Мы с тобой придем в Берлин, придем! И не с черного холостского входа, а — пар-радные двери р-разобьем!

Наступал день и час первого рейда по тылам немцев, то есть начиналась та работа, к которой нас готовили, брезжил рассвет новой жизни, и я очень волновался. Точно так, как в утро, когда меня повели в первый класс. Наверное, схожие чувства испытывали юноши, под ручкой с девушкой идущие в загс, или парень, впервые допущенный к станку. Несколько раз пробуждался я во сне, растревоженный неясными видениями будущего похода за языком. Но старшие товарищи давали мне пример мужества: Алеша жарко спорил с хозяйкой из-за какой-то поломанной штакетницы, а наш командир Григорий Иванович, падкий на чернявеньких и смуглявеньких (как, впрочем, и на белявеньких), пристроился к новой поварихе не без пользы для вечно голодного Алеши. А я уединялся в шалашике, где наигрывал на губной гармонике. Здесь меня посетил верный друг Алеша. Чтоб не загоревали мать и Этери, получив похоронку, я дал клятву себе и ему — вернусь, выполню приказ полковника и не погибну при этом. Покаялся и Алеша, но не указал, кого он не хочет опечаливать.

Что-то изменилось в планах Костенецкого, самолет отменился, нас повезли на передний край. Несколько часов сидели мы, привыкая к фронтовым шумам, в окопах. Ужасное впечатление произвели они на меня! Красноармейцы и командиры чуть ли не под себя опорожняли кишечник и мочевой пузырь, потому что пройти до отведенного под сортир окопчика было небезопасно. Я страдал, но не настолько, чтоб не вслушиваться в тишину нейтралки. Ночью мы куда-то поползли, просачиваясь через оборону немцев, я ужом вился вторым, глаз не сводя с виляющих и брыкающих пяток Григория Ивановича, почти впритык, а когда встали, то — в ночном лесу — замыкал группу. Калтыгин — если не врал — в девятнадцатый раз пересекал линию фронта, все ему было знакомо и привычно, нам же казалось, что немцы идут или ползут за нами, стерегут справа, слева и впереди. Когда рассветало, когда небо засияло над верхушками деревьев, залегли у дороги и перебежали ее, слыша где-то справа голоса немцев. Григорий Иванович преподал нам еще один полезный урок, избавил от страха простейшим приемом. Сел, снял сапог и стал перематывать портянку, медленно и вдумчиво. Вполголоса выругался, пообещав набить морду кому-то из тех, кто в Крындине ведал портянками и сапогами. Потом улыбнулся нам — несколько виновато... Мы глубоко вздохнули и выдохнули, тяжелый и давящий страх отпал, отделился, вспорхнул и улетел. А немцы, если вслушаться, шли не окружать нас, а дурашливо аукались. У Григория Ивановича был большой соблазн дать нам, то есть мне и Алеше, на растерзание какого-нибудь приبلудного немца, то есть научить нас не бояться мертвых и присутствовать при таинственном процессе превращения живого человека в неживого. Педагог все-таки, воин, мастер, дававший подмастерьям легкую поначалу работу, чтоб те свыкались. Да, был такой соблазн, но благоразумие взяло верх: немец, пропавший на виду немцев, — это уже переполох, по нашему следу пошли бы.

Два ночных перехода — и мы были у цели, в пяти километрах от аэродрома, на который нацелились. Григорий Иванович, педагог и психолог, был для нас уже богом, с большой и малой буквы. Руки его еще тянулись к куреву, а мы уже подскакивали к нему с двух сторон, Алеша чиркал за-

жигалкой, а я отрывал из курительного пакетика листок и не обижался, когда отец командир изрекал пошлятину.

— Да, Ленечка, да, — говорил он мне. — Скоро и ты примешь боевое крещение! На бабу залезешь!

## 5

*Драма на болоте. — Позорное возвращение и арест. — Делегат связи Любарка. — «Кантулия», 17 прыжков и 8 немцев. — Григорий Иванович Калтыгин — капитан!*

Представлялось так: подгоняя взятого нами немца (не тащить же фашиста на себе!), мы затемно приближаемся к указанному ранее участку фронта, ползем к нейтральной полосе, встречаем там нетерпеливо ждущих нас бойцов из дивизионной разведки, благополучно попадаем в свои окопы, Костенецкий и Лукашин обнимают нас, после чего мы с почетом въезжаем в Крындино, где приветливо дымится банька.

Так бы, наверное, и произошло, не сплетись обстоятельства иначе, в такой невероятный узел, что распутать его не сумели в штабе фронта, да я и сам не могу до сих пор разобраться, складывая кубики, на которых нарисованы эпизоды нашего первого дальнего похода за языком.

Калтыгин и Алеша взяли немца — и мы оказались загнанными в болото, что вовсе не означало погружения в него по шею. Мы лежали на плотных сухих кочках, столь многочисленных, что локти удобно расставлялись на них, позволяя стрелять прицельно. Читая не раз об отступлениях наших войск, слыша порою о паническом бегстве красноармейцев, я негодовал и злился, но лишь теперь понял, что, пожалуй, никто малодушно не оставляет позиций и уж мало кто стремглав мчится в тыл, бросая оружие. Люди в бою ищут такое место на поверхности земли, где пули не касаются их, не убивают и откуда можно послать в противника наибольшее количество пуль. Что мы и делали, что и загнало группу в болото. Слишком молод я был для философских обобщений по болотному поводу этому, догадывался однако, что кто-то из нас, прыгая с дуба, умудрился и гранату подорвать, и автомат разрядить, приведя немцев в боевое состояние, как только они обнаружили отсутствие плененного майора. Сутки шли к ночи, близился наш конец. Справа, слева, спереди — немцы, сзади — булькающая, квохчущая и рыгающая метановыми пузырями трясина. Немец, не брошенный, разумеется, нами, ворочался в брезентовом хитоне. Одолевали комары: болото все-таки, а снадобья от кровососущих насекомых на складе не нашлось, оно, вернее, находилось на особом учете. Немцы затаились в редком березняке, его мы ошибочно приняли за край леса. Патронов оставалось мало, стреляли мы редко, всякий раз без промаха, что немцев надломило. Время от времени пленному освобождали рот, немец звал на помощь, и в березняке поэтому не решались пустить в ход минометы.

Ни о матери, ни об Этери так и не вспомнилось мне, а о том, что скоро смерть, — и в голову не пришло. Рядом — наш командир, к нему подполз Алеша, они долго совещались, о чем — я догадывался. Гонимые немцами, зная местность по карте, мы почему-то вперлись в болото, которое не было обозначено топографами. «Раз-зявы!» — услышал я голос Калтыгина и не стал гадать, кого он так называет, нас или Костенецкого с Лукашиным, это они вооружили нас негодной картой. Поднялась осветительная ракета, а когда померкла, то темнота стала еще гуще. Я лег на спину и услышал далекий протажный свист, переходящий в гул и на полтакта опережавший тягучую барабанную дробь. Звуки издавались устройством, которое двигалось по рельсам. До железной дороги — сто километров по карте, мы, значит, рядом с необозначенной узкоколейкой, о которой догадывались еще в Крындине: не на телегах же возят гравий из карьера. Все



наши вопросы отметались картою 1939 года, засомневались и оба капитана, готовящие нас к выброске в этом районе, но, сказали они, не посылать же самолет на аэрофотосъемку, и уж очень вы, посетовали капитаны, недоверчивые и настырные.

Со стороны березняка донесся собачий лай, прибыла полевая жандармерия. Теперь мы совещались уже втроем. Я рассказал об узкоколейке, Алеша и Калтыгин сделали признание: не того немца взяли, майор, да не тот, нечего его и допрашивать, документы, что при нем, скажут больше.

Еще одна ракета повисела и рассыпалась. Мы продолжали совещаться, теперь уже молча, лежали голова к голове и думали. И то, что было решено, не выразилось никакими словами, но каждый из нас понял, что делать. Ветер дул справа, уходить, следовательно, то есть уползать, надо влево. Алеша выдернул тряпку изо рта майора, и под стоны, а затем и крики мы добрались до края березняка, прошмыгнули мимо немцев и уже не таясь побежали к насыпи. Как ни безграмотно составлялась карта, а леса оставались на ней лесами. Узкое болотце замочило наши следы, у ручья мы попетляли и на восходе убедились: погоня отстала. Полежали полчаса, поднялись. Ни слова не было сказано, мы словно боялись друг друга. Рожки автоматов (у нас были «шмайссеры МР-38») почти пустые, три пистолета, ракетница, две гранаты и ножи, естественно. В сумке у майора — хлеб и сало в целлофане; плитка шоколада, хранимая Алешей, размякла, до линии фронта же — семьдесят пять километров. А нас преследовали не столько немцы, сколько собственные ошибки да просчеты крындинского начальства. Мыслями вслух не обмениваясь, мы сомневались уже в том, что нас ждут у отметки 37,4, мы карте совсем не верили. Нашим спасением было молчание, в котором рождались верные решения.

Сигнал ракетами не дали, уж очень тихо было на указанном участке фронта, нас немедленно засекали бы. Двумя километрами южнее, в крошечной тьме, рискуя вляпаться в пяточки поставленных мин, ошиблись в очередной раз и скатились в воронку, полную трупов. Еле выбрались, построаннее собачьего лая был запах. Еще раз упали, теперь уже в окоп охранения, где спали красноармейцы. Переползли в другой окоп, оттуда в траншею. Калтыгин впервые разлепил уста: «Раз-завы...» Говорить все же пришлось, командир батальона приказал нас арестовать. Обезоруженных, привезли нас в Крындино, машина подъехала к дому, где Лукашин. Тот вышел, позвал Костенецкого. Полковник посмотрел на нас, вопросительно глянул на майора: а это — кто? Нас, правда, меня и Алешу то есть, он мог и не помнить, всего раз-то видел, но Григория Ивановича знал ведь.

Измученные, голодные, еле державшиеся на ногах, мы не умели уже удивляться.

Нас немедленно разделили и развели по домам, к каждому приставив часового. Дали немного поспать и стали допрашивать, «снимать показания». В чем нас обвиняли — сказано не было, в меня вцепился капитан из самого Разведуправления да Лукашин, и по вопросам выходило, что я-то как раз ни в чем не повинен, а провалил задание старший лейтенант Калтыгин, только он. Если перелицевать вопросы и снять интонацию, сделав ее утвердительной, то грехи нашего командира выглядели страшными. До последнего часа утаивал он от нас цель и смысл операции, выбрал неверный маршрут, засаду устроил не в надлежащем месте, взял не обер-лейтенанта из аэродромной obsługi, а случайного офицера, специалиста по топливу и маслам. Отрывался от немцев он тоже неправильно, сам себя загнал в болото. Фронт перешел не в указанном месте, что могло привести к нежелательным последствиям. Капитан из Разведупра, суровый татарин с хищными глазами, шел дальше Лукашина, он гнул меня, заставляя признаться в том, что никакого немца мы вообще не брли и немцев вообще не видели, отсиживались в лесу, а когда продовольствие кончилось, подались к нашим окопам. В боестолкновениях не участвовали, никто

ведь не ранен, волдырь на пятке — вот что нашли врачи, осматривая меня. Признавайся!

Слезы душили меня от такой несправедливости. Но, кажется, не так уж плохи были мои и наши дела. Однажды вели меня к Лукашину, и по дороге встретился Алеша, тоже с часовым за спиной, и Алеша во всю глотку зашел: «С одесского кичмана...»

Веселый голос, сытый, и сам Алеша не походил на подследственного, одет чисто и по уставу. Взбодренный им, я отказался подписывать обличающие Калтыгина показания, хоть тот и оболгал нас. Мы, написано было его рукой, не выполняли его приказы, пленного майора не уничтожили. И еще много чего — уши мои и глаза отказывались принимать — насочинил о нас Григорий Иванович Калтыгин, которого покарали-таки: исчез наш командир, шли о нем разные слухи.

Кончилось наконец следствие. Утром проснулся, а под окном свистит по-разбойничьи Алеша. Мы обнялись, мы в общую кучу свалили наши беды, мы обменялись нашими повзрослевшими мнениями. Чистые перед законом и армией, мы простили Григорию Ивановичу все его кляузы, потому что он нас многому научил. Нам помнился тот момент, когда Григорий Иванович виновато улыбался, снимая сапог и разматывая портянку, в чем никакой нужды не было, кроме единственной и благородной: избавить нас от тяжелого, мышцами осязаемого страха. Пообтершись в армейской среде, потолкавшись среди писарского сословия, без которого не может существовать ни один штаб, понаслушавшись разного сброда, всегда лепившегося к тем, кто воюет по-настоящему, набравшись словечек, одинаково звучащих что в Разведуправлении, что в райпотребкооперации, — мы с Алешей пришли к согласованному мнению: старший лейтенант Григорий Иванович Калтыгин пал жертвою интриг, его подсидели, он перебежал кому-то дорогу, а еще точнее — он отбил у кого-то «бабу». Что означало последнее, было для меня не совсем ясно. В Крындино переехал узел связи, одна радистка — младше меня по званию, всего ефрейтор — иногда улыбалась мне, но вместо того, чтоб прикладывать руку к пилотке, выписывала в воздухе пальцем какие-то слова, на чем и была поймана начальником узла связи, майором, тот показал мне кулак и пригрозил отправкой в дивизию.

«Баба», конечно, «бабой», но на них в Берлин не въедешь, нас поэтому снедал интерес: а как же это так получилось, что мы неправильной картой пользовались?

Добрый Лукашин отказать нам не мог и посвятил в суть. Дали нам на задание самую точную, как казалось, немецкую пятицветную карту-верстовку, то есть масштаба 1 : 42 000, а та — копия нашей карты, составленной по съемкам 1929 года. Кого винить — непонятно. Ну а пока надо радоваться, в самообразовании мы поднялись до высокого уровня, узнали о многогранной проекции Мюффлинга, о координатной сетке Гаусса — Крюгера. Не хуже любого немецкого офицера умели разбираться в обозначениях, тем более что на полях карт давались пояснения! (Эх, знать бы заранее, какие беды принесут нам наши знания!) Когда я завел однажды речь о карте Берлина, так нужной нам, Алеша тихо вразумил меня: «Карта не понадобится. Я этот город обшмонал вдоль, поперек и горизонтально-вертикально!»

Карты для тренировки выдавал нам Любарка, тот самый человек в серо-стальном коверкоте, при котором Григорий Иванович обозвал нас желторотиками и молокососами. Имел он и воинское звание — лейтенант, но считал себя выше всех командиров. Должность его звучала витиевато, иногда он называл себя делегатом связи, намекал на особой важности документы, к которым допущен, но, понимали мы, ни к шифровке, ни к дешифровкам его не привлекали, он и русского языка-то не знал. «Пакет в зубы — и аллюр три креста!» — даже на такое не был он способен. По-

сильный спецсвязи всего лишь, фельдъегерь, для пущей важности бравший с собою двух автоматчиков, когда из штаба фронта вез толстое засургученное послание. Такие вояжи случались редко, значительно чаще сажился он на велосипед и укатывал в Особый отдел, где вышептывал все новости хозяйства Костенецкого.

Теперь он прилип к нам, работал не без выдумки, и сколько ни предупреждал меня Алеша, я всякий раз обманывался. Любарка выкладывал какую-либо якобы услышанную им и меня касающуюся пакость, а я сдуру опровергал ее, приводя в доказательство факты, его интересующие. Еще дурнее был сам Любарка. Мне, непьющему, полагалась водка, ее он и выпивал, а чтоб я не жаловался, рассказывал разные истории, и я узнал, что до войны Костенецкий учил студентов и был доцентом кафедры, знатоком Германии, по военкомату же числился рядовым, таковым и стал служить, охраняя штаб ПВО Московского военного округа, случайно был узнан учеником своим, комбригом, так и попал германист в разведорганы. А Лукашин — тот и вовсе из бухгалтеров. До финской войны, правда, служил в разведке и был оттуда с позором выгнан. Что до Калтыгина, так его каждая собака знает, перед всеми он выслуживался, умеет ходить на задних лапках, да не всякий раз бросают ему кусок мяса. Очень на него злы, пристрелил он перебежчика, немецкого офицера, сиганувшего через Буг в сентябре 1940 года. Приплыл он, держа в зубах очень ценную карту, но кому-то выгодно было этой карты не иметь, — сокрушался пьяненький Любарка, красными глазками ошупывая меня.

Он был старше меня лет на десять, я не мог поэтому гнать от себя фальшивого, масленого, гаденького человечка. Он к тому же владел притягательным трофеем — аккордеоном «Кантулия», хранил он его вместе с сумками своими в каморке штаба, у Лукашина. Инструмент, к которому так тянулись мои пальцы, покоился и безмолвствовал — в обитом кожей футляре. Играть Любарка не умел, поганил мелодию, изредка позволяя мне касаться клавиш и кнопок; меня же сотрясало чудо: из вещного, осязаемого предмета начинало исходить нечто таинственное, рождающее зрительные образы, воспоминания и запахи.

Что с нами делать — не знал ни Лукашин, ни Костенецкий. Алеша откровенно бил баклуши и не раз возвращался под утро. Меня же отправили в овраг, на стрельбище, учить радисток узла связи держать правильно в руках пистолет и стрелять из него. В скором времени я сделал открытие: со стыдом признался, что задерживаю руку на талиях девушек, когда готовлю их к стрельбе из положения «лежа». Было очень приятно. Еще восхитительнее — обнимать их, проверяя положение тел при стрельбе «стоя». О моих волнениях радистки догадывались и придвигались ко мне поближе или громко возмущались. Кое-кто шепотом предлагал встретиться вечером, но я, здраво рассудив, от свиданий уклонялся и на тренировочных занятиях держался от девушек подальше, поскольку убедился: тяга к девичьему телу каким-то непостижимым образом снижает меткость моей стрельбы. Я стал мазать, я уже не в «десятку» или в «девятку» всаживал пули, а с разбросом по всему кругу мишени. Это было отвратительно, тревожно, смертельно опасно! Я мог не убить немца и подставить себя под его пулю! Нет, нельзя общаться с девушками, эдак до Берлина не дойдешь.

В тире зугдидского парка я стрелял из духовки лучше всех. Отличался меткостью и на курсах. Угодить Григорию Ивановичу я, разумеется, не мог, но брюзжал он скорее по привычке. Восстанавливая былое умение, я представлял себя то в тире, то на курсах, пока не вспомнил совет бабушки, когда она брала меня с собою в лес по грибы. «Ты его, подосиновичек, — говаривала она, — в глазах держи, он с глаз и перепрыгнет на траву». Первый убитый мною немец полетел, прошитый очередью, в яму, как он лежал там — неизвестно, второй же старательно опустил на коленки и лег неподвижно, лицо к небу, правая рука вытянута поперек тела, левая

так согнута, словно хотела почесать плечо. Утвердив в памяти этого немца, я всякий раз видел его, когда касался спускового крючка, и пули мои стали отныне зрячими. Алеша подбрасывал ремень, и пока тот падал, я успевал продырявить его отверстиями, между каждым ровно два сантиметра.

Жетончик же я решил смастерить из медальона, подсунутого Алешей. Семнадцать раз уже прыгал я с парашютом, и если бы мне разрешили носить ромбовидный жетончик под значком парашютиста, то цифра 17 яснее ясного говорила бы всем, сколько раз покидал я самолет. А на обратной стороне жетончика я решил нацарапать число убитых мною немцев. Таковых на середину мая 1942 года насчитал я всего 8 (восемь). Конечно, кого-то я ранил очень тяжело, кто-то, дернувшийся при попадании моей пули, скончался. Наверное, я убил больше, но в пионерском отряде я присягал быть честным, таким же поклялся быть, вступая в Ленинский комсомол; во всех характеристиках до войны отмечалось: воспитанный, добросовестный, уважает старших, помогает младшим. И чтоб оставаться честным до конца, я ограничился цифрой 8, твердо зная, что еще до Берлина обе цифры на жетончике изменятся в лучшую, то есть в большую, сторону.

Однажды, хорошо поспав после обеда, мы вели тягучий разговор о том, куда податься вечером, где достать рожки к «шмайссеру», будет ли сегодня кинопередвижка. Вдруг солнце за окнами заслонила могучая фигура, мы ахнули: Калтыгин!

Григорий Иванович ворвался в избу, все сокрушая на пути к нам. Заскулил отброшенный его ногою пес, испуганно закудахтали куры, грохнуло висевшее в сенях корыто, дверь едва не слетела с петель. «Ребятки вы мои!.. — распахнул он нам объятия. — Орлы! Соколики! Наконец-то мы вместе!» Новенькие ремни скрипели на нем, в петлицах — по шпале, вроде бы разжалованный и судимый трибуналом старший лейтенант Калтыгин повысился в звании до капитана. Орденов, правда, не прибавилось, но шумности, самодовольства, угроз Лукашину и Костенецкому — хоть отбавляй. При них он, конечно, укоротил язык, а те сбежались на него, недоуменно взирали на исключенного из списков части бывшего подчиненного. «Прибыл для дальнейшего прохождения службы!» — рявкнул начальникам Григорий Иванович, вручая им пакет. Начальники покрутили его в руках, но вскрывать не осмелились, какая-то чрезвычайно грозная пометка была, видимо, на пакете. Любарка метался между ними и нами. Выбрал руководство, засеменял вслед ему. Из вещмешка размером с грузовой парашют Григорий Иванович извлек разные гостинцы для «мальцов» да стопку советских карт 1941 года. Десять пачек «Беломора» предназначались Алеше, мне протянут был «Самоучитель игры на балалайке», заодно Григорий Иванович на неделю выцарапал у Любарки «Кантулию». Хозяйке ничего не досталось, кроме самого Калтыгина. Как пришедший с мороза человек льнет к печке, так и наша хозяйка норовила то задом, то передом коснуться Григория Ивановича. А тот, фигурально выражаясь, бил копытами и раздувал ноздри. Мы покатывались со смеху, наблюдая за играми непарнокопытных. Потом ушли, развалились в саду и обсудили новости, припомнили наводящие вопросы, что задавались нам во время служебного расследования. Мы не верили, что вдумчивые, аккуратные, въедливые командиры штаба ошиблись, давая нам заведомо негодную карту.

Много ошибок совершили мы, но еще больше — начальство, и получилось, что вся задуманная штабом операция — обман, повод для расправы с Калтыгиным, который Костенецкому — как кость в горле, и, наверное, благом была б ему гибель Калтыгина. По душам потолковав уже со многими разведчиками (что, кстати, запрещалось), мы узнали, что «командир товарищ К.» всегда так выполнял задания, что вреда от выполнения было больше, чем пользы, и боевые друзья Калтыгина находили смерть там, где ее не могло быть. Вот и решено было от Калтыгина избавиться, дав ему заведомо невыполнимое задание, а что и два мальчика погибнут с

вредоносным Калтыгиным — на это начальству наплевать. Неужели такой ценой достигаются все победы?

Долго и горько говорили мы в саду. До самого конца войны длился этот разговор, только перед Берлином дошло до нас, что все задания либо перевыполнялись, либо невыполнялись, что война — это часть жизни, если не вся жизнь, которую никогда не объяснишь, она никогда не удаётся, и как не знает ребенок того, что будет с ним в старости, так и разведчик, приступая к операции, обязан готовиться к худшему и доверять только себе, жить текущим днем, уповая на сегодняшнюю луну и завтрашнее солнце, если оно, конечно, засияет!..

Но до конца войны — шагать еще и шагать, стрелять и прыгать. Приказом наркома обороны СССР срок окончания войны был определен — полгода или «ну еще год». Безмерная любовь и уважение к Вождю мешали мне вслух засомневаться в точности предвидения. Упорные бои шли по всему фронту, Ленинград и Севастополь осаждены. Никто в победе не сомневался, но не каждый был уверен, что доживет до нее. А я все еще пребывал в пятнадцати годах от роду, рост — 166 сантиметров, вес — 52 килограмма. Я мог сто раз подтягиваться на перекладине, за 26 секунд одолевал 200 метров, с расстояния 50 метров всаживал кучно очередь из автомата в мелькнувшую мишень, мышцы мои крепили с каждым днем, объем груди, как пошутил врач, порадовал бы незамужнюю даму. Моим отдыхом был бег.

Алеша уверял меня, что по старому военному обычаю Берлин на трое суток будет отдан войскам на разграбление, и наша задача — успеть к началу тотального грабежа, попасть в дом № 10 на Ляйпцигерштрассе. «А почему только трое суток?» — удивился я, и Алеша ответил что-то невразумительное, а потом сказал, что выяснит обстоятельно, почему города с разным количеством населения, расположенные и в долинах, и в предгорьях, и на равнинах, не удостоены четырех суток, потребных для захвата имущества. В этом была какая-то загадка, ее надо было разрешить, а пока же мы — я, Филатов Леонид Михайлович, и Бобриков Алексей Петрович — поклялись: в день и час капитуляции Берлина начать тотальный грабеж дома № 10 на Ляйпцигерштрассе!

## 6

*Филатов с содроганием пишет об Учителе. — Разоблачение симулянта. — Первое явление судьбоносного Чеха. — Возвращение в детство: пионерлагерь. — «Ну влипли!»*

И наконец-то Чех — человек, который в лице моем обрел Ученика; был он не русским, конечно, и не японцем, разумеется; его не отнесешь ни к славянам, ни к индейцам, ни к любой другой нации или расе. Не исповедуя никакой религии, он был мусульманином, католиком, иеговистом и вообще кем угодно. Любую скрипучую дверь он мог открыть бесшумно, не пользуясь никакими техническими штучками (для почти молниеносного вскрытия сейфа кое-какие железки ему все-таки потребны были). Присмотревшись и чуть поднатаскавшись, он, взяв в руки ножницы, профессионально постриг бы английского лорда, австралийскую овцу и марсельскую проститутку. Он был всем и ничем, его телесной оболочкой мог быть сельский врач, планета Юпитер, мычащая корова, лысый луг, зябнувший накануне снегов, и мальчик из-под Зугдиди, в которого он вселился.

С него, с Учителя, и надо было начать это повествование, но Страх, Любовь и Ненависть намеренно замедляли течение событий, взнуздывая перо, пресекая его бег; брезжила Надежда, что удастся запихнуть этого страшного и любимого мною человека в скопище людей, промолчать, за-

таить в себе трепетание звуков, не влезających в нотные линейки. Отдаляя момент встречи с ним на страницах этих, я с излишними подробностями описываю знакомство с Алешей и Григорием Ивановичем. И тороплюсь, тороплюсь поскорее увидеть наставника своего, тренера с большой буквы, потому что Учитель — это сказано чересчур громко, вне времени, в каком мы жили, а время подсылало к нам в воспитатели тех, кто продлевал нашу жизнь до возможности мирно почтить; потому я и комкаю рассказ о первом задании в тылу немцев, а там ведь были эпизоды, достойные упоминания. Майора-то немецкого мы сутки тащили на себе, и майор на минутном привале вдруг стал диктовать нам завещание — с перечислением родственников, имущества и банковских счетов. Часом позже случилось невероятное: посланный вперед на разведку, я нос к носу столкнулся с немецким солдатом. Метр с чем-то разделял нас, у обоих — автоматы, кто первым выстрелит, тот и не будет мертвым. Но от неожиданности и страха мы мгновенно переместились в каменный век и первобытными охотниками вступили в рукопашный бой, используя «шмайссеры» как дубины, размахивая ими и издавая воинственные вопли. Неизвестно, чем кончилась бы эта схватка, не поспеши на крики Алеша; я стер пену со своих губ и вернулся в XX век... И еще позамысловатее вспоминаются случаи, но пора, пора заговорить о Тренере.

В тот памятный день меня вызвали к Лукашину, в дом его, откуда протягивались провода к столбам и крышам. Как служится, как живет, как бегается — к таким вопросам доброго ко мне командира я привык. Стоял навтыжку, потом — по приказанию — сел. Три окна, печка, письменный стол с телефонами, дверь в смежную комнату, запах трубочного табака — за стеною, следовательно, сидел Костенецкий и все слышал. Лукашин вздохнул и сказал, на меня не глядя, что, по наведенным справкам, я обманул руководство и неверно указал дату рождения: 28 августа 1926 года я родился, а не того же месяца и числа 1925-го, как это значится в документах. Между тем, продолжал он, не дождавшись от меня ответа, лица мужского пола 1926 года рождения призыву не подлежат, мне на день текущий вообще не исполнилось и шестнадцати годков, и если я сейчас вот напишу рапорт, где признаюсь в обмане, то рапорту будет дан ход и меня, без сомнения, из рядов Красной Армии уволят, отменив принятую мною присягу.

Наверное, я покраснел от стыда за обман. Затем я сознался: да, обманул. Но решительно отказался писать рапорт. Я хочу воевать и буду воевать!

Для меня все было давно решено, да и понимал я: нет времени уже гнать меня прочь из Крындина, горы бумаг изведут, объясняя тому, кто повыше и старше, почему оголена группа Калтыгина. А если жалеют, что сомнительно, так о чем раньше думали, когда посылали на задание с ненастоящими картами?

С Алешей, я узнал, тоже беседовали, но у Лукашина не о возрасте говорили, жалеть Алешу никто не собирался. Пришел приказ об особой проверке военнослужащих, призванных военкоматами западных областей Украины и Белоруссии; Алексей Петрович Бобриков называл себя в документах так: приписной. Что означало это — не знал, наверное, сам Алеша, но именно приписные возбуждали недоверие и подозрительность.

Калтыгина тоже вызвали, он вернулся чрезвычайно подавленным.

— Беда, соколики! Собирай шмотки, аттестаты я уже получил.

Жил он через дорогу, в школе, туда и пошел быстрым шагом. Хозяйка всплакнула. Нас она считала уже сыновьями, а Григория Ивановича — отцом их. Схватила ухват, полезла в печь. Мы записывали в мешки скудное имущество. Григорий Иванович снял с гимнастерки все ордена и медали, на плече его болтались казавшиеся игрушечными два «шмайссера», в ногах — все тот же объемистый вещмешок. Ни щи, ни каша в рот не лезли.



Красноармейских книжек своих мы не видели уже месяц, их нам на руки не выдавали — чтоб не покидали Крындина. Заспорили: идти за книжками к Лукашину или здесь ждать, когда само начальство проявит заботу.

Все мы внезапно умолкли, потому что обнаружили: уже не одну минуту среди нас находится человек, которого мы видим то у печки, то в углу, то сидящим за столом, но который продолжает тем не менее стоять у двери. Он как бы исчезал из поля зрения, чтоб возникнуть то здесь, то там. Нам показалось даже, что хозяйка прошла сквозь него, когда несла стопкой сложенные миски. Потом раздался звук, отрывистая нота. Что-то сгустилось в пространстве между столом и дверью, и мы наконец увидели командира, капитана, летчика.

— Вы поступаете в мое распоряжение, — произнес он, не нажимая ни на одно слово в коротком предложении, имевшем по смыслу значение приказа. — Всем сесть и написать родным, что переводитесь на другой фронт и в другую войсковую часть, номер полевой почты пока неизвестен. Приступайте.

Алеша заточил о край стола химический карандаш, я достал пузырек с чернилами. Один Григорий Иванович бездействовал.

— У меня нет родных, — заявил он.

— Тогда напишите товарищу Сталину... Или он вам — не родной?

Калтыгин как сидел на табуретке, так и продолжал сидеть, не желая подчиняться. На него и раньше накатывали приступы неповиновения, ори на Григория Ивановича, матери его и облаивай — наш командир с места не двигался и рта не раскрывал.

— Я — летнаб, — представился всем авиационный, воздушный, но не прозрачный капитан, он же летчик-наблюдатель, и без рывков или движений переместился к табуретке, на которой восседал непокорный Калтыгин. Замер перед ним. И вдруг издал сдвоенный звук, за пределами октав, а затем молниеносно вышиб из-под него табуретку.

Произошло чудо. Калтыгин продолжал сидеть — но не на табуретке, а неизвестно на чем. На воздухе, наверно. Тело покоилось в пространстве уступом. Мы вскочили с лавки и бросились к Григорию Ивановичу, чтоб подхватить его тело. Подсунули руки под его мышки, но командир наш будто околел, и только после пронзительного вскрика летнаба мышцы Калтыгина обрели эластичность, а тело — вес.

Как будто ничего не произошло, Григорий Иванович, посаженный на лавку, сказал миролюбиво:

— Товарищу Сталину пусть маршалы пишут... Образцы почерка тебе нужны? — деловито осведомился он у нового хозяина, который не счел нужным ему ответить.

Что-то все-таки Калтыгин написал... Под окнами уже стояла полуторка. Мы полезли в кузов, капитан — в кабину. Ехать было удобно, сидели мы на тюфяках, одеялах и подушках. Два часа нетряской езды — и мы въехали в лес. «Пионерлагерь № 8 Наркомзема», — прочитали мы на арке. Окна барачков заколочены досками, многоголосый щебет птиц заглушал мотор полуторки, летнаб указал на легкий дощатый домик, где в далекие сладкие времена спали пионервожатые. Мы переоделись в б/у третьей категории, то есть в рванье, подобранное, однако, по росту. Получили красноармейские книжки с татарскими фамилиями. Пищу, сказал летнаб, будут привозить трижды в сутки и оставлять ее у арки, туда же следует сносить пустые котелки и бачки. Оружие применять только для самообороны. Расположение пионерлагеря не покидать. «До завтра!» — крикнул летнаб из отъезжавшей полуторки.

О табуретке, вышибленной из-под него, Григорий Иванович не вспоминал. Да он, наверно, и не знал, что в течение нескольких секунд тело его опровергало все законы физики. Шагом рачительного хозяина обошел

он пионерские жилища, заглянул в домик, проверил воду в ручье, развернул карту, сориентировался. До Москвы не так уж далеко, на денек-другой можно отпроситься в столицу.

Во многих гнилых местах — знали мы — перебивал Григорий Иванович Калтыгин, осваивал их успешно, в разные одежды облачался, идучи на задания, к бутафории и бутафориям стал привычен, — и уж ему-то не пристало удивляться превратностям судьбы, тем более что не так-то уж плохо все вокруг выглядело: крыша над головой есть, жратву обещали подвозить, в наркомземовский пионерлагерь этот ни один заброшенный через фронт немец не сунется. Не крындинская изба, конечно, с хозяйскими щами.

Однако Григорий Иванович насупил густые брови, подозвал нас к себе и как-то жалко выдохнул:

— Ну влипли!..

## 7

### *Учитель находит Ученика. — Экзамен на аттестат диверсионной зрелости*

Летнаба этого мы прозвали Чехом. Никаким авиатором, конечно, он не был, хотя несчетное количество раз подбирал парашютные стропы, мягко опускаясь в намеченной точке земного шара. Служил он, по нашим догадкам, где-то на пересечении трех или четырех наркоматов, должности не имел, а просто консультировал тех, на ком останавливался выбор начальства. Его и Маньчжуром можно было прозвать, что-то восточное проглядывало в облике, в Харбине и Мукдене он бывал, тамошнюю эмиграцию знал досконально. И в Испании воевал, кое-какие испанские словечки проскальзывали в речи, он намеренно обнаруживал некоторые частички своей бурной биографии. Готовя нас к худшему, он рассказал об уязвимых точках главных тюрем Европы, и однажды, повествуя о Панкратце, пражской тюрьме, водя пальцем по схематическому разрезу этого заведения, заметил: «Вот этот коридорчик, запомните, очень любопытный, в конце его — звуковая яма, и что случится за поворотом — здесь не слышно, чем я и воспользовался...» С этого признания и стали мы называть его Чехом.

Поначалу мы видели его редко. Дюжина инструкторов сразу заслонила его, увела в тень. Строго по расписанию приезжали они воспитывать нас. Очень продуктивно научились мы стрелять из всех видов оружия, включая английское и французское, водить автомашины всех марок, познакомились с немецким бронетранспортером. Бывали дни, когда мы не слезали с мотоциклов, сам Чех приезжал на «цундаппе», глушил его, оставлял в кустах неподалеку от домика и возникал вдруг так, что казалось: он и ночевал здесь. После грубой обработки сырого материала Чех приступил к шлифовке подопытного контингента. Мы познали костодробительные и мышцераздирающие приемы при контактах с хорошо вооруженными людьми.

Несколько дней подряд мы ни на секунду не расставались с оружием, мы спали в обнимку с автоматом, мы ели, в одной руке держа ложку, в другой — гранату, мы поливали водой из ручья не столько себя, сколько навешанное на тело оружие, и настал час, когда в разных местах и в разное время сделанное оружие стало как бы рожденным вместе с нами, оно еще придано было нам в утробе матери, мы покидали чрево, оглашая мир младенческим криком и очередью из «шмайссера». За эти три недели мы освоили то, на что в мирное время ушли бы годы, и «шмайссер» стал мне так же привычен, как ученическая ручка с пером «88».

В один из приездов Чех вывалил на стол в домике более сотни железок, разобранные пистолеты всех систем. Он завесил окна накидками, за-

взял нам глаза и предложил на ощупь собрать из груды металла то, что сможет стрелять. Мы трудились два часа, отличился Алеша, скомплектовав румынский «мобель» и польский «вис». У меня получился «вальтер» и ТТ, успехи Григория Ивановича были скромными — всего «браунинг». Что талилось еще в горе деталей на столе — о сем ведал только Чех.

Кто из нас на что способен — это он узнал скоро, помог ему случай. Чех, возможно, специально подстроил его, когда решил однажды прогнать нас через полосу препятствий, на которой пионеры и пионерки сдавали нормы ГТО. Чех несколько усложнил полосу, разбросав на дистанции бега пустые бочки, мотки колючей проволоки да набив гвоздей в доски и бревна. По пояс голые, мы выстроились, я оказался самым маленьким, был короче Алеши на три сантиметра. С меня и начал Чех, сказав «Алле!» и шелкнув секундомером. Между мною и бревном, первым препятствием, радужными пятнами противно поблескивала лужа, у которой час назад стояла полуторка. Мочить и грязнить в луже брезентовые сапоги свои я не хотел, поэтому обежал ее, взлетел на бревно, побалансировал на нем, прыгнул, покрутился на перекладине, побежал по трассе, издали примериваясь к доскам, упал, пополз, схватил пустую бочку и бросил ее в яму, бочка стала опорой, я одолел яму, так в нее и не свалившись. «Две минуты сорок три секунды!» — провозгласил Чех, когда я вернулся на исходную позицию. Сказал, однако, что еще пять секунд сброшено будет с моего времени, ведь я бежал первым и Бобриков учтет мои ошибки. «Алле!» — И Алеша рванул вперед. Лужу с блестками нефти он обогнул не справа, как я, а слева, где посуше и потверже, выиграв у меня несколько секунд. О расположении гвоздей на бревне он узнал по частоте моих скользящих шагов, ширину канавы определил заранее по разбегу.

— Две минуты тридцать четыре секунды, — констатировал Чех и дал знак следующему, Калтыгину: — Алле!

Две минуты двадцать секунд — определил я заранее время Григория Ивановича, и начало бега подтверждало мой расчет.

Тремя бросками, тройным прыжком Калтыгин перелетел через лужу, напрямик, кратчайшим путем устремляясь к бревну... Восхищение было во взглядах, какими мы обменялись с Алешей. Григорий Иванович перепрыгнул, можно сказать, не столько лужу, сколько психологический барьер, неоглядной смелостью выгадав пятнадцать секунд. На бревно он взлетел так легко, что я загодя укоротил его пребывание на нем секунд на пять и глазам своим не поверил, когда Григорий Иванович, летящий на побитие рекорда, позорно шмякнулся на землю. Бревно ему удалось проскочить только после третьей попытки, а при соскоке с перекладины он кувыркнулся, не устоял на траве и боком повалился на нее.

Алеша горько вздохнул и приподнял ногу. Да я и сам понял уже, в чем ошибка.

Подошвы сапог Григория Ивановича, не пожелавшего огибать лужу, были замочены и заскольжены, те пятнадцать секунд, что выиграл он, растерялись на бревне, загубились частыми падениями на трассе пробега. Более того, он проколол гвоздем ногу.

Итог плачевный: три минуты одиннадцать секунд. Мы сдержанно позлословили над «товарищем Яруллинным» — кажется, под такой фамилией значился Калтыгин у инструкторов. Ждали приговора Чеха.

А тот упал в глубокое раздумье, в отрешение от сегодняшних и завтрашних забот. Он молчал — вжатый в себя, в полном сосредоточении на мысли, имевшей для нас — мы это понимали — решающее значение. Он размышлял — он, равнодушный ко всему, к вещам и людям, человек с особым устройством желудка, потому что никогда не видели мы его потребляющим пищу, — приезжал к нам рано утром, покидал нас поздним вечером, на обед и ужин приглашали мы его, а он всегда отказывался; ла-

дошкой зачерпнет воды из ручья, пополощет ею рот — вот и весь суточный рацион мужчины.

В руке Чеха продолжал тикать запущенный им секундомер, определял он, видимо, скорость чего-то другого. Наконец он щелкнул, выключая его. Поднял на нас глаза. Они, что нас уже не удивляло, бывали голубыми, карими, серыми. «Хорошо...» — промямлили бескровные губы. В этот момент и решилась наша судьба, о чем позднее признался мне Чех. В способе, каким Григорий Иванович преодолевал трудности, им же созданные, наш наставник (и мой Учитель) увидел знамение эпохи, точное и крайнее выражение мудрости времени: всегда и во всем действовать наикратчайшим путем, грубо и прямо, ни в коем случае не учитывая возможных последствий, и чем эти последствия тяжелее, тем лучше для дела, потому что только в безвыходных ситуациях оправдывается подобная логика борьбы и противостояния. Размышляя о нашем будущем, не мог не знать Чех и о том, что группа наша, оставив в болоте пленного живым и отрываясь от немцев, несколько суток молчала. Мы нашли единственно правильное решение, так ни разу не раскрыв рот. Одно лишь то, что мы, такие разные, могли поступать и думать вместе, предопределяло успех. Мы дополняли друг друга, составляя единое целое. В нашей троице воплотился идеальный образ давно лелеемого Чехом всесокрушающего коллектива, где роли каждого, очертившись зыбко, могли исполняться любым. (Лет через тридцать с таким же тщанием тренеры начнут подбирать хоккеистов для ударной тройки нападения.)

— Хорошо... — еще раз промолвил Чех и повел меня в лесную чащу. Приказал встать на пенек и раздеться догола, после чего внимательнейше изучил — зрительно, обонятельно и тактильно — мое тело, заглянув даже в задний проход. Прощупал все мышцы, кончики его пальцев касались неровностей моего черепа, поглаживая каждый бугорок. Десять, пятнадцать минут длилось это штудирование, Чех то приближался ко мне, то отходил, делая круги. Подошвы мои приятно ощущали срез ели, пондобившейся наркомзему и спиленной им. Был полдень 14 июля 1942 года, года еще не прошло с того момента, как я, крохотный листочек, ураганом сорванный с вечнозеленого людского дерева, не раз прибываясь к земле, не раз же и взмывал к небу, чтоб в нежной духоте воздуха мягко опуститься на косою спил. Музейным экспонатом стоял я на солнцепеке — в младенческой наготе, вдыхая запахи перегретых древесных стволов, ароматы нескошенных трав и внимая рассуждениям Чеха о превосходстве голого человеческого организма над человеческим же телом, с макушки до пят увешанным пулербросающими приспособлениями. На руках сражающихся людей — около пятидесяти миллионов единиц легкого стрелкового оружия. Люди эти стреляют друг в друга, они убийцы, не несущие наказания. Они кажутся себе всеильными. Но они немощны, они безоружны перед человеком с голыми руками. Они мгновенно теряют свои боевые навыки, сталкиваясь с теми, у кого нет ни пистолета, ни винтовки, ни автомата. Они даже стреляют в безоружных не целясь и чаще всего — мимо них. Самую острую опасность для вооруженного человека представляет как раз безоружный, чем надо и пользоваться. У безоружного человека выбора нет, если он, конечно, не стал безоружным ради плена... Мне, внушал Чех, надо сполна использовать отпущенные природою данные, и прежде всего то, что выгляжу я незрелым мальчиком, недоразвитым, никто не видит под моей гимнастеркой превосходной мускулатуры...

Приказано было одеться, что я и выполнил. Теперь мы шли по лесу, не выдавая себя ни шорохом, ни дрогнувшей веткой, ни вспугнутой птицей.

— Вот береза, — сказал Чех. — Ты видишь ее, белоствольную, зеленолиственную. Но зажмурь глаза, представь себе, что перед тобой — ель. Представь, вызови в воображении образ ели, держи этот образ в себе и начинай, открывая глаза, вмещать образ в реальную березу. Подмени березу

елью. Это трудно. Но тренируйся каждый день. Ты воспитаешь в себе то, что я разовью потом до умения предвидеть, до способности предвосхищать. Тренируйся, учись. И твой противник будет предушервлен... Взгляд! Взгляд! — вбивал Чех в меня слова, будто вонзал копыя. — Ты должен вогнать в соперника эпизод из ожидаемого тобой будущего, пусть он увидит себя пронзенным пулею, истекающим кровью... Пусть он вступает в схватку с тобою, подавленный мыслью о невозможности победить тебя!..

Деять — утробных, так сказать, — месяцев прослужил я в армии и понимал, что главное в службе — знать, в каком порядке высятся над тобою начальники. Чех был выше всех, и Чех устроил нам изуверский, иного слова не подберешь, экзамен.

В двух километрах от пионерлагеря пролежала дорога, параллельная той, по которой к штабу корпуса проносились автомашины. На развилке ее Чех установил табличку «Объезд» со стрелкой, которая погнала весь автотранспорт в сторону пионерлагеря. Самодельный шлагбаум пресекал все попытки шоферов проскакать мимо трех красноармейцев, то есть нас. Мало кто из них верил, что ничем не оборудованный КПП — настоящий, были мы безоружными, в чем и заключалась провокационная затея Чеха. Кое-кого это приводило в ярость, многих сбивало с толку, а некоторые выдирали из кобуры ТТ. И было за что угрожать нам. Чех не ознакомил нас ни с реквизитами, ни вообще с образцами воинских документов Красной Армии на этот месяц, надо было учиться на ходу, всматриваясь в глаза беснующихся командиров, отделяя то, что называется уликами поведения, от естественного гнева или терпеливого спокойствия спешащих в штаб людей. Однажды из остановленного автобуса донеслось: «Не подходи! Взорву!» Я подпрыгнул, чтоб увидеть нутро автобуса, — и (молодой, глупый!) развеселился. У человека в командирском плаще висела на груди сумка, похожая на ту, которой хвастался Любарка, в поднятой руке — связка гранат, двумя пальцами зажата коробка спичек, а на сиденье — ведро, определенно с бензином. Шофер автобуса в страхе воткнул голову в приборный щиток. Две «эмки» шарахнулись от крика в сторону. Что делать — я не знал.

Зато знал Григорий Иванович, людей знал.

— Да не нужны мне твои документы, — миролюбиво сказал он человеку, который уже подносил спичку к коробке. — Ты мне скажи, у кого в штабе фронта самые длинные усы?

Ответ последовал не сразу. Человек соображал.

— У техника-интенданта первого ранга... Фамилию не скажу.

— Михайличенко его фамилия... Поезжай.

Пропустив затем обе «эмки», он объяснил:

— Шифровальщик, это точно...

Любарка, вспомнилось, доставлял документы не столь важные, как шифры, но автоматчиков для охраны требовал.

— Так то Любарка, — сплюнул Григорий Иванович. — Дурак Любарка. Немцы как раз охотятся за теми, у кого охрана.

Косвенно подтвердив теорию Чеха об уязвимости вооруженных людей, Григорий Иванович обеспечил нас и практикой, посигналив глазами и указав на двух красноармейцев, у которых он проверил документы и которым разрешил идти дальше. Вид у них был заморенный, на просьбу Алеши о табачке ответили согласием, полезли в карман за кисетом, были тут же нами свалены на землю и связаны. Алеше достался ППШ, мне — винтовка, вещмешки мы оставили нетронутыми. Подкативший на мотоцикле Чех осмотрел нашу добычу, поговорил с красноармейцами, вытряхнул на траву содержимое мешков. Красноармейцы, как и предполагал Григорий Иванович, были совсем недавно переброшены немцами за линию фронта. Поломавшись для форсу, наш командир посвятил нас в тайну ясновиде-

ния. Красноармейские книжки в действующей армии были введены приказом от 7 октября 1941 года, а весь многолетний опыт Калтыгина говорил: в нашей армии даже приказ об отступлении не будет исполняться немедленно, и красноармейские книжки, выданные в том же октябре 1941 года, не могли не возбудить подозрения.

Чех объявил, что экзамен нами выдержан, но к новому заданию мы не подготовлены, кое-какие шероховатости устранятся накануне выброски, в детали предстоящей операции он посвятит нас позднее, а пока же — в Крындино, двое суток отдыха, закрепленные за нами мотоциклы можно оставить себе, Костенецкий предупрежден.

## 8

*Григорий Иванович приоткрывает тайну своего неземного происхождения. — Кто победил, или Философские споры на Ляйпцигерштрассе*

Ни одного, понятно, документа у меня под рукой нет, отсутствуют они и в сейфах, память же дает обидные сбои, и то, о чем написано ниже, случилось то ли в лето 1942-го, то ли годом позже. (А может, и вообще не «имело места», потому что все — ложь, и если кто-либо когда-нибудь о чем-либо напишет правду, и только правду, то все последующие сочинения станут лишними, повторяющими предыдущее.) Но не в 1944-м, это уж точно, беспогонными катили мы на мотоциклах прочь от начальства, давшего нам волю до полуночи. В железнодорожном клубе на станции что-то намечалось, вроде бы даже танцы, на которые никто из нас не был охоч, но мне-то, шенку, хотелось полаять на что-то движущееся; подъехали и узнали, что «кина не будет», мотоциклы привалили к заборчику, сидели, посматривали, посмеивались, друг от друга не отходили: обламывая строптиво Калтыгина, Чех в документы его вписал какую-то нелепость, на что и клевали патрули. Вот, оберегая его, и держались мы вместе, глаза на народ. А народу было — сельдей в бочке меньше, на путях дремал состав без признаков паровоза, над вагонами курились дымки, котловым довольствием станция не обеспечивала, предоставляя взамен кипяток в неограниченном количестве. На базарчике торговали яблоками, вокруг и поверх его витали обычные сделки, шла менка, и гулом своим, гомоном, мельканием азиатских лиц, залихватским хохотом и визгом зажатых в кольцо молодух затопленное людьми пространство напоминало стан кочевников.

Красноармеец, появившийся перед нами, не сразу привлек внимание. Людская волна выкинула его под наши глаза; он смешно — локтями — подтянул кверху присползшие шаровары, привычно ковырнул в носу, что в городе означало бы нечто подобное взгляду человека на часы, высыпал остатки махорки на оторванный от газеты клок бумаги правильной формы, закурил и сплюнул. Раскосые глаза его выражали следующее: меня не тронете — и я вас не беспокою, а уж об остальном договоримся...

Кое по каким признакам я тренировки ради (Чех наставлял: учись — ежедневно и ежечасно) установил, что этот низкорослый боец уже дважды побывал в госпитале, женат, воевать начал год назад, побывал в окружении, родом из тех мест, где славянство подпитывалось кровью и соками разных вотяков, черемисов и удмуртов, и большую часть жизни провел, за лошадью идучи. Эшелон его формировался трое суток назад, где-то за Москвой, там же он и побрился у полкового парикмахера; в сидоре его, оставленном в вагоне и не брошенном в кучу, а прикрученном к чему-то капитальному, несъемному, неумыкаемому, хранился бритвенный станок с лезвием «Звезда».

Такой вот корявый мужичонка маячил перед нашими глазами — почесываясь, поглядывая на торжище. В кисете его еще оставалось махорки на две-три закрутки, тем не менее он, докурив свою сигарку, стрельнул у



кого-то самосадику, на будущее, вприпас: как только скрылся в толпе богатей, одаривший его табачком, мужичок ссыпал прибыль в кисет, явно не подаренный и не домашний, а сшитый из портянки.

В этот момент Алеша ногою осторожнейше тронул меня, призывая к бдительности и вниманию; я чутко осмотрелся и тихо поразился.

Григорий Иванович выглядел полным придурком: нижняя губа отвесилась, лицо обмякло, в глазах — ужас, как у человека при первой бомбежке, и бомбой, еще не рванувшей, был этот жадноватый красноармеец. Калтыгин порывался то ли встать, то ли травой вжаться в землю. Решился: встал. Утвердился на покачнувшихся ногах. Сделал шаг. Второй.

— Хатурин!.. Хатурин Федор!.. — позвал он заискивающе, угодливо даже.

Красноармеец глянул на него искоса, через плечо и восстановился в прежней позе независимого наблюдателя. Видимо, решил, что ослышался. Тогда Калтыгин наложил пятерню на его плечо, разворачивая к себе.

— Да я это, — произнес как-то искательно Григорий Иванович. — Не узнаешь?

Тот, кого называл он Федором Хатуриным, прищурился, взгляделся в него и непонимающе покачал головой, сожалея, что не может доставить удовольствия мил человеку, удовлетворить притязания того на давнее знакомство.

— Да из Тарбеева я, как и ты... — с некоторой досадой сказал Григорий Иванович, однако себя почему-то не называл. — Как живете там?.. Воронова Нюся — как она?

— А все так же она! — тут же ответил Хатурин Федор, скрытно поглядывая на лепившегося к нему незнакомца, но так и не узнавая его, что, впрочем, было неудивительно. Для простого тарбеевского колхозника командир был крупным начальником, от которого надо всегда держаться подальше.

— Тебя-то я хорошо помню, — оживлял Григорий Иванович память Хатурина. — Ты на Анке Шивановой женился, из Вешняков, а жил за прудом, рядом с Крикуновыми. Как они, Крикуновы?

— В порядке Крикуновы, — все так же бодренько отвечал Хатурин, и о каких тарбеевцах Григорий Иванович ни спрашивал, ответ для него находился один и тот же, соответствующий интонации вопроса. На всякий случай Хатурин добавлял словечки «благодарствую» или «спасибочки», что позволяло догадываться: Калтыгин так еще и не признан земляком, словечки эти деревня пускает в ход при встрече с опасным городом. Для той же цели Хатурин Федор искал глазами в толпе кого-либо из знакомых, окликнув которого можно уйти от приставаний. А Григорий Иванович начинал злиться: разговора не получалось.

— Да ты в кусты не смотри, землячок... Тебе что — махра нужна? Времени у меня в обрез, а то бы я тебе ящик ее притаранил...

Из кармана галифе он достал пачку «Северной Пальмиры» и великодушно распахнул ее. Помявшись из вежливости, Хатурин выколупил из плотно набитого ряда стройную длинную папиросу, которая никак не хотела держаться в его заскорюзлых пальцах, — танковая башня, водруженная на стог сена, выглядела бы уместнее.

Тут-то и прояснилась память тарбеевца. Командиров он уже повидал, а вот «Северная Пальмира» сразу ввела дарителя в господский, барский чин: хозяином жизни оказался человек, называвший его земляком.

— Благодарствую... — промямлил Хатурин, и папироса в пальцах его поплыла и замерла над коробкою, которую продолжал держать открытой Григорий Иванович, намереваясь, видимо, предложить Хатурину не церемониться, а набрать папиросин побольше, а то и все забрать.

— Спасибочки, — потвердевшим голосом отказался от дара Федор Хатурин, и пальцы его папиросину уронили — на землю. — Мы уж как-ни-

будь своим добром обойдемся, оно и привычнее... — забубнил он, и с каждым звуком голос его прибавлялся весельем, свирепеющим весельем. Мелькнул и застыл на мгновение взгляд — ненависть была в нем.

— Живой никак? — будто удивился Хатурин, ухмыляясь и тяжело дыша, показывая кривые желтые зубы. — Х-ха! — выдохнул он с торжеством и по-собачьи встряхнулся, в долю секунды успев обежать взором станцию, эшелон и две тысячи красноармейцев, саранчою покрывших землю и растревоженно гудевших. — И когда тебя только могила примет?! Но примет, обязательно примет, помяни мое слово — примет!

Он повернулся и зашагал — быстро, странно как-то, будто гнал перед собою консервную банку, рывками шел, размахивая короткими руками, продолжая, наверное, посылать проклятья земляку. Врезался в толпу и смешался с нею.

Ни единого слова, ни одного жеста не проворонил я... Глянул на Алешу — а того нет, Алеша пропадал целый час; хмурый как туча, Калтыгин тихо бесился, догадываясь, что его подчиненный настиг тарбеевца, выскреб из него все невырвавшиеся обвинения, вымотал весь клубок...

Неделю спустя Алеша улучил момент, рассказал мне, кто такой Григорий Иванович Калтыгин.

Нет, не в Тарбеево родился наш командир, а в селе Иржино, в двадцати километрах от Арзамаса. В Тарбеево семья перебралась в 1917 году, Грише в ту пору было пять лет. Рос он загнанным ребенком, старшие братья отличались некрестьянской хваткой и вскорости сиганули в город, изменили фамилии, заметая следы и давая младшему писать во всех анкетах, что о судьбе их он никакими сведениями не располагает. Все хозяйство Калтыгиных — конь, корова, птица, двор и двенадцать десятин (много это или мало — я не знал, да и Алеша, рассказывая мне, мог поднапутать). Держалось хозяйство на Грише. Школу первой ступени кончил он еле-еле, не до учения было, спину гнул на пашне и огороде, а при согнутой спине глаза на девок не поднимаются. Известно, как сложилась бы жизнь Григория, если б в 1929 году нищий район не приютил агитатора, проповедник этот держал при себе маузер, что идеям его придавало убедительность, идея вообще возвышается, когда она при оружии, агитатор к тому же был из тех, кому кажется: ежели поднапереть плечом еще немножечко, то стена людского горя рухнет и воцарится райская жизнь. Гришка Калтыгин, зараженный идеей, сколотил в Тарбеево ячейку, открыл сельский клуб, где громил Бога и попа из соседней деревни. Постигая азы веры, Григорий пашню забросил, приболевший отец обоснованно возроптал, тем более что агитатор сам определил себя на постой к Калтыгиным, по какой-то желудочной болезни ел мало, но, уверял Хатурин, за столом «гоношился» и был в конце концов выдворен. Неумный агитатор отличался еще и повышенной возбудимостью, стал таскаться по молодухам, беря с собою Григория, который открыл новую область приложения своих недюжинных сил. Между тем агитатор смело отрапортовал в район о полном торжестве идеи, а Григорий записал отца в колхоз вместе со всей живностью, включая кур. Когда же ночью отец все-таки вернул себе корову, Григорий вновь реквизировал ее, получил в награду (агитатор пожертвовал) маузер и, несмело помахивая им, погнал отца в район. А уж за матерью приехали оттуда сами милиционеры, тем же днем. Кого заодно с матерью везти в район — на них указывал Григорий Калтыгин, ведя милицию по главной сельской улице и помечая мелом дома особо вредных кулаков и тех, кто препятствовал Гришке и агитатору портить девок. Усердие было замечено, агитатора послали учиться на красного профессора, но деревенскому житью Гришки пришел конец: оставшиеся мужики готовы были разорвать его на части, и будущий капитан РККА двинулся в район, но почему-то оказался не у дел. Еще чуть-чуть — и пришлось бы удариться в бега, превратиться в бродягу, кочевника, много таких развелось в ту пору, вырванные из се-

мей дети бежали в направлении, указанном свистком паровоза, обживали бараки или вливались в расплывшиеся банды...

Что стало дальше с Григорием Ивановичем — это мы с Алешей когда-нибудь да узнаем. Но сценка на станции, сама фигура Федора Хатурина так отпечатались в нас, что мы о нем помнили всю войну. Более того, на той же Ляйпцигерштрассе раскрепощенные нами хористки затеяли спор о том, что же произошло в период между июнем 1941 года и маем 1945-го: мы выиграли или они, немцы, проиграли? В шуплых и озорных хористках горел огонь святого бюргерского патриотизма, они знали к тому же, что мы их не только не пристрелим, но и дадим разграбить часть Берлина, а именно квартиру оперной бабы, когда-то написавшей донос на мать Алеши. Они поэтому не стеснялись, никого и ничего не боялись, они орали, как на спевке, о том, что азиатские орды все-таки в Германию вторглись, как ни старался Адольф предотвратить это нашествие. Мы же с Алешей сцепились: я, воспитанный Чехом, уверял, что Великая Победа, до которой один шаг, произошла, случилась, возникла, явилась — волею неведомых нам обстоятельств и сил явно inferнального происхождения, а друг мой тыкал пальцем на окно, под которым жгли костер солдаты какой-то там дивизии, и кричал: «Хатурин Федор — вот кто победил! Он!» И, отпихивая лезших к нему хористок, напоминал: миллионы Хатуриных — лучшие солдаты этих лет; упорство их доводило немцев до озверения, до иступления, потому что уничтожить таких солдат было невозможно: размажь их по земле траками «тигра» — и вдогонку услышишь, как по броне чиркнет пуля из мосинской трехлинейки 1891 года. Из века в век таких Хатуриных держали в худом теле, стреножили царевыми грамотами, постановлениями Правительствующего Сената, указаниями волостных и районных начальников. Жизненным поприщем этого затюканного и замордованного мужичка всегда была земляца, земельный надел, семидесятисантиметровый слой почвы, в благодарность за труды дававший пахарю прокорм, пищу для него и скотины. Ее, земляцы, всегда было мало — чтоб показать себя на ней, чтоб развернуться по своему умению и хотению. Но, когда земли стало необозримо много, плоды рук оказались неразличимыми в совокупном продукте, копаться в земляце почему-то захотелось, сколько ни заставляли трудиться разные райсельхозотделы и уполномоченные. В семье и в самогоне проявлялся мужичок, и если уж напивался, то бил бабу смертным боем, мудохал. В первые дни войны такие мужички могли сотни верст бежать в панике, то есть планомерно отступать вместе с корпусами и армиями. Но наступал вдруг момент такого упадка сил, когда ноги уже не держали бегущего, когда он, фигурально выражаясь, сваливался на дно ямы, откуда уже не выбраться, поднимал голову к небу и видел: вокруг ощеренные немецкие автоматчики. Вот тут-то и просыпались в мужичке исполинские силы и страсти, все неизрасходованные гражданские права, и, спасая никчемную свою жизнь, которая казалась немцам уже конченной, он проявлял диковинную смекалку и расчетливую отвагу, в него вселялся никем еще не измеренный дух общности со всей вспаханной и неспаханной землей России, срабатывали еще не познанные механизмы психики, на все инстинкты русского человека испокон веков накладывались ощущения-рефлексы от громадности и громоздкости державы, границы которой неизвестно где, от самолюбивого неприятия всего иноземного, от простора и шири, которые никогда не убудут, от осознания зачуханности своей, неотмываемой до того, что ею можно гордиться, от проникновения в собственное величие, потому что от дедов и прадедов знаем: на твоих костях государство держится, только на них, поэтому государственные мужи и могут дурить, потешаться, паясничать, скоморошничать, торговать в убыток, голодать, сидя на мешке с деньгами, устраивать гульбища при пустой казне, дурным глазом смотреть на соседей, пугая их несметной ратью...

*Незримые железные маски. — Городской транспорт на лесной поляне. — Летим, прыгаем и приземляемся. — Михаил, основатель династии Бобриковых*

Пора, однако, возвращаться в Крындино. Туда прибыл Чех. Всех нас троих рассадили по разным классам школы, под диктовку своего Тренера-Наставника (или Учителя — кому как нравится) я заполнил анкету из более чем шестидесяти пунктов. Ни одно слово и ни одна цифра в ней не соответствовали правде, я обрел новую фамилию, я теперь не в Сталинграде родился и не 28 августа, моими родителями стали абсолютно незнакомые мне люди. Я учился в разных школах разных городов СССР и даже успел поступить на первый курс Института иностранных языков. Все написанное мною было враньем, кроме почерка, но и его я лишился, потому что после заполнения анкеты и написания автобиографии к столу подсел вошедший в класс командир, в котором я узнал инструктора по агентурной работе, этому делу учил он меня еще там, на курсах. Естественно, мы сделали вид, что не знакомы. Чех соглашающе кивнул, прочитав написанные мною документы, лживые от начала до конца. Собрав со стола все бумаги, командир унес их с собою, а Чех проверил мое умение сосредоточиваться на внутреннем объекте. Я созерцал себя, надеясь услышать «манану», потом рывком прыгнул в реальность. Вернулся командир, все анкеты, автобиография, обязательства и подписки стали машинописными, я вывел какие-то закорючки под ними, затем рукописные плоды моего полуторачасового труда скомкались — при мне же — и сунулись в печку. Командир кочергой оттянул вьюшку, зажженная спичка воспламенила бумаги.

Примерно так же покончено было с прошлым Алеши, который Алешею оставался только для нас и то наедине, чему он порадовался. Нам ждали громкие и героические дела. Другого мнения о происшедшем был наш командир. Григорий Иванович грустно — чего от него не ожидалось — промолвил, наливая за ужином водку себе и Алеше:

— Нехорошо они с мальцом нашим поступили... Мы-то безродные как бы, сгинем — и никому дела нет. А мамаше Ленки даже похоронки не пришлют.

Алеша звякнул стаканом о стакан, выпил и бодро ответил:

— Не каркайте, Григорий Иванович!.. Предчувствие у меня есть: все мы до Берлина дойдем. А уж что после — извиняюсь, догадок нет...

Тут только до меня дошло, что отныне мы — и я в том числе — безвестные, ничейные, мы не значимся ни в одном списочном составе, нас вообще нет в армии, мы вроде бы и не рождались даже. Тем не менее все наше перечеркнутое и сожженное прошлое существовало, подтверждалось этим ужином, небывалой грустью Калтыгина, жалеющего меня, Алешею, в котором я жил еще тем, зугдидским, мальчуганом. И Лукашиным — этот заглянул к нам перед ужином и твердо обещал: все письма будут храниться у него, вернемся — он из рук в руки передаст их нам. И Костенецким. Полковник долго за час до ужина, как равный с равным говорил со мной, увлечение музыкой полковник приветствовал, однако же считал, что время мною упущено, серьезным музыкантом не стать уже, нет смысла поступать после войны в консерваторию; университет, филологический факультет с последующей специализацией — вот к чему надо стремиться. Музыка может только способствовать речевым навыкам. «Кантулия» не «Кантулия», но аккордеон ждет меня!

В эту ночь нас увезли в пионерлагерь. Полоса препятствий дополнилась немецким штабным автобусом, мы решетили его одиночными выстрелами и автоматными очередями, вскакивая внутрь через окна и обе двери. Однажды, нащелкавшись кнопкой секундомера, неудовольствованный

Чех полез в продырявленный автобус, сел в центре на распотрошенное пулями сиденье, махнул рукой: «Давай!» — и запустил стрелку. Штурм длился несколько дольше прежнего, одна из пуль срикошетила и обожгла Чеху шею. Поджав бескровные губы, он недоверчиво смотрел на циферблат. В автобусе пованивало горелой ватой. Оценки мы не услышали. Зато получили ценный совет, один из многих:

— На будущее: достаточно бросить кирпич на крышу автобуса — и все в нем сидящие глянут вверх. Или пригнутся. На этом отвлечении внимания можно сыграть.

Он все знал и все умел, тихий голос его становился вкрадчивым, когда, смотря куда-то под ноги и водя по земле прутиком, Чех излагал секреты своего ремесла. Он показывал нам, как проверять парашют, как прыгать на горящий лес и что делать, если в горах потоки воздуха тянут тебя в ущелье, откуда не выбраться. Трижды мы прыгали с больших высот, согласованно приземлялись. Однажды покинули самолет вдвоем, держась за руки: я, Чех и Алеша. Мы поняли, что воздух так же плотен, как и вода, и в нем можно плавать, кувыркаться и покоиться, в воздухе есть щели, ямы, горки.

С самим заданием познакомили нас поэтапно; Григорий Иванович потребовал макет местности с объектом, на который нас нацеливали. Макет вылепили — но без названия населенных пунктов, с картой не сравнишь. Назначили наконец день вылета: завтра после захода солнца. Карты развернулись на последнем инструктаже в пионерском домике. Ни Костенецкого за столом, ни Лукашина — полковник и майор начальствуют отныне над нами только «по хозяйственной линии». Десять суток отводилось на задание. Вот район высадки (карандаш Чеха обвел его кругом), вот маршрут следования, вот место ожидания, вот предполагаемый путь автобуса или легковой машины. Цель — портфель в руках одного из едущих. Подробности — за час до запуска моторов. Тогда же — шифры. В зоне ожидания — полное радиомолчание, только прием.

Сто шестьдесят килограммов — с таким грузом мог прыгать богатырь Калтыгин. «Ломовая лошадь», — пожаловался он неизвестно кому. Подлетел Алеша: «Григорий Иванович, родной, позвольте облегчить вашу участь, отдайте спирт...» Мой счет был не в килограммах, я мысленно выводил цифру 22 на ромбике под значком парашютиста, и я верил, что на обратной стороне ромбика число убитых мною лично немцев перевалит за дюжины. Верил, потому что видел отчетливо каждого немца, падающего навзничь. Из плотного времени Чех выкраивал минуты, чтобы позаниматься со мною. Мысль, наставлял он, опережает действие, и действия надо подгонять под уже созданные воображением финалы. Я начинал мнить себя Великим Диверсантом и воспитывал свое тело образами себя. Я успевал за три секунды швырнуть гранату и повалить мишени, стреляя по ним из двух пистолетов сразу. Во мне прибавилась масса и сила мышц, они подчинялись мысли, узелочки, сплетения и бугорочки мускулов контролировались неумным воображением.

Мы спали четырнадцать часов, солнце катилось к западу, когда Чех в палатке давал нам последние напутствия. Зачихали моторы «Ли-2». Поднялись в самолет по лесенке, Чех награждал каждого мягким шлепком по затылку. Взлетели наконец. Высота набиралась большая, в ушах позванивало. Мы вновь увидели солнце в иллюминаторах, потом засияли звезды. Над линией фронта пролетели в темноте. Мне почудилось на мгновение, что из кабины пилотов доносится «манана».

На полет отобрали, уверял Чех, самых опытных летчиков, да мы и сами чувствовали, что самолет ведут знающие ребята. Встали со скамеек одновременно с красным сигналом. Первым пошел перегруженный Григорий Иванович, Алеша с рацией — за ним, я падал растопыренной лягушкой, пока не увидел оба белеющих купола.

Приземлились мы очень удачно, искать друг друга не пришлось. Лес рядом, парашюты закопали и поделились грузом. Через час определились, выйдя на дорогу. Шли по ней до первых фар, проехал семитонный «бюссинг» с охраной. Теперь — еще одна дорога, перейти ее Григорий Иванович вознамерился с ходу, но Алеша одернул его: нельзя! Уж очень везло с самого начала, это опасно. Отошли от дороги, взяли севернее, слышали журчание помеченного на карте ручья и по нему добрались до южных окраин лесного массива. Перестроились: верткий Алеша впереди, за ним Григорий Иванович, я, самый прыткий, то замыкал цепочку, то двигался параллельно, забегая и отставая. За сутки прошли семьдесят километров, короткий привал отвели на естественные нужды. Я, мальчик, начинал уже понимать, что такое настоящая мужская работа.

Еще восемнадцать часов хода — и мы оказались в точке ожидания. Чех знал, что приземлились мы в намеченном месте и в точно предсказанное время. Я принял шифровку, Алеша расколдовал ее и сжег, поднеся к ней шегольскую зажигалку свою в виде дамского браунинга. С вещницей этой он не расставался, дразня меня ею: «Вот начнешь курить — подарю!» Спать залегли в мелком кустарнике. Каждый уже знал: цель — добыть некий портфель. И каждый уже начинал догадываться: начальство наше совсем спятило — нет, не таким путем узнаются секреты в портфелях!

Теперь еще одна дорога — шоссейная, оживленная, ни разу не бомбленая, партизан отсюда удалили три месяца назад, за портфелем, видимо, охота шла не один год, если верить Григорию Ивановичу; всегда командир наш преувеличивал важность задачи, поставленной перед его группой. С высокого вяза рассмотрели биноклями дорогу, определили место перехода. Дождались темноты. Рацию спрятали. У меня и у Алеши к этому шоссе был особый интерес, мы поэтому особо приглядывались к мотоциклистам.

Еще раз проверились и в полночь оставили дорогу за спиной. Лес редел. Сели, стараясь не дышать: мы были на краю минного поля, вышли к нему правильно, собачий нюх Алеши нас не подвел, он распознал ельник в густоте лесных запахов, а мины немцы поставили сразу за ельником.

Когда засветлело, я пополз, пальцами ощупывая траву и воздух. Мины оказались обычными, противопехотными, соединенными в цепь по контуру леса, шахматный порядок чередовался с разбросом наугад. Мешали муравьи, особо злые. Сзади успокаивающе посвистывал Григорий Иванович: не спеши, отдохни. По сделанному проходу прополз Алеша, стал помогать. Мины оставили в земле, зарубками поместили безопасный выход из леса. Под ногами — желтая хвоя и прошлогодний лист, деревья росли так плотно, что кроны их закрывали солнце и шум свой отдавали ветру. Было тихо, таинственно, куда-то подевались птицы. Мы будто в тумане брели. Отвернули пласт мха, пописали и показали в общую кучу. Вздремнули по очереди. Воды во фляжках — на сутки, не больше, вся надежда на то, что в таком лесу обязан биться ключ. А нет его — не беда: моча человеческая и для ран целебна, и жажду утолит, и примочкою послужит, и... да мало ли на что способна она.

Ключ, однако, нашли, напильсь, наполнили фляжки. У зарослей дикой малины Григорий Иванович остановился, примерился — и к местности, что наяву, и к значкам на карте.

— Здесь поскучаем, — сказал он.

Алеша откурился и подсел ко мне.

— Посольский приказ ликвидировали аж при Петре Первом, — продолжил он рассказ, начатый еще на аэродроме, перед вылетом. — А он — Наркомат иностранных дел той эпохи, людей туда отбирали грамотных, и Михаил, фамилия которого да будет тебе неизвестна, работал во втором повытье, в отделе, ведавшем дипотношениями со Швецией, Молдавией и некоторыми другими странами. Роду Михаил был, как знаешь, худого, но выдвинулся быстро, за три года — от устного толмача до переводчика,

способного изготавливать тексты и сравнивать их с иностранными версиями. На чем и погорел, но дал как бы запев, зачин песне, которую подхватил весь род его...

Я слушал. Я очень внимательно слушал. Я помнил, что дед мой по отцу — землемер, а по матери — сельский учитель, но кто были их родители — это уже терялось во мраке неизвестности, в глубине давно отшумевшего века, покоилось на дне эпох, и я мог предками своими считать всех славян от Пскова до Киева, весь народ от литовской границы до степей с татарами. А щепетильный Алеша брезговал таким массовым родством, он, стебелек, питался давно, казалось бы, иссохшими корнями, оживляя их тем, что знал и помнил о предках. Этот Михаил (фамилию Алеша остерегался произносить) был нещадно бит батогами, за дело бит, потому что при составлении ноты намеренно совершил ошибку, искажил титул государя, а это умаляло достоинство всего государства Российского. Алеша, однако, находил оправдание Михаилу. Нота, то есть грамота, была составлена в выражениях, где сквозняком погуливало холопство и раболепие, наследие той поры, когда униженная татарами Русь юродствовала, подставляя свою задницу под плетки иноземцев. В Михаиле, предполагал Алеша, заговорила обыкновеннейшая гордость, формы проявления ее столь у нас причудливы, что европейцу не постичь их. (Я слушал разинув рот.) Чем лечил задницу Михаил — потомкам знать не дано.

— Подъем! — сказал Григорий Иванович.

Мы поднялись и пошли. Я твердо решил: дети мои беспмятными не будут, я собою обозначил точку, от которой разойдутся линии, устремленные в будущее, в смутную даль коммунизма. После взятия Берлина я стану студентом, я буду работать в Наркомате иностранных дел и писать грамоты, то есть ноты, а по вечерам трогать клавиши «Кантулии», исполняя «манану» вместе с флейтой Этери.

Два «мессершмитта» снизились и прошли над лесом, видеть нас они не могли, но обнаружили бы деревья, покореженные взрывом мины, заметили бы и дымок, потому что посадочный курс пролегал над зеленым массивом, не при всех ветрах, разумеется. В воздухе отработывали курсанты свои летные часы, садились и взлетали, на аэродроме приземлятся и транспортный «юнкерс», тот, на котором доставят документ, ради чего и сбросили нас.

В лесу хорошо пахло, птицы пели на все голоса. Я все более утверждался в мысли, что только благодаря мне Верховный Главнокомандующий получит сверхсекретный немецкий документ, отметит это обстоятельство в каком-нибудь приказе, и потомки мои, роясь в бумагах далекого XX века, встретят мою фамилию.

## 10

*Два кореша из Вюрцбурга. — Экскурсия на шоссе. — Неизвестный Друг подаст сигнал. — Перочинный ножик — голубая мечта бесстрашного советского диверсанта. — Бобриковы безумствуют*

Двое суток ушло на то, чтоб осмотреться и понять, где мы и как удачнее перехватить посылку из Берлина, тот документ, за которым нас отрядили. В глубине леса — объект, обнесенный забором и минами, сторожевыми вышками и колючей проволокой, подходить к нему Чех не разрешал, немцы тоже не подпустили бы, да и не на объект (Калтыгин называл его «фольварком») нацелились мы, а на дорогу, по которой поедет с документом берлинский связной. Его, конечно, будут охранять, на аэродроме учебного авиаполка он не задержится, сразу направится к объекту, автомашина или бронетранспортер покатают по дороге, огибающей лес, притормозят у мостика через мелководную речонку, перевалят на другую сторону, еще раз остановятся у КПП, чтоб резво одолеть пять километров и заме-



реть перед воротами фольварка. По уверениям Чеха, связной прибудет не один, с группой старших офицеров, а тех надо, по обычаям всех армий всех стран, ублажать, хозяин объекта не поскупится на угощение, до Бело-вежской пуши далеко, охоту не организуешь, на рыбалку немцы не поедут, но уж в городе — а до него рукой подать — можно отвести душу. Часть офицеров смоемся в Минск, и связной, проторчав на объекте двое-трое суток, на аэродром отправится с поредевшей свитой, причем, убеждал Чех, охрана будет ослаблена. Значит, портфель с документом брать надо в тот день, когда за связным прибудет самолет, а в какой час берлинский Любарка тронется в путь — это подскажет человек с объекта, сочувствующий советскому командованию: около КПП он выронит смятую пачку сигарет «Бергманн Приват».

С этого КПП мы и не сводили глаз. Первая неожиданность: не полевая жандармерия несла дежурство, а солдаты отдельного батальона, расквартированного в городе, и сменялись они не через шесть или восемь часов, а сторожили дорогу посуточно, от тягот службы отдыхая в санитарном фургоне с покрашенным крестом. Два солдата на пост, сутки службы, сутки отдых там, в городе, караульную парочку, следовательно, знали в лицо шоферы всех автомашин объекта, и подмена солдат уже невозможна, а на ней и строился наш план, затрещавший по швам, выходить же в эфир и спрашивать, что делать, было нам запрещено. Чех внушал: «В любом случае действуйте по обстановке!» С наступлением темноты я подползал к фургону, слушал разговоры солдат, днем же рассматривал их в бинокль. Два пожилых немца словоохотливостью не отличались, их постоянно клонило ко сну и тянуло к еде, они, как промолвил однажды Калтыгин, отрываясь от бинокля, «службу поняли». Языки их не развязал бы достаточно жесткий допрос, да что они могли знать?!

Зато другая парочка болтала без умолку, им было о чем посудачить, вспоминали они родные края, женщин Вюрцбурга и всех тамошних знакомых, очень хвалили француженок и почему зря крыли начальство, бросившее их дивизию на Восток. Здесь их ранило — к счастью или к несчастью, неизвестно, к единому мнению солдаты не пришли, сходились же они на том, что война эта — дерьмо, скорей бы она закончилась, пора везения может оборваться в любой момент, ротный командир — парень неплохой, но старшина своего дождется, мордой в сортир его сунут, надо ж, до чего додумался — строевые занятия проводит не на сухом плацу, а в луже посреди двора! Мастикой заставляет натирать уборную! А они — не новобранцы, они честно служат уже четвертый год, не считая обязательной трудовой повинности перед призывом!

Звали их Францем и Адельбертом, причем последнего напарник и земляк издевательски именовал то Адди, явно намекая на фюрера, то Берти, имея в виду какую-то Берту из Вюрцбурга, которая водила экскурсантов к епископской резиденции, к концу осмотра так распаяясь, что готова была отдаваться любому туристу. Понимал я немцев плохо, через пень-колоду: баварский диалект все-таки, но запоминал все словечки и доосмысливал их. Тому и другому — по двадцать два года, у обоих прострелены легкие, Франц в марте побывал в отпуске и давал ценные советы земляку, кого из писарей умаслить, чтоб побыстрее добраться до Бертиных ляжек.

Плохие, очень плохие немцы! Гадости про Берту, солдатские анекдоты, которые не смог бы понять германист Костенецкий, жратва, бабы — и ни словечка о том, когда прибудет связной.

Мы уже сосчитали и запомнили все автомашины объекта, был среди них и штабной автобус, точно на таком же учили нас расправляться с пассажирами за восемь или десять секунд. Эта неповоротливая колымага, битком набитая офицерами, каждый вечер отбывала в город и возвращалась около полуночи, персонал фольварка весело проводил время, начальство ездило на «хорьхе» и «опеле», чешский грузовичок «татра» привозил и увозил постовых. И ни одного мотоцикла! А он так нужен был нам, мы

ведь рассчитывали на полевую жандармерию, она с мотоциклов не слезала. Пришлось поэтому совершить марш-бросок, уйти из заминированного леса, вернуться к шоссе, высматривать мотоциклистов. Трудились всю ночь, убитых заташили в лес и упрятали в землю, один мотоцикл оставили у прохода через минное поле, второй покатали с собой. Устали так, что ныли плечи и слипались веки. На КПП — полное спокойствие, никаких признаков скорого берлинского присутствия, я отдал Алеше бинокль, заснул и был разбужен: сочувствующий советскому командованию человек просигналил — самолет ожидался сегодня. Франца и Адельберта уже сменили, у пожилых солдат обнаружился нюх на прибытие начальства, они покинули фургон и торчали у шлагбаума, автоматы перебросили на грудь. Солнце было в зените, когда пустой автобус, сопровождаемый «хорьхом» и «опелем», миновал КПП, по пыльной дороге доехал до мостика, сбавил ход, осторожно покатали по хлипкому сооружению, потом выбрался на твердый устойчивый грунт и свернул к аэродрому. Прошло полчаса. Учебные полеты отменили, «мессершмитты» не стрекотали, в воздухе показалась черная точка, укрупнилась, «юнкерс» прошел низко над лесом, постовые задрали головы и навели в фургоне кое-какой порядок, подмели пол и спрятали примус. Время тянулось медленно, автобус не показывался. Покусывая травинку, Алеша сказал, что, возможно, все труды наши напрасны. У документа, который надо получить с боем, изменились адресаты рассылки, точнее — развоза, век не видать нам теперь этого сверхсекретного циркуляра. Или так: сам адресат выехал на аэродром, ознакомится с документом, распишется и вновь спрячется в фольварке. Документ, зная, предназначен людям, которые так нужны на месте службы, что вытаскивать их в Берлин нецелесообразно. А о том, чтоб вытащить в Москву хранителя секретов, и речи не было в Крындине.

И страх, и надежда были в опасениях Алеши... Подвел итог Григорий Иванович, сказал, что нам-то, молодым и глупым, еще ничего, как-нибудь обойдется, а вот с него — семь шкур спустят, голову отпилят, почему, завопят, не принял своевременных мер, почему?

Обсуждать приказы, как известно, не принято в армии, но, скажите, чем иным еще заниматься воинам в часы вынужденного безделья? И все мы выразили осторожное сомнение в навязанной нам Чехом тактике. Какой бы важности и секретности документ ни был, а похищать его открыто, с пальбой и грохотом — глупо. Видимо, ради шумовых эффектов и задумана вся операция, они, эффекты эти, только часть обширного плана, в котором предусмотрено и наше почти недельное ожидание самолета из Берлина.

Еще не появился убывший на аэродром автобус, а пожилые забегали пуще прежнего, стараясь показать, что не зря сидят в тылу и шлагбаум не поднимут до тех пор, пока не проверят документы даже у тех, у кого не положено их требовать. Впереди — «хорьх», затем автобус, уже не пустой, на всех шестнадцати сидячих местах — офицеры не ниже капитана, почти у каждого — портфель, поди пойми, в каком из них самый ценный груз. Замыкал процессию «опель», там дремали двое в штатском, предьявили они постовым какие-то жетоны. Впрочем, те их знали в лицо — местные, значит, из города. Шлагбаум подняли и опустили, пожилые сплюнули и поплелись к фургону. В автобусе, на наше удивление, офицеры принадлежали ко всем родам войск, судя по цвету кителей и погон: голубовато-серые (люфтваффе), сине-голубые (жандармы), на плечах кавалеристов — ярко-желтое, у артиллеристов — серо-зеленое шитье. Одно было ясно: не на час и не на два рассчитан их приезд, совещание-инструктаж, — предположил Калтыгин, — если не инспекция.

К этому времени у нас уже сложился план захвата, нападение на штабной автобус мыслилось не у КПП, а у мостика. Калтыгин и Алеша, передетые в добытую на шоссе форму жандармов, на там же захваченных мотоциклах окажутся у речки в тот момент, когда к мостику подъедет автобус, изобразят либо поломку мотоцикла, либо неуверенность в том, что

мостик выдержит тяжесть переполненного штабного автобуса. При всех вариантах офицеры ступят на землю, в автобусе останется тот, кто с берлинским документом. Десяти секунд хватит, чтобы уложить офицеров. От меня же требовалось: захватить КПП и заблокировать дорогу, на что я с воодушевлением согласился. Была у меня своя радость, свои надежды, осуществятся они, правда, могли только тогда, когда на КПП дежурили «мой» немцы, Франц и Адельберт. Я жаждал овладеть перочинным ножиком, талисманом Адельберта!

Этот складной нож я высмотрел давно, в первый день наблюдения, зоркие глаза мои, оснащенные к тому же биноклем, залюбовались отнюдь не солдатской принадлежностью. Помимо двух широких и длинных лезвий нож вмещал в себя семь или восемь блестящих на солнце предметов — пилочки для ногтей, ножнички, шило, расческу, ложку, вилку и прочее, так нужное в быту, но малопригодное истинному диверсанту, у которого за поясом нож, называемый финским. Адельберт же нарочно демонстрировал Францу универсальные возможности своего ножика, он дразнил им земляка, как только тот начинал злословить, и Франц преобразился, становился угодливым, начинал выпрашивать нож, сулил за него подарить Адельберту перед отпуском копченого поросенка. Примерно так же поддразнивал меня Алеша красивенькой зажигалкой-маузером, и я решил в долгу не оставаться, сразить Алешу еще более внушительной вещичкой. У всех разведчиков Костенецкого была эта страсть — бахвалиться какой-нибудь трофейной штуковиной, вызывая зависть у необстрелянных, не ходивших за линию фронта. Изошрялись, как могли, однажды приволокли странный набор из прямых и изогнутых трубок с утолщениями, что это такое — никто не знал, споры разрешил майор Лукашин: «Да это ж кальян, милок!» Рассматривая чудный нож, мысленно держа его в руках, я радовался тому, что отныне и у меня будет нечто, равноценное Алешиной зажигалке, и предвкушал сладкий миг торжества. Чтоб удалить моих друзей и соратников подальше от КПП, и поддержал я пылко идею захвата портфеля у мостика.

Неизвестный Друг выбросом пачки из-под сигарет указал наконец точное время, в этот час Франц и Адельберт будут стоять у шлагбаума. Я возрадовался: ножик — у меня!

В глубоком сне пребывали мы до рассвета решающего дня. Утром уничтожили все следы нашей стоянки. Вне видимости КПП сделали дополнительный проход через мины, Григорий Иванович и Алеша переоделись в немецкое, я же прикинул, что Франц и Адельберт схожи со мной по комплекции.

Все девять суток питались мы очень умеренно, но с восходом солнца позавтракали плотно, взрезали дерн, очистили кишечник и уложили на место травяной прямоугольник. Первый самолет поднялся в небо, под шум его проверили мотоцикл. Стали друг перед другом и вполголоса сказали, кто что делать будет.

Легли, чтоб отвлечься, и Алеша продолжил историю семейства Бобриковых.

Тот самый Михаил, что бит был нещадно, высочайшей милостью посланный в Пустозерск, так там и скончался, и дело его возобновил племянник Ондрей. Возник он на поприще театра, в русской труппе, при дворе. Сохранился список труппы, набранной из мещан и подьячих, Алешиной фамилии среди нескольких десятков актеров нет, но один из преподавателей театральной школы в Немецкой слободе упоминает о нем, существует и челобитная, написанная Ондреем, племянник жаловался на тяготы из-за недоплаченного алтына, это слезное прошение датировано 1676 годом. В последующем Ондрей на судьбу не гневался, он выбился в люди, он реформировал сцену, а полсотни лет спустя потомки его установили, что Ондрей приложил руку к созданию комедии об Адаме и Еве,

написана она языком настолько русским, что ставит под сомнение авторство известных хронисту драматургов. Ондрей же был первым, пожалуй, из тех, на кого пало око цензуры. (Я был весь внимание, потому что ненавидел цензуру, похабившую письма Этери.) Вообще же цензурного комитета в ту пору не существовало, поправился Алеша. На страже нравственности стояли доверенные лица, они и определяли размер щелей, сквозь которые царица с детьми смотрела спектакль. Но с этими стражами и поцапался Ондрей, батогов он избежал, его просто вытолкнули вон из кремлевских покоев. А при Федоре Алексеевиче служителей театра поприжали, и Ондрей от нового искусства отошел окончательно. Не соблазнило его приглашение стать режиссером «потехи» на Красном пруду в честь взятия Азова. Неизвестно, когда он умер и скольких сыновей имел, но одного из них пустил по морской линии, по-своему отреагировав на Азов: сына отправил в Навигацкую школу, вскоре переведенную из Москвы в Санкт-Петербург, и сын, Федор, оставил след и в истории русского флота, и в стенаниях русской военной мысли. Отличился Федор в Финском заливе, когда разгромлен был шведский флот. Опытном строительстве крупнотоннажных судов Россия не располагала, шведов сокрушила армада галер, бравших на бордаж швейские брига и фрегаты. Воодушевление после победы было полным, буйные головы, взяв пример с разгоряченного викторией Петра, на совещаниях, походивших на ассамблеи, требовали создания флота из мелкоосадистых шняв и карбасов. Одиноким прозвучал трезвый и непрокуренный голос Федора, он уже за прорубленным в Европу окном видел океанские шири, он ратовал за флот, способный на всех широтах противостоять британскому. Молва с одинаковым усердием как идеализирует, так и погружает в грязь, миф о демократизме Петра возник на реальной основе, царь все-таки самолично тюкал топором по дереву и стрелецким шеям, идеи Федора он отверг, обматерив его; при неисчислимых богатствах России государям ее дешевле обходилось воровство Меншикова и прочих, нежели полезные суждения холопов. Федора затерли в Коллегию, поручив надзор за деятельностью мануфактур...

...И до конца войны Алеша раскручивал передо мною историю Бобриковых... И до чего ж приятно было слушать его сейчас! Раздвигался лес, и расширялась дорога, воображение взлетало к небу, все, свершенное предками, становилось упокоенной историей, к которой причастны и мы, эту историю еще придется слушать и слушать, от первого театра до наших дней столько событий произойдет, мы будем внимать им, лежа в другом лесу. Мы, следовательно, одолеем сегодня немцев и утащим портфель с документом, мы через двое суток предъявим его командованию и заслужим благодарность, мы отоспимся, наконец! Повару прикажут налить нам шей погуще да побольше, хлеба дадут по настоящей фронтовой норме, не урезанной! Мы отпаримся в бане, врачи смажут болячки, следы укусов комарья и клещей, забинтуют раны, если таковые будут, ведь впереди — бой. Нам пока везло, нас охраняли сами немцы, мы находились в запретной зоне, западная граница ее проходила по речке Мелястой, у моста через которую и решено было устроить засаду.

## 11

*Мальчик и перочинный ножик в королевстве кривых зеркал. — Кровопролитное сражение у речки Мелястой. — Ай да Леня, ай да молодец! — Бригада «Мертвая Рука»*

Весь тыловой (и фронтовой, наверное) быт немцев покоился на точном времени приема пищи. Батальон в городе завтракал рано, поэтому еще до восьми утра на КПП привезли смену, Франца и Адельберта, земля-

ки бережно составили на землю бачки с едой. Офицеры фольварка за стол садились позже. Около девяти у шлагбаума приостановился «опель», едущий в город за почтой. Вне всякого распорядка дня зарокотал над лесом «Ю-88», целясь на посадочную полосу. Мы переглянулись: все правильно, Неизвестный Друг не ошибся, портфель сегодня повезут на аэродром. На руках вынесли мотоцикл с коляской на дорогу, изгиб ее не позволял постовым видеть нас, но услышать — могли, и друзья мои покатали мотоцикл, а я вернулся на свой наблюдательный пост. Телефонные провода связывали КПП с фольварком, я не раз уже подсоединялся к линии и порядки знал. Рыкнул в фургоне аппарат, Франц в ответ заорал: «Так точно!» Оба неторопливо пошли к шлагбауму, ожидался, я понял, автобус. Хорошо бы — с «хорьхом». Тогда бы я, умертвив постовых и забрав складной ножик, бегом помчался бы к Мелястой, предварительно обрезав провода, опустив шлагбаум. Ни один немец на колесах не осмелился бы поднять его и поехать к речке.

Дважды уже автобус покидал фольварк и возвращался за полночь, всякий раз оставляя в городе двух или трех офицеров, и в это утро я не удивился, насчитав девять человек всего. Заметил я и того, кто — по нашим догадкам — прилетел из Берлина с документом. Сидел он сразу за шофером, где портфель — увидеть я не мог, мешала широкая спина одного из немцев, это не понравилось мне. Тревожило и поведение постовых. Франц и Адельберт прибыли на КПП голодными и злыми, осыпая друг друга баварскими ругательствами, Адельберт, всегда державшийся несколько пришибленно, замахнулся на Франца, тот будто не заметил.

Шлагбаум поднялся и опустился, Франц остался на дороге, Адельберт из фургона позвонил, доложил, шмякнул трубку об аппарат. Десять, пятнадцать, двадцать секунд... Шестьдесят! Брошенная вчера пачка сигарет указывала: портфель повезут сегодня!

В намечавшемся боеприкосновении я решил на практике проверить суховатую теорию Чеха. «Смотри в глаза врага, как в зеркало, и ты увидишь в них себя! Не отражение твоей фигуры, а ужас, презрение, недоверие или радость, которые внушены тобою. Ты будешь контролировать себя и управлять врагом!»

Поупражняться захотел я, чтоб заслужить благодарность Тренера. И проверить в работе финку, я лично сделал ее в походной мастерской батальона железнодорожных войск, исходным материалом послужил стропорез. Дважды я прыгал с запасным парашютом, тогда-то и дали мне нож-стропорез, который я, по совету Алеши, заначил.

В фургон я вошел, когда Адельберт, стоя спиной ко мне, слушал телефонную трубку. Положил ее и рукой потянулся к полочке с мисками и ложками; он так и застыл с протянутой рукой после моего удара носком сапога в задницу. Медленно-медленно повернулся. Он смотрел на меня, как на яркий свет, сомкнул веки и помотал головой, отказываясь верить глазам. Он даже воздел их к потолку, надеясь увидеть дыру, пробитую моим падением с неба, а когда понял, что я — живой и чужой человек, то всего лишь удивился, обнаружив перед собою мальчишку, завернутого в маскировочный халат. Следуя наставлениям Чеха, я представил себе, как убью сейчас немца, как умерщвлю его наиболее рациональным способом — тычком стропореза в одно чрезвычайно уязвимое место, чтоб не струилась темно-красная жидкость, увлажняя и вымазывая одежду. Страх запрыгал в его глазах, наполнил их и выплеснулся на лицо, он сделал было движение плечом, перемещая «шмайссер», но я уже накачивал себя ненавистью к врагу, я уже видел его мертвым, и Адельберт открыл рот, готовясь произнести слова молитвы, и одновременно с тычком ножа я сомкнул пальцы на его гортани. Расстегнул китель и дернул за штанины, стянув предварительно сапоги. Переоделся. Все свое, снятое, упаковал в сверток. Полез в карманы, ощупал их — и растерянно обежал глазами фургон. Произошло невероятное, страшное!

Ножа не было! Того произведения искусства, которым я любовался издали! Ни в карманах, ни в солдатской сумке Адельберта перочинного ножика с двенадцатью лезвиями не было! Я метнулся в угол, к бачкам с едой, приподнял крышки их — нету! Пошарил по полочке с мисками, заглянул в котелок с кофе, потряс примус. Злость поднималась во мне такая, что я едва не пристрелил Франца, который наигрывал на губной гармошке в пятнадцати метрах от меня, привалясь спиной к полосатому бревну. Нет ножа! Нечем дразнить Алешу! Не обступят меня со всех сторон разведчики, глаза на боевой трофей, на вещественное свидетельство моих ратных подвигов, на возвышающее меня доказательство того, что я уже бывалый воин, настоящий красноармеец, а не «сынок», не «малыш», как называли в Крындине младшего сержанта Филатова.

В суматошной одержимости сунул я руку в сумку для противогаза, отвинтил крышку фляги и наклонил ее. Нет ножа, нет!

Выскочив из фургона, я изо всей силы заорал Францу:

— Ты, скотина, у тебя нож?

Не отрывая от губ гармошку, он проиграл музыкальную фразу, означавшую «А пошел ты к...».

Я еще раньше подозревал его в нечестных поступках, а уж его хамское отношение к экскурсоводу Берте меня возмущало. Терпение мое лопнуло, к тому же с секунды на секунду ожидал я начала боя у речки Мелястой, надеялся уловить хлопки выстрелов. Тишина стояла полная, из-за берлинского «юнкера» жизнь на аэродроме замерла, издевательская мелодия Франца разносилась по всему лесу.

— Отдай нож! — завопил я, подскакивая к шлагбауму.

Франц как-то размыто глянул на мои сапоги, поднял глаза выше — и гармошка шмякнулась на землю. Он увидел мой нож, заткнутый за ремень, и боялся глядеть на меня, потому что уже понял, кто стоит перед ним. Еще ниже наклонив голову, он полез в карман и протянул мне ножик Адельберта.

И тут же упал. Я оттащил его в кусты, потому что услышал приближающийся автомобиль, и выскочил на дорогу в тот момент, когда перед шлагбаумом остановился «хорьх». Два человека сидели в нем, шофер и — на заднем сиденье — майор, староватый мужчина, отлично выбритый, наодеколоненный. Шофер смотрел на меня с легким вопросом, и я понимал, чему удивляется он. Меня он раньше не видел, но допускал, что знакомый и привычный ему постовой заболел и заменен другим. Но и новой смене на КПП сказали же по телефону, что «хорьх» осмотру не подлежит. Так давай, приятель, подними свое длинное полосатое полено, руку к пилотке — и будь здоров!

Я же неотрывно смотрел на руки майора. Он сидел чуть подавшись вперед, сунув ладони под пах, и, когда глаза наши встретились, я как бы с отдаления, из фургона увидел то, что произойдет через несколько секунд: на меня ударит взрывная волна от взлетающего на воздух «хорьха», и автомобиль этот, объятый пламенем, я увидел в глазах майора — не саму автомашину, а смирение перед неминуемой гибелью, к которой уже был готов майор, и, опережая взрыв, я выстрелил — в плечо его ниже погона, потом вровень, затем в погон, разрывая мышцы, сокращение которых могло бы потянуть руку вверх. Шофер вывалился из машины и на карачках отползал от нее, ему досталась последняя пуля. Я же выхватил финку и вонзил ее в локтевой сгиб правой руки майора. Он был еще жив, я ощущал биение чужой, ненавистной мысли рядом с собою и угадывал желанья, исторгаемые еще дышащим телом немца и грозившие мне гибелью. Рванув дверцу машины, я выхватил пистолет из свисавшей руки майора и разрядил его в сгиб локтя, а потом взмахом финки отсек руку от тела, подхватив ее. Кисть была окольцована браслетом, а от него к портфелю в ногах

майора шла никелированная цепочка, нырявшая под клапан, к подрывному устройству.

Такой неожиданный разворот событий требовал хотя бы минутной паузы на обдумывание, на перестройку эмоций, но радость ошеломила меня. Портфель с подцепленной к нему рукою (из нее сочилась кровь) был наградой, трофеем более ценным, чем перочинный ножик с набором приспособлений на все случаи диверсионной жизни, и к нему следовало относиться бережно, я держал его на коленях, когда гнал «хорьх» к речке Мелястой, откуда почему-то не доносились выстрелы, и лишь по столбу дыма можно было догадаться, что там, у мостика, жарко.

Горел автобус. Он сгорел уже, он чадил, он походил на вагон товарняка после бомбежки, Калтыгин вытаскивал из остова его последний труп, все прочие лежали в линейку, и Алеша обыскивал их, зашвыривая в мотоциклетную коляску сумки, портфели, планшеты, личные документы. На мой индейский клич («О-го-го-го-а-а!..») они ответили проклятиями, но портфель, предъявленный мною, и два немца в «хорьхе» (шофера я тоже привез) оборвали истощенную матерщину. Не было времени разоружать портфель, я бежал вслед за мотоциклом, одной рукой прижимая к груди добычу, а другой утирая пот со лба, и все вокруг окрасилось в розовое. Григорий Иванович сидел за рулем, Алеша пристроился сзади; мы вонзились в лес под охрану минного пояса, чтоб помеченными зигзагами пересечь его и достигнуть шоссе. Алеша прыгнул, побежал впереди, указывая дорогу. Наконец знакомый ельник, здесь мы остановились, разбросали ветки, выкатили спрятанный мотоцикл, отырыли перепрятанную рацию. Стали гадать, как отсоединить майорскую руку от портфеля. Кусачками нас не снабдили, и кто мог предположить, что документ окажется в заминированном портфеле? Перебить пулей цепочку — решил было Калтыгин, но тут же отверг эту идею: ударное устройство мины могло сработать от близкого выстрела, а я был так измучен, что руки тряслись; будь я спокоен — и цепочка распалась бы, расстрелянная издали.

Так ничего и не решили. Выждали момент и въехали на безлюдное шоссе, портфель и руку замотали в маскхалат, меня посадили за спиной Калтыгина, Алеша оседлал запасной мотоцикл. Обогнали обоз, объехали кругом поселок с гарнизоном, потом вновь шоссе, навстречу попадались автоцистерны без охраны, промелькнул взвод велосипедистов. Кажется, нас не преследовали, да и отъехали мы уже от объекта достаточно. «Держись, Леня, держись!» — кричал мне Калтыгин. Ветер и движение сдули с меня розовое облако, я увидел, что руки мои в крови, и забеспокоился, как бы то же не увидели немцы, а стрелки на часах приближались ко времени сеанса, надо было докладывать Чеху. Свернули на проселочную дорогу, в луже обмыли руки и лица. Километров через двадцать загнулись, огляделись: опушка леса, солнце заходит, вдаль чернеет свежесожженная деревня. Тишина, над головой постукивает белка. Вдруг захохотал и повалился на траву Алеша, катался по ней, всхлипывая, давясь смехом и суча ногами:

— Бригада «Мертвая Рука»!.. «Мертвая Рука»!..

Со страхом смотрел я на Алешу, который будто гасил на себе огонь, прижимаясь к земле то боком, то грудью, и в кудахтающем смехе его было безумие. Я и раньше догадывался, что друг мой психованный, что лишние полстакана водки низвергают его в глухонемую подавленность, из которой он выскакивает, корчась от удушливого смеха. Но, кажется, и Григорий Иванович знал о припадочности Бобрикова. Он продолжал спокойно курить, предостерегающе глянув на меня:

— Не подходи к нему. Пусть подержается... такое бывает... И с ним, и со всеми...

Наконец Алеша застыл, замер в позе окоченевшего трупа. Прошла минута, другая — и он легко встал на ноги. Лицо его и глаза были светлыми



и чистыми. Осторожно развернув маскхалат, он пригляделся к накладным замкам портфеля, к браслету, попросил что-нибудь тонкое и острое, я протянул ножик, и коротким шильцем Алеша отомкнул браслет, все остальное доверено было мне, извлеченную из портфеля гранату отнесли в кусты подальше, долго рассматривали парусиновый пакет, обшитый холщовыми нитками: ни сургуча на нем, ни диагональных полос разного цвета, какими немцы обозначали секретность почты и важность отправителя. Развернули рацию, дали знать Чеху: задание выполнено, находимся там-то и там-то. Наметили маршрут, предстоял бросок на восток. Быстро темнело, еды осталось совсем немного, мучила жажда, Григорий Иванович принюхался и послал Алешу к воде. «Руку бы закопать», — предложил я, Григорий Иванович буркнул: «Найди ты ее теперь...» Так и уехали, спеша на восток.

Еще сутки мотались мы по этому краю, пуще всего опасаясь партизан. Мотоциклы бросили, бензин кончился, голод утолили, когда добытые в автобусе бумаги перекладывали из коляски в мешок: в офицерской сумке нашлись бутерброды. Осмотрели предполагаемую посадочную площадку, Калтыгин остался доволен. В шесть ушей слушали воздух, зажгли костры, самолет еще не остановился, а мы уже бежали к нему, меня, самого легкого, вбросили вовнутрь, вослед полетел «Север» с питанием. Григорий Иванович забрался сам и подтянул Алешу, ни спать, ни дремать не пришлось, «Ли-2», уклоняясь от грозы, то взлетал, то падал. Когда же пробили облака, то внизу увидели знакомый аэродром. «Благодарю за службу!» — прокричал Григорий Иванович, первым спрыгивая на землю.

## 12

*Скромное ликование руководства, или до-ре-ми-фа-оль-ля-си-до... — Младшелейтенантские кубари, долго сверкавшие на небе, наконец-то падают на землю. — Странная просьба Чеха. — Приключения перочинного ножика: что лучше — баба или манная каша? — Первый парень на деревне и жеманная реводчица Инна Гинзбург*

Да, Григорий Иванович первым спрыгнул, первым оказался на земле, а все остальное основательно мною забыто, потому что обнаружилось позорное обстоятельство: я так устал, что из последующего помню только хлестание банного веника и визг Алеши. Мы долго отпаривались, Чех смазал наши болячки чудодейственной смесью трав и меда. Командование, сказал он, признало задание выполненным, за что и благодарит нас. Все трое будут, добавил он, представлены к правительственным наградам.

Да, я устал, в чем стыдился признаться. Сказалась привычка к утренней десятикилометровой пробежке, ее-то и был я лишен. Но Чех-то — мог предвидеть катастрофу, перенесенную моими мышцами, моим мозгом. Я близко, так можно выразиться, общался с двумя немчиками из Вюрцбурга и понял, какие они гадкие людишки, и тайлось во мне тягостное недоумение: и как это так случилось, что миллионы таких немчиков до самого Сталинграда все гонят и гонят нас, и даже если б на всем протяжении тысячекилометрового фронта произошли тысячи кровопролитных, как на речке Мелястой, сражений, то и к исходу года войска наши не подошли бы к Берлину. Война затягивалась, конец ее мыслился — как мы договорились с Алешей — кровавым кошмаром, ибо мой друг решил что-то страшное совершить с Берлином, городом, который оскорбил его некогда. После расправы же со столицей Германии предполагалась демобилизация, я видел себя спрыгивающим с полуторки рядом с домом, ко мне бежит, крыльями раскинув руки, моя Этери, и наши объятия прерывают звон орденов и медалей на моей гимнастике с погонами капитана.

Много дней будет длиться пир в селенье, не истощатся, как бурдюки, рассказы фронтовиков, и я, конечно, расскажу о том, как сражался с фашизмом, как десять суток подряд сидел в засаде и как добыл сверхсекретный портфель...

Но, представляя себе смутно расправу с Берлином, отчетливо видя пиршественный стол в селенье, я так и не мог мысленно даже раскрыть рта, чтоб поведать сельчанам и моим бывшим одноклассникам, что делал я, отрывая портфель от тела немца. Что-то замыкало мои уста, фальшивая нота вторгалась в мелодичный лад — и я сникал. Я чувствовал: что-то здесь не то и не так, и впервые я учуял этот, как принято сейчас говорить, внутренний дискомфорт тогда еще, когда писал отчет о захвате портфеля, и даже много раньше, после сидения или лежания в болоте. Мало того, что слова не соответствовали тому, что делалось: деланное казалось выдуманым от начала до конца, ибо не могло такого быть, враки все это, сказки!

И не я один страдал от невозможности словами выразить мысль. Мы думали о судьбе портфеля, который, наверное, никому не нужен — ни немцам, ни нашим, и кровопролитное сражение на речке Мелястой, короткий бой у шлагбаума — все впустую. Настоящий документ, уверял Алеша, добывается не с боем, а втихую, незаметно прочитывается и еще скрытнее водворяется на прежнее место. Я возражал: а не в том ли смысл всего учиненного нами кровопролития, чтоб внушить врагу: да, мы, русские, такие глупые...

— Сколько ж веков можно придуриваться... — вяло возразил Алеша.

Весь день скрипели наши перья, каждый из нас писал о том, что видел и что делал, начиная с момента приземления в тылу немцев, и как оценивает он действия остальных членов группы. Было стыдно и больно хулить Алешу и Григория Ивановича, но, верный присяге и комсомолу, я не мог умолчать о том, что друзья мои нарушили приказ, подожгли, неумело атакуя, автобус, в результате чего часть документов сгорела. Не находил я разумным кое-какие свои поступки, их я перечислил и дал им суровую оценку. Так, переодеваться в немецкое надо было мне до захвата КПП, ведь форма-то у меня имелась, я снял ее с убитого на шоссе немца. Осудил я себя и за перочинный ножик, которого домогался: попытка овладеть им во что бы то ни стало могла дорого обойтись всей группе. Наконец, я счел нужным высказать свои соображения о Неизвестном Друге, том самом, который сочувствовал советскому командованию. Мне очень не нравилось его поведение, я сомневался в его искренности. Только он мог, единственный из немцев, знать о предстоящем нападении на автобус, и так уж получается, что не без его подсказки берлинский связной от автобуса отказался.

Предвидел Неизвестный Друг и захват портфеля в «хорьхе», иначе не позаботился бы о взрывном устройстве. Загадочна, продолжал я, сама схема подрыва портфеля, в надежности ей не откажешь, как и в дурости исполнения. Самоделка. Сущее безобразие.

Много чего душевного и задиристого написал я.

Изучив мой отчет, Учитель погрузился в размышления. Он сидел на топчане, по-восточному поджав ноги и окутываясь табачным дымом.

— Придется переписать, — произнес он сожалеюще. — Тот, кого ты называешь Неизвестным Другом, в состав группы не входил, оценивать его действия будут вышестоящие товарищи. Но за информацию — благодарю. Отчет надо переписать и все, касающееся нашего человека на объекте, опустить. И давай договоримся: ты, Леонид, никогда, никому и нигде не расскажешь о нашем друге и своих сомнениях... Никогда! Никому! Договорились?

Я поклялся, что исполню его просьбу, и быстренько переделал отчет. Чех одобрительно потрепал меня по плечу и мягко спросил, почему я все-таки не использовал немецкую форму, почему заранее не переоделся в

нее. И тогда я смущенно признался: форма-то офицерская, немец-то, аккуратно подстреленный мною, был в лейтенантском чине, а я-то всего младший сержант!

Улыбка появилась на бледном лице Чеха.

— Считай, — сказал он, — что это недоразумение... Приказ о тебе и Алексее на подписи, через несколько дней вы станете младшими лейтенантами РККА, и... — засмеялся он, — ты вправе отныне носить форму немецкого офицера.

Десять дней дали нам на отдых, Чех отбыл в неизвестном направлении, — отсыпайся, резвись, хлебай щи! Но непонятная болезнь поразила нас, мы стеснялись друг друга, еда в рот не лезла, Алеша отказывался от водки, а Григорий Иванович не видел в соседней избе молодуху, ту, что норвила показываться ему. «Мочалка», — промолвил он грустно о себе и о нас, начавших понимать, какие беды выпали на нашу долю в том лесу, где мы просидели десять суток. Ожидание измочалило нас, тюрьмой был этот лесной массив, в нем лишнего шага не сделаешь, громкого слова не скажешь, мы всего боялись, спали по очереди, естественные нужды справляли так, будто под огнем немцев закладывали мины в устои моста. Я не курил и еще не брился, друзья же мои каждую затяжку растягивали, всякий раз она казалась последней, и бриться им приходилось ежедневно, золлинговскую бритву Чех из каких-то соображений у Калтыгина отобрал, и если Алеша привык бриться половинкою лезвия, защемленного в ветке, то наш командир изрыгал проклятия, морщась перед осколком зеркала. Куда охотнее они каждый день брали бы штурмом штабные автобусы, да и мне тоже отсечение (или отстреливание) руки майора было занятием менее трудоемким, нежели нудное лежание у фургона, где препирались два немчика из Вюрцбурга.

Какой уж тут отдых, если нас так и тянуло разругаться и разбежаться... Еще и потому, что без намеков Чеха стало понятно: мы должны доносить друг на друга в отчетах, предварительно сговорившись. (Наш командир Григорий Иванович не всегда придерживался этого правила, он более склонялся к «большевистской критике», чем к «большевистской самокритике».)

Первым исчез Алеша, пристроился к телефонисткам и уехал с ними в штаб, а потом и Калтыгин испарился, слова не сказав мне на прощание. Я очень обиделся на них — и за то, что они бросили меня, и потому еще, что мой боевой трофей, то есть перочинный ножик на все случаи жизни, должного впечатления так и не произвел.

«Детские цацки!» — презрительно фыркнул Григорий Иванович, Алеша тоже ни во что не ставил драгоценную добычу. Раньше ты, сказал он, в носу пальцем ковырял, а теперь будешь с применением немецкой техники... Чтоб не ходить на ротную кухню, я забрал сухим пайком все положенное на нашу группу и отдал продукты доброй старушке, на постой которой определили нас. Вся деревня — пятьдесят хат, живого в них — женщины да дети, их я угощал конфетами из тех сладостей, что прислал мне майор Лукашин, и всем показывал трофей — с боем добытый перочинный ножик. Но дети почему-то пугались, брать в руки полезный и красивый предмет отказывались. Обида терзала меня. Писем из дома не было, о «Кантулии» приходилось только мечтать, никто не приезжал с орденом и не награждал меня. Вспоминалось к тому же, как плевался Григорий Иванович, когда при нем заводил Алеша разговор о наградах, к которым мы якобы представлены. Черта с два увидим мы эти ордена-медали, ругался он матерно, неизвестно ведь, на какую фамилию выписаны наградные листы, мы ж сверхзасекреченные, мать твою так! И следовали проклятия в адрес Чеха, Калтыгин ненавидел его почему-то, хотя и признавал «башковитым».

Трофей отягошал мой карман, и однажды я отправился на базарчик. Показывать ножик я пока не стал, решил с большей пользой провести время. Чех не раз советовал: учиться надо на чужих ошибках, слушай бывалых людей! Вот и нашел я этих людей у базарчика, под березами в тени сидели раненые, окруженные тыловым народом, и все они слушали раскрыв рты парнишку в госпитальной курточке и с рукой на перевязи. Парнишка заливал, конечно, о своих боевых приключениях и мытарствах, о том, как он, дивизионный разведчик, ходил по немецким тылам, как подрывал мосты и снимал часовых. Врал-то он врал, набивая себе цену, но, внимательно слушая безбожный треп его, я понемногу приходил к выводу, что немецкие порядки он все-таки мало-мальски, но знает, научен правильно подкладывать мины под полотно железной дороги и умеет хорошо отрываться от погони. Мелькали в его рассказах детали, которые запоминаются только после того, как их прощупаешь. Я начинал ему верить, однако стоявшая рядом со мною медсестра презрительно кривила тонкие губы, показывая еще и вздернутым носиком, что парнишка — задавала, никакой он не разведчик и немцев только в киноборнике видел. Резко повернувшись спиной к рассказчику, медсестра пошла прочь, всем видом своим демонстрируя неверие, и походка ее говорила: мочи нет выслушивать это вранье! Я же, уязвленный ее поведением, двинулся следом за нею, догнал и возмущенно заявил, что парнишка говорит правду, что он действительно бывал в немецких тылах и отрицать его боевые заслуги — нехорошо.

Медсестра — не так уж и красивая, но, как сказал бы Алеша, фигуристая — отступила на шаг, чтоб рассмотреть меня. Губы ее по-прежнему кривились, а в глазах стойко хранилось недоверие ко всем, пожалуй, мужчинам. Она резко спросила, откуда мне известно, врет раненый или не врет, и мне ничего не оставалось, как вытащить из кармана перочинный ножик и протянуть его фигуристой медсестре.

Она подержала его в руках, поработала с ним, добрея с каждым лезвием, по одному высвобождая их и вновь защелкивая, а когда увидела маникюрные ножницы, то приняла решение. Глаза ее зажглись настоящим, хозяйственным интересом.

— Что ж, — сказала она, — можем и договориться на будущее... На денек опоздал ты, вчера бы пришел — так с полным удовольствием. Ты как — на послезавтра согласен?

Она подбросила ножик и поймала его, мой трофей произвел на нее сильное впечатление, потому что она предложила встретиться на этом же месте, через день. И хотя я молчал, поняла, что встреча может не состояться.

— Тогда так, — рассудила медсестра. — Я тебя сейчас познакомлю с Маней, она всегда безотказная, у нее ты и получишь свое, а уж с ножиком мы с ней как-нибудь разберемся.

Ничегошеньки не поняв, я тем не менее покорно поплелся за сестричкой. Путь был недолгим, Маня жила рядом, и я сразу подумал, что служит она в хлебопекарне. Сытый запах каравая, только что вытасченного из печи, окружал эту пухлую женщину, а грудь ее, начинавшаяся под шеей, напоминала тесто, переполнявшее квашню. Маня высунулась из окна и подставила ухо медсестре, которая что-то нашептывала, одновременно показывая мой ножик. Глаза же Мани ошупывали меня со строгостью инструктора. Готовя петлицы к кубику, я выдернул из них угольнички, но сам себе казался бывалым бойцом, настоящим воином, чего не хотела признавать Маня.

— Нет, — возразила она, — толку с него не будет! Уж очень тощий он! Да и не баба ему нужна, а манная каша.

— Вот и подкорми его, — не сдавалась медсестра, — не пожалеешь, поверь мне, я их сколько узнала, он по виду только сопляк, а в этом деле ой-е-ей будет!

Манной каши я не хотел, о чем и сказал. Более того, я вознамерился угостить женщин конфетою «Мишка на Севере», и тогда Маня взвыла:

— Господи! Господи! От маманьки мальчика оторвали, на смерть определили, а в тылу полным-полно бугаев, мордovorотов!

Медсестра увела меня от разгневанной Мани, вернула ножик, а когда я сказал, что дарю его ей, гордо отказалась. Я, заявила она, честная девушка и задарма ничего не беру.

На том мы и расстались. Вечером же из проезжавшей полуторки выпрыгнули мои друзья. Отдых пошел им на пользу, Калтыгин выглядел так, словно только что отоспался на сеновале, Алеша хохотал и подмигивал мне, под глазом у него, правда, красовался фингал, о происхождении его мой друг отозвался кратко: «Не та землячка попалась!» Привезенные новости были худыми, газеты сообщали, что на Юге идут ожесточенные бои, писалось о ростовском направлении, почтовая связь с Кавказом прервалась, конечно, надолго, и писем от Этери не жди. Зато с обещанными наградами и званиями подвохов не было, Калтыгин лично видел приказ: он, правда, остался в капитанах, но мы — младшие лейтенанты, и все трое — с орденами Красной Звезды. В родное село под Зугдиди, рассчитал я, вернется герой многих диверсионных вылазок и операций, капитан Филатов (одна шпала в петлице), орденоносец (десять штук, не меньше), обладатель значка парашютиста, под которым — пластинка с цифрами, понятными только капитану-герою.

На несколько часов заехал Чех, чтоб посмотреть на нас, легонечко поругать и похвалить. Пользуясь случаем, я попрактиковался с ним в баварском наречии, которым прожужжали мне уши Франц и Адельберт, расшифровал кое-какие их словечки. Всего-то запеканкой было то кушанье, которое они называли «кайзершмарреном», уважительно растягивая второе «а».

Возобновились мои утренние пробежки, до завтрака я успевал накрутить семь или восемь километров, дышалось легко, радостно и хотелось оторваться от земли и лететь, лететь, лететь... Летя так однажды, я едва не сбил с ног младшего лейтенанта, девушку, черноволосую и гибкую. Это была Инна Гинзбург, переводчица из штаба армии. Она рассказала мне, что сражаться пошла с врагом добровольно, учась на третьем курсе Второго московского пединститута. Я обрадовался встрече, потому что давно уже хотел познакомиться с настоящим филологом, у меня, сына учительницы русского языка, обнаружились провалы в знаниях. Мысль моя блуждала в часы, когда писался Чеху отчет, на пере сушились чернила, когда я подыскивал слово, обозначающее ту часть руки немецкого майора, что была мною — отсечена? отстрелена? отрезана?.. Культия, понятно, — это то, что осталось при теле, а как назвать отделенный от руки локоть, то есть кисть и ладонь с пальцами? «Обрубок»? «Отрезок»? Или — «отстрелок»? Ведь я пулями отделил нижнюю часть верхней конечности и финкою отсек сухожилия.

Отдел с переводчиками занимал бывший дом-музей какого-то художника, в отведенной Инне комнате — два стола, стулья, лавка, на стенах — крюки для картин, давно снятых. Я подпрыгнул, ухватился за самый высокий крюк, подтянулся, потом мягко приземлился. Инна Гинзбург лупила на меня глаза. Спросил ее о нужном мне слове, для наглядности вытянув левую руку и полоснув ладонью правой по локтевому сгибу. Инна Гинзбург взвизгнула, закрыла пальчиками сперва глаза свои, а потом — уши.

— Фу! Гадость! Это очень неприличный жест!

Стала спрашивать, зачем мне это слово, и я не мог ей ответить. Однако она заинтересовалась. Растегнула рукав своей гимнастерки, обнажила руку до локтя, показывая мне слабо развитые мускулы. Помня, как возмущалась на курсах Таня, когда я потрогал ее мышцы, к Инне Гинзбург я так и не прикоснулся. Зато она не скрывала восхищения, любуясь собственной верхней конечностью.

— Красивая у меня ручка, а?.. — и с сожалением застегнула рукав. Покрутила в пальцах мой перочинный ножик и равнодушно спросила, за сколько я его купил или на что выменял. Я обиделся, убрал ножик в карман, молчал. Инна же продолжала смотреть на меня, покусывая длинными ровными зубами пухлую нижнюю губу. Подалась чуть вперед и нежно осведомилась, сколько мне лет и находился ли уже в близких отношениях с женщиной. Превозмогая смущение и не желая казаться совсем уж ребенком, оскорбленный к тому же поварихой Маней, я, эти «близкие отношения» видевший только издали, но однако же к ним тянувшийся, — я солгал.

Инна Гинзбург запыхала таким гневом, что отскочила от меня на несколько метров:

— Фу! Мерзость!.. И как тебе не стыдно! Кто тебя совратил? Ты можешь назвать эту негодяйку?

Назвать я, конечно, не мог. Потупился. Инна Гинзбург успокоилась, походила по комнате, показала, что не чужда физических упражнений, ухватила, стоя спиной к стене, за два крюка, подтянулась, изобразив то, что при работе на гимнастических кольцах называется «крестом». Я увидел шляпки гвоздей ее совсем недавно отремонтированных сапог. Инна еще немного поболтала ногами, а затем продолжила допрос: с кем я провожу свободное от службы время, что читаю, хожу ли в кино, повышаю ли образовательный уровень.

Ответил я просто: извлек из кармана горсть презервативов и повторил грозное предупреждение Лукашина: «Кто подхватит трепак — под трибунал: за дезертирство или попытку уклонения от выполнения боевого задания!»

Инна Гинзбург расхохоталась, обняла меня и сказала, что в близких и неблизких отношениях ни с одной женщиной я не состоял. Достав гребешок, она расчесала меня, расспросила о довоенной жизни, погоревала над моей судьбой, умолкла, неотрывно смотря на меня, и строжайше предупредила: впредь мне ни с одной женщиной не сближаться, пока она, Инна Гинзбург, не оценит и не одобрит мой выбор.

— Сдается мне, — произнесла она задумчиво, — что я стану твоей роковой женщиной.

### 13

*Подготовка к осаде белорусской Ла-Рошели. — Чех, как вечный Агасфер, учит не умирать ни при каких обстоятельствах. — Заговоренный от нуля Л. Филатов спасает друзей*

Десять с чем-то дней бездельничали мы, от встреч с роковой женщиной Инной Гинзбург я уклонялся, поскольку не постиг значения этого слова, а объяснениям Алеши и Григория Ивановича верить было нельзя, они несли такую похабщину, что хоть уши затыкай. Мне так и слышалось лязганье жеребцовых зубов, когда друзья мои начинали свои ржанья о бабах.

Потому я и обрадовался, когда нас ночью подняли и увезли в тыл, переодели в мало ношенную командирскую форму, которая, на взгляд окопника, могла показаться выданной в Москве, и только в Москве, и принадлежать тем, кто сиднем сидел в самом Главном штабе. «А сукнецо-то — хорошее...» — промолвил Алеша, пощупав свою гимнастерку, тоном напомнив мне тот день, когда он в Зугдиди похвалил мой костюм. По пять-шесть часов в день мы расспрашивали, а может быть, и допрашивали двух окруженцев, месяц назад прорвавшихся через фронт; топали они в сторону Москвы аж из-под Шяуляя, более года петляли по Белоруссии, путь их на карте выглядел ветвистым, они одолели полосу препятствий наподобие той, что была устроена нам в пионерлагере, но в тысячи раз длиннее, они гиблили немцев, прыжком перелетали через них; когда окруженцев этих привозили к нам, меня переодевали в какого-то нестроевого бойца, пото-

му что Алеша и Григорий Иванович судьбу этих уже хорошо проверенных мужичков взяли за легенду, это они, выброшенные за линию фронта, станут этими окруженцами. Вот и запоминали они все деревеньки, где бедолаги отлеживались после ранений, и всех тех людей, у которых они просились на ночевку, фамилии старост и бургомистров, все происшествия у деревенек и райцентров. И двое этих бывалых бойцов (Калтыгин и Алеша, разумеется), пострадавших в окружении, в ста километрах от Бобруйска подберут сосунка, сбежавшего из лагеря военнопленных, только что забритого зугдидским горвоенкоматом и брошенного в бои.

Оруженосцы эти сохранили ту одежду, в какой переползли через нейтралку. Полусгнившее шмотье — все немецкое или почти все немецкое, что естественно и во что, конечно, обрядятся Алеша и Калтыгин за день или два до самолета. Для меня приготовили зипунчик с врезными, как у полупальто, карманами на груди, ватные брюки, кое-где подпорченные так, чтоб становилось ясно: этот парень не раз ночевал у костра и угли выжгли о сем памятные знаки. Никакой, разумеется, рации. Оружие — все немецкое. Перочинный ножик с дюжиной лезвий я отдал на хранение, Алеше пришлось и шегольскую зажигалку в форме маузера-лилипута калибром 6,35 отдать Чеху, ту самую, которую я, придет время, вручу хористке в благодарность за успехи ее на определенном участке фронта. А вот вторая хористка, та, что превратилась — с моей помощью, надеюсь, — в лучшую драматическую актрису ФРГ...

Далась мне эта длинноносая распутница! Но постоянно сворачиваю, уклоняясь от основной темы, от того, что делали мы в нищей и несчастной Белоруссии поздней осенью 1942 года. Потому что натворили мы там неведомых нам бед, что-то сделано было не просто не так, а настолько все правильно, что лучше бы ничего не делать, а сидеть под глазами подлого Любарки. Есть же в жизни какие-то дни и недели, которые угнетают не результатами, не итогами прожитого и вспоминаемого, а неким ощущением непознаваемой ошибки, за которой чудится общая неурядица всей человеческой жизни. А может быть, мы в Белоруссии-то и не были и странствия наши — чудовищный сон? Возможно, ибо после того, как вернулись, ни разочка не вспоминались нам дни и ночи, сложившиеся в месяц, мы будто дали зарок: о деревнях, дорогах и лесных тропах осени 1942-го — ни слова!

Жили, повторяю, в единственной уцелевшей избенке сожженной деревеньки, поначалу выдали сухой паек, а потом прикрепили к котлопункту на станции. Однажды прикатили оттуда на своих «цундаппах» — а Чех тут как тут, прутик в руке, соболезующие глаза, та же манера подолгу смотреть на папиросу перед тем, как с кончика ее отвалится пепельный нагар. «Наши игры никогда не кончатся...» — улыбнулся он, и занятия возобновились, нам внушали, что смертельность раны — не от необратимых изменений в тканях и органах, вызванных проникающим в тело металлом, а от признания самим человеком для себя лично невозможности полноценно действовать при якобы серьезном ранении. Шок, то есть раскоординация мыслей и движений, — вот причина того, что вполне боеспособный мужчина корчится от страданий, бессознательно повинуюсь тем устойчивым впечатлениям, что образовались в нем от многократных наблюдений над ранеными. Дурную услугу оказывают и люди искусства, изображая мучения, закрепляя тем самым в мозгу образы людей, оправдывающих свое бессилие и безволие таким пустяком, как полтора-два стакана вылившейся из них крови, как несколько мышечных волокон, временно утеревших способность сокращаться.

— Я изучил сотни медицинских заключений по факту насильственной смерти, присутствовал на вскрытиях и могу со всей ответственностью сказать: умирают не от ран. Умирают от психологического давления, от неверия в собственные возможности жить и сражаться, глядячи на себя, пора-

женного пулями, осколками и колюще-режущими предметами. Нормальный мужчина может стрелять, бегать и убивать врагов с пятнадцатью поражениями своего тела.

Чех говорил как по писаному. Возможно, он воспроизводил в памяти составленный им конспект или главу из учебника, автором которого являлся.

— Этому психологическому обману подвержен не только получающий ранение. Но и тот, кто эти ранения наносит. Известен случай, прогремевший, к сожалению, на всю Европу, когда два итальянских коммуниста убили на уединенной вилле предателя — так убили, что, пока они рыли ему могилу, убитый успел добежать до полицейского участка и привести с собой следователя, полицейского и прокурора.

Убедиться же в том, что человек мертв, очень просто, достаточно внимательно посмотреть на его пальцы...

Все мы непроизвольно глянули на свои руки, и усмехнувшийся Чех дополнил свою речь рассказом о ложных рефlekсах.

Лучше бы промолчал... Потому что, выполнив задание, мы при возвращении напоролись на немецкий пулемет, нас расстреляли бы всех в упор, не метни я гранату.

Григорий Иванович нес в себе три пули, из сквозной шейной раны у него сочился желто-красный гной. Алеша мог ходить, лбом касаясь земли и руками придерживая кишки, а меня всего лишь поцарапала пуля.

До самого порога госпиталя дотащил я друзей, то есть к приемному покою, как ныне выражаются. Полусгнившая и еще державшаяся на наших телах одежда сгорела, весело треща лопающимися вшами, в печке, а меня, признав симулянтом, выписали на следующий же день и предъявили Чеху. Я написал объяснительную записку, Чех разорвал ее и сказал, что никаких отчетов о героически выполненном задании от нас не требуется, главное — восстановить силы. Тем не менее он подробными вопросами вызнал у меня все и сказал, что — никому ни слова, ни-ко-му! И вообще никакого боевого задания не было! Никуда мы не летали, и нигде нас не сбрасывали. Более того, в парашютную книжку последний прыжок не впишут!

Мне было так стыдно, что тянуло хромать. Друзей моих увезли в другой госпиталь, за восемьдесят километров, со строжайшими порядками, я проникал в него, как в немецкий штаб. Иногда переодевался под медсестру и почти вблизи смотрел, как латают тела моих боевых друзей. Алеша едва не умер, работала с его телом красивая седая женщина, главный хирург госпиталя. Однажды, глубоко затянувшись папиросой, произнесла: «Вот возвращаю к жизни восемнадцатилетних, а кто сына моего вернет?..» Я пылко уверял ее, что стану хирургом, что руки у меня золотые, и в доказательство приволил умение стрелять. «Господи! — вздохнула она. — Какой ты убогий!.. Кто его пустил в операционную?»

Лукашин по-прежнему оставался в Крындине. Он тут же, избавляясь от надоедливого подчиненного, отправил меня на курсы в пяти километрах от села. Появились станции новых типов, нам не нужные, какой-то идиот придумал пистолет-ракетницу, тугая пружина могла забросить антенну на самую высокую осину.

Всего неделю длилось обучение. В один из дней этих произошло величайшее событие войны.

## 14

*Поверженный Портос. — Тяжкий путь познания женщины: затяжной беспарашютный прыжок с пятнадцатилетней высоты. — Месть роковой женщины*

Только с нашего фронта собрали на курсы радистов, меня, как обычно, засекретили, разжаловали до красноармейца, и я познал много ценного, слушая бахвалистых парней. Никто меня не знал, никому я о себе ни-



чего не говорил, выглядел пожиже всех, не пил, вместо махорки получил полезный для моего возраста шоколад, и стал ко мне цепляться здоровенный верзила из 4-й ударной армии. Он и раньше угрожал мне расправой неизвестно за что, обзывал сопляком и при каждой встрече норовил толкнуть или презрительно расхохотаться, пальцем тыча в меня. Недостойное его поведение никем почему-то не замечалось. Был верзила старшим сержантом, на груди позванивали две медали, он неоднократно рассказывал, что трижды представлен был к Герою Советского Союза. За гнусный нрав, массивность, спесивость и похвальбу я прозвал его Портосом, что не всем было понятно.

Столкнувшись однажды со мною, будучи к тому же слегка выпившим, он стал громко, чтоб все слышали, распекать меня за неряшливый якобы вид, за небритость (а я вообще еще не брился!) и за то, что я неправильно отдаю воинское приветствие. В ответ я обвинил Портоса в нетрезвости и предложил ему честно сразиться один на один, то есть вызвал его на дуэль, чем привел в радость красноармейцев и младших командиров, сбегавшихся на громкие и хамские назидания. Портос нагло заявил, что ни о каком поединке со мной не может быть и речи, потому что он меня «соплей перешибет». Час был самым бездельным, между обедом и ужином, толпа человек тридцать жаждала зрелищ, все стали обсуждать выбор оружия на дуэли и сошлись на ножах. Раздался голос благоразумия, принадлежавший сержанту-саперу, вместо ножей решено было использовать подобие их — ложки, победителем считается тот, кто первым коснется ею жизненно важного органа противника. Бежать за ложками не пришлось, у многих они за голенищами сапог. Подбадривая себя победными возгласами, Портос повел меня к поляне за околицей, помахивая ложкою, как кинжалом. Все двинулись за нами. Было тепло, градусов десять ниже нуля. Воспитанный Чехом, я бесстрастно не впускал в себя оскорблений типа «штабной сосунок». Сбросил, как и Портос, шинель.

Толпа раздалась в стороны, образовав круг. Портос в центре его принял боевую позу: слегка присел, раздвинул пошире руки, вжал голову в плечи, ложку выставил черенком вперед. Он не подозревал, конечно, в какую ловушку попал, выбрав «нож» оружием поединка.

Меня же долго, со стыдом и болью, мучило воспоминание о схватке с немцем, когда, вцепившись в стволы «шмайссеров», мы вопили, размахивая автоматами. К такому бою меня никто не готовил, я подумал, что на пути к Берлину единоборства с отдельными немцами могут принять еще более диковинные формы. Вот и разработали мы с Алешей несколько удачных приемов, показали их Чеху, тот похвалил нас, внес кое-какие хитрости. Отныне я мог брать верх в схватках с опытными бойцами. Нож ли, кинжал, саперная лопата, штык, но при всех обстоятельствах каждый в поединке занимает выгодную позицию для выброса колющего или режущего орудия. Противники как бы топчутся на месте, глаза кося на ноги соперника, соответственно располагая и свои ноги. Если же намеренно сделать несколько неправильных движений, то враг машинально сделает то же самое и окажется в положении, когда достаточно ложного выпада, чтоб ноги его заплелись. Еще один бросок — и соперник повалится, тогда уж подскочить к нему и вонзить нож, кинжал — секундное дело.

Это и произошло на заснеженной поляне. Портос брякнулся на землю, а я ложкою полоснул ему по горлу. Уверая, что он всего-навсего поскользнулся, Портос потребовал новой схватки. И вновь был посрамлен. Под хохот недругов и недоуменное молчание приятелей он поплелся прочь. Поляна опустела. Осталась только девушка-ефрейтор. Она сказала, что до войны училась в Институте физкультуры и, кажется, разгадала мой фокус. Пояснила: была в сборной по баскетболу и на пробежках с мячом следила за ногами блокирующих ее защитников.

Последовало предложение: помериться силами, уж она-то не упадет, не запутается в собственных ногах.

Куда, конечно, ей со мной тягаться! Трижды она падала, и всякий раз я спешил подать ей руку, помогая встать, потому что она, коснувшись лопатками земли, задирала ноги, и я видел штанишки ее поверх рейтузиков. Очень смешливая, гибкая и ростом с меня, она ничуть не была обижена неудачей, дружески поблагодарила меня за науку. Вместе пошли к селу. Эта курносенькая девушка очень мне понравилась, грубых слов она не употребляла. Вспомнилось, что поверженный Портос ухаживал за ней, безуспешно причем. Дошли до какого-то дома, и тут девушка сказала, что долг платежом красен и она тоже кое-чему может меня поучить, мы ведь оба — в хозяйстве Костенецкого, не так ли? Правда, уточнила девушка, отработанный ею прием ближнего боя применим только в закрытом помещении и на ограниченной площади. Чрезвычайно заинтересованный, я попросил девушку научить меня этому приему и вслед за нею вошел в дом. Строгим шепотом она предупредила о секретности приема и закрыла дверь на ключ, когда мы оказались в комнате. Стоя спиной ко мне, она сбросила ремень и стянула с себя гимнастерку. Что сделал и я. Она освободилась от сапог — и я тоже. Вылезла из юбки и отстегнула пояс, мне пришлось снять брюки. Начал было готовить себя — по методу Чеха — к схватке вплотную, как вдруг девушка стремительно бросилась ко мне, обняла, стала осыпать поцелуями, передвигая себя и меня в угол, где стояла кровать. Ей удалось положить меня на себя, широко раскинув ноги, руки же ее способствовали тому, что мы соединились. Движением таза она показала, что мне делать.

Я испытывал головокружительное и восхитительное ощущение полета в затычном прыжке. Земля, к которой стремилось мое тело, была где-то далеко внизу, она, грозящая смертью, ударом и разбиением в лепешку, если парашют не раскроется, угадывалась в тумане, и все во мне пело от счастья, потому что парашют, я в этом уверен был, раскроется и я мягко опущусь. Я видел закрытые глаза девушки, рот ее, кончик языка, как бы умоляющий меня скорее дернуть вытяжное кольцо. И незримый парашют будто белым овалом отделился от меня, наполнился воздухом, меня встряхнуло, я забился в радости того, что жив, здоров и сейчас встречу землю. И она меня встретила, прижала к себе и не отпускала до тех пор, пока я не понял, что произошло и какое смертельное оскорбление нанес я моей любимой Этери. С нею, только с нею, обязан был я испытать естественный, природный акт, предшествовавший зачатию. Три года дружили мы, грузинские обычаи препятствуют частым свиданиям, Этери сидела за две парты от меня, но наши глаза видели всегда одно и то же, мы верили, что нас не минует первая брачная ночь, которая сольет не молодоженов, а виноградники с солнцем, всех родных Этери с моим воронежским и сталинградским прошлым, и, когда Этери шла рядом со мной из школы, робко и послушно подставляя себя под мои взоры, я знал, что столь же покорно покажет она свое тело, отдаваясь мне. Я изменил ей! Я предал и себя!

Стыд пронзил меня. Я заплакал. Я не знал к тому же, что делать дальше, как осушить себя. Представляя по услышанному или вскользь увиденному, как происходит совокупление, я почему-то полагал, что мужская влага впитывается женщиной так, что и следа ее не остается. Я заблуждался, я ошибался, и я честно признался девушке, что испытываю сейчас и как плохо мне.

Поглаживая меня и целуя, она сказала, что ничего страшного не произошло уже потому, что и мне, и ей было хорошо. Брезгливость, что наполняет меня сейчас, скоро пройдет, так всегда бывает, так уж устроены мужчины в отличие от женщин, пребывающих в благодарности после случившегося. А с тем, что я называю влагой, она подскажет, и не надо сейчас спешить, влага эта — что дождь, павший на пересушенную почву... Да, она

виновата, ей хотелось легонечко отомстить мне за то, что я на ней, женщине, испытывал мужские приемы безжалостной борьбы. Но и не такая уж она плохая, чтоб я стыдился ее. Мама у нее — заслуженная ткачиха, отец — метростроевец, сама она — активная комсомолка, в армию пошла добровольно, отлично знает рации типа РСБ, 6ПК и 5АК, дважды посылалась за линию фронта. Этери, конечно, много лучше ее, это она понимает, но невеста моя далеко и в безопасности. Она дождетя жениха, то есть меня, и как будет ей приятно, что в первую брачную ночь я поведу себя истинно по-мужски. Наконец, продолжала лежавшая рядом со мной курносая девушка, она догадывается о том, что мне предстоит, что я не раз буду в немецком тылу и что, возможно, в постели мне удастся у какой-нибудь немки выпытать нужные нашему командованию секреты, и чем успешнее буду я вести себя в половом контакте с немкою, тем скорее придет победа. Вот почему, заключила девушка, нам надо встречаться почаще, она покажет мне, как раскрывать секреты немецкого командования...

Мы оделись, расцеловались и разошлись. Видеть я не хотел эту курносую, встречаться с ней тем более, имени ее не спросил, потому что не уверен был, что получу правильное, настоящее имя, ей ведь Костенецкий и Лукашин могли изменить биографию.

Но после ужина настроение у меня изменилось, время тянулось почему-то медленно, я поглядывал на часы, я уже искал повод для встречи, назначенной на восемь вечера, и обосновал необходимость ее. Впереди, размышляя я, новые схватки с немцами, возможна и встреча с немкой (со «шмайссером» или без), у которой надо разными способами выведать секреты, поэтому обучение способам, которые известны только этой девушке-связистке, крайне полезно! Но соглашался я и на повторение сегодняшнего урока, ведь надо идти от простого к сложному!

После долгих колебаний я покружился вокруг ее дома и постучался. Никто не открыл, никто не ответил. Не было девушки и в школе, где крутили кино. Я не расспрашивал, я только смотрел, и взгляды мои ищущие не остались незамеченными. Девушка-ефрейтор, назвавшаяся подружкой той, которую я искал, сказала мне, что два часа назад срочно увезли на аэродром нескольких радисток, никто из них, включая курносую, еще не вернулся.

Спал я плохо, бегал поэтому утром дважды, стараясь показаться окнам того дома, куда привела меня вчера девушка. Окна безмолвствовали. Странно повела себя вчерашняя связистка, сказавшая мне про аэродром. Увидев меня, она отвернулась. Я шел мимо домов, чувствуя себя мальчиком, о котором забыли родители: был такой случай в Сталинграде, когда отец и мать заглянули в универмаг «на минутку» и пропали на целый час. Вдруг меня окликнул майор Лукашин, неизвестно когда прибывший на курсы, и позвал к себе. Долго и нудно расспрашивал о матери, об Этери, говорил о том, что надо бы послать меня в какое-нибудь училище. Он всегда был добр ко мне, этот майор Лукашин, и я старался при нем казаться старше, взрослее и смелее. Спросил поэтому, глянув прямо в его глаза, где курносая девушка. Спросил также, как можно посылать за линию фронта девушку, которая освоила только дивизионные рации. РСБ, 6ПК, 5АК — с ними в тылу врага не наработаешься, габариты не те, частоты, комплектация.

— РСБ... — удивился Лукашин. — 6ПК... Жалобы на питание есть?

После долгого молчания он сказал, что в 1935 году работал на лесосплаве, личный состав, то есть девушки, все городские, прыгать с бревна в реке на бревно не умели и гибли ежедневно. Иногда две, чаще три горожанки. Как-то он составил отчет: за истекший день никто не погиб. Думал, что его похвалят. А с лесоучастка телеграмма: плохо работаете, план не выполняете!.. «Ступай!»

Только к вечеру я узнал, что курносая погибла в эту ночь, самолет сбили над линией фронта, он упал в расположении наших войск, прямое попадание зенитного снаряда, никто не спасся.

Было обидно, очень обидно. Никогда, казалось, не встречу я такой благородной души. Девушка так тепло говорила об Этери, так доверчиво рассказывала о себе. Ее слушать да слушать, и мир после войны представился мне полным молчанием, не заговорят же те, которые обещали когда-то говорить, шептать, обнимать.

Курносенькая потому еще была мне дорога, что я невольно сознавал — с некоторым умилением даже — лживость свою: мне прежде всего хотелось падать с девушкой вниз, пронизывать небо, устремляясь вместе с ней к земле до тех пор, пока нас не встряхнет и нечто, нас покинувшее, раздвинет стропы парашюта, наполнит купол воздухом. Вот чего я хотел, а не победы над фашизмом! Ужас! Предательство!

Я решил оставить ее в памяти Неизвестной Девушкой и горевать всю войну, узнавая или слыша о смерти других девушек.

И вот тут-то и страх пронзил меня. Роковая женщина Инна Гинзбург! Это она же отомстила! Она!

## 15

### *Звездный посланник. Дар небес*

На окраине села я на утренней пробежке вдруг увидел лежавший на обочине дороги пистолет — и замер. Потом наклонился и поднял. Пистолет — парабеллум модели 08 — был совершенно новеньким, в легкой смазке, что показалось мне очень странным, загадочным даже. Конечно, я многое уже знал о нем, держал в руках, стрелял, но оставался равнодушным к его достоинствам. Но этот-то — каким ветром занесло его сюда? Каким ураганом?

Отбежав подальше, я выстрелил в озябшую веточку и понял, что мною найден мой пистолет, что он создан для меня, для моей правой руки, а возможно, и левой. Я уверен до сих пор, что Георг Люгер и Хуго Борхардт, конструкторы Р 08 (так именовался этот парабеллум в немецких документах), создавая это чудо, рождая его в муках творчества не один год, предвидели появление мальчика Лени Филатова, ибо парабеллум идеально подходил к моей руке, он был естественным продолжением моего тела, и, когда в мои руки попадали пистолеты других систем, я испытывал угрызения совести и вину перед даром небес. Тренировок ради меня заставляли из кучи деталей собирать впотьмах польские, чешские, немецкие пистолеты, но пальцы отказывались воссоздавать парабеллум. Он всегда мыслился единым, неразборным, цельным, не имеющим предшественника, неповторимым, он родился как бы из ничего, и как напрасны потуги ученых найти праобезьяну, от которой пошел род человеческий, так и невозможно сказать, кто вдохнул дух в металлический предмет Р 08. Истинное великое изобретение не создается унылыми одиночками, Борхардт и Люгер, узкие специалисты, обогатились братьями Леве, умницами и весельчаками, знавшими толк в швейных машинках, и в 1908 году, за девятнадцать лет до моего рождения, философия мира обогатилась термином Р 08.

## 16

### *Человек — он же собака и ищейка, он же благородный спаситель*

Друзей моих, еще не долеченных, отправили в другой госпиталь, очень далеко, я того хирурга, что оживлял Григория Ивановича, встретил и поразился: был он таким, что хоть самого оживляй. Задав два-три вопроса по методике Чеха, я облегчил ему боль, то есть он честно рассказал мне, чем встревожен, и оказалось, что его вот-вот расстреляют, ему, как он выразился, шьют дело, которое заключается в том, что полтора месяца назад,

когда раненые шли потоком, когда санитары падали от усталости, а хирурги засыпали над ими же раскромсанными телами, он, будучи в сомнении, ампутировать руку или нет, не позвал к столу никого из коллег, потому что коллеги склонились над другими столами, а такая консультация предусмотрена законом. Руку — правую! — он отрезал, а теперь его обвиняют в сознательном нанесении ущерба Красной Армии, ибо ампутацией выведен из строя боец, то есть численность Вооруженных Сил СССР уменьшена хирургом на единицу, за что полагается расстрел (без конфискации имущества — добавили трясущиеся губы пожилого хирурга).

Внимательно выслушав, я поинтересовался, а что говорит боец, которого лишили руки, на что хирург с горечью ответил:

— Да что с него толку! Рука его сможет сказать! Та, отрезанная!.. А как ее достать?

Я же чувствовал себя большим специалистом по рукам, и знание мое подкреплялось тем, что девичью длань свою Инна Гинзбург частенько позволяла мне прошупать досконально. Наконец, я чувствовал большое уважение к собственным рукам, способным на чудо. От хирурга же я узнал, что рука, которая может спасти его, погребена в членомогильнике, метрах в семистах от госпиталя, но где именно — никто не помнит, таких кладбищ для отрезанных внутренних органов и удаленных конечностей было несколько, ни в одно из них контрразведка с лопатой не полезет. А спасти человека надо, надо!

Вместе с хирургом я осмотрел бойца, который был уже на выписке, и установил, что на тыльной стороне ладони удаленной руки он когда-то по глупости сделал наколку, знакомый блатняга вывел ему имя «Вера». Это обнадеживало. Март уже кончался, но снег плотно покрывал землю, и все собаки, кормившиеся около госпитальной кухни, идти к месту возможного захоронения отказывались. Тогда я прикинул, какими мыслями руководствовались санитары, выбирая место для могильника, встал на четвереньки и, поводя носом, что-то учуял. Первый же копок лопаты подтвердил: я на верном пути. Надо бы надеть противогаз, но и он, пожалуй, не избавлял от тошноты. По словам хирурга, руку по плечевой сустав ампутировал он из-за размозжения мягких тканей с большим дефектом сосудисто-нервного пучка и дистального отдела артерии на большом протяжении. Что это такое, я знать, конечно, не мог, но в женских именах разбирался и наконец торжественно принес будущему арестанту правую руку с неизбежной «Верой».

Больше его в контрразведку, где, я думаю, служили одни Любарки, не таскали. Он, правда, очень опечалился тем, что я не пью и не курю, потому что только бутылкой спирта и коробкой папирос мог меня отблагодарить за спасение.

## 17

*Великий Диверсант Филатов присутствует при групповухе, и отныне он для Инны Гинзбург — роковой мужчина. — Ружегино — центр философской мысли XX века*

Под шинелью я носил безрукавку из овчины, да и морозы уже спали, валеночки достал, более того — для друзей моих тоже валенки сообразил... Очень довольный, шел я по селу, когда с проезжавшей полторки спрыгнула дивчина в белом полушубке и оказалась роковой Инной Гинзбург. Она радостно взволновалась, увидев меня, забросала вопросами, на которые отвечал я скупой, блюдя государственную и военную тайну; да она и не пыталась слушать меня, трещала и трещала. Шинеленка моя ей явно не понравилась, безрукавка тоже. Зашли погреться в дом, где жила Инна, вручившая хозяйке плитку шоколада, две банки тушенки и бутылку водки;

о чем-то чрезвычайно важном долго шепталась с нею, я уловил только: «...чисто, свято, благородно, уединенно: на всю жизнь ведь останется...» Хозяйка полностью соглашалась, обещала все сделать, всплакнула, вспомнив о своем Ванюше. Инна что-то затевала. К вечеру подъехали на попутке к штабу армии, где служили Родине круглосуточно; интендантского майора Инна застала на складе и сказала ему, что младшему лейтенанту, то есть мне, нужен полушубок. Интендантский майор взбрыкнулся, сославшись на отсутствие полушубков как в наличии, так и в перечне штатного обмундирования. «Ты с ума сошел!» — заорала с сильным еврейским акцентом Инна и присовокупила: младший лейтенант хоть и Макаров Леонид Михайлович, но еще и двоюродный брат ее тети Берты, а также племянник известного майору Шмулика Лебензона. Наверное, тетя Берта подействовала на майора, он полез на полки еще до того, как под сводами склада прозвучал «Шмулик». Полушубок был как раз по мне, шинеленку я скатал и ее, хлипкую, завернул еще и в брезент. Инна похлопала в ладоши и грозно заявила, что для не терпящих отлагательства целей ей необходим полный комплект чистого постельного белья. Майор для тети Берты ничего не жалел, и старушка с поклоном приняла новый дар. Затем Инна повела меня к дому, где жили ее переводчицы. У роковой женщины Инны Гинзбург, как я заметил, была страсть все преувеличивать, привирать и приукрашивать, но на этот раз она молчала — так молчала, что все переводчицы застыли. Кто-то все-таки пискнул, что Инна старше Леночки, то есть меня, лет на пять. В знак презрения к такого рода расчетам Инна выволокла меня наружу и повела куда-то.

А времени-то было — пять вечера, хотя и стемнело. Неутомимая Инна Гинзбург выбила у какого-то капитана «виллис», назвав меня внуком Зямы Петрова, и мы покатали за сорок пять километров смотреть кино, надеясь к половине девятого вернуться, и я догадывался, что предстоит этой ночью: Инна расстегнула полушубок и положила мою руку на свою пылающую грудь. В такой позиции были кое-какие неудобства: Инна уже повысилась в звании до лейтенанта и могла, следовательно, командовать мною, хотя и никем еще не определялось в точности то пространство, в котором разница в воинских званиях сказывалась бы на поведении в быту.

Напомню, я уже однажды обладал Настоящей Девушкой, той, что погибла, и в беспарашютном падении я многое увидел; мне жарко отдавалась домохозяйка Мотя, я, признаюсь, уступил наглым домоганиям госпитальной поварахи, решившей меня, как она выразилась, подкормить и завлекшей в тесную, как школьный пенал, кладовку. Короче, я полагал, что стал мужчиной, знаю женщин, а одну из самых лучших, Инку Гинзбург, познаю через несколько часов, причем останусь верным Этери.

То, что произошло в этот вечер, оказалось потрясанием воображение событием, фантастическим по своей наглядности и — пусть это слово прозвучит — трагедийности... Каждый человек вправе судьбу свою соотносить с течением мировой истории, подчас приписывая либо себе, либо кому-нибудь решающее влияние на плавность течения земной или звездной реки. И я считаю вечер 28 марта 1942 года решающим для, к примеру, армии Манштейна или сражения в Северной Африке. Я думаю даже, что падение Берлинской стены, о чем прочитал позавчера, вызвано двумя полупьяными регулировщицами на развилке дорог у села, название которого должно войти в память человечества как Помпея, Ковентри, Сталинград, Фермопилы.

Да, Ружегино. Как сладкозвучны наименования населенных пунктов, вблизи которых гроыхали судьбоносные оружейные залпы, слышался звон сабельной сечи и топот кованых сапог многотысячного войска, голодного, но преисполненного отваги. И как царапающие и неуклюжие названия, вызывающие в памяти горечь неудач, признающих в тебе постыд-

ную слабость духа и тела; так и хочется сплюнуть, услышав «Ружегино», но и — замереть, отрешиться от мелочей, составляющих жизнь окрест тебя, и небыстро воспариться, чтоб еще раз глянуть сверху на человеческое стадо, которым управляют неземные силы.

Ружегино это прилепилось к дороге, имевшей для штаба какое-то важное значение, какое — да и в мыслях не было, когда поехали, вот на выезде из какого-то села и были остановлены двумя девицами, явно хватанувшими пару стаканов, что в любом случае недопустимо, о чем я им и сказал. Ничуть не смутившись, девицы (обе — в лыжных маскахалатах) полезли на рожон, требуя какого-то разрешения, и потом со зла направили нас на дорогу в это самое Ружегино. До фронта — около пятидесяти километров, светомаскировка соблюдалась, все машины — с синими фарами, и тем не менее натренированный взгляд мой определил, что деревня войсками не обжита, а когда «виллис» наш сломался прямо у сельсовета и я — в подражание Григорию Ивановичу — пошел требовать телефонной связи и вообще содействия, если не прямого подчинения, — там в сельсовете получил я из первых рук сведения: в деревню входил на ночлег снятый с фронта батальон, который на картах руководства, может быть, и значился войсковой единицей численностью в шестьсот бойцов, но после отвода с передовой и массового увоза раненых в тыл едва ли тянул на полуроту. Она, полурота эта, несла на себе все признаки обстрелянности и готовности хоть сейчас вернуться в окопы. Все ценное, то есть теплое, что было на убитых, снято и приспособлено к нуждам живущих, все люди в валенках, вооружены превосходно, готовы держать оборону еще хоть неделю, и деревню Ружегино рассматривали как подарок или, точнее, вознаграждение за то, что остались живыми. Полурота эта стояла — полулежала, что ли, — в сарае рядом с сельсоветом, и командира ее сельский начальник просил с постоем повременить, пока он не обегает избы и не определит, куда кто и что может вселиться. В школе, кстати, для доблестных воинов организуются танцы, можете плясать до упаду — так напутствовал командира полуроты одноглазый председатель сельсовета.

Со мной он даже говорить не стал, обвел скрюченной рукой помещение, как бы говоря: «Ну, где ты видишь здесь телефон?» Да мне и звонить расхотелось, да и кому звонить-то, потолкался в сельсовете и вышел.

Около десяти градусов мороза, поскрипывал снег, луна яркая, звезды в несметном количестве, ветерочек слабенький, ветерочка, считай, нет, такая тишина и безветренность расслабляют часовых, они и не подозревают, что для опытной ноги земля — пух, мох, в котором завязнет любой шорох и шелест. И ни огонька вокруг, воздух ломкий, льдистый, голоса в нем рассыпаются... Чудная погода, прекрасная, природа готовилась к осквернению себя людьми и намеренно расслаблялась. Я залез в «виллис», самолюбивый шофер которого отказался от моей помощи, твердо пообещав: через двадцать минут машина будет на ходу! Инна вдруг сказала:

— Пойдем в синагогу!

И мы пошли в школу, с двухсот метров уловив музыку. На крыльечке воспитанно смахнули вениками снег с валенок, в нос, как только вошли в коридор, ударил запах фронтového пота, махры, еще чего-то такого военного, привычного и — духов, как-то сладостно напомнивших Дом культуры СТЗ, Сталинградского тракторного завода, куда я бегал на «Чапаева». Парты в большой комнате составили в угол, танцы уже начались, на подоконнике стоял патефон, игла заскользила по «Рио-Рите», когда мы вошли — оба в белеющих коротких полушубках, в шапках, валенки танцам не помешали бы, но мы стояли в уголочке, очень уж все было как-то подомашнему уютно, и люди вели себя чересчур церемонно, не то что в госпиталях, где ходячие раненые так прижимали к себе местных девчат, что у тех ребра трещали. Здесь все было серьезно и культурно. Три керосиновые лампы освещали комнату, ружегинские девки все, как на подбор, были то

ли кособокими, то ли косоглазыми, — короче, все с изъяном, будь хоть одна такая там, в группе переводчиц, все остальные показались бы красавицами, но в классе, где танцевали, где по стенам стояли сельские бабёночки в возрасте от пятнадцати до тридцати или сорока, все они были какими-то неуклюжими и неказистыми и все такими уж недоступными скромницами. Инна Гинзбург постеснялась приглашать меня на фокстрот, да я и умел-то всего лишь «раз-два-три... раз-два-три...», вращая себя и девушку то по часовой стрелке, то против, что позволяло хорошо обозревать людей в помещении на тот случай, если кто-либо вдруг выдернет из-за пояса пистолет.

Сладкая музыка, не из-под иглы шипящая, а ветром донесенная сюда из далеких годов, напоминавшая о матери, которая в том же клубе танцевала с отцом, о Любарке, о «Кантулии», которая воспроизведет музыку эту под моими пальцами... Как-то умиленно наслаждался я, но не мог не заметить, как и Инна Гинзбург, что, во-первых, почему-то только ружегинские женщины приглашали бойцов на танцы, а не наоборот, то есть постоянно был так называемый «белый танец». А во-вторых, время от времени оттанцевавшие пары очень тактично освобождали пространство комнаты для других пар, куда-то уходя, что и заинтриговало Инну Гинзбург, она предположила выпивку где-то поблизости и показала мне горлышко торчавшей из кармана полушубка бутылки. (Шепнула: «Кахетинское, на складе подарили...») Поскольку выходившие в коридор парочки вели себя как-то тихо, притаенно, явно не желая показывать себя к алкоголю стремящимися, поскольку к тому же я — Инна это знала — ничего хмельного не употреблял, то и следовать за парочками мы не собирались, хоть и было бы интересно посидеть за общим столом да послушать, иногда в рассказах бывалых бойцов мелькали очень нужные детали, даже Чеху неизвестные.

Так и стояли мы с Инной, переглядываясь, но с места не двигаясь и тем более не танцую. Потому что сколько пар ни покидало эту большую комнату, столько и входило: комната вмещала в себя ровно столько, сколько могла.

Вдруг мы стали свидетелями, или слушателями, следующего разговора — нелепого, глупого, деревенского. Отзвучал фокстрот, кавалер, то есть красноармеец в телогрейке и шапке-ушанке, по всем ритуальным правилам отвел ружегинскую женщину на то место, где стоял до приглашения, совсем рядом с нами, и женщина, которая слегка приспустила головной платок, как-то поерзала и спросила кавалера:

— Ну ты как?.. — И глянула на него снизу вверх: красноармеец был намного выше ее.

— А так, — ответил тот и потоптался на месте, а затем поскреб подбородок. — Так что?

Вместо ответа женщина пошла к двери, боец — за нею, а мы с Инной последовали за ними. В коридоре курили, махра издевательски вторгалась в легкие, Инна пальчиками зажала носик. Мы не отставали от тех, за кем следовали, и внезапно оказались в комнате, размерами не уступавшей той, которую мы только что покинули, но сразу не могли разобраться, что в этой комнате происходит; мы ощущали, что находимся среди людей, но поначалу не отводили глаз от красноармейца и женщины, стремясь все-таки понять, что они делают, да и зрение не приспособилось еще к тусклости: ни одна лампа не горела, керосина, видимо, не хватило, зато за тремя большими окнами расстилалась снежная масса, подсвеченная еще и желтизной луны. Раздавались какие-то странные звуки, уши не могли расслышать их на составляющие, но глаза уже сфокусировались и приступили к наблюдению. Рука Инны Гинзбург нашла мою ладонь и жала ее, призывая к молчанию и погружению в тайну, которая начинала прозреваться. В трех метрах от нас красноармеец и женщина начали как-то бестолково раздеваться, непонятно для чего, потому что в большой этой комнате было



не так уж и жарко, однако женщина сняла ватник и положила его на пол, чуть ли не под ноги Инны Гинзбург. Затем села на него и стянула с ног валенки, что позволило ей освободиться от исподнего, то есть подготовиться к тому, что предшествует обнажению тех органов, через которые испускаются человеческие отходы. Непонятно, правда, почему она легла, а не приняла более удобную позу, красноармеец-то оказался более практичным и снимал валенки, шаровары, а затем кальсоны, находясь в вертикальном положении. Но когда женщина не только легла, но еще и раскинула ноги, когда красноармеец покрыл собою ту, которая пять минут назад со смущением приглашала его на танец, — вот тогда-то и догадался я, что сейчас произойдет акт совокупления, тогда-то и понял, что на полу комнаты, занимающей тридцать или более квадратных метров, совокуплением занимаются два или три десятка пар, производя акт этот в неимоверной толчее, но с поразительной деловитостью. Уже знакомый со звуками, которые сопровождают то, чем занимались пары, я не удивился бы, услышав визги, которые издавала наглая повариха в тесной кладовке, или мечтательные стоны Моти, но — ни того, ни другого, ни третьего, а всего-то — осторожное хрипение, сопение, кряхтение тридцати человек, занятых очень напряженной работой, которую надо сделать как можно аккуратнее, точнее и соразмеряя свои силы с возможностями того или той. Время от времени раздавались, как в орудийном расчете при стрельбе, команды, способствовавшие наиболее глубокому заталкиванию снаряда в канал ствола, для чего надо было и угол заряжания изменить, подняв его или опустив... И выстрелы раздавались — не только в том фигуральном смысле, к которому прибегнул я, описывая происходящее и зная, что книгу эту будут читать девушки и юноши, — да, стреляли, то есть громко выпускали газы из кишечника, никак не намеренно, а негромко, принося извинения за нечаянный грешок.

Вместе с нами пришедшие трудились еще, когда слева поднялась пара, уступая место новой, и та стала раздеваться, после чего произошел обмен именами, состоялось как бы знакомство.

— Тебя как? — поинтересовалась женщина, сунув под голову то, что ранее прикрывало ее тело от пояса до лодыжек. Мне показалось даже, что она зевнула при этом.

— Володька, — ответил мужчина и опустил на нее.

На мгновение я оглох, что — тоже на миг — обострило зрение до пугающей остроты, комнату будто осветили вспыхнувшей под потолком стосвечевой лампой, и я увидел не повторенное в единообразии лицо Неизвестной Девушки, в паре со мной летящей к твердой земле при затыжном прыжке, а — там, где можно было увидеть, — сосредоточенность женщины, не желающей прерывать приятное, хотя и трудоемкое занятие, требующее усидчивости, если можно так выразиться, прилежания и сноровки.

Люди занимались делом, вот что я понял в миг, когда прозрение сменилось наплывом звуков, среди которых были и обращенные к нам, то есть ко мне и Инне, слова, произнесены были они поднявшейся с пола женщиной, оказавшейся более чуткой, как это женщине и положено, чем ее напарник. Решив, что мы с Инной не занимаемся делом потому лишь, что нет места на полу, женщина, натягивая на себя ранее снятое, потянула Инну за край полушубка: да снимай ты его и подстеливай, а та — кулачок ее дрожал испуганной пташкой в моей ладони — стремительно рванула к двери, к выходу, мы проскочили по коридору, выбежали на двор, под луну, мы вдохнули морозного воздуха, Инна пыталась что-то сказать мне, но потом расплакалась навзрыд, а я благоговейно молчал, ибо постигал тайну великого древнего инстинкта, принуждавшего мужские и женские тела сочленяться, и по неизвестной причине веление природы было таким, что уже ничего человеческого в человеках не оставалось, они и на зверей-то не становились похожими, поскольку требовалось уединение

совокупляющихся пар, а то, что видели мы в школе, попирало все устанавливаемые общежитием людей и зверей законы, обычаи, правила. Не люди властвовали над собою, а чья-то воля, то самое, что сродни музыке (и сравнение пришло: люди — как струны на, скажем, гитаре, и не пальцы мужчин или женщин касаются их, нет, струны дребезжат, отзываясь на колебания самой природы...). В классе блудом занимались как на отведенном для испражнений клочке лесной территории... Наверное, люди превратились в людей в тот момент их истории, когда они испражняться стали не скопом, не в общем для племени месте, а начали разбегаться по лесу.

Ошеломленный, неподвижный, натянутый как струна под холодным небом СССР и всего мира, я переживал событие, которое — чувствовал это — будет мною осознано много позднее, иначе и не должно быть, потому что сейчас, около занесенной снегом школы, откуда голосом Любарки пелось танго, я приходил к невероятному выводу: ничто не принадлежит человеку, все его чувства — не в нем, они временно сожительствуют с ним, и (о, как прав был Чех!) человек вовсе не хозяин своей жизни, сегодня она есть, а завтра — ищи ветра в этом поле, осиянном светом луны. («Человек не осознает, как тягостна дарованная ему жизнь, — говаривал мой Учитель. — Не мучай человека, убей его...»)

Наконец Инна Гинзбург разразилась бранью: она перестала издавать квохчущие звуки и яростно заявила, что девичьи мечты ее стать моей роковой женщиной не сбылись и никогда не сбудутся, ибо я стал для нее роковым мужчиной, я — искаживший ее жизнь, специально затащивший ее в этот вертеп, чтоб развратить, разложить, чтоб...

Подходящего слова у нее не нашлось, да и шофер уже подходил к нам: машина на ходу, пора.

Открылась дверь, повалил пар и обрывки мелодии, все тот же европейский Любарка пискляво пел по-немецки о чувствах, которые ощущаются на расстояниях... Пел в деревне, через которую мощным напором прорвалась стихия человеческих страстей, тех самых, что скрываются людьми, прячутся, просачиваясь тоненькими ручейками.

И мне вспомнился ростовский цыганенок, которого драили, как медный котелок, песком, под жарким небом Юга...

Инна Гинзбург выпихнула меня из «виллиса», и только случайной попуткой добрался я до своей избы.

И подумал как-то уж безмятежно: отныне Инна Гинзбург возненавидела меня и теперь жди от нее любой пакости. Скорей бы к немцам, за линию фронта!

## 18

*Знакомство с маэстро Кругловым, жуликом, мародером и самым нужным человеком на фронте*

Вернулись друзья мои, опухшие, прямо скажем, от безделья, но и с большим желанием не вылезать из хаты.

Вдруг, без подготовки, нас забросили в тыл, за восемьдесят километров от первой линии немецкой обороны. Погибли, объяснял нам Лукашин, четыре группы разведчиков, пытавшихся принести «языка». Не совсем погибли, поправил Костенецкий, у немцев такая плотная оборона, такая страховка стыков, что разведчики если и возвращались, то с потерями и без добычи. Решено поэтому взять пленного изнутри, так сказать, и протащить его в наше расположение через редкие немецкие роты в ста километрах южнее: там сложилась такая не выгодная ни нам, ни немцам обстановка, что никто наступать не желает.

Чех присутствовал при последнем инструктаже на аэродроме, помаhal ручкой, будто мы ехали на танцы, сел на свой «цундапп» и не стал дожи-

даться взлета и отрыва от полосы. Мы так были уверены в благополучном возвращении, что самый мудрый из нас, Григорий Иванович, запечалился и погрозил нам кулаком.

Но получилось очень хорошо. Немца мы взяли. Заодно прихватили с собой более двух десятков бирок, мы их снимали, как скальпы. Бирки эти носят все солдаты, набор их мог бы многое сказать Лукашину — многое, но не все. Возвращаясь с ценным грузом, мы вошли в лесочек, где переждали артналет — сперва наш, потом немецкий, а затем и тот, и другой; эта бестолковщина, давно уже понял я, и есть война. В полосе шириною пятнадцать километров бродили разрозненные собственным страхом группы неизвестно откуда взявшихся людей, до того уставшие, что и стрелять им не хотелось. Немец на моей спине дергался. Выгибался, нести его было неудобно, на шее моей болтался мешочек с бирками. Калтыгин шел впереди, редкими выстрелами добывая раненых немцев, мы это ввели в правило: однажды проходили мимо стонущего, Алеша даже пожалел его, бинт бросил несчастенькому, а когда отошли шагов на двадцать — раненый этот пустил нам в спину автоматную очередь. Этот мой немец вдруг изловчился и выхаркнул кляп. Григорий Иванович поднял было автомат, чтоб огреть им непослушного, как вдруг сзади раздался голос: «А вы накормите его...» Оглянулись: за нами стоит командир, весь в глине, каска, маскхалат, местность знает, капитан Круглов, интендант и во главе похоронной команды. И точно: покормили немца — смирным стал, сам пошел, на своих ногах, не делая попыток юркнуть в кустарник, да и куда ему бежать. Кругом — похоронщики шарили по карманам убитых немцев, и не только немцев, — занятие, которое Алеша называл мародерством, шмоном, а то и совсем просто: ну, ребята любят чужих карманов. (Услышав о «накормите», я остановился и сбросил немца, удивляясь, как эта простая мысль не пришла мне раньше в голову.)

С Кругловым разговорились, поделились табачком, то есть он нам его предложил. Пожелали удачи, скорой победы и разошлись. Встреча как встреча, за которыми расставания, таких в войну уйма, — лишь легкий вздох сожаления, когда узнавали, что тот, с кем вчера лясы точил, лежит неподалеку скрюченным трупом. А я его, Круглова, хорошо запомнил: лет тридцать пять ему, то есть много, очень много старше меня, но в словах и взглядах его сквозила такая мысль: мы — человеки, мы из одной стаи, нам нечего делить, потому что если что-то и достанется мне побольше, то разницу отдам тебе. Пока же этот добрый человек делился с нами тем, что боги ему, то есть убитые немцы, послали, мне был предложен никелированный браунинг, часы, медальон и коробочка с духами.

Как всегда бывает при случайных и без выстрела знакомствах, расстались хорошо, даже пошутили: вот, мол, после победы так бы встретиться к обоюдному удовольствию.

На пленного сбежался весь разведотдел, Костенецкий сиял, Лукашин, получивший бирки, блаженствовал, а Григорий Иванович высился рядом и гордо молчал. Потому что всем было ясно: только ему, капитану Калтыгину, штабы всех армий фронта обязаны наисвежайшими данными о противнике.

Мы же с Алешей посмеивались, наблюдая за играми взрослых дядей, и делились подарками. Никелированный браунинг достался Алеше.

## 19

*Наконец-то мальчик Леня сходит с ума и становится почти нормальным человеком. — Метаморфозия! — Выздоровление. — Что наша жизнь? Игра в смерть*

А я заболел после героического рейда в тыл противника. Я заболел так тяжело, что весь был пронизан страхом — чувством, которое, как мне уже

год казалось, изгнал из меня Чех полностью. С того ужасающего июньского дня прошло столько лет уже, но я испытываю ужас, когда вспоминаю все перед страшной болезнью часы, события, мысли, все предощущения величайшего страха, испытанного мною, и увертюрой, пожалуй, назревающего безумия вошло в меня легонькое недоумение, сменившееся весельицем, когда я начал рассматривать подарки поближе, чтобы определить, кому преподнести медальон, а кому духи. Оба предмета были изучены мною досконально — принадлежали одному и тому же человеку, сняты были с убитой женщины, что само по себе было большой странностью. Немцы своих женщин берегли, к передовой не подпускали, к тыловой службе — да, привлекали, я сам однажды сдергивал бирку и просматривал документы немки в форме вспомогательных войск, так, кажется, можно перевести *Hilfswaffe*. Что представляла она из себя внешне — таким вопросом не задавался, да и попробуй пойми: Григорий Иванович прикладом автомата (стрелять нельзя было) разнес ей переднюю часть черепа.

В овальном медальоне — фотографии, он и она, ухо к уху, ухитряются сразу смотреть и в объектив, и друг на друга с любовью, надо полагать. Изображенный немец звался Гельмутом и был примерно моих лет. Чуть постарше, конечно. В штатском, что казалось дикостью, все немцы представлялись в форме вермахта, войск СС и военно-партийной администрации (Чех сурово взыскивал за незнание того, кто как обмундируется). Немочка в форме, возможно, служила переводчицей, но, судя по фотографии, была она моложе жениха или мужа, и тогда вопрос: откуда ей известен язык? Или так: могла ли она оказаться на передовой случайно?

Привлеченный к консультации Алеша рассудил еще проще: капитан Круглов Иван Сергеевич медальон и духи мог добыть, распотрошив немца, который в свою очередь немочку почистил в тылу: медальон-то — из чистого золота, духи-то — парижские! Но тогда, возражал я, какого черта вещи мирного и сытого быта были перемещены на фронт?

Разные варианты всплывали, строились очень любопытные версии, а я все смотрел на девушку, находя в ней все большее и большее сходство с Этери, хотя такого быть не могло! Не могло! Невеста моя — кахетинка, в ней Древний Восток, который породнится со свежим славянством, то есть с моим родом, корни которого я, по примеру Алеши, откопаю, найду. Подниму над собою и покажу всем. Всем! А в медальоне — светлая европеанка, лоб которой, брови, губы и ушные раковины выдавали кельтское или норманнское происхождение. Европа, это уж точно. Европа!

Спать лег в тяжелейших раздумьях неизвестно о чем, наплыв какой-то мерзости, какие-то шекочущие прикосновения к телу... К утру тело успокоилось, день начался обычно, встал, размялся, определил центровку тела, мысленно сосредоточился на сегодняшних заботах и побежал в привычную десятикилометровку. Дважды останавливался, что-то мешало, какая-то дряблость в мышцах и — что совсем удивительно — нечеткая работа сердца. Добежал, стал подниматься по ступенькам крыльца — и упал. Очень удивился. Встал — и покачнулся: крыша, которая всегда была выше меня и любого человека метра на три, почему-то держалась на уровне глаз, а ступеньки крыльца вели в колодец. На четвереньках вполз я в избу, меня сотрясал страх, я боялся прикоснуться ко всему, но больше всего напугал меня Алеша, я слышал его голос, я понимал, что голос — встревоженный, но Алеша-то — был без головы! Его голова, отделенная от кровоточащего туловища, локтем прижималась к левой щеке. Я стал вырывать эту голову, чтобы приставить ее к Алешиней шее, и потерял сознание. Сколько пролежал в бесспамятстве — не помню, не знаю, я то делал зрячим и видел раскромсанные тела обступивших меня людей, то становился слепым, что доставляло удовольствие; и в слепоте, но не в глухоте я слышал почему-то радующие меня слова, пахнущие карболкой, эфиром, спиртом и бе-

лыми халатами медсестер, и — опять страх, потому что внутренним зрением я видел отрезанные груди Неизвестной Девушки.

Заторможенная психика... Такого количества трупов и мясник не выдержит... Какой идиот посылает его в немецкие тылы... Метаморфозия!

Вот что слышал я от дивизионного врача!

Такую болезнь от Костенецкого не скроешь, и Костенецкий приказал: не лечить!

Рассчитывал он на Чеха, к которому испытывал брезгливое любопытство.

Вкрадчиво, по-кошачьи подбирая ступни, Чех вошел в шаткую избенку, куда спрятали меня, и оказался третьим человеком, тело которого воспринималось мною цельно, необезглавленно и необезножено (именно так, нераздельно, видел я Калтыгина, себя же постоянно проверял, ошупывая голову и ноги). Положив руку на мой лоб, Чех сказал, что я давно не был в поле. И повел меня в поле, далеко-далеко, сел на корточки, и я сел. Ищи траву, сказал Чех. Какую, спросил я. Какую хочешь, ответил он. И я стал искать траву, для удобства передвигаясь на четвереньках, да и Чех избрал такой же способ. Я внюхивался, и запахи вели меня.

Вечером Чех напоил меня каким-то отваром. Я заснул, а продрав глаза, увидел Чеха. Он сказал:

— Все мучительные для тебя вопросы должны разрешиться в тот момент, когда кто-то попытается лишить тебя жизни. Именно в этот измеряемый долями секунды миг ты и решишь центральную проблему психологии и философии, врага чуть опередив. Поэтому ты всюду обязан всех — всех, подчеркиваю! — людей рассматривать как врагов, пока они не докажут свою безвредность. Правда, постоянное нахождение в таком выжидательном состоянии вредит, искривляет психику, поэтому надо давать отдых нервам — в те краткосрочные дни или недели, когда заведомо известно, что на расстоянии снайперского выстрела твоего потенциального убийцы нет...

Да, я выздоровел, то есть увидел войну такой, какой она видится всем сейчас. Я понял, что самое страшное место на земле — это теплые, самой землей защищенные окопы, потому что в них утеряна человеческая личность, право распоряжаться своей судьбой, самому решать, кого убивать и в какое время. Я понял, что груды тел в серых шинелишках, вповалку разбросанных по земле, — это уже и есть земля, та, из которой возродится семя хлебное. Что нет на войне игр «чет-нечет», а есть: сегодня, пожалуй, убиты, а что такое смерть — не знает никто, даже Чех, потому что ее нет. Бытие вне жизни — а жизни, оказывается, тоже нет.

Мне страшно повезло, я мог самолично выбирать себе врагов и рассчитывать с ними, никто не поднимал меня в бой по сигналу: «За Родину! За Сталина!» Судьба подарила мне друзей, меня спасавших, потому что я собою заслонял их.

И мне расхотелось вести счет убитым, потому что страшнее болезни оказалась явь. За нами тянулся хвост, дознания и следствия по делам, в которых обвиняла нас военная прокуратура, а дел таких скопилось предостаточно. В алкогольном буйстве Григорий Иванович избил однажды интенданта. Сильно подвел нас Алеша, машинально забравший документы убитых нами мародеров, а те оказались офицерами войск охраны тыла. (Висело над нами и блестяще выполненное задание в Белоруссии.) Все дела эти могли легко и непринужденно закрыть и московские наши хозяева, и Костенецкий, и не закрывались они потому, что всем было выгодно держать нас в цепях, все дорожили камнем за пазухой — в чем и состояло искусство управления людьми. Григорий Иванович давно освоил эту науку, составив на меня и Алешу объемистое dossier. Сомневаюсь, что сам Калтыгин знал значение этого слова, употреблял он обычно не менее гроз-

ное: материалы и составные части материалов регулярно приносил Костенецкому, который поощрял его, сильно надеясь, что материалы никому, кроме него, не достанутся.

## 20

*Любовь творит чудеса. — Вновь координатная сетка Гаусса — Крюгера*

Два месяца спустя мы из глубокого немецкого тыла пробирались на восток. Нет смысла говорить о задании, нами выполненном, потому что не было в нем никакой сложности, да и повезло нам. Чрезвычайно повезло. Так повезло, что суеверно паникерствующий Алеша канючил: быть беде, быть беде, — пока Григорий Иванович не огрел его по затылку. А беда назревала, связь оборвалась, «северок» мой, запрятанный в лесу, сдох, я успел, правда, пристроиться к известной нашим радистам немецкой волне и на хвосте ее прострочить место и время самолета, чтоб тот забрал нас.

До места этого оставалось километров пятьдесят, когда около шестнадцати по-московски вышли мы к селу. Алеша нырнул в кустарник и пополз, через полчаса помахал кепкой, забравшись на усохший дуб, дал знак. Он уже обработал хозяйку, в избе нас ждали: огурчики, сало, самогон, молоко. Село было русским, что не лишало Калтыгина возможности побалакать по-украински с молодой, которой Григорий Иванович стал в самое ухо напевать свои мужские страдания. Девка была из тех, на кого мужики смотрят в последнюю очередь, но я-то уже прошел Ружегино и знал, что именно такие — бесстыднее любых красавиц, а всякие там конопущки, нос картошечкой и прочие несоразмерности исчезают в тот момент, когда работающие руки сельской уродины начинают стягивать с мужчины штаны. Но эта-то была как раз во вкусе нашего командира: грудь — две сросшиеся тыквы, ляжки мощные, язык несмелый, но взгляд много знающий. Для проверки Григорий Иванович потискал ее, порасспросил. Немцы, доложила молодуха, наезжают редко, одни старики в деревне да старухи, парней — никого (употребилось искаженное немецкое слово — «никс», так сказано было и подтверждено жестом); о партизанах ничего не слышно, да откуда им и взяться, тут и до войны мужиков было с гулькин нос, и тех на войну забрали в первый же месяц...

Естественно, ни одному слову не поверили, и не потому, что молодуха врала. Не поверили — и все. Знали: начнем верить — пропадем. За стол сели с оружием, молодуха робко протянула руку к автомату на лавке — Григорий Иванович изменил себе, не предложил девке рукой потрогать оружие в штанах, а сквозь зубы пообещал пристрелить.

Наелись. Неприхотливый, намеренно выбиравший для отдыха и просто лежки самые грязные и вонючие места, Алеша полез было в давно не кудахтающий курятник, но после цыканья командира забрался все-таки на чердак. Я пристроился в сенях, Калтыгин же пообещал хозяйке рай небесный от автомата в штанах, если та заглянет к соседям и узнает: нас они не заметили? Та сбегала, узнала: нет, никому не ведано, что у нее гости. Для рая хозяйка выбрала примыкавший к сеням сарайчик, зимой там, судя по запаху, держали хрюшек да корову с теленком. Пришлось сени покинуть, я поднялся к заснувшему Алеше на чердак и через полчаса услышал шум моторов. Хотел было спрыгнуть, поднять Григория Ивановича, но тот уже передавал мне снизу автоматы. Молодуха, тягучая в движениях и ничуть не напуганная, деловито прибиралась в избе, уничтожая мужские следы. Сказала: сидите там наверху и не рыпайтесь!

Немцы въехали — бронетранспортер и мотоцикл с коляской. Лениво постреляли — просто так, в надежде, что кто-то в страхе пустится наутек. Но — вот она, беда! — остановились у соседней избы, ее осмотрели выбравшиеся из-под железа солдаты, а из коляски выпрыгнул лейтенант с

портфелем, сзади же мотоциклиста сидел гауптман, у этого затекли ноги, он несколько раз присел для разминки. Солдаты заглянули и в нашу избу, пошумели немного. Молодуха заталдычила: «Да вчера ваши были, все забрали, что осталось, — ваше, ироды, да ради бога, только не мешайте жить, откуда вы только свалились на нашу голову...» Солдаты добродушно пощипали ее, раздался звук от удара мужской ладони по тугому женскому заду, девка взвизгнула, немцы захохотали. Ушли, решив разбиться на две группы и занять крайние дома. Всего их — шестеро, да двое оставались в машине, да мотоциклист. Работы на две-три минуты, но мы на чердаке переглядывались, мы медлили, нас удерживало не то, что завтра или послезавтра немцами будет эта деревня сожжена в отместку за исчезновение девяти солдат и двух офицеров. Можно было просто пересидеть, немцы, это уж точно, очень устали, переспят и завтра утречком тронутся. Кроме того, стемнеет — и выходи из избы да в полный рост к лесу.

Мы почуяли поживу, мы глаз не сводили с неожиданных соседей, потому что странно, очень странно вели себя оба офицера! На третьем году войны я в порядках немецкой армии разбирался не хуже Лукашина. Чех поднатаскал нас изрядно, да и насмотрелся я на немцев досыта. Никакой железной дисциплины у них не было, нация эта всего-то отличалась серьезностью ко всякому делу, к военному — тем более, и никто из офицеров вермахта не шелкал каблуками, не орал «Хайль Гитлер» и не вздрючивал понапрасну подчиненных, как Григорий Иванович. У них было то, что выражалось словами «Все для фронта, все для победы!». Если для победы немцу надо было шелкнуть каблуками — он шелкал, пока его не одергивали старшие.

Но эти-то — эти два офицера, этот лейтенант и этот гауптман — поведением своим опровергали все нажитые знания о немцах! Гауптман (капитан то есть) как бы мысленно понижал себя в звании до лейтенанта, когда говорил с ним, прохаживаясь по саду. Он даже прикидывался слугой его. Лейтенант потянулся к ветке с красным яблочком — гауптман тут же опередил его и ветку наклонил. И тональность беседы была удивительной, гауптман был вторым голосом в дуэте.

Очень заинтригованный, Алеша саданул меня локтем в бок, в ответ я двинул его ногой — в знак того, что ничего не понимаю. Лейтенант что — сын какого-нибудь бонзы? Или лейтенант получил звание майора за какое-нибудь геройство, но по разным причинам не успел еще сменить погоны? Такого быть не могло: перепрыгнуть через звание можно, но только приказом Верховного Главнокомандующего, то есть Гитлера. Да лейтенант ли офицер, около которого вьется с подобострастием капитан? А гауптман — гауптман или...

Григорий Иванович, на другом конце чердака сидевший, присоединился к нам и вмиг оценил обстановку. Достал ценнейший в таких обстоятельствах прибор — складную подзорную трубу, которая пошла по рукам. Рассмотрели: оба — в полевых куртках, садовая листва мешала разобраться в цвете петлиц и подбое погон, но одно несомненно: погон истинно лейтенантский! И на плечах гауптмана — две, как положено, звезды. А ведут оба себя так, словно поменялись куртками.

Все сомнения развеялись, когда к ним подошел обер-ефрейтор. Обратился он к гауптману, а уж потом что-то сказал лейтенанту. Значит, все верно, то есть офицеры явно нарушают уставную субординацию. Обер-ефрейтор же доложил, как вскоре выяснилось, о том, что вода в колодце им испробована. Туда, к колодцу, и пошли офицеры, обер-ефрейтор крутил барабан, подавал ведра, лейтенант и гауптман разделись до пояса и поочередно поливали друг друга водой. И вновь обнаружилось: лейтенант сразу опрокидывал ведро на гауптмана, а тот ровной струйкой бережно поливал собрата по оружию.

Все наконец объяснилось.

Мы не видели главного действующего лица этих сцен: угол дома и деревья в саду заслоняли солдата, тенью следовавшего за офицерами, а солдат таскал с собой скособоченную табуретку, на которой возлежал портфель, — что наконец и узрилось нами, когда офицеры вознамерились подставить свои освеженные тела под лучи заходящего солнца, для чего вышли на зады двора. Щекочушая деталь: если табуретку требовалось перенести на другое место, то лейтенант подходил к ней, брал в руки портфель, а пьедестал для нее, табуретку то есть, переставлял солдат — эдак торжественно, священнодействие какое-то, причем табуретка с портфелем никогда не покидала поля зрения ответственного за нее офицера — лейтенанта. Что касается гауптмана, то он, как, разумеется, и все солдаты этой спецкоманды, не имел права прикасаться к хранилищу какого-то документа особой, таинственной даже важности.

Вновь подзорная труба наставилась на портфель, как на пиратский флаг (помните сценку из «Таинственного острова»? ). А тот, портфель то есть, никоим образом не походил на те сумки, в каких охраняемые и вооруженные фельдъегери перевозят строго секретные («Streng geheim!») пакеты. Обычное приспособление для переноса личной офицерской поклажи, в которую входят, кроме бритвы и мыла, кое-какая мелочь служебного обихода. Таких портфелей прошло через нас десятки, ничего ценного в них никогда не оказывалось, однажды попалась переписка оберст-лейтенанта Шмидта с Управлением тыловых имуществ, где Шмидт настаивал на праве своего подразделения (он командовал полком) забрать в единоличное пользование стадо коров в количестве восемнадцати голов.

Однако почитание такого скромного по виду портфеля что-то да означало. Хотя бы деньги, никому сейчас не нужные. Но скорее всего — документ. Никакой железной дисциплины у немцев и в помине не было, документ вполне мог почти частным образом, то есть с минимальной охраной и, по-видимому, в нарушение всех инструкций, отправиться нужному адресату.

Григорий Иванович, наш многомудрый, как мы полушутя называли его, командир, молча отдал мне подзорную трубу и занял свой пост наблюдения. Не проронил слова и Алеша. Молчал и я, сосунок, однако совесть грызла меня, любовь к Отечеству растревожила, я заворочался, будто бы устраиваясь поудобнее, а на самом деле громко взывал к чести и совести своих боевых друзей, а те беспрекословным молчанием загоняли мой язык в немоту, они напоминали мне о том, что всякая самостоятельность приводит к беде, что нас ждет Костенецкий, а то и сам Чех, они разведут нас по избам и заставят писать докладные, объяснительные и рапорты, и все — по поводу чересчур благополучно выполненного задания.

Они молчали. Молчал и я, молчание означало негласный сговор с немцами, сделку с ними, хотя те так и до конца жизни своей не узнали бы, что только случай позволил им утром увидеть солнышко. Но такие, что уж тут скрывать, сделки с немцами мы уже заключали. Однажды, линию фронта пройдя, мы нос к носу столкнулись с такой же спецгруппой, как наша, столкнулись, друг друга не видя в плотном лесу, но внезапно ощутив присутствие врага, сразу поняв, что находимся в очень невыгодном положении, посему и переместились в более выгодное. Однако в бое-столкновение не вступили, молча и здраво рассудив: легкое ранение кого-либо из нас возможно, что есть уже срыв задания, — это раз, а во-вторых, невообразимо большое количество объяснительных документов надо будет написать по возвращении, у начальства возникнет масса вопросов: что за немцы, откуда, имели ли мы право и так далее. Те же опасения заставили, думаю, и немцев бесшумно исчезнуть, их, наверно, затаскали бы по начальствам.

Не зря Чех именно нас выбрал из десятков или сотен людей. Мы умели молча разговаривать, и дуrolомные страсти Калтыгина стачивались на-



шими раздумьями, наш командир умирался, а вслед за ним рождалось и общее решение, заключительную часть поручаемого нами дела мы репетировали в уме, мы проигрывали концовку, оставляя каждому некоторую свободу выбора, если концовка эта получалась несколько корявой, а что в ней всегда были и будут разные неправильности — так об этом не раз предупредил Чех.

Ну так вот: я страдал оттого, что мог, обманывая Костенецкого и Лукашина, лишит их чрезвычайно ценного документа, а Григорий Иванович, в пяти метрах от меня находящийся, подкальвался иными страстями. Наш командир обладал дурным нравом, очень дурным! Он — при всей своей самостоятельности и паскудном тиранстве — был подхалимом, угождение начальству стало потребностью души его. Григорий Иванович смекнул: если в портфеле документ громадной военной значимости, то погоны майора и орден ему обеспечены, что очень кстати, потому что шла переаттестация командиров, несколько месяцев назад ставших офицерами.

Им и было предложено: документ в зубы — и уходить в лес! Но так предложено, что очевидно стало: нельзя делать ни того, ни другого. И не потому, что немцы спяют деревню, а молодуху, только что в раю побывавшую, ввергнут в адские муки. Нельзя лишать немцев портфеля, ибо испарится ценность документа. Нельзя!

Мы уже сгруппировались у самой печной трубы и тихо-тихо разрабатывали план. О похищении документа и думать не следует. Алеша употребил одно из всегда пугавших Калтыгина иностранных слов, на этот раз — «дезавуировать», да и сам Григорий Иванович понимал: утеря документа всегда приводит к отмене всех изложенных в нем мероприятий. Понимал — и упрямылся, самолюбие страдало. Помогла нам молодуха, обладавшая острейшим слухом. Из сеней услышала наши шепотные переговоры, поднялась по приставленной лестнице, показала себя до уровня тыков.

— Да я вам эту сумку притащу! Как спать они лягут — притащу!

Григорий Иванович цыкнул на нее, согнал с лестницы. Идея, однако, подана была. Продолжили наблюдение за соседней избой. Хозяйка ее — старуха не старуха, но и не той ядерной молодости, что наша молодуха, возилась в саду у печурки: стояла жара, а русскую печь летом вообще не топят. Жарилось мясо, здешнее, деревенское, — нюх у Алеши был таким же обостренным, как слух у молодухи, он все специи, что добавляют немцы в котлы, за версту опознавал, если ветер дул в его сторону. Сама же хозяйка метнулась к изгороди, позвала нашу. У немцев, оказывается, свой шнапс и прочее, но требуют достать самогона, наслышались о нем. (Очень важные сведения: офицеры — с передовой, самогон достанешь только в тылу.) На что молодуха, еще не вышедшая из райского блаженства, сказала, что самогона у нее нет, но — сбегает кое-куда и попросит.

Недужинный ум и неправдоподобная смекалка молодухи вселяли надежду! Документ из портфеля сам плыл в наши руки! Алеша обезьяной прыгнул вниз, дал хозяйке наставления. Та исчезла.

Вернулась быстро, для большей сохранности прижимая бутылку к груди. Алеша покопался в аптечке, где хранились все выданные Чехом яды и снадобья, что-то сыпанул в самогон.

«Эй, Лукерья!..» — позвала молодуха соседку и протянула ей самогон.

К появлению его немцы были уже пьяноватенькими и с чудовишным аппетитом, в ход пошли собственные припасы, банка шпрот была вручена за сноровку молодухе, прислуживавший офицерам солдат-мотоциклист поплелся было за нею, но вспомнил, видимо, о портфеле и ограничился хватанием руками за тыквины.

В полночь портфель лежал в избе, на столе. Открылся он свободно, две обычные ременные застёжки, слегка потерт и легок. Вчетверо сложенная карта — вот что везли офицеры, вот что доверено было лейтенанту. Сопроводительное письмо решили не вскрывать, хотя все, необходимое

для заклейки его, имелось, на конверте же от руки выведено: «Эриху». В сундуках и на печке нашлись разные скатерти, отрезы и холстины, светомаскировку сделали полную, карту разложили, на всю избу — одна керосиновая лампа, но у нас у каждого — сильный фонарик от английского «харрикейна», приходилось верить, что им можно осветить взлетную полосу. Все три фонарика включили на секунду, после чего изба вновь погрузилась в темноту, и все ждали, что скажу я, самый натасканный и наиболее обученный картам (да после болота с визжащим немцем всем пришлось пройти всеобуч по картографии).

— Настоящая и свежая, — произнес я, и сколько бы потом ни уламывали меня штабники фронта, как ни стращали смершевцы, я стоял на своем, убежденный в неподделанности той карты, что засияла передо мною всем своим немецким происхождением, хотя и перепечатана с советского образца, с верстовки (масштаб 1 : 42 000), пятикрасочная (все наши — в четырех цветах), с типичной координатной сеткой Гаусса — Крюгера. Все удобства пользования, на левом поле — условные знаки, все русские наименования — по-латыни. Но карта эта была неучтенной, штамп «Экз. №...» отсутствовал. На самой карте же — немецкая оборона в полосе сорока километров с наименованиями всех частей и численности их на позавчерашнее число.

Вновь зажглись фонарики. Карту условно разделили на три части, каждый впитывал свою треть. Опять погасили фонарики, посидели с открытыми глазами несколько минут, пока в них не исчезли светящиеся круги. Включили. Сверили запомненное с тем, что перед глазами. Темнота — и молчаливый уговор: сопроводительного письма не было! Да доложи, например, Чеху о нескрытом письме — он кивнул бы согласительно, ибо карта и письмо — неофициальные документы, один немецкий генерал передавал другому, ему очень знакомому, если не другу или родственнику, данные о себе, поскольку готовились к наступлению или обороне и сильно сомневались в правдивости вышестоящего штаба. Возможно, генералы командовали армиями и обеспокоены были стыками. Линия фронта извилиста, самый короткий путь не вдоль передовых линий, конечно, а напрямик, вот и решено было обменяться свежими данными о себе и противнике. Сам конверт был с секретом, вероятно, за долгие годы службы и дружбы генералы изобрели домашние способы конспирации.

Карту свернули, хозяйка наша шмыгнула к соседке. Три часа утра без чего-то, небо еще не подкрасилось восходом, от вернувшейся молодухи веяло торжеством и женщиной. Надо бы уходить, но Григорий Иванович еще не расплатился с добровольной помощницей, да и надо было дожидаться пробуждения офицеров.

Воистину женские руки самые мягкие и ловкие: лейтенант, хранитель портфеля, не шевельнулся ни при вытаскивании портфеля из-под подушки, ни при обратной операции. Оба офицера теперь спешили, позавтракали всухую, мотоцикл пофыркал и бодро застучал. Укатали. Тогда и мы покинули село. Понимали, что сделано большое дело, поважнее, может быть, того, которое нам поручали, и тем не менее что-то нас пугало, предвещающая беды...

*(Окончание следует.)*



---

---

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

\*

## ПРЯЧАСЬ В СВОЮ ЖЕ ТЕНЬ

\* \*  
\*

Да что, в самом деле, случилось?  
Ну, рад умирать, ну, не рад.  
Ведь это от музыки чисел  
свобода — не так ли, Сократ?

Ее еще нужно услышать,  
а если ты гложешь, шегол,  
не проще ли струнами вышить  
для голоса темный чехол?

Не в такт и не счетом уйти мы  
согласны — а с тем, что болит,  
не звук, а лучи паутины  
покинуть — не так ли, Эвклид?

Не жалуйся, лютня, что узко  
последнее было жильё.  
Ах, музыка, музыка, музыка,  
ведь я еще помню ее.

\* \*  
\*

Облако частью облака тень бросает на все  
облако, делая облако мрачной по виду тучей,  
выпротать ли теперь ему молнии лезвий  
или разбиться вдребезги, будет решать случай.

Как бесприютен мир! Не для меня — для тех,  
кто еще бесприютней меня, еще безутешней,  
кто вообще не хочет глядеть в пустоту наверх  
бесконечную, если не получилось в здешней.

Я пропускаю время, данное мне затем,  
чтоб разделить их страх, бьющий сквозь темный, карий,  
горький их взгляд, — а я, прячась в свою же тень,  
их бросаю — и так всеми брошенных тварей.

Прежде всего тебя, и тебя, и тебя, и тебя.  
 Так-то. А кто вы еще, как не сироты-вдовы, —  
 с кем задираю я голову в небо, словно трубя?  
 Кто вы, уже не важно. Сами знаете, кто вы.

### Баллада

Пионы линяли, как птицы.  
 На древний фамильный надел  
 в шлифованные чечевицы  
 с веранды помещик глядел.

Он думал, что жизнь без излома  
 скучна; что растут сыновья;  
 что дома и вправду солома  
 едома под трель соловья.

Романс тенорком патефона  
 про то, как искрится бокал,  
 под таянье перьев пиона  
 из спальни жены проникал.

Он вспомнил, как с женщиной в шали  
 парижских бульваров вино  
 он пил. Но портреты внушали  
 со стен, что он только звено —

лишь звеньшко в роды и роды.  
 Он вспомнил, как гулила князь  
 цыганка и дам из колоды  
 таскала, к столу наклонясь.

Да было ли это? А если  
 и было, то *что*? Почему  
 та женщина шеями к рельсе  
 припасть предлагала ему?

Потом еще с конки, с площадки  
 глядела... Задумчиво он  
 сигарку подносит к лампадке,  
 на рыхлый уставясь пион.

\* \*  
 \*

Как курильщик, кальяном сипя и дымя  
 на чужом тюфячке, угольками прожженном,  
 так, раскинувшись, сонная дышит земля  
 по каким, не понять, адресам и зонам —

не искать же в кудрях кучевого руна  
 или в щелке тире между цифрой и цифрой,  
 ту, что «где» и «когда» для вселенной одна  
 и блюдет: астроябия, маятник, циркуль, —

и сама созерцатель того, что сама  
наплела, безуханных нанюхавшись маков,  
и пригубив в ручье виноградного сна,  
и откашляв слюну нарциссизма и накипь.

Нежный замысел — о, как он был не похож  
на натуру, которая просто скульптура!  
Так натурщица в зеркале видит чертеж  
вместо тела и шепчет растерянно: «дура».

Вот и все — значит, вот те и родина вся:  
свой же череп, своих же видений набросок,  
вещь в себе. Значит, жить надо нам — не прося.  
Ничего. Ни ее, ни небес, ни березок.

\* \*  
\*

— Вы одна, и я один. Нам бы... — Да пошел ты!  
— Жаль. А то пучок нарвал я иван-да-марьи,  
грубо-фиолетовый, примитивно-желтый —  
лучших в нашем не нашел полуполушарье.

От сплошной стены Кремля до сплошной Китая  
луг да луг у нас, кой-где тронутый футболом,  
почему и вся-то жизнь бледная такая  
в два малярных колера с именем двуполым.

— Что вы хотите сказать? — Две-три вещи. То есть  
что страна у нас — трава с огоньками станций,  
что вообще родимый край — то, где ездит поезд,  
и что есть еще балет, дед-и-баба-танцуй.

— Не болтайте языком. — Языком и вытру.  
Да, картинка дешева — но ведь не дешевка,  
в первом классе выбрал сам бедную палитру,  
ржавый фиолет чернил и сиротский желтый.

Тем оно и бережит Лермонтову душу,  
что былинкой восхищен и ничтожной тварью  
на обломках корабля выплывший на сушу  
и целует, не стыдясь слез, иван-да-марью.

\* \*  
\*

В автомобиле с тихим двигателем  
в лес послеливневый еловый  
пусть бы проселком шины выкатили  
меня под марш высоколобый  
Шопена в исполненье Горовица,  
заряженного мной в кассетник,  
чтоб с мирозданьем пособороваться  
в сверканье игл — из сил последних.

## Коршун

Коршуны плачут...  
«Агамемнон».

Коршун — откуда он вынырнул, коршун,  
на гору ветра взобравшийся шерп!  
Зренье — как крови неотпертой поршень,  
крылья — как месяца черный ущерб.

Только как будто он в страхе сегодня,  
в страхе, растерян, как ласточка хил,  
всех отчужденней, всех тварей безродней,  
всех обреченней. Что с ним, Эсхил?

Что-то же хочет он выразить, коршун,  
визгом, холодным, как режущий серп,  
незаглушаемым, жалобным, горшим  
ужаса им облюбванных жертв.

Это вспоровший брюшинную полость  
голос, но не предсказаний и притч,  
а не его, им не признанный голос —  
к битве, заведомо гибельной, клич.

Он проиграл ее. Он умирает.  
Пусть не сейчас — но уже предала  
жизнь. И задел уже хвост его краем  
всплывшие без левитаций тела.

Он не согласен, он борется. Коршун  
он! И, не зная, как выместить зло,  
что-то еще выясняет с сотворшим  
волю, и небо, и клюв, и крыло.

\* \*  
\*

На какой бы ни пришел вокзал  
и кого бы я ни провожал,  
сердце, словно плакальщица, воеет.  
Где тот дух, что вдохновлял жену  
слать бесслезно мужа на войну!  
Впрочем, не жена я и не воин.

Эта скорбь — единственная весть  
смерти о себе: что, дескать, есть.  
Не наверняка, но нам довольно,  
потому что, если нет, отъезд —  
дым, а то с чего глаза так ест,  
или тромб, а то с чего так больно?

Да и с глаз долой, из сердца вон —  
не про нас. И то, что телефон  
есть, не только скорбь не уменьшает,  
а, наоборот, как речь с кассет  
действует — речь тех, кого уж нет,  
тех, чью речь ничто не заглушает.

Может быть, себя через вокзал  
свет потусторонний показал:  
дом, который тени населяют,  
чтоб исчезнуть из него, куда  
кто — и, в бездну канув, поезда  
нам пустое место оставляют.



---

---

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

\*

## ЦЮ-ЮРИХЬ

Рассказ

**Т**ри полных рабочих дня просидела Лидия на лавочке с раскрытым учебником немецкого языка. Оказалось, что все она рассчитала правильно и свой отпуск потратила не зря. К концу третьего дня из выставочного павильона вышел загорелый поленький мужчина, окруженный тонким сиянием, и сел рядом с ней. Сиял он, однако, не сам по себе, а переливчатым серо-голубым пиджаком. Пахло от него бодрой сосной, туфли на нем были женского серого цвета, в фасонистых дырочках. Всю эту картину, включая дырочки, Лидия ухватила первым же цепким взглядом, даже заметила рахитичный, выступающий немного вперед лоб и красную жилку в левом глазу. Она уткнулась в раскрытый учебник, придерживая его с поворотом, чтобы обложка была видна.

Мужчина, по-рыбьи раскрыв рот, немедленно сглотнул наживку:

— О, ди дойче шпрахе!

И заулыбался. Далее разговор потек ручейком тонким, но уверенным. Господин сообщил, что он швейцарец из Цюриха, представитель фирмы, производящей краски, имеет дом в пригороде и любит животных. Лидия, со своей стороны, рассказала о себе — этот рассказ она давно уже подготовила, выучила наизусть и отрепетировала: педагог, работает с детьми, занимается немецким языком на курсах — понедельник, среда, пятница — просто для удовольствия.

— В немецком языке мне очень нравится порядок, все на своих местах, особенно глаголы...

Швейцарец расплылся — о, он тоже изучал иностранные языки и тоже считает, что немецкий самый рациональный...

Сотрудники наружного наблюдения заняты были свыше всякой меры: выставка международная, со всего города съехалась фарца, грудастые ласточки, пионерки международного бизнеса, привезли свой свежий товар в шелковых розовых трусиках на грубых резинках. Лидия могла быть совершенно спокойна — никому бы в голову не пришло, что и она здесь на охоте.

Действительно, к налетевшим сюда девушкам она не имела никакого отношения. Возрасту ей было за тридцать, красоты за ней никакой не водилось, напротив даже, нижняя губа была вытянута вперед лопаточкой, нос несколько нависал, и, вращаясь она в европейских монархических кругах, губа ее считалась бы габсбургской, но поскольку она была родом из деревни Салослово, то прозвище у нее с детства было Лидка-гусыня. Двумя заметными ее достоинствами, кроме немецкого языка, были густые, в светлый слоистый пучок уложенные волосы и тончайшая талия, еще и утянутая грубым лакированным ремнем до состояния полуперепиленности.

---

Улицкая Людмила Евгеньевна родилась в Москве, окончила биофак МГУ. Постоянный автор «Нового мира». Лауреат Букеровской премии 2001 года за роман «Путешествие в седьмую сторону света» («Казус Кукоцкого»), опубликованный в «Новом мире» (2000, № 8 — 9). Живет в Москве.

Разговор шел неторопливо и весь в нужном направлении, но в какой-то момент швейцарец взглянул на свои швейцарские часы, и Лидия испугалась, что он просто так встанет и уйдет, сказавши ей ауфвидерзеен. Но он видерзеена не сказал, а, напротив, предложил посмотреть на его стенд и выпить чашечку кофе.

Лидия скромно улыбнулась, сверкнув двумя золотыми зубами в глубокие узкогубого рта, убрала учебник и на мгновение задумалась: в сумочке у нее лежали перчатки, белые, нейлоновые, с оборочкой, точь-в-точь как на блузке — надеть, что ли... Перчатки — это шикарно, но не слишком ли... Не решившись их натянуть, она все же вытащила их и сжала в горсти.

— Моя гостья, — кивнул швейцарец охраннику, и Лидия, поигрывая перчатками, прошла за ним следом.

Он ввел ее в закуток своего стенда. Сердце Лидии зашло от восторга, так весело ей было смотреть на образцы малярных красок, которыми торговал полнейший швейцарец.

— Как красиво! — воскликнула она, и в искренности ее нельзя было усомниться. Хотя среди многих ее достоинств, включающих даже и простодушие, искренности как раз и не было. Скорее она была хитровата. Вот именно, простодушна и хитровата. Но если говорить о стратегии ее жизни, то именно в данном случае она собиралась хитрить, и охмурять, и даже обманывать. Ничего этого ей и не понадобилось — господин ей ужас как понравился.

Не расслабляться, только не расслабляться, скомандовала себе Лидия.

Он предложил ей сесть, сам присел, слегка сгорбившись, в роскошное кресло красной пластмассы и неопределенно улыбнулся. С чего это он пригласил в павильон эту незнакомую женщину, вроде не клиент и собой не хороша...

— Вам нужен массаж. У вас остеохондроз! — воскликнула она решительно и, не давая опомниться, вцепилась ему в холку и забегала маленькими крепкими ручками по толстому загривку. Он от ужаса зашелся. Сидел выпучив глаза и хватая воздух.

Лидии катастрофически не хватало немецких слов. Слова «расслабиться» она не знала, но понимала, что инициативу никак нельзя упускать и нельзя молчать, надо что-то говорить. И она говорила. Сначала она пересказала текст из учебника по истории Москвы, потом биографию Пушкина. Между делом она сняла с него переливчатый пиджак, похвалила материю. Он пытался протестовать, но под ее напором быстро увял и таки расслабился.

— Я имею диплом массажиста — массаж физкультурный, массаж лечебный, я даже изучала китайский массаж, — заявила она. И, видимо, не соврала: движения ее были уверенными и энергичными.

Ему и в Швейцарии приходилось иногда принимать сеансы массажа, дело это было недешевое. И насчет остеохондроза она была совершенно права — был у него остеохондроз.

Минут пятнадцать она гуляла по нему своими пальчиками, и очень приятно, только дверь была приоткрыта и он немного беспокоился, не увидит ли кто из посторонних. Но никто не сунулся, и когда она закончила, приятно обхлопав его через рубашку, ему ничего не оставалось, как поблагодарить. Дама была в высшей степени странная — но милая, решил он.

Настало время кофе. Он покрутил разогревшейся шеей, решил, что кроме кофе угостит ее еще и шоколадом. Был у него запас и плиточного, и в конфетных изделиях — для угощения хороших клиентов.

Главное — не терять инициативу, сосредоточилась Лидия и, пока швейцарец готовил кофе, составляла в уме приглашение.

— Я буду рада пригласить вас ко мне на обед. Я имею диплом повара, — объявила Лидия. — Кухня европейская, кухня народов СССР, диетическое питание. Я имею разрешение работать поваром в ресторане.



Это было очень хорошее попадание. Швейцарец давно уже мечтал завести собственный ресторанчик, но обстоятельства жизни препятствовали.

— Так вы массажист или повар? — вполне живо поинтересовался швейцарец.

— И то, и другое. Хотя в настоящее время я преподаю историю нашего города, — сказала она со скромной гордостью. — Я педагог.

Все в точности соответствовало действительности, Лидия второй год вела краеведческий кружок при районном Доме пионеров. Зарплата была никудышная, зато оставалось много времени для многочисленных ее занятий, а деньги она зарабатывала то шитьем, то вязанием, то продажей кое-чего. Да и что деньги, много ли в них проку. Лидия с детства жила за интерес. И главный в жизни интерес был у нее — учење.

— О, я с удовольствием приду к вам на обед, — засиял швейцарец и вынул не ту коробочку с конфетами, которую сначала собирался поставить, а другую, побольше. Лидия показалась ему интересной.

Начала Лидия с занавесок. Как пришла, сразу сдернула все занавески — и в таз. Стирку Лидия любила больше всех других хозяйственных дел. Считала, что это занятие успокаивающее, и когда случалась неприятность или просто было плохое настроение, она бралась за постирушку. Но теперь как раз у нее настроение было отличное, боевое, как перед важным экзаменом. И что-то подсказывало ей, что, как и все другие экзамены — а сдала она их сотни, — и этот, нешуточный, она сдаст. Только бы швейцарец пришел...

Она сразу же, еще до дома не доехав, поняла, что дала промашку, неправильно с ним уговорилась: надо было бы так, чтоб за ним заехать. А то мало ли что, забудет или дела, Большой театр или ресторан «Националь»... Какие у них, у иностранцев, еще заботы в Москве. Ну, Третьяковская галерея...

Пока стирала занавески, Лидия всю программу досконально обдумала. Конечно, без Эмилии Карловны не обойтись. У нее надо позаимствовать кое-что для приема. На закуски не напирать, икру, конечно, купить, ну, граммчиков двести осетрины горячего копчения, а в основном — настоящий русский стол... уха, пирожки... может, курник... бефстроганов тоже неплохо... но и не переумудрить. В общем, задача... И что надеть? Тоже момент очень существенный — не упустить бы самого важного...

Два дня Лидия рук не покладала. Все успела: и в «Прагу», и на Центральный рынок, и к Эмильке за серебром. Эмилька бровь подняла, мол, зачем это, не понимаю, но отказать не отказала — вынула из горки два серебряных прибора, две лопаточки, две вилочки, вазу для фруктов в два этажа, с пикой наверху. Лидия знала, как ее снаряжать правильно: виноград наверх кладешь, одну кисточку, и свешиваешь немного занавесочкой такой... Вниз же два персика, грушу и слив штук пять. И никаких яблок. Другое дело, была бы зима, тогда яблоки антоновские, и не на вазе, а моченые, в капустке с клюковкой... И икорницу эмалевую попросила — вот глаза-то выпучит!

А откуда все это Лидия знала, все эти большие тонкости про сервировку стола, про стирку, подсинивание и подкрахмаливание, и про то, как правильно мужскую сорочку сложить, и как на зиму вещи сохранить от моли, и как таблетку ребенку раздавить, а потом на кисель, и многое другое — это отчасти от Эмильки, которая всему ее сама обучила, отчасти из курсов, а остальное из воздуха, само собой, потому что красота у Лидии не было, зато ума палата. Это она про себя давно знала. Из всех людей, с кем она была знакома, одна только Эмилька была ее умней, а про других, бывало, покажется, вот, умнейшая женщина, а потом все же оборачивалось, что не умней ее, Лидии. Хотя про себя Лидия знала: кое-какие глупости по части мужиков она себе позволяла и с Колькой, и с Геннадием. Но давно. Теперь

на нее нашло озарение, что она всю жизнь не в ту сторону смотрела, куда надо бы. Но, как известно, лучше поздно, чем никогда.

Опаздывал Мартин уже на полчаса, и Лидия, в чистой своей квартире, в белейшей блузке, перед накрытым столом все металась от двери к окну и себя ругала на чем свет стоит: как это она глупо договорилась, зная бы заранее, что так будет, лучше было бы захватить за ним в Сокольники, на самую выставку, и сюда приволочь...

Но сколько Лидия ни нависала над окном, гостя своего она пропустила, потому что он не с той стороны зашел, с переулочка. Сбился от метро «Бауманская» не на ту сторону, дурачок, и по жаре сорок минут топал туда-сюда, пока две школьницы его на нужное место не вывели.

Он позвонил в дверь и был с цветами, розами. Штук не три, пять, семь, а двенадцать — не по-нашему. Стоит в дверях весь мокрый, со лба течет, и рот открыт, дышит сильно... Сердце не очень-то, сразу с беспокойством подумала Лидия. Глаз у нее был наметанный, и медицинские курсы она тоже проходила, тогда на массаж без медучилища не брали, а ей массаж позарез как хотелось...

— Ихъ варте инен зо ланг... — вот что сказала Лидия, а он — извиняться. Но глазами так и ходит, так и ходит...

Разрешите, говорит, снять пиджак... Пиджак опять серый, но другой, без сияния. Снимает. Лидия его на руки принимает, а он гладкий, как шелк. Может, правда шелк? Швейцария — самая богатая страна, Эмилия еще когда говорила, что там у них банков больше, чем у нас пивных... На голубой рубашке у Мартина — подмышки и спинка синие, вспотел, бедный. Вот ванной-то нет. Дом пролетарский, спасибо, хоть уборная своя отдельная.

И тут на Лидию как вдохновение нашло. Присаживайтесь сюда, минуточку... Он сел в кресло, куда она ему указала, и смотрит на ее стол, как на музейную витрину, рот опять слегка открыт, видно, привычка у него такая.

А Лидия — шась на кухню, и в таз воды до половины, и вносит небольшой такой тазик на вытянутых, и ставит на пол, прямо перед ним. А потом присела аккуратненько, разрешите, извините... и снимает с него серые ботиночки и носочки, тоже серые...

Швейцарец глаза выпучил и губами шлепает: вас? вас? А ни вас... У нас, говорит Лидия, так принято: в жар холодная ножная ванна исключительно полезна... И компресс прохладный на лоб... Я, говорит, как медработник это знаю... По-немецки, кой-как, но он все понял, головой своей лысой кивнул: я-а, я-а...

А ножки, ножки какие, какие пальчики. Маникюр, что ли, на ногах делает? Как вспомнила Колькины копыта, прель на ногтях, ничем не выведешь, — от сапог, он все говорил. От сапог вся вонища-то, мой не мой — без разницы. Хоть кирза, хоть хром, который мужик в сапогах, само собой воняет...

Лидия как пальчики его увидела — все сразу наперед поняла: сейчас жизнь решается.

Улыбается Лидия тонко. От улыбки нос совсем на губу налезает. Не красит. Да она умная и это знает — улыбается, головку опускает и чуть отворачивает. Мы, говорит, на востоке живем, у нас в России так принято.

Он что-то в ответ, но сложновато говорит, вроде одобряет, а слова непонятны. Ничего, ничего, все слова выучу, подумаешь... Вон словарь-то на полке, большое дело.

Носу на полотенце, промокнула, носочек натянула, расправила, второй... Ботинок мягкий, гладкий, из чего они их делают, такую кожу да хоть на рожу... А лицо у него — нет лица: одно изумление и непонимание. Вот и хорошо — удивила.

Салфетка — в кольце серебряном, на вилке — монограмма немецкая. О-о... Готический шрифт... Ка Эр.

Да. Кристина Рунге, моя бабушка из Риги... Кристина Рунге — бабушка Эмилии Карловны. Значения не имеет. Швейцарец бровь поднял: очень интересная женщина, однако.

Приятного аппетита. Закуски, пожалуйста — на чистом немецком языке. Все эти маленькие застольные словечки Лидия наизусть знает с первого года, как пришла к Эмильке в прислуги. Эмилька тогда пятерых деток держала, вроде частный детский сад. Этих первых она отлично помнит, еврейские детишки, все как на подбор: две сестры Маша и Аня, Шурик, Гриша и Милочка. Их утром приводили с судочками, всех к девяти, а Милочку к половине десятого, прадед старый, как мох на пеньке. Эмилька их гулять вела на скверик, а к половине двенадцатого — обратно, Лидия их раздевала, ручки мыла, в комнату вела. До обеда полчаса, пока Лидия судочки грела, в немецкое лото играли и только по-немецки говорили. Их хабе нуммер айнундцванциг... И обедали по-немецки. Гебен зи мир битте... Данке... энтшульдиген... дас ист гешмект...

Потом Лидя посуду мыла, а у детей мертвый час: девочки на большую кровать, втроем, Шурика на кушетку, Гришу — на кресло-«дешез». Спят не спят, значения не имеет. Главное — ни слова, мертвый час. Это дисциплина такая. Встали, умылись — чай. К чаю печенье, это Эмилька от себя давала. Лидия это печенье хоть с закрытыми глазами: два желтка стереть с полстакана сахара, сто грамм шоколадного масла добавить...

О, икра! Да, пожалуйста... Икра бывает астраханская и каспийская. Эта астраханская, я ее предпочитаю. Она не черная, а серая, и зерно помельче. Очень нежная. Пожалуйста, пожалуйста. Берите масло. Вологодское масло. Попробуйте — вкус ореха чувствуете? Лучшее масло в России. Я знаю, что швейцарские молочные продукты очень хорошие. Но это русское масло превосходное. Перфект. Зеер перфект. Калач — особый русский хлеб. Айн руссише бротхен. Маленькая рюмка водки. Маленькая. Будьте здоровы! Прозит!

Он берет всего помалу, на язык пробует, к десне прижимает, лицо осторожное — ну точно как Эмилька. Может, он тоже из латышей? Головой кивает, руку в сторону отвел.

Угорь. Первое слово в любом немецком словаре. Ааль. Обитает в Балтийском море. В Швейцарии ааль не водится, не правда ли?

Помидор, фаршированный овечьим сыром. Это болгарское блюдо. Я изучала на курсах кухни народов мира. Какое популярное швейцарское блюдо? Фондю? Лазанья?

Нет, это во французской Швейцарии. Мы живем в немецкой, в моем регионе любят картофельный пудинг. Это я должна посмотреть в словаре...

Исключительная женщина. Какие красивые волосы. Если распустить, это целое богатство, наверное, ниже пояса.

А как он ел! Медленно, аккуратно, салфеточка на коленях, ножом-вилкой не гремит. Как будто его сама Эмилька учила. Не для утоления голода, а просто для красоты, ну, как на пианино люди играют или танцуют. Наши так не едят, хоть убей их. Но Лидия как раз умеет, всему у Эмильки научилась.

Закусочные тарелочки унесла на кухню. По дороге завернула к вешалке, понюхала его пиджак, вдохнула — и аж низ загорелся.

Пока она на кухне уху из кастрюльки в супницу переливала, Мартин все решал задачу: ничего у него не сходилась — угощение невиданное, он икру и не пробовал никогда в жизни, и в голову не приходило, сервировка царская, музейная, можно сказать, а квартирка-то нищенская, убожество. Загадочная женщина... А ноги? Как она ему ноги помыла! От нее многого можно ожидать... Он восемь лет ходил к одной польке, пока на Элизе не женился, и двести франков ей давал, так она даже бутылки ми-

неральной воды ни разу не купила, он все приносил сам — и воду, и кофе, и печенье... Не зря говорят: загадочная русская душа.

Он не такой молодой потом оказался, хотя свеженький, полненький, лет ему уже сорок восемь было. Но лицо очень гладкое, совершенно без морщин, загар ровный. Только темечко лысое. В остальном же очень, очень приятный мужчина. Там, в Швейцарии, как выяснилось впоследствии, все такие — приятные, чистенькие, порядочные, это Лидия уже потом узнала. В тот момент она только одно понимала: здесь таких не бывает, и хоть сто лет ищи, здесь ей такого не достанется. Может, у артисток или у певиц такие мужчины, но она здесь таких не наблюдала ни у Эмильки в доме, ни в поликлинике, ни в педучилище, ни в университете марксизма-ленинизма. Нигде.

Рыбный, рыбный стол. Разве швейцарца мясом удивишь? Уха стерляжья с расстегаем... Но и не слишком. Кабачок — легкое овощное блюдо. Соус бешамель.

Если иметь такого партнера, как эта Лидия, то ресторан можно открывать хоть завтра. Не в центре Цюриха, конечно, но в каком-нибудь приятном месте вроде Цолликон или Кильхберг... Лидия — приятное имя... Изящное имя. И фигурка изящная. Талия... Все-таки есть прелесть в небольших женщинах. Элиза, с ее ростом, шириной, никогда не выглядит изящной. Он поморщился.

Лидия встрепенулась: вы не любите овощи? Очень люблю. Особенно картофель. Знаете, я рос в деревне, и была война. Не думайте, что, если Швейцария не воевала, мы жили очень хорошо. Мы плохо жили во время войны. Еда была картофель и молоко. Здоровая еда. Но крестьянская, простая. И мало. Вы потрясающе готовите. Вы не работали в ресторане? Могли бы быть шефом.

Нет, я готовлю только для друзей. Я очень люблю угощать друзей. Вот, получай, немчура. В России люди ходят в гости очень часто, угощают друг друга, пекут пироги.

У вас много друзей? Не очень. Я люблю все самое лучшее, поэтому у меня не очень много друзей. О да, качество имеет большое значение. Это основа всего — качество. Фирма, которую я представляю, существует шестьдесят лет, потому что производит краски очень хорошего качества.

Фирма принадлежала Элизе, и здесь был корень всех зол. Если бы фирма была просто чужая, ничья, хозяйская... Или если бы фирма принадлежала ему, Мартину... Но он был в таких крепких объятиях своей лако-красочной супруги, что иногда просыпался от ужасного сна, будто влип в краску и не может из нее вытащить ноги, старается, рвется, а потом замечает, что ноги-то не его, а мушиные...

Разрешите? — она прикоснулась прохладной рукой к его предплечью, когда забирала тарелку. Кофе? Чай?

У него была такая мысль еще перед отъездом, что в Москве он непременно возьмет русскую проститутку. Но оказалось, что таких учреждений, как, скажем, в Амстердаме, где однажды он взял себе очень интересную китаянку, здесь совсем нет, а с улицы женщину брать было страшно. Хотя они во множестве ходили по выставке, да и возле гостиницы «Москва», где он остановился, их тоже было немало. Но все они были как-то слишком молоды и вызвали подозрение, что с ними можно вляпаться в какую-нибудь скандальную историю. А об этом его еще в Цюрихе предупреждали. Лидия же была явно порядочная женщина, с икрой и со столовым серебром. Но все-таки, когда она прикоснулась голой рукой к его голому предплечью, он догадался, что может быть... И от одной этой мысли он сразу же завелся. Спросил, где туалет. Лидия его проводила. Все очень чистенько, но ужасное убожество... Зато икра... Ему пришлось немного подождать, прежде чем он смог помочиться. В общем, женщина эта его заинтересовала. Несомненно.

Раковина была на кухне. Он вошел туда. Лидия стояла к нему спиной, склонилась длинной шеей над плитой, где у нее варился кофе. Два маленьких колечка волос завивались на шее. А ноги у нее были просто прелесть какие, с тонкой шиколоткой, с балетным подъемом. Каблукочок высокий... Он подождал, пока она выключит газ и снимет кофе, и положил ей левую руку на талию, а правой приблизил к себе. Она опустила голову ему на плечо, и он понял, что сейчас все получится, и даже отлично получится, потому что с Элизой у него тоже все получалось, но кое-как, а тут было такое вдохновение...

Он трудился над Лидией до позднего вечера, он выполнил свою месячную норму. Он никогда не ощущал себя гигантом, но в этот день в нем что-то открылось гигантское из-за этой женщины с тонкой талией, необыкновенной женщины, загадочной, с черной икрой и без ванной, даже без душа, с серебряными приборами и небритыми подмышками и такой при этом образованной: по всем стенам висели дипломы в рамочках, по меньшей мере восемь, и с бабушкой Ка Эр, да еще готическим шрифтом... А телефона обыкновенного нет...

Да-да, швейцарские женщины, конечно, просто коровы... польки алчные... китайки — продажные... а эта русская Лидия — настоящее чудо, просто загадочная русская душа... Откуда он это взял, кто это говорил — может, их великий писатель Лео Толстой или школьный учитель из Нидердорфа...

А потом, поздней ночью, они опять ели черную икру с маслом и калачом и пили шампанское — вполне приличное шампанское... Если она учительница, откуда у нее шампанское?.. И завтра, уже сегодня уезжать, а он даже не может сделать ей хороший подарок... Она, судя по всему, из очень порядочной семьи, может быть, из аристократов. Такая интересная внешность, и во всем виден человек со вкусом. И как при этом готовит! В России было много аристократов, это не Швейцария, у них и графы, и князья, и бароны... А может, наоборот, она секретный сотрудник из КГБ? Выслеживает его по заданию? Нет, не может быть...

Лидия бесстрашно поехала провожать его в Шереметьево. Там было торжественно и сильно пахло границей. Они, конечно, обменялись адресами, но это был дым, дым мечты и не имело значения. А значение имело только то, что Лидия побывала счастлива, как никогда в жизни, но уже понимала, что последние секундошки ее счастья отшлепывают и потом никогда в жизни не встретит она этого Мартина, такого необыкновенного, таких вообще мужчин нет, у него даже пот не пахнет, просто как у ангела...

В самолете Мартин мгновенно заснул и проспал до самого Цюриха. А Лидия как села в автобус до аэровокзала, так и проплакала до самого дома, и в метро, и пока по переулкам до подъезда шла.

Дома Лидия умылась, вообще-то она была не плаксивая, доела икру — немного еще оставалось, — все помыла, почистила, собрала посуду Эмилькину и серебро, завернула каждое в отдельную газетку, переложила жгутами бумажными, чтобы не переколотилось. Приготовила сумку — завтра перед занятиями Эмильке завезти...

Как Мартин уехал, сразу навалилось много работы, два массажа прибавилось, директорша Дома пионеров заказала платье из мохера связать, потом — то она все лето сидела в кабинете по внешкольному воспитанию да зевала, а теперь ребятишки стали к концу каникул собираться, каждый день заглядывали. Но главное дело был теперь немецкий язык и открытки. Лидия так решила: на новые курсы — раз и открытки с русской картиной-репродукцией или с видом природы — два.

Посылала еженедельно: открытку в конверт, красивую марку наклеит, а на открытке несколько предложений типа: «Здесь представлен один из

самых красивых видов нашей северной природы. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия» — или: «Картина знаменитого русского художника Сурикова „Утро стрелецкой казни“». Посвящено историческому событию, когда молодой царь Петр Первый разгромил заговор сестры Софьи. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия». С одной стороны, культурно, с другой — ненавязчиво. Но о себе напоминает.

Открытки шли не на домашний адрес, а на какой-то бокс. И по странной прихоти почтовых служб Лидины открытки доходили адресату через две недели, а она получила от него первое письмо почти через два месяца. Вроде и уверена была, что получит, но и за чудо считала. То есть так: уверена была, что произойдет чудо и получит она письмо от Мартика. Так она его с первого дня про себя называла.

Лидия запомнила в подробностях весь тот день, то утро, когда достала из ящика этот белый, как обморок, конверт с гористой местностью на марке и черным тонким почерком написанным адресом, ну совершенно как в кино. Она сняла с руки кожаную перчатку и голой рукой взяла конверт, и хотя времени было только чтоб не опоздать на работу, поднялась домой, сняла пальто, ботики и села за стол — читать письмо. Но первое, что из конверта вынулось, была фотография: Мартин в белых трусах до колен и в белой майке стоит возле загородочки, а в руках у него теннисная ракетка. Ну просто сердце останавливается...

А какое там было письмо! Какое письмо! Обращение ровно в середине: «Meine liebe Lidia!», поля — как будто невидимой полоской отчерчены. И каждое предложение с новой строки. И что странно, хотя написано все очень четко, ни одного слова не разобрать. Все буквы как-то не так у него прописаны.

В общем, она письмо завернула, в большой пакет положила и побежала на работу, потому что в тот день с утра была краеведческая экскурсия на фабрику «Красный Октябрь» с шестиклассниками.

Вечером Эмилия Карловна сначала долго письмо крутила, изучала со всех сторон и посмотрела на Лидию с новым интересом: девочку она, можно сказать, своими руками сделала. Снимала дачу в Подмосковье, году в пятьдесят восьмом, — Иван Савельич еще жив был, точно, в пятьдесят восьмом, и племянница хозяйки, сирота Лидка откуда-то из Белоруссии, прислуживала там по хозяйству. Девчонка тихая, забитая, совершенно без всяких способностей — сначала так показалось Эмилии Карловне. А в последний день, перед отъездом, все-таки решила взять ее с собой. Предложила хозяйке, как звали... не помню, нет... Настя ее звали, та с охотой девочку отпустила. Ей шестнадцати еще не было. Паспорт она уже в Москве получала, Иван Савельич, отставной полковник, сделал через свой отдел кадров. Прописал же он ее вроде как на заводское общежитие. Но жила она у них, при кухне.

Теперь Эмилия уважительно держала это письмо и смотрела на Лидию как бы новыми глазами: молодец, молодец, девочка! Из никудышных обстоятельств, совсем из ничего, построила ведь очень неплохо: образование, своя квартира, даже внешность свою невыгодную облагородила, имеет стиль, в конце концов. Если откровенно говорить, родная дочь Лора не достигла такого положения в относительном исчислении... Эмилии Карловне хотелось рассказать Лидии, что она бывала в Цюрихе до войны, с бабушкой, и в Женеву ее возили, и в Париж, но привычка никогда никому ничего о себе не рассказывать была слишком сильна. С сорок пятого года, как повстречала Ивана Савельича, так и поняла, что главное в теперешней жизни — молчать. Очень, очень присох к ней Иван, но ведь и ему, капитану НКВД, не рассказала Эмилия о себе ничегошеньки. Так, девочка из бедной латышской семьи, папа — квалифицированный рабочий был. О, у нас в Латвии всегда ценили профессионалов. Он был слесарь-инструментальщик, первый класс! Иван, сам из рабочих, это уважал... А

что папу убили партизаны, когда он служил у немцев начальником латвийской зондеркоманды, осуществлял программу «юденфрай» с большим вдохновением, так этого ему не говорили...

И Лидка — тоже молчунья. Знала, да не говорила. Тоже свой секрет сохранила в молчании. Отец ее был арестован после освобождения Белоруссии Красной Армией и расстрелян в сорок четвертом за какие-то грехи против советской власти. Лидия не то забыла, не то ничего и не знала. Одиннадцать детей после него осталось да выгоревшая изба. Из одиннадцати трое выжили. И видеть друг друга не хотели, разъехались, развеялись. Говорили, старший брат военным стал, а сестра где-то не то в Нальчике, не то в Пятигорске жила. Все — забыто навсегда. И у Эмилии, и у Лидии.

Но Эмилия — почти красавица была, рост, грудь за пазухой пузырем, надо лбом — валик из крашенных волос, и зад как груша... как две груши. Иван Савельич на квартире у нее стоял, пока ему государственную не предоставили. А на государственную он уже с Эмилией переехал. И Лору, Эмилькину дочь, принял, а потом и фамилию дал.

Все старое, бумажное — фотографии, справочки всякие, дипломы, письма — сгорело ясным пламенем в больших и малых пожарах, случайных и умышленных, только серебро и посуда хорошая остались от старых времен — против них Иван Савельич не возражал. Быстро пообвык, от алюминиевой миски к серебряной переход легок, обратно потрудней получается. Но ему не пришлось. Его до самой смерти Эмилька ублажала не потому, что сильно любила, а потому, что была порядочная. И Лидию приучила. А вот с Лорой не совсем получилось...

Письмо было явно от порядочного человека, это несомненно. Он благодарил Лидию за исключительный прием, признавался, что никогда еще не общался с такой культурной женщиной, намекал также на ее несравненные дамские достоинства, а потом сообщал, что не смог ей сразу открыть глаза на свое женатое состояние, потому что поначалу ему это казалось совершенно несущественным, а потом уж он не посмел ее огорчить. Он и предположить не мог, что после возвращения в Швейцарию он постоянно о ней будет думать, и она настолько занимает его мысли, что отношения его с женой совсем разладились. И теперь он думает о своем будущем, потому что надо принимать новые решения, и это очень трудно, так что голова его кругом идет...

После прочтения письма Эмилией Лидия тоже смогла разобрать написанное. Он и «р», и «н», и «к» писал странно, «и» походило на «т», но с привычкой можно было и разобрать. После всего Лидия ударила козырем — показала фотографию. Эмилия долго ее разглядывала, а потом поставила диагноз:

— Лидия, имей в виду, это очень серьезно. Надо работать, но без большой надежды на успех. Оч-чень непростое дело...

А Лора моя дура, дура, раздраженно подумала Эмилия Карловна, при всех ее данных этот жалкий еврей Женя... И сказала: ответ напиши по-русски, я тебе переведу, чтоб прилично выглядело.

Лидия писала трое суток. Письмо поразило Эмилию: оно было мало сказать прилично, оно было изяшно!

Но еще более письмо поразило жену Мартина, которая нашла в ящике мужнего стола, где искала копию затерявшейся квитанции, стопку из двенадцати художественных открыток и это самое изящное письмо, из которого следовало, что Мартин завел себе в России женщину, о чем Элиза по некоторым признакам и сама догадывалась. И тогда разразился семейный скандал — по факту происшедшего. Мартин, который, может, и перетерпел бы свое любовное приключение и оно само собой обратилось бы в один из эпизодов его, в общем-то, скромной сексуальной биографии, и улеглась бы Лидия в ряд, где прежде была полька, потом разовая китайя-

ка, а потом она, разовая русская, но Элиза разожгла семейный скандал и нехорошо упрекнула Мартина в его мужской и всяческой никчемности, в то время как он теперь твердо знал, что способен на большие подвиги, если к нему дама относится с восхищением и в тазик с прохладной водой окунает натруженные ноги... И, замирая от неведомого, словно напрокат взятого мужества, он сказал Элизе с тихим достоинством, что — да, он полюбил русскую женщину и готов был подавить в себе это чувство, но ежели она, Элиза, желает теперь развода, то он, Мартин, тоже не возражает.

Высовывая из отвратительной крокодиловой сумочки край стопки открыток с разоблачительными русскими видами и конвертик с изящным Лидиным письмом, Элиза многозначительно подняла бровь и сказала что-то неопределенное про адвоката. Да Мартин и без адвоката прекрасно знал, что двенадцать лет работы на лакокрасочное дело будут у него просто украдены, а что он поднял дело, расплатился с долгами, которые висели над фирмой после раздела Элизы с братом, не зачтется ни в копейку, все труды его прахом пойдут. Может, только часть суммы за дом ему достанется, да и то неизвестно, как Элиза письмом распорядится... В тот же вечер Мартин написал Лидии внеплановое письмо, в котором сообщил, что приедет в Россию на Рождество, и второе письмо, адвокату, где просил назначить ему время встречи.

Бракоразводный процесс совместно с имущественным разделом занял больше года, но закончился непредвиденно выгодным для Мартина образом. Он не был совладельцем, но и жалованья ему Элиза не положила, и теперь ее обязали выплатить Мартину компенсацию, и притом весьма значительную, за двенадцатилетние его труды.

За два с половиной года, предшествующие заключению нового брака, Мартин видел Лидию ровно шесть дней, в два приема. Убедился, что Лидия — живой клад: массаж, забота, питание, секс — качество первый класс.

Они с Лидией совместно решили ограничить встречи во имя исполнения великого замысла. Мартин свирепо копил деньги: после развода Элиза неожиданно предложила ему остаться на работе наемным служащим. Мартин, хорошо подумав, согласился. Работал он теперь за очень приличную зарплату. Компенсация, да к этому еще прибавить столько же, — и после заключения нового брака можно открыть маленький ресторан...

Лидия, со своей стороны, целеустремленно готовилась к новой жизни: загадочно улыбаясь, подала заявление об уходе и круто поменяла культурную сферу на общепит — нанялась в ресторан при гостинице «Центральная» помощником повара. Там была русская кухня. Но, как Лидия вскоре обнаружила, примитивненькая... Да что иностранцы заказывают? Блины с икрой, борщ, водка — без больших премудростей. А может, и не надо премудростей? Кроме того, Лидия разглядела всякие тонкости по организации производства. Месяца через три она совершенно убедилась в том, что больше ей в «Центральной» делать нечего, все, что можно там узнать, она уже ухватила. Прорисовалась новая задача: заработать денег побольше и купить себе приданое, чтобы приехать в город Цюрих не бедной замухрышкой, а настоящей русской дамой.

Шубу надо было купить каракулевую, как у Эмильки, серую, кольцо с диамантом и серьги. Еще для будущего ресторана хотела Лидия закупить хохломской посуды, в золотых и красных цветах — поди плохо? Вопрос только, как вывозить... Видов северной природы она Мартину больше не посылала, отправила набор открыток с хохломскими утицами и ложками — он ее вкус одобрил.

Но сказка сказывается скоро, и настал день, когда Лидия собрала два чемодана со всем хорошим, чего в Швейцарии носить будет не стыдно (ошиблась — только то и пригодилось, что Мартин ей привозил, а свое все на тряпки, на тряпки потом пошло...), и купила билет на поезд. Из



экономии. И отбыла Лидия с Белорусского вокзала в город с журливым и шелестящим именем «Цю-юрихь», где полны подземелья золота, где жил Ленин, сидел там на набережной реки Лиммат, в кафе «Одеон», кушал штрудель и осыпал сладкие крошки на том Маркса... При слове «Цю-юрихь» во рту делалось сладко...

Лидия сидела в купе с прямой спиной, запрокинув голову назад, в сторону тяжелого пучка, механически подправляла пальцем кончик носа — обычно, когда она, откусывая кусок, широко рот раскрывала, на кончике носа губная помада отпечатывалась, и она время от времени это дело контролировала. За окном мелькала родная русская природа, и Лидия, за последние два с половиной года измечтавшаяся об этом чаше, когда поезд тронется, вдруг расчувствовалась и вспомнила про белые березки, — за окном пока простирался исключительно сорный кустарник и пригородные свалки, — и вроде как бы затосковала по Родине, хотя чего тосковать-то, вот она тут вся, миллион николаев в кирзе, миллион теток вроде тети Насти, ведь ни разу и не справилась, как там племянница в городе, жива ли, померла... Один родной человек — Эмилия Карловна. Она одна и понимала Лидию. Само собой. Зельбстферсендиг.

Две пожилые торговые польки, соседки по купе, что-то у нее спрашивали на среднеславянском языке, а у Лидии такая на душе была смута, что она сказала им, сама от себя не ожидая, очень уверенно: «Ентшульдиген битте, ихь ферштее нихьт»... И польки сразу же поняли, что ошиблись, приняли немку за русскую, хотя видно же, что немка, костюм джерси буржуазного качества и кольца на пальцах...

Ах, Мартик, Мартик! Вот уж кто был наградой в жизни, особенно после двух пересадок! Встретил на вокзале в Цюрихе, в темно-зеленом пальто волосатеньком, в такой же волосатенькой шляпке, поле коротенькое, сзади приподнято, и перышко пестренькое сбоку. Ну прелесть просто. И одеклоном пахнет, и сам чемоданы не хватает, как русский мужик, а носильщику машет, и Лидию целует и под руку ведет... А кругом такая заграница, что даже в кино такого не показывают. Например, был фильм про Рим, Лидия его хорошо помнит, так там грязь, свалка, развалины, недалеко от нашего ушли, и едят еду бедную, как у нас, те же макароны, и еще в кино показывают. Понятно, почему они настоящую заграницу не показывают, не зря Лидия в университет марксизма-ленинизма два года ходила, где голову всем дурили...

Первый год в Цюрихе был самый счастливый. Капиталу пока немного не хватало на аренду подходящего помещения для ресторана, потому жили прижимисто, снимали студию, не квартиру, так, малехонькое жильё, а платили за него... Не ожидала Лидия, что все так дорого в богатой Швейцарии, уж на что она была ловкая, хорошо умела приспособиться, но туговато приходилось. Мартин расходы все сам проверял, он в бухгалтерии понимал. Лидия сразу же хотела на работу устроиться, но он поначалу не разрешал, однако потом согласился. Дипломы все свои Лидия на немецкий язык перевела, и взяли ее в маникюрши. Мартин удивлялся даже, как у нее хорошо дело пошло. К концу года оформили аренду, чудесное место для ресторана, там раньше была кантина какая-то, это тоже было хорошо, ведь когда народ привыкает, что в этом месте кормят, то по старой памяти идут.

Мартин выписал свою кузину из деревни, простая такая женщина, практически она и была деревенская, хотя одета по-городскому. Но не особенно. Лидия уже начала понимать кое-что, даже, может, побольше, чем Эмилия Карловна, в каких магазинах покупают люди победнее, в каких — побогаче. И Мартин очень это понимал, потому что жена его Элиза была из богатых и его приучила. Теперь Лидия знала, что заграничное заграничному рознь. Было, конечно, кое-что непонятное в деталях: почему, например, английский магазин еще дороже швейцарского, по качеству — не различишь,

хоть на зуб пробуй. Или французское — красота есть, но опасная, с качеством не очень. Про итальянское и говорить нечего.

Перед открытием ресторана Мартин объявление дал, разослал знакомым приглашения, по всему району листки развесил: ресторан «Русский дом» приглашает на русский ужин. Одного официанта русского наняли, чудной немного, перемешанный, не совсем русский, но слово «борщ» хорошо выговаривал. Второго, местного парня, на один раз взяли.

Первый вечер ресторанный прошел очень хорошо. Это был последний счастливый день в жизни Лидии. Наутро все кончилось. Мартин в шесть, как они обыкновенно поднимались, не проснулся. Спал и спал. Лидия сначала не хотела его будить — устал, пусть выспится. В десять стала его будить, а он не просыпается. Лежит на боку, и одна рука неловко так расположилась. Лидия тронула — а она холодная. Дышать-то он дышит, но в себя не приходит и тяжелый очень. Вызвали врача и увезли сразу в больницу. Инсульт. Все. Она сразу же посчитала: длилась ее счастливая жизнь один год и двадцать один день. От приезда до удара. А дальше — страшный сон.

Одно только хорошо — все больницы у них, как у нас Кремлевка. Сестры все сами делают — и пеленки меняют, и кормят. Даже ночное дежурство у них бесплатное. Когда Иван Савельич в больнице лежал, у него было раковое заболевание, так они втроем с Эмилькой и Лорой с ног сбились. И Лидия понимала, как ей повезло с этой Швейцарией. Сначала через уколы растворы питательные вливали, потом стали сестрички кормить. Три месяца он ни туда ни сюда, непонятно даже, узнает Лидию или нет. Другой раз вроде узнает, а другой — нет... Ходить не может. Но в кресло его пересадили. Лидия по утрам его навещает, двумя автобусами, три с половиной часа занимает. А ресторан-то на ходу. И закупить, и приготовить — когда? Записалась в автошколу. Машина есть, а прав у Лидии нет. Дура, дурища, ругала себя Лидия, столько всего лишнего изучила, а водить не научилась. Занятия на курсах три месяца идут, да по четыре часа три раза в неделю. Каторга, а не жизнь. Спала по хорошим дням часов по пять, по плохим и трех не набиралось. Мартина жалко, да только жалеть некогда. Он как ребенок маленький, пух на затылочке слежался, уж Лидия, как забрала домой, вылизала его, массаж стала делать ежедневно, по часу. Врачи говорили, что не восстановится, но ножка левая, пораженная, потихоньку стала укрепляться. Еще месяца три прошло, и он уже стоял на ногах, за спинку кресла держался и стоял.

А ресторанный случай шло хорошо, Лидия его не бросала. Пришлось, конечно, сделать упрощения вроде наших комплексных обедов. Но жизнь в Швейцарии оказалась ох трудна. За все — плати. Электричество, вода, бензин, мусороуборка, а налоги вообще отдельная песня. Пришлось опять на курсы идти, задаром никто ни слова тебе не скажет. Народ швейцарский сначала Лидии очень понравился за вежливость и за чистоту. Но — себе на уме. Раньше, на Родине, Лидия сама себе казалась очень умной. А здесь все оказались такие же умные, наперед все просчитывают.

Русский ресторан швейцарцам пришелся по вкусу именно потому, что они быстро сообразили, что за те деньги, которые в нем оставляют, питание получают очень качественное. И если б Лидия была не одна, она бы уже через год расширила помещение, там веранду можно было летнюю освоить. Да и с другой стороны, она бы не побоялась и побольше помещение арендовать. Если бы Мартин был человек, а не инвалид окончательный.

Но ни горевать, ни размышлять времени не было, потому что дел невпроворот: утром умыть Мартика, потом массажик, потом на горшок, потом покормить его. Раз в два дня за овощами к фрау Темке на ферму, раз в два дня — к мясникам. Рыбу привозили домой, а за бакалеей она ездила к оптовикам, но это раз в две недели. Готовила она одна. Конечно, все было продумано, холодильник пришлось промышленный купить, многое

замораживала, хотя никому бы не призналась. У них вообще-то не принято было продукты морозить. Фарши для блинчиков раз в неделю готовила — и в заморозку. Ну, рыбу, конечно, нет, вкус сильно теряет. Если честно признаться, швейцарцы в кулинарии не очень и понимали. Ценили, что порции были большие.

Лидия весь год тряслась от страха, что не сведет концы с концами, но в конце года оказалось, что свелись концы хорошо и еще привесок образовался. Его Лидия поместила в банк на свое имя. Вот тут-то она и поняла смысл швейцарской жизни. Если бы Мартик был здоров, она б, может, этого и не поняла в дыму брачного счастья. Но поскольку оно кончилось, то Лидии открылось, что счастье выражается здесь цифрами. Больше цифра — больше счастье. Не одними голыми цифрами, а с большими тонкостями: должны еще быть люди, которые бы оценивали твой успех, догадывались бы о твоём уме и таланте по неприметным признакам. Забор два раза в год красила... Новые цветы на террасе посадила... Занавески английские повесила... Кто понимает... Туфли от Балли, пальто от Лоден. Эмили Карловны нет, погладела бы.

Деревенскую сестру Мартика Лидия прогнала, только под ногами пугается, а в жизни, хоть швейцарка коренная, — ноль понятия. Вместо нее наняла других помощников, югославку толковую, тоже за швейцарцем замужем. Еще одну помощницу — наняла хромую, очень некрасивую женщину, но быструю и дельную. Ей Лидия и у плиты кое-чего несложное доверяла. Тоже потом оказалось, что она не настоящая швейцарка, а из евреев. Еще один официант был итальянцем. Но это дело известное, что итальянцы все — прирожденные официанты: приветливые, улыбаются и шутят. Но вороваты. Впрочем, у Лидии не украдешь, хорошо следила. Репутация — нешуточное дело, ее и за деньги не купишь. Она как зернышко: посадил в горшок, поливай, удобряй — оно растет. Год, другой, третий... Год, другой, третий...

Мартик похудел, обветшал, стал старичком. Зато Лидия, в России еле-еле сходящая за дурнушку, здесь считалась интересной дамой, ее даже за француженку иногда принимали. Она заново научила мужа ходить, он теперь ковылял с палочкой по дому, гулял в их садике. Лидия купила ему породистую собачку, серого карликового пуделя, назвала его Милком. Содержание Милка обходилось в копейку — то прививки, то ветеринар. Но оказалось, что и здесь Лидия не прогадала. Швейцарцы животных любили, приходили ужинать семейные пары, детишки с Милком играли и потом просили родителей снова с русской собачкой поиграть. Хорошая клиентура. А Мартика дети звали «собачкин дедушка».

Когда жизнь с русским рестораном и мужем-инвалидом совершенно наладилась и вошла в колею, Лидия по старой памяти снова пошла на курсы. Два года занималась французским, освоила, разумеется. Подумывала об английском... Хотела бы заниматься горнолыжным спортом, но оставлять на несколько дней ресторан, Мартика и Милка было невыносимо. Хотя теперь она уже не стояла у плиты, а были у нее два повара, которых она сама всему обучила. Два раза в неделю ходила в бассейн, иногда в женский клуб, где были встречи с другими деловыми женщинами. Сходила она к деловым женщинам раз-другой и поняла, что лично ей не хватает в жизни признания. Все эти женщины тоже ходили в обуви от Балли, носили норковые шубы и часы «Ориент», и Лидии было даже обидно, что для них это обыденная жизнь, и не могла же она им объяснить, что все они глупые домашние куры, а она, Лидия, — птица высококого полета, потому что они-то родились в Швейцарии, в куске сливочного масла, а она, Лидия, — в избе с земляным полом и соломенной крышей, до пятнадцати лет ходила либо в валенках, либо босиком, а штаны первые завела уже в Москве, когда по большому везению попала в прислугу к хорошей барыне, а до того ходила без порток, как все белорусские крестьян-

ки... Возникла какая-то досада. И старая, придавленная и недодуманная мечта, как зародыш болезни, стала развиваться, и оформляться, и приобретать определенные черты — и Лидия в деловой книжечке в последнем, для души предназначенном разделе, куда деловые женщины вносили даты встреч с любовниками, гинекологами или врачами-косметологами, завела списочек, в который вносила, что именно и в каком количестве надо ей купить для поездки в Москву. Там жил единственный в мире человек, который мог оценить ее, Лидии, великий взлет...

Как и все свои предприятия, Лидия сначала все основательно обдумывала. Связей с Москвой у нее никаких не сохранилось: Эмилия Карловна при прощании сказала ей, что желает всех благ, но просит писем не писать и по телефону не звонить. К этому времени уже начались первые неприятности у Лоры, потому что ее муж Женя что-то подписывал, болтал направо-налево и навлекал на семью неминуемые неприятности. Лора же смотрела ему в рот, своей головы не имела, а к материнским советам не прислушивалась. Эмилия Карловна советскую власть ненавидела, но чувства свои упрятала на дно декретом отмененной души, зато страстно презирала дурака Женьку, который болтал, как глупый попугай... Приятельницы Лидии из Дворца пионеров и из других мест, где приходилось ей учиться и работать, не стоили даже расходов на почтовые марки. Только одна была доверенная подружка, соседка Варя, с которой первое время Лидия поддерживала какую-то хилую связь, но после несчастья с Мартиком перестала ей писать. Чего писать-то?

Теперь Лидия написала Варю, попросила ее позвонить Эмильке и узнать, как та поживает. Варя просьбу выполнила, Эмильке позвонила и сообщила Лидии, что те живут по-прежнему, все на старом месте...

Лидия купила хорошую дорожную сумку — до тех пор она никуда не путешествовала и сумок не заводила. И начала по списку покупать Эмильке подарки. Решила, что оденет ее с ног до головы. Во все самое лучшее. Полный комплект, как новорожденным... Свободное время Лидия проводила теперь в магазинах. После Рождества, когда начались большие распродажи, она завершила свою закупочную кампанию, которая заняла у нее почти полгода. Сумка приняла в свои клетчатые недра первосортного товара на три тысячи швейцарских франков без самого малого. Белье, чулки-колготки. Босоножки, туфли, сапоги. Костюм джерси-шерсть и костюм шелковый, жакет, шляпа, шарф. Сумка-перчатки. Все — в гамме. Потому что у Лидии — вкус. Эмилька научила.

А еще в дамской сумочке лежали золотые часы марки «Ориент» в футляре, который сам по себе представлял произведение швейцарского искусства.

Затем Лидия купила себе трехдневный индивидуальный тур в столицу нашей родины Москву с пребыванием в гостинице «Москва».

Прошло больше десяти лет с тех пор, как Лидия в первый раз проводила Мартина в Цюрих после памятного и судьбоносного обеда с мытьем ног и черной икрой. Шереметьево не изменилось. Лидка-гусыня прекрасным лебедем не стала, но и от нее прежней тоже ничего не осталось. Она была гражданка Швейцарии, фрау Гропиус, в скромном с виду пальто из плащевой материи, с нежной подкладкой из меха кенгуру. Носильщик нес за ней ее небольшой чемодан и дорожную сумку, а встречала ее переводчица из Интуриста, мелкий лейтенант из КГБ, с казенной улыбкой и листом бумаги с ее, Лидиной, фамилией. Такси довезло их до Манежной площади. Лидию по дороге тошнило — от волнения. Переводчица говорила с ней на дурном немецком языке, Лидия своего русского не открывала. Зачем? Поужинала в ресторане на втором этаже. Салат «Столичный» и ступень. Попробовала и отложила вилку. Тошнило.

Следующий день ее возили по городу, показали Бородинскую панораму и университет на Ленинских горах. Обедала в ресторане «Центральный». Русская кухня. Метрдотель был все тот же. Не узнал, конечно. Вечером — Большой театр. «Лебединое озеро». Сидела в третьем ряду, в фиолетовом шелковом костюме, с бриллиантовой брошкой в виде стрелы. Рядом сидели американцы. Одна из американок была в бигуди и в нейлоновом колпаке поверх накруток. Они собирались после театра в ресторан. Видимо, кудри ей были нужны к ужину. Балет был шикарный. В Цюрихе они с Мартиком по театрам не расхаживали. Вот в Москве в свое время она часто билеты доставала — и на Таганку, и на Бронную...

На другой день, в воскресенье, она сказала переводчице, что у нее болит голова и она программу сегодняшнюю отменяет. Та предложила прислать врача, но Лидия отказалась. Хотя голова действительно болела и снова тошнило. В два часа дня, взяв сумку, она вышла из гостиницы. Ехать в такси было пять минут — жила Эмилька на Маяковке. Вышла у серого кирпичного дома на Второй Тверской-Ямской. Углом странно поставленный дом, для главного ведомства страны после войны построенный. Иван Савельич незадолго до выхода на пенсию получил здесь двухкомнатную квартиру. Поднялась на четвертый этаж. Вспомнила, как тридцать, что ли, лет назад в первый раз в эти хоромы входила. Газ. Электричество. Колонка с горячей водой. Ванная и уборная — все в первый раз тогда увидела.

Звонок все тот же, белая кнопка на черном деревянном кружке. Нажала. И звонит тем же голосом. Открыли не спросив. Лора. Вы к кому? К вам. К Эмилии Карловне. Я — Лидия. Лора, не узнаешь?

— Лидя! Лидочка! Тебя просто бог послал! — обрадовалась Лора.

В те годы каждый иностранец был большой ценностью: через него можно было и письмо переправить, и документы. Казенная почта вся просвечивалась. Но Лидия отметила с раздражением: ишь, как из Цюриха с сумкой, так Лидочка. А в прежние годы рожу корчила. Вот потому в сумке ничего и не было для Лоры предназначенного.

Далее Лидия вдохнула родной запах старой квартиры и сняла ботиночки. Можно с ума сойти: в калошнице стояла обувь, которую Лидия знала наизусть. Коричневые домашние туфли «для гостей» и две пары детских — следы профессиональной деятельности.

— Детки все еще ходят? — спросила Лидия с улыбкой.

Лора махнула рукой:

— Да какие детки...

И Лидия вошла в большую комнату, где когда-то собирался частный детский сад и стояли длинный стол, и шесть стульев, и пианино, на котором Эмилия Карловна небойко играла польку и вальс, а дети танцевали, и маленький столик у большого дивана, покрытого ковром ручного тканья... А в эркере, спиной к двери, стояло инвалидное кресло на колесах, нескладное, больничное, крашенное белым по железу, и над спинкой возвышалась пегая пышная голова а-ля Помпадур. Лора вошла в эркер, развернула кресло и вывезла на свет божий Эмилию Карловну.

Она была так похожа на Мартина, как будто была ему сестрой, матерью или бабушкой. Чудесная белоснежно-дряблая кожа, маленький подбородок, из-под которого, как жабо, вылезал второй, жидкий и почти прозрачный, бледно-голубые глаза в круговых складках нежной кожи и извиняющаяся улыбка, съехавшая на один бок... Только у Мартина нос был короткий, с выпуклыми ноздрями, а у Эмилии Карловны длинный, в конце заостренный и с горбинкой...

— Мама, посмотри, кто пришел! Лидия пришла! Помнишь Лидию?

В правой руке у Эмилии Карловны была зажата колода карт, и она одной рукой их не то перебирала, не то просто шупала. Забыла, совсем забыла Лидия, что больше всего на свете старая ее хозяйка любила раскла-

дывать пасьянсы. Да карты же надо было купить! Как это я забыла, мелькнуло сначала у Лидии...

— Эмилия Карловна, это я, Лидия. Узнаете?

Эмилия Карловна улыбалась Мартиковой деликатной улыбкой, и круглая бусина слюны собиралась в углу рта.

— Давно? — спросила Лидия.

— Почти год, — тихо ответила Лора. — Кошмар. Мы документы на выезд подали на всех, а как ее везти — непонятно. Я как тебя увидела, так сразу и подумала: вот кто помочь-то сможет. Мы ведь через Вену летим, от вас недалеко. И там неизвестно сколько ждать. Если бы ты нас встретила... Или хотя бы письмо через тебя послать в «Сохнут», чтобы они нас встречали с коляской... Я уверена, что разрешение вот-вот придет. Есть такие приметы... Понимаешь, мой муж, Женя, он в Америку ни в какую, ему только Израиль подавай... Я бы лучше в Америку...

Лидия молчала, вживаясь в ситуацию. А Лора трещала не замолкая и все время крутила пальцы, слегка их поламывая.

— Мам, мам, — время от времени вспоминала Лора о цели Лидиново визита, тормошила Эмилию Карловну за плечо. — Посмотри, кто пришел, мам... Лидия пришла. Узнаешь Лидию? Понимаешь, мы бы давно подали, но мама в Израиль ехать отказывалась, очень, очень против была... А Женя — только в Израиль. Многие наши друзья Америку даже предпочитают. А мама, ты, может, не знаешь, при всех ее достоинствах немного антисемитка. И в Израиль уперлась — нет и нет. А уж когда она заболела, мы подали. Ей теперь не все равно? Правда? А ты когда уезжаешь, Лид?

И Лора пошла ставить чайник, а Лидия села рядом с Эмилькой и взяла ее за руку:

— Эмилия Карловна, как я рада вас видеть! Вы все красавица... Чувствуете-то ничего? А у Мартика моего тоже ведь инсульт, семь лет уже. Но он сейчас получше, ходит. Раньше тоже все в кресле сидел. А теперь ходит, и собачку я ему купила...

Эмилия Карловна как будто слушала и как будто понимала. Потом пришла Лора с чайным подносом. Сахарница, молочник, чашки розовые — все было родное. И печенье было то самое: два желтка стереть с полстакана сахара, сто грамм шоколадного масла... Научилась Лора. Раньше не умела. Эмилия зашевелила пальцами и открыла рот. Раздалось что-то вроде «уать».

— Сейчас, мамочка. — Лора сунула в подвижную правую руку полловинку печенья.

Эмилия запихнула его в рот и счастливо зажевала.

— Вот такие дела, понимаешь, весь бы день ела и ела. Злитесь, если не даю. А потом с желудком проблемы. За год без клизмы ни разу...

Лидия раскрыла сумочку и вынула из нее плитку шоколада, предназначенную горничной. И, подумав, достала только что начатый небольшой флакон духов — «Шанель номер пять». Свой собственный...

— Это, Лора, тебе сувениры.

Эмилия Карловна ела печенье одно за другим, напрочь забыв о деликатной науке поглощения пищи, которую преподавала годами своим воспитанникам. Она засовывала печенье глубоко в рот, проталкивая его обломанными ногтями, и крошки падали на грязный воротничок, на протершуюся грудь старой кофты, и у Лидии ломило затылок и тошнило ее по настоящему. Она не знала еще, что это был первый признак надвигающейся гипертонии.

— Я пойду, Лора. Завтра утром позвоню, перед отъездом я вас еще увижу.

— Да посиди, скоро Женя придет, — искренне просила Лора, но Лидия страстно хотела поскорее унести ноги, быстро переночевать и уехать отсюда навсегда-навсегда.

Обула ботиночки, надела плащевое пальто на австралийском, спрятанном от посторонних взглядов звере и с усилием подняла клетчатую сумку:

— Мне еще надо в одно место заехать, вот отвезти просили друзья...

Квитанции все были одна к одной, на всякий случай, по привычке делового человека, в верхнем ящике письменного стола дома сложены, в отдельном конверте. Сдать обратно можно. Всегда есть смысл в дорогах магазинах покупать — и сдать, и обменять можно, тем более когда тебя уже знают.

Такси она просила переводчицу заказать на более ранний час, чем следовало бы. Переводчица просто лишилась дара речи, когда Лидия сказала шоферу на чистом русском языке:

— По дороге в Шереметьево мне надо заехать на Спартаковскую улицу, я покажу вам, где поворачивать.

Заехали на Спартаковскую. Дом стоял как стоял, четырехэтажный король-корабль среди одноэтажных деревянных барачков. Трущоба трущобой. Она улыбнулась, представив себе, что испытал Мартин, когда первый раз вошел в ее убогую квартирнку. Сначала она думала подняться на третий этаж, позвонить в свою дверь, попросить, чтобы ей показали, как сейчас выглядит ее прежнее жилье. А потом подумала: зачем?

И велела ехать в Шереметьево. Чемодан и клетчатую сумку сдала в багаж. Об обещанном Лоре звонке и не вспомнила.

Всю дорогу в самолете она умирала от нетерпения: скорей бы попасть домой, поцеловать Мартика в опустившийся уголок рта. Он был получше, гораздо получше, чем Эмилька. Он все же ходил, улыбался более внятно и говорил некоторое количество слов вполне осмысленно. Да и вообще — как там три дня без нее дела двигались...

Голова все болела, и тошнота не проходила. Она прошептала почти про себя, но все-таки немного вслух: Цю-юрихь... Цю-юрихь... И задремала с мыслью: а все же я самая умная...



---

---

ЛАРИСА МИЛЛЕР

\*

## ЦВЕТНЫЕ МЕЛКИ

\* \*  
\*

Шаг влево, шаг вправо — и будет пиф-паф.  
Не прав ты, начальник, ей-Богу, не прав:  
Так целишься долго, мурыжишь давно,  
Что нам уже стало почти все равно.  
«Убью!» — говоришь. Отвечаем: «Убей!» —  
Без страха гуляя по зоне твоей.  
Опять невредимы, опять пронесло,  
Опять не вошли в убиенных число.  
А может, затем лишь грозишься убить,  
Чтоб мы научились все это любить:  
Весеннюю лужу, где рай воробью,  
И небо, и зону с привычным: «Убью!»

Февраль 2000.

\* \*  
\*

Неуютное местечко.  
Здесь почти не греет печка,  
Вымирают печники.  
Ветер с поля и с реки  
Студит нам жильё земное,  
А тепло здесь наживное:  
Вот проснулись стылým днём,  
Надышали и живём.

Декабрь 2001.

\* \*  
\*

Господь посылает сырую погоду,  
Чтоб вывести всех нас на чистую воду,  
На чистую воду, что льётся с небес...  
Ютится ли ангел, ютится ли бес  
В душе нашей призрачной? Что в ней ютится —  
В душе, что в конце улетает, как птица?  
В конце бытия улетает туда,  
Откуда течет дождевая вода?

Август 2000.



\* \*  
\*

Все бессмысленно и плохо  
С точки зрения травы,  
Жизнь ее достойна вдоха  
И печального «увы»,  
Жгут ее, и рвут, и топчут,  
И покоя не дают,  
Поострей косу наточат —  
И давай крушить уют,  
Насекомую обитель,  
Столь любимую жучком...  
Не губи траву, воитель,  
Лучше ляг в нее ничком.  
На тебя здесь зла не держат  
И тебе не отомстят...  
Пошекочут и понежат,  
На ушко прошелестят.

Август 2000.

\* \*  
\*

Где же все это — язвы, проказа?  
Кто-то стер аккуратно с доски.  
Существует лишь *tabula rasa*.  
Нарисуй на ней, Боже, с тоски,  
Нарисуй на ней снова со скуки  
Рыбок, птиц, человечьи полки.  
Вот тебе в Твои чуткие руки  
Кисти, уголь, цветные мелки.  
Стерто прошлое — как ни бывало,  
Не кровила ранимая плоть,  
Никого еще не убивало,  
И доски не касался Господь.

Июнь 2001.

\* \*  
\*

Ну и как он в переводе  
На земной и человеческий?  
Получилось что-то вроде  
Бесконечно длинной речи.  
Хоть бессмыслица сверкает  
Тут и там и сям порою,  
Но процесс нас увлекает,  
Все мы заняты игрою:  
Переводим, переводим  
С языка оригинала,  
Где-то возле смысла бродим,  
Есть сюжет, а толку мало.  
И пером не очень нежным  
Божий замысел тревожим,

Окончанием падежным  
Их скрепляя, строки множим.  
Но в хорошую погоду  
Свет такой ОТТУДА льется,  
Что земному переводу  
Ну никак не поддается.

Июнь 2001.

\* \*  
\*

Всё от лукавого, ей-ей...  
Иначе как могло случиться,  
Что дождь прошел, и сад лучится,  
И белый день еще белей.

Всё от лукавого. В манок  
Дни напролет свистит лукавый,  
И листья ластятся, и травы,  
Дрожит роса у самых ног.

И этот луч средь бела дня,  
И миг стремительного лета  
Стрижа — ловушка и тенета,  
Силки, тенета, западня.

Июнь 2001.

\* \*  
\*

Увы, хлебаю, что дано.  
Уже едва прикрыто дно,  
Уже на донышке остатки,  
Но, говорят, остатки сладки.  
Пока июнь идет к концу,  
Стекает дождик по лицу,  
Водичку пьет из лужи птичка,  
Пресна небесная водичка.  
Стекает дождик по устам,  
Пока шагаю по крестам,  
По влажным крестикам сирени  
Из света в тень, на свет из тени.

Июнь 2001.

\* \*  
\*

Вторник, пятница, среда...  
Жить-то надо — вот беда,  
Дни недели обилетить,  
Проводить, потом приветить.

После снова проводить,  
С ними есть и с ними пить,  
В их дождях-лучах купаться,  
В их подробностях копать,  
Их дарами дорожить...  
Ну, короче, надо жить  
От восхода до восхода  
И в любое время года.

Июнь 2001.

\* \*  
\*

Звонят отсюда через ноль,  
А также через боль и муку.  
Коммуникации науку  
Освоить просто. Уж не столь  
Она немислимо сложна:  
Нажмете точку болевую —  
И речь услышите живую,  
Ту самую, что вам нужна.

Июль 2000.



---

---

АННА МАТВЕЕВА

\*

## ВОСЬМАЯ МАРТА

*Повесть в диалогах*

Действуют:

Марта Зайцева, 25 лет — преподаватель русского как иностранного.  
Лариса, 24 года — ее коллега и подруга.  
Мужчина Z, 30 лет — засекреченный возлюбленный Марты (*по телефону*).  
Галина Ивановна, 50 лет — кассир, мать Марты.  
Юрий Степанович, 55 лет — водитель, отец Марты.  
Ясухино, 22 года } японские студенты.  
Такэси, 23 года }  
Йоко, 20 лет }  
Глупый Саша, 20 лет — сосед японцев по общежитию.  
Тетцуя-сан, 50 лет — отец Ясухино.  
Киёми-сан, 49 лет — мать Ясухино.  
Бабушка Ясухино, очень много лет.  
Жена Мужчины Z (*по телефону*).  
Чиновник из японского консульства (*по телефону*).

1

*Екатеринбург, март 1995 года*

Квартира Зайцевых — хрущевка (естественно!), первый этаж. Решетки на окнах, ковер на стене, ковер на полу. Старая стенка с хрусталем. Работает телевизор. Перед телевизором сидят японские студенты Ясухино и Такэси, сидят на полу по-турецки. На диване — Юрий Степанович, нога на ногу, трясет тапком. Смотрят хоккей.

Юрий Степанович. А в Японии-то у вас есть хоть хоккей?

Ясухино (*говорит с сильным акцентом*). В Японии осень популярный футбол. Я сам играю футбол.

Такэси. И я играю футбол.

Юрий Степанович. Ну, я понял про футбол, а хоккей-то есть?

Ясухино. Хоккей не так популярен в Японии.

С кухни доносятся голоса Галины Ивановны и Йоко.

Йоко. Сто вы готовить?

Галина Ивановна. Борщ.

Йоко. Как?

---

Матвеева Анна Александровна родилась в Свердловске. Окончила факультет журналистики Уральского университета. Автор книг «Заблудившийся жокей» и «Па-де-трау». Печата-лась в журналах «Урал» и «Новый мир». Живет в Екатеринбурге.

Галина Ивановна (*очень громко, словно для глухой*). Борщ! Это — борщ! (*Зачерпывает поварешкой.*) Ничего не понимает. Борщ не понимает! Это борщ!

Йоко. Борсь.

Галина Ивановна (*радостно*). Ну слава тебе, Господи ты Боже мой!

Звонок в дверь. Все оживляются, особенно Ясухиро.

(*С кухни.*) Хлеб купила?

Марта. Купила, купила. И хлеб, и газировку.

Ясухиро выходит в коридор, помогает Марте, берет у нее сумки.

Ясухиро (*светским шепотом*). Не могу поверить, что не увижу скоро тебя очень долго.

Марта (*явно в шутку*). А я к тебе в Японию приеду. Хочешь?

Ясухиро (*краснеет*). Осень. Осень хосю я.

Телефонный звонок. Юрий Степанович с неохотой отрывается от экрана, берет трубку.

Юрий Степанович. Мартышка, это тебя!

Такэси. Вы звать Марту Юрьевну Мартышка? Это смешно. (*Смеется.*)

Юрий Степанович. А вы звать Мартышку Мартой Юрьевной, это еще смешнее. (*Не смеется.*)

Марта берет телефон, идет с ним в ванную. Ясухиро напряженно смотрит ей в спину. Галина Ивановна вносит в комнату кастрюлю, лицо у нее торжественное, красное. За ней хвостиком бежит Йоко.

Галина Ивановна. Ну вот и борщок поспел! Усаживайтесь за стол, гости дорогие, будем, значит, праздновать.

Возвращается Марта, вид у нее очень расстроенный.

Юрий Степанович (*смотрит в экран*). А в Японии у вас есть праздник Восьмое марта?

Ясухиро. Нет, у нас другая куртура. У нас совсем иначе относиться к женщине.

Марта. Да, мам, у них совсем другая культура. Еще совсем недавно угнетенная японская женщина должна была встречать мужа на полу и в коленно-локтевой позиции.

Ясухиро. М-мм... Откуда знаешь?

Галина Ивановна. Уж больно слишком ты умная стала, Марта, как я погляжу.

Марта. Ну смотри, я тебе покажу. (*Ложится на пол, подгибает под себя колени, вытягивает руки.*)

Галина Ивановна. Ой, кошмар какой! (*Смотрит на Йоко, криво улыбается.*) И вот ваша мама вашего папу с работы так... встречала?

Йоко вежливо моргает, не понимает.

Йоко. Как?

Галина Ивановна. Ну ладно, Марта, вставай, не в Японии, чай.

Юрий Степанович. Какая хорошая страна, а, Галя?

Галина Ивановна. Побаклань мне тут еще. За стол! Живо!

Все рассказиваются, скрипят стульями. Галина Ивановна разливает борщ по тарелкам. Юрий Степанович продолжает смотреть хоккей.

Ну, давайте выпьем за Международный... (*подчеркивает слово*) Меж-ду-на-род-ный женский день Восьмое марта! И за нашу Марту, с днем рождения, дочка!

Юрий Степанович. Можно было на два тоста разбить. (*Отворачивается от телевизора. Выпивает.*)

Все выпивают.

Галина Ивановна (*мечтательно*). Вот, ребята, Мартышеньке уже двадцать пять стукнуло. Четвертачок... А когда она родилась, я даже и не думала, как ее назвать, сразу решила — раз Восьмого марта, значит, и будет Марта.

Такэси. Урица есть у вас Восьмая Марта. Как про Марту Юрьевну.

Марта. Точно, я и есть восьмая Марта. Мой номер восемь. Всегда.

Ясухиро. Ты первая. Совсем не восьмая.

Галина Ивановна. Не понимаю я, что вы говорите, давайте ешьте борщик.

Все едят борщик. Русские — с удовольствием, японцы — через силу, все, кроме Ясухиро. Звонит телефон, Марта выбегает из-за стола, хватается за телефон, закрывается в ванной.

Вот выучили дочку. Она теперь сама учит. Вас вот учит. Выучила. (*Смотрит на Йоко.*) А мы ведь простые: я — кассиром, Юра — шофером. А дочка вот уже почти профессор. (*Смеется.*)

Такэси. Марта Юрьевна, она осень умная.

Ясухиро. Я думаю, она самая умная.

Юрий Степанович. А зачем вам русский-то учить надо?

Такэси. Мне просто хотерось пожить Россия.

Ясухиро. А я хочу работать на русской фирме. Сейчас это очень пер-спек-тив-но.

Юрий Степанович (*жене*). Вот этот вот лучше всех говорит.

Галина Ивановна. Ешьте, ешьте, гостечки дорогие. Сейчас я еще вам плов принесу. Это ваше национальное блюдо тоже, из риса? Да?

Такэси. У нас национальное блюдо суси. Сасими. А студенты рюбят окономияки.

Галина Ивановна. А-а, понятно. (*Йоко.*) А ты что же не ешь?

Йоко. Я ем. Осень вкусно.

Возвращается Марта.

Марта. Мама, там у тебя плов подгорал, я выключила.

Галина Ивановна машет руками, убегает.

Юрий Степанович наливает рюмки снова и снова. Все пьют.

Сейчас придет Лариса Алексеевна.

Юрий Степанович. Ты про Лариску, что ли?

Марта. Папа, это тебе она Лариска, а им — Лариса Алексеевна.

Такэси. Рариса Арекеевна тоже осень умная.

Ясухиро. Русские женсины осень умные и красивые. Красивее японских.

Все уже основательно подпили.

Юрий Степанович забыл про телевизор. развернулся к Ясухиро, он ему явно нравится

Юрий Степанович. А вот скажите, у вас там по правде из одного автомата могут налить и горячий кофе, и холодную воду?

Ясухиро. Правда. В Японии много таких автоматов. Но я хочу жить в России. Тут намного интереснее. (*Смотрит на Марту*).

Юрий Степанович. Вы когда домой-то, в Японию?

Ясухиро. Через недерю уедем.

Юрий Степанович. Как жалко! А то я хотел тебя в гости к нашему деду позвать на юбилей победы. В этом году пятьдесят лет. А дед — ветеран, Герой Советского Союза. И у него день рождения как раз Девятого мая, вот как у Мартышки совпадение.

Марта. Папа, успокойся! Дед в Маньчжурии воевал, забыл, что ли. Ты бы еще немцев назвал к нему на день рождения! Совсем уже...

Такэси (*уже очень пьяный*). Я жарю, что японец.

Марта. А как же национальное самосознание?

Такэси. Мне нравятся европейские лица. И еще мне стыдно, что японец. Мы проиграри Вторую мировую войну.

Марта. Ну вот, приехали. Ладно, забудьте уже про войну. Сейчас мир. Дружба.

Йоко. Дружба.

Марта. Молодец, Йоко. Только надо говорить «жэ». Дружба.

Йоко. Дружба.

Марта. Ну ладно.

Галина Ивановна вносит блюдо с пловом. Все шумят, галдят, накладывают плов в тарелки.

Ясухиро. У японцев мозьно чавкать. Мы чавкаем, а русские — не чавкают. Группый Сася, он наш сосед в общежитии, он ругает нас, что мы чавкаем.

Такэси. Сася осень группый.

Марта. Он тоже сейчас придет, с Ларисой Алексеевной.

Звонок в дверь. Заходят Глупый Саша и Лариса. У Ларисы в руках мимоза для Марты, а у Глупого Саши — бутылка пива.

Глупый Саша сразу садится за стол, наливает себе много водки, кладет много плова в тарелку. Лариса что-то шепчет Марте.

Глупый Саша. Люблю я с иностранцами общаться. Очень они интересные. Но японцы прикольнее монголов, например. А монголы зато привозят много-много вещей.

Марта. Это раньше было актуально, а теперь — зачем тебе все эти вещи? Вон иди на Вайнера и покупай.

Глупый Саша. Монголы совсем не прикольные. А японцы прикольные.

Юрий Степанович, Ясухиро, Такэси и Глупый Саша идут курить на лестничную клетку. Йоко с Галиной Ивановной громко разговаривают на кухне. Лариса и Марта остаются вдвоем.

Лариса. Ну что, Марта, с днем рожденья тебя. (*Выпивает*).

Марта. Спасибо. (*Вздыхает*).

Лариса. А Ясухиро-то на тебя конкретно глаз положил.

Марта. Да перестань.

Лариса. А чего, Марта, в Японию зато реально съездить. Там красиво... Сад камней, сакура, гейши, харакири...

Марта. Харакири особенно красиво.

Лариса (*продолжает, не слушая Марту*). ...самураи, Кобо Абэ, «Легенда о Нарайяме», камикадзе...

Марта. И еще якудза.

Лариса. Ну все равно я бы съездила. Знаешь, а он и на японца-то не очень похож. Высокий такой.

Марта. Он говорит, у них есть такая народность. Разновидность. Они высокие и более европейского типа.

Лариса. Он скорее на казаха похож. Или на башкира.

Марта. Да ладно.

Лариса. *Этот-то* позвонил тебе?

Марта. Позвонил. Сказал, что поздравляет, но увидеться не может. Будет праздновать с женой. Вот, Лариска, угораздило же меня так родиться — вроде бы и мой день рождения, а фиг-то там, еще и общественный народный праздник.

Возвращаются курильщики. Йоко и Галина Ивановна вносят чайные чашки и магазинный торт.

Галина Ивановна. Вот такая вот девушка приятная (*про Йоко*), помогает все, жалко только, мало понимает по-нашему.

Марта. Ты, мам, просто говоришь быстро.

Галина Ивановна (*обижается*). Я все не так делаю.

Пьют чай. И водку. Такэси уже совсем ничего не понимает.  
Глупый Саша видит на тумбочке шахматную доску.

Глупый Саша. Ой, а кто у вас в шахматы играет?

Марта. Я.

Такэси (*радостно*). Давайте играть шахматы.

Марта. Чуть позже, ладно, Такэси? (*Ясухиро*.) Мне кажется, его уже пора домой вести, как ты думаешь?

Ясухиро. А ты с нами пойдете, Марта Юрьевна? Если ты не пойдете, мне придется сделать себе сэппуку.

Галина Ивановна. Это еще что такое?

Марта. Ритуальное самоубийство. Японцы совершают его в случае самого сильного унижения.

Юрий Степанович (*все это время смотревший хоккейный финал*). Мартышка, ты уж сходи. А то с него станется. Я видел документальное кино историческое, они на самом деле себе живот вспарывали.

Марта. Ладно, сейчас позвоню только.

Разговор Марты с Мужчиной Z и почему-то с его женой (из ванной по телефону).

Марта. Привет!

Мужчина Z. Ну я же просил! Я понимаю, что у тебя день рождения и что ты уже того, но все-таки нельзя же так на меня-то плевать!

Марта. Да я на секундочку.

Мужчина Z. Ну?! Что такое срочное случилось?

Марта. Я скоро буду мимо проходить. Может, выбежишь покурить? Очень тебя увидеть хочется.

Мужчина Z. Ну я же сказал — не мо-гу! Понимаешь ты или нет?

Марта. Просто я скоро, может быть, в Японию уеду насовсем. Так хоть попрощаемся.

Жена Мужчины Z (*по параллельному телефону*). Положите трубку и больше не звоните сюда.

Марта. Опять кто-то подключился.

Жена Мужчины Z. Не кто-то, а родная жена.

Марта. Тогда ладно. Все отменяется. Не будет покурить, не будет поговорить, будет все совсем другое — будет харакири, Кобо Абэ, сад камней, гейши и камикадзе!

Мужчина Z. Ты сама — камикадзе.



Жена Мужчины Z. Меня тут совсем ни за что не держат, что ли? Я что вам — насрано, что ли? Ты, гейша! Положи трубку и больше сюда не звони.

Марта. До свидания. У меня самолет скоро. Так что до свидания. Вернее, прощайте.

Гости вываливаются из квартиры Зайцевых. Йоко и Глупый Саша ведут под руки Такэси, впереди идет Лариса. Ясухиро ждет Марту в подъезде. Курит.

Хлопнула дверь. Марта несолидно сбегает вниз, замечает Ясухиро, останавливается.

Слушай, Ясухиро, а я тебе нравлюсь?

Ясухиро (*серьезно*). Я, наверное, тебя рюбить.

Марта. Люблю.

Ясухиро (*радостно*). Ты тозе меня рюбить?

Марта (*раздраженно*). Да нет, надо говорить: «я тебя люблю», а не «я тебя рюбить».

Ясухиро. Я тебя, наверное, рюблю.

Марта. Ну вот, хорошо, хоть кто-то меня любит.

Ясухиро. Кто такой *хоть*?

Марта. Как с тобой трудно все-таки...

Ясухиро. Извини.

Марта. Да ладно, не извиняйся. Иди сюда.

Ясухиро подходит к Марте, обнимает ее.  
Тишина.

Ясухиро. Ты ко мне правда приедешь? Приезжай осенью. Япония очень красивая осенью.

Марта. А пораньше нельзя?

Ясухиро. Мозно. Я пришрю тебе все документы, оформрю приграсение.

Марта. Хорошо. Я тогда уже сразу в мае приеду.

Ясухиро. Япония очень красивая в мае.

Целуются.

На улице громко падает Такэси. Все кричат, хохочут, всем весело. Отходят в сторону.

Как красиво искрится весенний снег! Только ты прекраснее снега.

Марта. Вот только восточных изысков мне и не хватало для полного счастья.

Ясухиро. Как?

Марта. Все, проехали уже.

Ясухиро. Куда проехари мы узэ?

Марта. Все, все, все! Пошли. Поехали. В Японию!

Ясухиро. Япония очень красивая. Только ты прекраснее Японии.

## 2

*Екатеринбург, апрель 1995 года*

Квартира Зайцевых. Марта сидит в кресле с ногами, на коленях телефон. Рядом по-турецки (или уже по-японски?) на полу сидит Лариса.

Лариса. Так все-таки дадут они тебе визу или нет?

Марта. Могут дать. Могут не дать. Сказали, сегодня точно сообщат. Вот, будем ждать.

Лариса. Ой, Марта, как все-таки хорошо, что ты поедешь. А ты вернешься?

Марта. Конечно, вернусь. Если поеду. Что мне там-то делать?

Лариса. Такэси говорил, что ты могла бы работать в Японии как модель. У них все европеоидные лица могут работать моделями.

Марта. Не смей меня, я и так чуть не плачу.

Лариса. А *этой* что?

Марта. Все как всегда. Звонит, встречаемся, любовь-морковь, и... до следующего звонка.

Телефонный звонок. Лариса вскакивает, Марта хватается трубку.

**Разговор Марты с чиновником из японского консульства.**

Чиновник. Госпожа Зайцева?

Марта. Да!

Чиновник. Скорее всего, вынужден вас огорчить по поводу визы. Вы ведь, судя по данным, одинокая молодая девушка?

Марта. Да.

Чиновник. И едете вы к одинокому молодому японцу?

Марта. Да.

Чиновник. И цель поездки у вас — чисто туристическая, да? Вы, наверное, хотите посмотреть Киото и подняться на Фудзияму?

Марта. Ну да, наверное.

Чиновник. Так вот, Марта Юрьевна, с такими данными вас не то что в Японию, вас в Монголию даже не выпустят. Знаете, вы вот чисто мне по фотографии симпатичны, поэтому переделайте свой вызов. Пусть вам пришлют приглашение какие-нибудь русские коллеги.

Марта. У меня нет в Японии русских коллег.

Чиновник. Ну я не знаю тогда. Японцы не любят таких впускать. Ладно, постараюсь пропихнуть ваши документы через одного тут. Вы мне просто по-человечески симпатичны. А вот в Москве будете — зайдите в гости, ладно?

Марта. Обязательно. Зайду.

Чиновник. Ну, я вам еще перезвоню. Через недельку.

Марта (*Ларисе*). Судя по голосу (*передразнивает*), симпатичный женатый мужчина.

Лариса. Ну что?

Марта. Ждать надо. Еще неделю.

Снова звонок.

**Разговор Марты с Ясухиро.**

Ясухиро. Зрасуйте, Марта, ты?

Марта. Привет, Ясухиро!

Ясухиро. Тебе дать визу?

Марта. Дай, если можешь.

Ясухиро. Как?

Марта. О Господи! Нет, не дали мне визу! Еще неделю сказали ждать.

Ясухиро. Я уже сказар моя семья. Они ждут ты приехать. Сначала мы тебя две недери смотреть Япония, потом ехать посредний день знакомить моя семья.

Марта. Ясухиро, ты всего за месяц позабыл русский.

Ясухиро. Извини!

Марта. Через неделю позвоню. Пока! (*Кладет трубку.*)

Лариса. Ну ладно, Март, я пошла. Завтра четыре пары (*зевает*).

А скучно без них, да ведь? Вчера у меня китайцы были, так я им чуть на шею не кинулась. Там есть Ли Жень — ну просто копия Такэси. (*Уходит.*)

Марта набирает телефонный номер.

**Второй разговор Марты с Мужчиной Z и его женой.**

Мужчина Z. Алло!

Марта. Привет!

Мужчина Z (*шепотом*). Ты же знаешь, что по субботам сюда звонить нельзя!

Марта. Я сейчас буду случайно проходить мимо твоего дома. Может, выйдешь на одну сигаретку?

Мужчина Z. Да не могу я. Ну правда не могу!

Марта. Ты рискуешь долго меня не увидеть.

Мужчина Z (*с надеждой*). Правда?

Марта. Я совсем скоро уезжаю в Японию.

Жена Мужчины Z (*по параллельному телефону*). А что, вы еще не уехали?

Марта. Приятно по крайней мере, что вы со мной на «вы». А то в прошлый раз...

Жена Мужчины Z (*перебивает*). Так когда вы уезжаете?

Мужчина Z. Может, мне трубку положить? Сами поговорите?

Марта. Да нет уж, спасибо! (*Кидает трубку.*)

Марта. Что происходит? Почему так все происходит? Ну чем он лучше того же Ясухиры? Чем? Только тем, что понимает меня без словаря? Зачем мне все это? (*Подходит к зеркалу, смотрит на себя внимательно.*) Рожа. Молодая, красивая и все равно — рожа! Харя. Рыло. Ненавижу! Потому что дура. Почему вот всех любят, а меня никто не любит, только Ясухира? А если я его не люблю, а все равно выйду за него замуж — это как? Это не есть хорошо!

Тихонько заходят родители, стоят в прихожей и слушают Марту.

Галина Ивановна. И правильно, дочка, езжай! Вот назло всем — езжай! И замуж выходи, ничего, что он японец, это, в конце концов, поправимо.

Марта. Мама, думай, что говоришь, — как это поправимо?

Юрий Степанович. Мама хочет сказать, что это и не беда, что он не русский. Я вот тоже не русский.

Галина Ивановна. Юра! Как это?

Юрий Степанович. Я по бабушке с маминой стороны — манси.

Галина Ивановна. Вот видишь, Марта. Манси — они тоже не русские. А ты манси — по папиной бабушке. И ничего страшного.

Юрий Степанович. Он зато добрый к тебе, Марта. Это самое главное в жизни.

Галина Ивановна. Да, это самое главное, чтобы человек был добрым в душе.

Звонок. Марта берет трубку.

**Второй разговор Марты с чиновником из консульства.**

Чиновник. Это снова госпожа Зайцева?

Марта. Да, это снова я. А это снова вы?

Чиновник. Я тут все напутал! Оказывается, вам без всяких без обе... обиняков, извините, дали двухнедельную визу, так что пакуйтесь! Билетики-то есть?

Марта (*неуверенно*). Ну да, я заказывала.

Чиновник. Получите документы у нас в консульстве в пятницу. Милости просим в столицу!

Марта кладет трубку. Растерянно смотрит на родителей.

Галина Ивановна. Что?!

Марта. В пятницу утром улетаю...

Галина Ивановна. Что?! Не пущу! Даже не думай!

Юрий Степанович. Никаких Японий!

Галина Ивановна. Доченька, доча, как же так? На кого же ты нас?

Юрий Степанович. На какого же ты нас променяла, доча?

Марта ходит кругами по комнате, с телефоном в руках.  
Родители плачут. Потом мать утирает слезы.

Галина Ивановна. Серенькую кофточку возьми, которую я давеча купила.

Марта. Обязательно возьму. Обязательно.

### 3

#### *Нара, май 1995 года*

Квартира семьи Юкинао. Маленькая, все чисто, убрано, вымыто, отшлифовано, прибрано. За столом с котацу сидят на полу Тетцуй-сан и Киёми-сан, еще бабушка Ясухи-ро. Стол красиво накрыт, сервирован по всем правилам. Живые цветы у каждой тарелки. Игрет музыка, негромкая, не разобрать, какая. Лица у всех напряженные. Киёми-сан постоянно поправляет убранство стола, Тетцуй-сан раздраженно дергает ее за руку. Бабушка одета в нарядное кимоно, мать и отец в обычной европейской одежде. Отец в костюме и белоснежной рубашке. У матери модная стрижка.

Дверь открывается, появляются Марта и Ясухи-ро.

У Марты растерянное лицо. Ясухи-ро счастливый, радостный, вносит свою и Мартину сумки, будто это и не сумки, а пух гагачий.

Японцы смотрят на высокую Марту, переговариваются, показывают куда-то под потолок. Марта тоже озирается, смотрит, куда они показывают.

Марта. Здравствуйте! Ясухи-ро, почему они показывают на потолок?

Ясухи-ро. Они удивляются на твой рост.

Киёми-сан кланяется, предлагает Марте пройти в ванную. Отец и бабушка не двигаются с места, сидят будто прибитые гвоздями.

Ясухи-ро кланяется родителям, уходит следом за Мартой.

Марта в ванной звонит по телефону в Россию.

**Третий разговор Марты с Мужчиной Z. Ясухи-ро стоит под дверью.**

Марта. Привет! Ты меня хорошо слышишь? А то я из Японии звоню!

Мужчина Z. Привет! Правда, что ли? Все-таки уехала?

Марта. Уехала!

Мужчина Z. И прямо-таки из Японии звонишь? Или с Куйбышева-Белинского?

Марта. Ладно, тут знаешь, переговоры дорогие, так что будем коротки.

Мужчина Z. Будем. Ну?

Марта. У тебя очень приятный голос.

Мужчина Z польщенно смеется.

А где твоя кикимора?

Мужчина Z. В ванной.

Марта. И я тоже в ванной. Знаешь, за эти две недели так ни разу и не помылась по-нормальному. У них тут какие-то калькуляторы вмонтированы в стены, чтобы вода набиралась и спускалась. А сами они намыливаются сидя на скамейке. И потом уже в ванной расслабляются.

Мужчина Z. Тяжело там, наверное!

Ясухиро закрывает глаза рукой.

Марта. Да нет, ты что, тут здорово! Двадцать второй век! Тебе такое и не снилось!

Мужчина Z. А ты там где живешь-то?

Ясухиро убирает руку с глаз, старательно прислушивается.

Марта. У подружки. Ну, меня девочка-студентка пригласила, Йоко.

Ясухиро внимательно рассматривает свое тело, будто он и вправду может вдруг оказаться Йоко.

Мужчина Z (безразлично). И когда домой?

Марта. Ой, не знаю. Пока еще не решила. Мне тут хорошо!

Мужчина Z. А у меня будет второй ребенок.

Марта (почему-то с японским акцентом). Как?

Мужчина Z. Жена на втором месяце.

Марта. И что я должна сейчас сказать?

Мужчина Z (смеется). Ну, наверное, ты должна меня поздравить!

Марта. Поздравляю!

Мужчина Z. Спасибо.

Марта. Было бы с чем.

Мужчина Z. Ты совсем поглупела, Марта. С тобой невозможно общаться. (Громко.) Ладно, Вова, я перезвоню... (Бросает трубку.)

Марта (задумчиво). Даже не дал мне первой попрощаться. Как у него всегда так получается, что я дура? (Смотрит на себя в зеркало, поправляет волосы.) Вова! Почему я правда не Вова? Была бы я Вова, все было бы по-другому!

Ясухиро (за дверью). Кто такой Вова?

Марта (распахивает дверь). Подслушиваешь?

Ясухиро. Тебя все ждут, пойдем за стор.

Марта. Вот очень хорошо и грамотно сказал. Можешь ведь!

Ясухиро. Мне все равно теперь, грамотно ири неграмотно я сказар.

Марта. А в чем дело?

Ясухиро. Ты звонишь другому муссине из моего дома. Это оскорбление.

Марта. Он не мужчина.

Ясухиро. Как?

Марта. Он чужой мужчина, поэтому для меня он вообще не мужчина. Это так — привет из прошлого. Капсула с посланием, которую зарыли десять лет назад и только теперь откопали.

Ясухиро. Я не совсем тебя понимаю. Ты его любить?

Марта. Когда-то очень сильно любила. А теперь звоню по привычке. Он сказал, что у него жена ждет второго ребенка. Везет дураку, что рот набоку!

Ясухиро. Если ты выйдешь за меня замуж, у тебя тоже будут ребенки. Я рюбрю ребенки.

Марта плачет.

Не плачь. Ты самая ручшая, самая прекрасная, у тебя самая незная кожа, и я попрошу родитерей разрешить нам зениться.

Марта. Сначала попроси меня.

Ясухи ро. Ты не хочешь взамуж?

Марта. Слушай, Ясухи ро, ко мне никто во всем мире так не относился, как ты. Я даже устаю от твоего этого обожания, честное слово.

Ясухи ро. У тебя очень красивая, незная кожа.

Марта (*взрывается*). Да что ты заладил — кожа да кожа! Сапоги, что ли, из меня шить собрался? Сказал бы другое: Марта, я тебя не люблю. Не хочу. Замуж не возьму.

Ясухи ро. Зачем так говорить буду? Я тебя рюблю, хочу, чтобы тебе было хорошо.

Марта. А я люблю другого — того самого, беременного! Хотя он свинья!

Ясухи ро (*устало*). Пойдем за стор. Мои родитери ждут. И бабушка.

За столом все молчат. Смотрят на Марту, шепотом обсуждают. Марта чувствует себя обезьяной в клетке. Мать приносит вареные яйца и показывает Марте, как нужно разбивать яйцо ложечкой. Естественно, что Марта умеет так делать, но для родителей это удивительно, и они переглядываются, аплодируют! Марта улыбается, молчит, скромничает.

В конце трапезы Тетцуя-сан говорит что-то на ухо жене. Киёми-сан передает слова сыну на ухо, и только Ясухи ро озвучивает их в полный голос.

Отец говорит, что хочет с тобой выпить.

Марта пересаживается, молча выпивает с Тетцуя-сан.

После еды все молча кланяются и уходят. Марта в недоумении остается одна.

Марта. Странно быть иностранной! Только теперь я понимаю, как трудно ему приходилось... Как зверек какой-то сидишь, и все на тебя смотрят, смеются, осуждают, одобряют. Оценивают! Смеются над оговорками, традициями, привычками! Я для них будто с Луны свалилась! А он, дурачок, еще и жениться хочет.

Ясухи ро неслышно подходит, садится рядом с Мартой.

Ясухи ро. Дурасёк — это маренький дурак, да?

Марта. Ну почти, но не совсем так.

Ясухи ро. Ты осень понравилась моя семья. Потому что ты морчара и быра скромная. Бабушка сказать, что ты ведешь себя так, как раньше были японки.

Марта. Мне очень приятно, правда.

Ясухи ро. Я пока не сказар им про зениться.

Марта. Правильно.

Ясухи ро. Ты меня совсем не рюбишь?

Марта. Не знаю.

Ясухи ро. Я сдераю тебя счастливой.

Марта (*смеется*). А если я себя захаракирить решу, а? Что тогда? Вот что ты станешь делать?

Ясухи ро (*серьезно*). Мы можем тогда совершить рюбовное двойное самоубийство. Как мой рюбимый писатерь, он быр очень красивый, и его рюбить все женсины, а он с ними совершать это самоубийство.

Марта (*по привычке*). Совершал это самоубийство.

Ясухи ро (*покорно*). Совершар это самоубийство. Это не обязатерньо харакири — можно и пить яды, и падать вниз с...

Марта. С обрыва?

Ясухи ро. Да, наверное, с обрыва. И он, мой рюбимый писатерь, никогда не совершар сам свое самоубийство, потому что ему уже не хотерось. В посредний момент.

Марта. А женщины?

Ясухи ро. А женсины убиварись.

Марта. Вот сволочь!

Ясухи ро. Нет, не сворось. Это мой рюбимый писатерь. Так умерри с ним семь женсин, а на восьмой раз он тозе умер.

Марта. То есть он все-таки решился?

Ясухи ро. Нет, он просто не успер развязаться. Они прыгари с ногами увязанными.

Марта. Связанными. Очень интересная и поучительная история. Самое главное, что мне абсолютно расхотелось делать хакакири. Можно я позвоню еще раз?

Ясухи ро. Снова ему будешь ты позвонить?

Марта. Нет, я позвоню маме. Можно маме-то позвонить?

Последний разговор Марты с Мужчиной Z и его женой.

Марта. Привет, это Вова. Я на минутку только!

Мужчина Z. Да, Вова, я слушаю!

Марта. Ты меня совсем не любишь?

Мужчина Z (*светски*). Не совсем.

Марта. Это не ответ.

Мужчина Z. Но и не вопрос, заметь!

Марта. Ты надо мной издеваешься! А я, между прочим, замуж собираюсь!

Мужчина Z. За кого? За японскую студентку Йоко?

Марта. Ты думаешь, мне не за кого, что ли, замуж выйти?

Жена Мужчины Z. Опять начинаются японские студентки! Да когда ж ты нас в покое-то оставишь!

Марта. Неужели тебе совершенно все равно, что со мной будет? Ну скажи по крайней мере это вслух, имей совесть!

Мужчина Z (*буднично*). Марта, мне совершенно все равно, что с тобой будет. Я устал.

Марта. Прощай.

Жена Мужчины Z (*поет*). Прощай! И ничего не обещавай, и ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри-и-и...

Марта (*кладет трубку, тихонько напевает*). Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды, и лишь теперь понятно мне... О-о! Что это были я и ты!

Марта плачет, Ясухи ро обнимает ее.

Марта. Я завтра уеду...

Ясухи ро. Скоро я работать в Россия. Забрать тебя в Москву. Ты учить в университете. Я работать. Купить машина, квартира. Мы ездить в Швейсария и Париж...

Марта. Я завтра уеду.

Ясухи ро. Мы пожениться, жить в Москве. Я не хочу жить в Японии, у нас все очень дорого и невесеро. В России все весеро.

Марта. Я завтра уеду!

Ясухи ро (*будто не слышит ее*). У нас все будет хорошо, и ты забудешь своего свинью.

Марта. Свою.

Ясухи ро. Как?

Марта. Свою свинью. Свинья в русском языке женского рода.

Ясухи ро смеется. Марта тоже смеется.

Марта плачет. Снова протягивает руку к телефону. Ясухи ро прячет телефон за спину.

(*Поет.*) Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды, и лишь теперь понятно мне, что это были я и ты...



---

---

ВЛАДИМИР ЖИЛИН



## ЗНАТОКИ ЗАКАТА

### Паводок

Шли краешком обрыва пацанята,  
и глина обвалилась под одним.  
Никто и ахнуть не успел: над ним  
Кубань-река клубилась бесновато.  
Я с этой болью дожил до седин.  
Несла коряги бурых вод громада.  
В семью и школу нет ему возврата —  
навек водоворот усыновил.  
В последний раз, усилием страшным самым  
сил исполинских одолев разгул,  
на миг он божий свет себе вернул,  
захлебываясь, вынырнул из ямы:  
— Меня искать, — он крикнул, — будет мама,  
скажите маме: Алик утонул.

\* \*  
\*

Когда костер ограбил темноту  
и золото рассыпала гитара,  
внизу, в ущелье, речка перестала  
болтать про лебеду и белену.

И ни к селу пришел на память сон:  
еще до детства и советской власти  
сом двадцатипудовый, спутан снастью  
в телеге, хвост тащил за колесом.

...И то, как щедро горестные дни  
Господь нам по привычке стародавней  
отчислил, ибо горсткой в мирозданье,  
как эти искры, кануть мы должны,

доказывая мраку, что он мрак,  
что есть резон и в нашем кратком действе,  
что организм — он выпить не дурак  
 всю эту ночь с галактиками вместе.



### Знатоки заката

Когда весь год во сне маевку видишь  
и в руку сон — ты вырвался из пут  
ползучих неурядиц, и автобус,  
мальш «Кубанец», рюкзаками полный,  
улыбками, хорошими глазами,  
словами: Фишт, Папай и Тхамаха —  
везет тебя и все твоё семейство  
уже по грунту, к черту на рога  
зеленые, вернее, на отроги,  
где речку непременно звать Бизепс,  
а то и Шебш или, короче, Иль,  
и в чистоте речушки сохранили  
гортанный адыгейский говорок,  
им испокон присущий, — и тогда...  
Так нет же, легендарный неудачник!  
Не зря тебя один фотоделега  
по прозвищу Худой, тревогу пряча  
под шуткой, умолял не затевать  
маевку, ибо тут же непогода  
тебе свинью подложит и попутно  
испортит праздник городу и краю!..  
И вот вам здрасьте — ливень нас накрыл.  
Он шел, как падишах, потом ударил.  
Скажите, что мне оставалось? Я  
стал убеждать себя, что я не я,  
чем думал мирозданье одурачить,  
и это очень насмешило солнце —  
тут ливню и каюк!..  
Под Тхамахой  
мои друзья, сплошь горные туристы,  
с большой любовью, профессионально.  
разбили пять палаток и распяли  
на небе, на деревьях, на распорках  
во всю огромную прозрачность пленку  
с откосами, на случай рецидива  
грозы.  
Тут в землю вколотили мы три пары  
рогатов, с ними репшнуром сроднили  
ореховые прутья — стол готов.  
И женщины поставили на стол  
в помятой алюминиевой кружке  
три пламенных тюльпана для начала.  
Тюльпаны эти! Все-то их хозяйство  
умно, добротное, будь то темный зев,  
тычинки, пестики или пыльца золотая.  
(В эвакуации, я помню, видел  
такой же крепкий, аккуратный быт  
у немцев, выселенных из Поволжья  
в Киргизию.)  
Вообще-то я не знал  
нескомканного детства — не оно ли  
теперь явилось и перехватило  
горло?..  
Весьма смотрелся издали наш лагерь:  
ни дать ни взять — космический поселок  
в утробе зелени. И Шебш браслетом.

И посреди пейзажа три тюльпана.  
О чем же завели свой диалог  
на редкость басовитая лягушка  
с кукушкой — о чем?..  
Одна гора,  
как выяснилось, сильно сокращала  
наш световой быстротекущий день —  
и поступала правильно: закат  
из-за нее досрочно начинался,  
а были мы заката знатоки.

\* \*  
\*

И пока  
бык тянулся к яблоку,  
масть быка  
переменило облако,  
омрачив  
холку, и спину белую,  
и бока,  
яблоню оробелую,  
белый налив.  
Мальчик неприспособленный  
такой  
перепугался облака  
над рекой  
и моментально в удочках  
целиком,  
как в сетях, запутался  
со щенком.  
Горы, вмиг ослепленные  
дочерна,  
всей реки развеселые  
рукава,  
белого ясного  
быка,  
лесками повязанного  
рыбака,  
буйную, виноватую  
на плаву  
щенка того головатого  
голову —  
молния запомнила  
на века.

### Куст лунника

Он рос у меня под южным окном.  
Чуть сумрак — мой куст мечтал об одном:  
тайком от людей цветы развернуть  
и засветло в милую ночь окунуть.

Был зелен и я — любопытен, жесток,  
любил деликатных — потеха была!  
Хотел я застучать его хоть разок,  
поймать на цветенье — такие дела.

Но не расцветая, печален и тих,  
куст мучил бутоны, он сдерживал их,  
глядел умоляюще на меня..  
Уже матерела над садом луна.

И тут я сдавался — всему есть предел.  
На миг отвернусь, чтоб он не робел,  
и честно зажмурюсь — он весь за спиной  
нежнейшей своей исходил желтизной.



ЮРИЙ КАГРАМАНОВ



## КАКОЕ ЕВРАЗИЙСТВО НАМ НУЖНО

О главном не подумали

**У**дивительное дело: наше многословное евразийство оказалось совершенно не готово платить по главному счету, выдвинутому ныне фактом «двусоставности» российского населения и касающемуся взаимоотношений христиан и мусульман в их конфессиональном качестве.

И это, конечно, не случайный «недогляд». Изначальное (20-х годов) евразийство явилось, по сути, апологией варварства, де-факто затопившего российские пределы. Оно (евразийство) имело перед глазами «ходящих в простоте» и потому ориентировалось на элементарные составляющие жизни и низовые уровни культуры, где у русских с *азиатцами* было и есть немало общего («пятитонная гамма» народного пения, некоторые движения танца и т. д.). То же — в части религии. Евразийцы полагали, что русских объединяет с «татарами» (как называли в России народы тюркского, или туранского, происхождения, включая сюда, кроме собственно татар, башкир, чувашей, алтайцев, азербайджанцев и т. д.), составляющими основную часть *азиатцев*, «бытовое исповедничество», что фактически означает сведение религии к определенным образом организованному быту. Н. С. Трубецкой, например, утверждал, что характер русского народа несет на себе отпечаток туранского психического типа: «И там и здесь религиозное мышление отличается отсутствием гибкости, пренебрежением к абстрактности и стремлением к конкретизации, к воплощению религиозных переживаний и идей в формах внешнего быта и культуры»<sup>1</sup>. Оттого-то «пятитонную гамму» Трубецкой приметил, а о главном не подумал. Такой подход характеризует прежде всего самих евразийцев, согнувшихся под давлением времени, которое чуралось «абстрактности», как ее понимал Трубецкой.

Время благоволило к материализму всех сортов и оттенков. Быть может, лучше других это выразил Макс Шелер в работах, относящихся к тем же 20-м годам. Онтологически устойчивым в этом мире является все грубое и простое, считал Шелер. Чем ниже порядок бытия, тем он крепче: «Низшее изначально является мощным, высшее бессильным»<sup>2</sup>. Шелер не был материалистом, напротив, он считал, что дух выше жизни и способен идти ей наперекор; но свет его, по мере того как он проникает в толщу бытия, становится все более рассеянным и слабым.

Время, однако, переменчиво: за истекшее без малого столетие оно внесло в картину бытия некоторые существенные поправки. Низшие его слои отнюдь уже не представляются незыблемо устойчивыми. Так выглядит дело даже с

---

Каграманов Юрий Михайлович — публицист, культуролог. Родился в 1934 году в Баку. Окончил исторический факультет Московского университета. Автор книги статей «Россия и Европа» (1999) и многочисленных публикаций в толстых журналах, «Литературной газете», а также в научных изданиях преимущественно на темы историософии и зарубежной культуры. Постоянный автор «Нового мира».

<sup>1</sup> «Евразийский временник». Кн. 4. Берлин, 1925, стр. 373.

<sup>2</sup> Scheler M. Die Stellung des Menschen im Kosmos. Darmstadt, 1928, S. 77.

точки зрения физики. Как ни велики и тяжелы горы, сильнее гор «ветер, который заставляет их танцевать» (пользуюсь выражением Джалаледдина Руми).

Нас здесь, естественно, интересует история. Традиционные формы быта, освященные религией и казавшиеся неизбежно устойчивыми, давно уже разложились; живы лишь какие-то их остатки. Произошла и другая перемена. До революции разноверческие общины сохраняли еще относительную замкнутость; контакты меж ними были из числа тех, которые социологи называют «пограничными». Советский котел всех перемешал, имея целью сотворить из исходного «материала» «новую историческую общность». Мы знаем, что до конца это ему сделать не удалось, но всему, что попало в котел, приходится не без некоторых усилий восстанавливать свой прежний цвет, запах и вкус. В частности, самоидентификация по религиозному признаку требует усилий ума и воли и, следовательно, в гораздо большей степени является сознательной, чем до революции. А значит, и взаимоотношения религиозных общин, в первую очередь православной и мусульманской, обещают стать более осмысленными, чем в прежние времена.

Кроме того, мы сейчас больше захвачены мировой жизнью, а в мире за последнее время идет выстраивание христиан (по своему родословию) и мусульман друг против друга, по принципу веры. Что особенно опасно для России. Задача из неотложных: искать и находить в православии и мусульманстве созвучия и подобия, точки схождения и моменты одиночества.

### Архангел Джебраил сказал

Заметим, что возражение против сведения русской религиозности к «бытовому исповедничеству» прозвучало даже в рамках самого евразийства. «...ничего „туранского“, ничего „среднеазиатского“, — писал П. М. Бицилли, — нет в глубокой религиозности русского народа, в его склонности к мистицизму и религиозной экзальтации, в его иррационализме, в его неустанным духовным томлениям и борениях»<sup>3</sup>. По уровню духовности с Россией, на взгляд Бицилли, сравним другой, более отдаленный Восток — Иран, Индия.

Но и это суждение, в свою очередь, напрашивается на возражение. Что туранский психический тип, в общем, более «приземлен», если сравнивать его с иранским, вряд ли может быть оспорено; но отсюда еще не следует, что «духовные томления и борения» ему не знакомы. Странно было бы судить таким образом о народах, давших Алишера Навои и Габдуллу Тукая. И между прочим, духовно открытых как раз в сторону Ирана и многим ему обязанных в религиозно-культурном смысле<sup>4</sup>.

Так что искать созвучия и подобия надо не на уровне «бытового исповедничества», но в области духовного опыта, на уровне «прозрений сердца» (Хафиз), так или иначе опознающих в мире сущее, которое выше мира.

До сих пор все, что связано с исламом, воспринимается нами, немусульманами, как чужое и хотя бы чуть-чуть враждебное. Отторжение вызывает уже символика: дух пустыни вошел в нее, изгнав все человекообразное. Арабская вязь и производная от нее орнамента по-своему изящны, но являют собою резкий контраст при сравнении с европейской графикой (к тому же письмо ложится на поверхность материала справа налево, наоборотно тому, как принято писать в Европе). Чудится некий холодок, некая избыточная жестокость в этих причудливых завитках и излучаемом ими духе.

Шейхи молятся, строги и хмуры...

<sup>3</sup> «На путях». Кн. 2. Берлин, 1922, стр. 336.

<sup>4</sup> Между XVI и XVIII веками в Иране возобладал шиизм, а те мусульмане, что вошли в состав Российской империи, остались суннитами (кроме азербайджанцев); естественно, что их отношения с Ираном испортились. Но так как схизма не имеет обратной силы, наследие суннитского Ирана остается важной частью их духовного багажа.

Экзотика мусульманских стран по-своему, конечно, привлекательна, но она мало связана с исламом. К примеру, сказки «Тысячи и одной ночи», пленившие европейское воображение, в большинстве своем имеют доисламское происхождение и лишь условно «приведены в соответствие» с господствующей религией.

Чтобы «заглянуть в душу» мусульманскому миру, надо обратиться к его поэзии. Та, что есть на русском языке, — это главным образом персидская классическая поэзия XI — XV веков; точнее, поэзия на языке фарси, служившем литературным языком для всего Среднего и отчасти Ближнего Востока. Как раз ее-то нам и надо. Нас не должна смущать некоторая ее временная отдаленность. У мусульман иное чувство времени, что является результатом известной «заторможенности» в развитии мусульманских обществ на протяжении уже многих столетий (Лариса Рейснер из Афганистана 20-х годов: «О дворе Гаруна аль-Рашида говорят, как о чем-то бывшем вчера»).

Не говорю уж о том, что по своим литературным и иным достоинствам поэзия эта не могла «устареть» за несколько веков. Видный просветитель конца XIX века Исмаил бей Гаспринский, выступавший от имени всех российских «татар», писал: «красоты Гафиза» и «человечность Саади» — это навсегда «наше». В XX веке индо-пакистанский поэт Мухаммад Икбал написал строки, которые легко найдут отклик в любом уголке мусульманского мира (во всяком случае, неарабской его части): «Моя душа — Хиджаз (где Мекка. — Ю. К.), / А струны сердца — из Шираза, его боготворят». Имеется в виду, конечно, классический Шираз.

И в данном случае никак нельзя сказать, что поэзия — это одно, а ислам — совсем другое. Ибо поэзия здесь обнаруживает неизменную зависимость от ислама, а зачастую и непосредственно переплетается с богословием. Естественно, что в советское время эту зависимость старались «не замечать», поскольку такое было возможно. (Справедливости ради замечу, что советское время есть за что поблагодарить: именно в этот период был переведен основной корпус поэзии на фарси; точнее, поблагодарить следует, конечно, подсоветских переводчиков.) Сейчас пришло время обратить на нее внимание.

Речь идет в данном случае об исламе в его суфийском изводе. О суфизме существует уже довольно значительная, в основном переводная, литература на русском языке<sup>5</sup>, поэтому я могу ограничиться здесь указанием на его тесную связь с поэзией. В принципе, высокий статус поэзии в мусульманском мире санкционирован самим пророком. Согласно Сунне (преданию), в достопамятную ночь *мираджа* (мистического восхождения в небесные сферы) Мухаммед увидел под самым небесным престолом закрытую на замок палату. На вопрос, что это такое, обращенный к архангелу Джебраилу, последовал ответ: «Это сокровищница глубоких мыслей, а языки поэтов общины твоей — ключи к ней». Сунна, правда, не Коран, но тоже авторитетная для мусульман книга.

Уже первая из известных суфиев, подвижница VIII века Раби'а ал Адавийя (в миру бывшая певицей) слагала стихи, которые, правда, до нас не дошли<sup>6</sup>. Кстати говоря, примечательно, что заметную роль среди суфиев всегда играли женщины, в ортодоксальном исламе задвинутые на самые невидные роли. В

<sup>5</sup> Изучение суфизма, в частности в плане поэзии, было начато в России такими видными востоковедами, как Вал. Ал. Жуковский и Е. Э. Бертельс. Оба — великолепные знатоки суфийской поэзии, но, будучи, насколько я могу судить, лично нерелигиозными, они не уделили достаточно внимания ее религиозному содержанию. В советское время изучение суфизма фактически оборвалось, так что сейчас все надо начинать сначала.

<sup>6</sup> Дошли ее импровизированные молитвы, порою напоминающие стихотворения в прозе. Например, такая: «О Господи, звезды светят, сомкнулись очи людей, закрыли цари врата свои... Всякий влюбленный уединился со своей возлюбленной, а я теперь одна с Тобой. О Господи, если я служу Тебе из страха перед адом, то спали меня в нем, а если я служу Тебе в надежде на рай, изгони меня из него. Если же служу я Тебе ради Тебя Самого, то не скрой от меня Своей вечной красы» (цит. по кн.: Бертельс Е. Избранные труды. Т. 3. М., 1965, стр. 18).

сочинении Джами «Дуновение дружбы» (XV век) приведены биографии шестисот шестнадцати видных суфиев, из них тридцать четыре — женщины.

Низами Гянджеви, бывший суфием, — как практически все известные поэты, писавшие на фарси, — следующим образом определил свое и своих собратьев по перу место в подлунном мире: «два друга у Друга», то есть у Аллаха, первый из которых пророк, а второй поэт.

Поясню: высшее выражение суфизма — в аскетическом самоочищении, открывающем доступ к знанию, которое идет «от сердца к сердцу» и в *каламе* (перо) не нуждается. И уже как бы в помощь ему возникает поэзия, которая имеет дело с чувственным миром, но творчески его переосмысливает, устремляя взгляд

В то сокровенное горнило,  
Где первообразы кипят...

Я не без умысла привел строки из поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин». Великий христианский богослов, аскет и песнопевец (умер, по новейшим данным, между 749 и 753 годами) продолжительное время служил при дворе халифа в Дамаске, и считается в высокой степени вероятным, что он так или иначе повлиял на первых суфиев. Тем более, что в целом влияние христианства на формирование суфизма бесспорно; сами суфии его не отрицали (об этом ниже).

Суфийская святость в достаточной мере эзотерична, по крайней мере для немусульман. Малодоступна на русском и суфийская философия, поскольку таковая существует отдельно от поэзии. Другое дело поэзия: дух суфийского мусульманства она объективизирует в общепонятных «словах и звуках» и тем самым делает его доступным для непосвященных. Она, наконец, легкодоступна в практическом смысле: книги великих поэтов-суфиев можно найти едва ли не в любой библиотеке<sup>7</sup>. Углубитесь в них — и вам откроется еще одна, восточная, «страна святых чудес».

Попробуем понять, что сближает суфийское мусульманство с христианством и христианской культурой.

### Птица Симург бьется в силке

Основное, по моему впечатлению, самоощущение поэта-суфия — «на пороге / Как бы двойного бытия...» (Тютчев). Это естественное и с христианской точки зрения самоощущение художника, вообще человека, объективно поставленного между Богом и космосом. По слову Хакани, «мир — силоч», а поэт — «сказочная птица Симург» (языческий образ — кстати говоря, залетевший в Киев при Владимире Святом в его дохристианский период — использован не по своему первоначальному назначению), что стремится вырваться из него. «Вся красная мира», говоря по-русски, одновременно и влечет поэта-суфия, и отталкивает его. Саади жаловался, что не мог «музыку оставить» оттого, что «плотские желания брали верх»; музыка, таким образом, прилепляется к плоти мира, но затем лишь, чтобы увлечь ее к небесному. Распространенный образ у поэтов — *михраб*; эта пустая ниша в мечети, к которой обращено лицо молящегося, получает у них совершенно другое значение — «брови красавицы» (или «красавца»: в персидском языке нет рода, а гомосексуальные увлечения, нередкие на мусульманском Востоке, допускают и такой перевод). Взор поэта обращен к земной красавице (красавцу), но «сквозь нее» («сквозь него») устремляется к иному, недостижимому. Например, к «небесной Зухре», как у Джами (аналог «Вечной женственности»?).

<sup>7</sup> Другой вопрос, насколько они читаются. Взяв в заурядной московской библиотеке пятитомник Низами, я оказался первым его читателем за все пятнадцать лет, что он томился на полке.

В той неясной мере, в какой она остается земной, любовь неизбежно прозывается печалью. Хакани: «Печальные лица влюбленных должны быть шафранно-желты». Меджнун (еще один распространенный образ, с которым отождествляет себя поэт-суфий), или «безумец», любит Лейлу (Лейли) именно потому, что она для него недостижима. Она даже не обязательно красива, во всяком случае, на посторонний взгляд; чтобы влюбиться в нее, надо быть Меджнуном, способным видеть нечто «за нею». У Руми Лейла так отвечает халифу, не нашедшему в ней красоты: «Чтоб зреть красу, ты должен быть Меджнуном / И свет его нести в своих глазах...» Недостижимость Лейлы — принципиальна, ибо полнота любви возможна только в мире ином. Низами: «Жизнь не любил он и любить не мог... / Любовь к Лейли — спасительный предлог, / Чтоб обольщаться на пути скорбей / Надеждою на миг свиданья с ней». Замечу кстати, что Низами, как и большинство персов его времени (XII век), был суннитом, но в суфийском изводе суннит неизбежно приближается к шииту с его заветом «Выбери скорбь». Это скорбь, которая не ждет и не ищет облегчения в этом мире. Хакани: «За целебный бальзам боли гибельной вам не отдам».

Таким образом, «анакреонтические» мотивы в суфийской поэзии не должны вводить в заблуждение читателя: мы видим здесь высокие примеры сублимации — трансцендирования любви за пределы ее непосредственного объекта. Вместе с тем художник есть художник — он может быть дервишем, но как художник остается человеком мира сего, и его бесконечные вздыхания о возлюбленной зачастую оставляют впечатление двусмысленности: то ли чувство здесь преодолевает земную тяжесть, то ли остается в ее плену.

Птица Симуург бьется в силке — это, повторю, естественное самоощущение художника, но у поэта-суфия оно усугубляется тем, что в исламе отсутствует «средостение» между небесным и земным. В христианстве такое «средостение» есть — это Христос.

Другой момент. Все в ту же ночь мираджа пророк был поставлен перед выбором: ему были предложены мед, вино и молоко. Он выбрал последнее. Не без некоторого вызова (притом оставаясь, по собственному убеждению, в рамках ислама) поэт-суфий останавливает свой выбор на вине (напомню, что вино — один из символов христианства). У Хафиза читаем: «Хафиз хотел испить вина, аскет — воды Кавсара<sup>8</sup>... / Меж тем желанья Божества запрятаны глубоко!» То есть поэт позволяет себе отступить от ортодоксии, лишь идя навстречу неким тайным знакам, подаваемым свыше. Речь идет, конечно, о вине духовном, у которого «нет чаши», на что часто прямо указывается. Хайям: «Вином любви мы пьяны, не лоз вином, поверь!» Хотя и здесь двусмысленность сохраняется: во многих случаях, особенно часто у того же Хайяма, стихи «пахнут» самым натуральным вином, тем, что подают в *мейхане*, то бишь трактире (при том, что Хайям вряд ли перешагнул ее порог хоть единожды в жизни).

Заметим, что и «вино любви», в том смысле, в каком говорят о нем суфии, есть зелье, опасно соседствующее с языческой оргийностью (опасно с духовной точки зрения, а не с точки зрения культуры). Важно, однако, что поэт сам видит эту опасность. Еще лучше видит ее суфийский *вали* (святой) и просто монах-дервиш (если он «настоящий», а не прикидывающийся). Высоко оценивая экстатические состояния (и выработав некоторые техники, облегчающие достижение их), суфии еще выше ценят самообладание. Как знать, где достигается мистическое общение с Богом, а где имеет место самообман? Считается, что только опытный шейх (наставник) способен уберечь от ошибки.

Фактически мы уже коснулись вопроса о свободе. Суфий тем выше ценит ее, чем больше ее сковывает ортодоксальный ислам. Строки Хафиза «Нюги свободным не свяжешь! / Хафиза в том, что ушел, не вини...», имеющие в виду

<sup>8</sup> Кавсар — живительный источник в раю.



уход от догмы, могут быть отнесены и к некоторым другим поэтам, прежде других к Хайяму, не только гениальному поэту, но и мыслителю, пожалуй, уровня Паскаля (кстати говоря, необходим, на мой взгляд, прозаический перевод его стихов, который передал бы все оттенки мысли, не принося их в жертву размеру и рифме). «Всем сердечным движениям волю давай», — зовет Хайям (сравним с Розановым: «Гуляй, душенька...»). И паденье не так страшно, когда знаешь, что оно есть именно паденье. Хафиз: «Сердце, пьяное от страсти, своему паденью радо: / Низко пав, оно основу под ногами возымело».

Свобода предполагает «право на неверие» (*куфр* суфийской философии). У Хайяма, «поэта трансцендентной иронии», по выражению Б. П. Вышеславцева, «бунтом полон крик»: «назло» Богу он готов отстаивать некую ожесточенную посюсторонность. Например: «Буду пьянствовать я до конца своих дней, / Чтоб разлило вином из могилы моей» (как обычно, остается неясным, о каком вине идет речь, — можете думать, что натуральном). Сходные мотивы находим у Джами: «И пускай развеют ветры по лицу земли мой прах, / Будет каждая пылинка веять прежнюю (любовной. — Ю. К.) тоской» (узнаем «Любовь мертвеца» Лермонтова). Но все это диалектические моменты в постоянном «диалоге», который поэт ведет с Богом, — «диалоге», полном колебаний и сомнений, но таких колебаний и таких сомнений, которые, вообще говоря, необходимы для закалки духа.

При всех эскападах не подвергается сомнению ценность догмы как таковой. На Западе получил распространение взгляд на суфизм как внеконфессиональное учение (нередко — как на совокупность психических техник, способных доставить индивиду «мир и радость»). В русле суфизма действительно имеют место выходы за рамки ислама — например, в сторону гностицизма или в сторону буддизма. Но это движения в целом для него нетипичные. Как правило, поэт-суфий считает себя твердокаменным мусульманином или заявляет о себе как о таковом. Иногда такая позиция объясняется, хотя бы отчасти, осторожностью; и все-таки важнее другое: естественная потребность иметь твердые основания в духе. Хафиз недаром берет себе красноречивый псевдоним (*хафиз* — профессиональный знаток и чтец Корана). Хакани находит, что его стихи были бы уместны на вратах Каабы. Хайям, кстати говоря, богослов и вообще универсальный для своего времени ум, полон «оригеновской» (как сказал бы христианин) веры в милосердие Божие и решительно отводит от себя обвинения в таких, например, стихах: «Уж если я такой как есть — неверный, / То правоверных — в мире не найти».

Бунтарские по отношению к вышним силам мотивы в суфийской поэзии отчасти объясняются, по-видимому, избыточной жестокостью ислама, чрезмерным упором на предопределение и страх Божий. У Хайяма бывает почти физическое ощущение тяжести «неба», нависшего над смертным и заранее рассчитавшим все его движения, вплоть до смертного часа. Дает о себе знать отсутствие Христа (в качестве Сына Божия<sup>9</sup>) как «средства сближения» между человеком и Богом. Отсюда и нередкое у суфия гностическое (неоплатоническое) восприятие мира сего как тюрьмы — *зиндана*.

«Твердокаменное» мусульманство иной раз не мешало поэту-суфию признаться в том, как его «обаяет» христианство. Строка Джами «Тоскую я среди мулл по христианам» отнюдь не уникальна в своей откровенности. Прочитав Хафиза: «Всюду, где благочестие мусульманского отшельничества являет / Свою красоту, / Звучат колокола христианского монастыря». Особенно выразителен нередкий в суфийской поэзии образ мальчика-христианина, который служит виночерпием. А поэт Хорезми (XIV век) зашел так далеко, что призывал единоверцев «учиться настоящему мусульманству» (то есть истинной вере) у христиан. Положим, такого рода высказывания все-таки исключительны, но

<sup>9</sup> Мусульманский Иса, сын Мариам, — всего лишь один из пророков, правда, самый важный после (а по времени — до) Мухаммеда.

для суфийской поэзии в целом характерна некоторая открытость в сторону христианства — вне суфизма в мусульманстве немислимая. Она тем заметнее, чем больше было у поэта общения с христианами. Без такого общения вряд ли могло появиться на свет, к примеру, стихотворение Хакани «Ты христианская красавица, душа в твоём сияет взоре». (У Хакани, так же как у Низами, это общение начиналось на самом интимном уровне: у того и другого матери были гречанки, насильственно обращённые в ислам.)

Как мусульманским поэтам сходили с рук процитированные выше стихи? Вероятно, общественное сознание сближало их с юродивыми, а юродивым обычно прощалось все — как и в православии (напомню, что западное христианство юродов не знало). Юродство — крайнее выражение суфизма; считается, что непосредственное общение с Богом даёт юродивому особое духовное знание, позволяющее ему пренебрегать общепринятыми мнениями и даже элементарными приличиями: производить бесчиние в мечети, разбрасывать товары на рынке и т. д.

Суфизм дал мощный толчок развитию культуры на мусульманском Востоке, вступавшей в некоторое противоречие с религией. У Навои есть образ мальчика, у которого «от лица неправой веры сотни отблесков в лице»; это демон, раскрывающий богатство мира сего. Но зримым оно становится только тогда, когда на него падает белый луч правоты. Здесь, между прочим, предвосхищено знаменитое учение Гёте о цветах. Цвет, показал Гёте, возникает только там, где свет наталкивается на тьму; то есть цвет есть первая ступень тьмы. Я не помню, вкладывал ли Гёте в свою физическую теорию также и метафизический смысл, но таковой в ней, безусловно, есть. Разнообразие культуры тоже есть результат «встречи» высшего света с «нижними» слоями бытия; последние загораются яркими цветами — ценою ослабления высшего белого луча. Таков, в частности, смысл Ренессанса.

Мусульманский мир тоже имел свой Ренессанс, начавшийся значительно раньше<sup>10</sup>. Многие из того, что в дальнейшем получило развитие в Европе, в зародышевой форме обозначилось на мусульманском (суфийском) Востоке. Например, пантеизм. Или эстетизм, в той или иной степени оторванный от религиозной первоосновы. Или определённый релятивизм, сочувственно подмеченный тем же Гёте (кстати говоря, нашедшем в суфийской поэзии «вторую родину») у Хафиза; на *фетву* шариатского судьи, требующего отличать змеиный яд от мёда, Хафиз, согласно Гёте, отвечает отказом: «Злейший яд и лучшее лекарство — / Для него почти одно и то же, / Этот не убьёт, а то не лечит» («Западно-восточный диван»). А прометеизм, столь прочно связываемый с европейской культурой, — признаки его можно найти и в суфийской поэзии. Джами мечтает о том, чтобы «управлять царством джиннов», что, по легенде, удавалось только Сулейману-ибн-Дауду (библейскому Соломону, сыну Давидову). Хайям не видит возможности противостоять высшим силам, но будь его воля, «воздвиг бы другое, разумное небо». У Хайяма можно также найти, в зародышевой форме, элементы сразу и вольтерьянства, и руссоизма, у Джами — утопию коммунистического типа, и так далее, и так далее.

<sup>10</sup> Лет сорок назад академик Н. И. Конрад распространил явление Ренессанса на Восток, исследовав его на примере мусульманского мира и Китая. Но он фактически выхолостил это понятие, употребляя его в чересчур широком смысле: у Конрада оно означает просто возрождение в определённый период времени чего-то забытого или полузабытого. Например, возрождение конфуцианства в Китае в Сунскую эпоху. Между тем понятие Ренессанса имеет специфический смысл: оно означает обращение к конкретике тварного мира с исходной трансцендентной высоты (в ущерб последней или в приросток — на сей счёт возможны разные мнения). К Китаю с его слабым чувством трансцендентного это понятие, вероятно, неприменимо вообще. А вот в мусульманском мире действительно имело место нечто однотипное с Ренессансом. И там, как и в Европе, для «реабилитации» языческой культуры было привлечено античное (у мусульман — только греческое) наследие. И там, как и в Европе, были оценены по достоинству не только великолепие культуры древних греков, но и бедность, даже нищета их в религиозной сфере. Откуда предупреждение Рудаки: верующий в Аллаха «в иссохшем ручье Эллады не станет искать воды...».

И еще важная черта: суфийская поэзия стремится быть народной поэзией. Нет, поэт-суфий не может быть равнодушен к шахским садам, что полны роз и павлинов, и не вполне чужд куртуазности (обычной для арабской традиционной поэзии): он может прочесть или, точнее, пропеть под звуки чанга касыду (оду) эмиру или шаху и получить за нее горсть бриллиантов в рот или даже потребовать, как Хакани, шахскую дочь себе в жены. Но это у него проявления человеческой слабости; высшей своей целью он ставит порицание властителей, а не восхваление их. Вообще истинно мусульманский Восток никогда не хотел быть «Востоком Ксеркса», а суфиям всякое раболепство особенно чуждо. В идеале суфий, даже если он отмечен поэтическим гением и в чем-то существенном не может не быть эзотеричным, стремится затеряться среди «простых людей», разделяя все их горести и несчастья. Следующие строки Низами обращает в конечном счете к самому себе: «Пользу вящую видели люди разумные в том, / Чтоб изведаль ты бедность, лишился бы вьюка с ослом / И к духовным вратам, Иисусу подобно, проник бы, / Без осла и без вьюка конечной стоянки достиг бы».

Главную свою задачу поэт-суфий видит в том, чтобы нести в народ свет веры. Ибо, как сказал еще в XI веке суфийский философ аль-Газали, хотя от одного слушания Корана многие теряют сознание, еще лучше доходит до людей пение благочестивых стихов.

### Поэзия важнее истории

Хочу еще специально коснуться одной из тем суфийской поэзии, имеющей косвенное отношение к вопросу русско-мусульманских связей. Это — тема Искандера (Искандера, Искандара). В отличие от западных «александрий», которые сейчас интересуют только историков литературы, восточные «искендерии» создавались, среди других, первостатейными поэтами и входят в золотой фонд суфийского наследия. Я, естественно, могу говорить только о тех произведениях, что есть в русском переводе: «Искендер-наме» Низами, «Книга о мудрости Искандара» Джамии и «Стена Искандера» Навои.

Первые «искендерии» создавали преимущественно негативный образ их героя, особенно в Персии, что естественно: Александр Великий — человек Запада, грек по воспитанию, погубитель древней персидской державы. В дальнейшем этот образ несколько смягчается благодаря тому, что создается или, точнее, используется легенда о его якобы восточном происхождении (взятая из первой западной «александрии», называемой «Псевдо-Каллисфеном»). Так, в «Шах-наме» Фирдоуси македонский царь оказывается незаконным сыном Дары (Дария).

Величайший, по моему впечатлению, поэт мусульманского мира Низами порвал с такой трактовкой героя и создал совершенно новую традицию. Отныне Искендер — безоговорочно человек Запада, посланец «славного Рума» (Рум, то есть Рим, — Византия, но расширительно, как в данном случае, также и античная Греция). При этом он столь же безоговорочно положительный герой, а Дара, напротив, «оплот зависти и зла». Более того, он идеальный властитель, справедливый и великодушный, «зерцало» для всех властителей мира сего. Создается во многом фантастический образ мудреца на троне, всю свою короткую жизнь стремящегося «пить из родника наук». Даже его великий завоевательный поход есть средство к познанию мира; Джамии: «Мир Искандар решил завоевать, / Чтоб явное и тайное узнать». У Навои «прекрасноликого румийца» на его путях постоянно сопровождает целый сонм греческих мудрецов — кроме Аристотеля это Платон, Сократ, Архимед и даже Гермес Трисмегист и Аполлоний Тианский (Навои, сам, кстати, принадлежавший к числу сильных мира, был хорошо образованным человеком и знал, что упомянутые личности жили в разное время и уже по этой причине не могли быть приближенными Александра, но, как говорит тот же Аристотель, поэзия важнее истории), этакая странствующая академия. Перед нами, по сути, ренессанс-

сный образ универсального человека, пытающегося все узнать, все испытать, но в итоге убеждающегося, что есть предел познанию, как есть предел власти человеческой.

Мариэтта Шагинян, немало потрудившаяся над тем, чтобы исказить фигуру Низами в угоду советским представлениям, верно, однако же, заметила, что его Искендер — мусульманский Фауст. Это относится и к двум другим «искендериям», о которых здесь идет речь.

Став на путь прославления Александра-Искендера, мусульманские поэты не могли не связать его как-то с исламом. Впрочем, такая связь измышлена уже в самом Коране: фигурирующий в нем пророк по имени Зу-л-карнайн, «Двурогий» (сура «Пещера», 82 — 98), экзегетами идентифицируется как македонский царь. Кстати, его двурогость у Навои получает такое символическое объяснение: он хотел «Восток в себе и Запад совместить». Низами делает Искендера еще и суфием: властитель ценит аромат, исходящий от «смиранных, простых, благородных», от «радостных нищих» и т. д.; в заключительном эпизоде «Искендер-наме» он называет высшим благом отшельническое уединение и созерцательную жизнь.

Но и с учетом такого рода натяжек удивительна широта поэта-суфия, распространяющаяся в данном случае на политическую сферу: западный царь сделан эталоном героя-мудреца (чему не помешало даже то обстоятельство, что в некоторых, хоть и малоизвестных, «искендериях» он объявлен христианином).

Когда люди «царства Рус», назвавшего себя наследником «царства Рум», явились на мусульманский Восток, чтобы им завладеть, такая широта стала для них неожиданностью: «Московский телеграф» (в № 16 за 1833 год) с чувством приятного изумления сообщал, что «все великое и чудесное» связывают здесь с образом Искендера, ставшего героем «предания народного». Это маленькое открытие можно было сделать гораздо раньше — еще при завоевании Казани. Если бы поинтересовались, узнали бы, что основоположником Волжской Булгарии, с которой они себя идентифицируют, татары (без кавычек — волжские татары) считают самого Искендера, якобы однажды покорившего здешние края<sup>11</sup>.

Согласимся ли с утверждением Мухаммада Икбала, что в идею Искендера «рок всадил в итоге нож»? Всегда рискованно «предавать земле» то, чей возраст исчисляется столетиями и даже тысячелетиями.

#### «Заман ве макан»

Надеюсь, что мой дилетантский «набег» на конца-краю не имеющую тему все же дает некоторое представление о степени сродства между суфизмом в его поэтическом преломлении и христианством.

А теперь с высоты поэзии спустимся до уровня верующих масс. Мы тем самым повторим движение самого суфизма, с конца первого тысячелетия христианской эры осуществлявшего спуск «в народ», что отвечало и отвечает стремлению суфия к самоумалению и растворению среди «простых людей», о чем я говорил выше. Роль организационного центра здесь играла ханакá — суфийская обитель. Пророк запретил создавать стационарные монастыри по христианскому образцу, поэтому ханака, даже если она была постоянной, для каждого отдельного дервиша служила временным пристанищем, чем-то вроде караван-сарая. По сути же она была своеобразной духовной школой. Джамии сообщает, между прочим, что первая ханака была основана в г. Рамлы, в Па-

<sup>11</sup> Писатель Леонид Соловьев (автор «Повести о Ходже Насреддине»), в 20-х и 30-х годах собиравший современный ему среднеазиатский фольклор, зафиксировал, что во многих песнях, сказах и т. д. (тех именно, что ставили целью легитимировать советскую власть в глазах мусульман наиболее доступным им образом) Ленин выставляется преемником Искендера. В одном киргизском сказе, где Ленин назван «младшим братом Искендера», забавным образом спутаны «румийский» властитель и старший брат вождя Александр.

лестине, неким «христианским эмиром», обратившим внимание на сходство суфиев с христианами.

Уча других и участь сам, дервиш, которого среди остальных правоверных выделяла *хирка́* (власьяница «с плеч» христианских отшельников; потом ее сменило обыкновенное рубище), странствовал от ханаки к ханаке, и маршруты его передвижений становились своего рода капиллярами, вдоль и вокруг которых создавались суфийские братства (их называют также орденами, но термин «братство» мне представляется более уместным), уже в первой половине второго тысячелетия по Р. Х. охватившие большую часть населения мусульманского мира. У каждого братства свой *тарика́т* — путь духовного возрастания, осуществляющийся под руководством опытного шейха; и своя *силсила́* — духовная родословная, на которую опираются сами шейхи. В официальном исламе братства ничего не меняют, они лишь дополняют и углубляют его; во всяком случае, так утверждают шейхи.

Суфизм распространялся не только вниз, но и вширь, охватывая племена, дотоле исламом не затронутые. Облаченный в нищету, как в одежды царского достоинства, дервиш уходил в северные степи и леса — на Север Кавказа, в Трансоксанию (регион к северу от Амударьи), в район Волги и Камы и т. д., принося слово Аллаха туда, куда не доходили мусульманские вои. Те распространяли ислам «на острие меча», а дервиш всегда приходил с миром.

И куда бы он ни приходил, дервиш всматривался в тех людей, которых он хотел обратить на свой «путь», вникал в их обычаи, в особенности их психологию. В Коране сказано: «И склоняй свои крылья пред тем, кто следует за тобой из верующих» (сура «Поэты», 215). Суфий понял это так, что надо приспособливать высоту полета к уровню восприятия конкретной аудитории. Или, иначе, говорить с людьми на том языке, который они понимают, к которому они привыкли. На языке Турана (единственном из восточных языков, в какой-то степени мне знакомом) это называется *заман ве макан*, «учет времени и места». Всякое племя существует в пространстве-времени, со своими обычаями, культурными традициями etc., и, проникая в его среду, луч трансцендентной истины неизбежно преломляется определенным образом. Ясно, что на берегах Волги и Камы, например, восприятие ислама не может быть таким же, как на «глубоком Юге». Природный покров уже создает определенный настрой. «Степей холодное молчанье» и «лесов безбрежных колыханье» «говорят» о том же, о чем «говорят» пустыни Аравии, но — иначе (примечательно смущение, которое сопровождает у «наших» мусульман пятую, последнюю, на дню молитву: она предполагает иссиня-черную ночь, а в наших широтах в летнее время соответствующий час еще мистически светел). Да и быт, если не кланяться ему, как кланяется Трубецкой, надо признать что-то в этом отношении значащим.

Делая поправку на «сопротивление среды», суфий стремился, елико возможно, донести до нее истину или то, что он принимает за истину, хотя бы и ценою некоторых искажений и некоторых потерь. Принцип *заман ве макан* облегчил, таким образом, распространение ислама и вместе с тем превратил *умму* в нечто более разнокачественное, чем она была изначально.

Этой задаче объективно служит и насажденный суфиями — помимо официального ислама и в известной мере наперекор ему — культ святых. Большинство суфийских святых — местночтимые; как правило, это люди «своего» племени и «своей» культуры. *Кубба*, гробница святого, является не только предметом поклонения, но нередко также и местом постоянных молитвенных собраний. Как и в христианстве, святой выступает в качестве покровителя простых смертных, заступника их перед Богом. В тех краях, где ислам вытеснил христианство, фактически сохранился культ некоторых христианских святых в новом обличье; так, св. Георгий Победоносец и св. Сергей (мученик, принявший смерть за веру в Кесарии Каппадокийской в 304 году) под другими именами стали суфийскими святыми.

Хотя суфии всегда старались ладить с официальным исламом и в тарикате усматривали никоим образом не альтернативу шариату, а лишь дополнение к нему, тем не менее всегда существовала определенная напряженность в отношениях между ними и богословами-начетчиками, способными видеть «не дальше *алифа*» (первая буква арабского алфавита, означающая также «Единый», то есть Аллах). Всемирность ислама для последних означает, что слово Корана должно звучать как бы поверх мира сего (в этой гулкой пустоте сегодня получил развитие ваххабизм). Напротив, художественно-мистическое, позволительно так его назвать, мышление суфиев объемлет мир сей и возвышается над ним одновременно.

Не случайно название самого распространенного на территории бывшего СССР, равно как и нынешней России, суфийского братства, Накшбандийя, выводится из слова *накиббанди*, «художники» (существуют, правда, и другие версии его этимологии).

Братства росли под звуки суфийских стихов и песен, которые слагались на языке, в буквальном и переносном смысле местному населению понятном и родном. Суфии использовали уже сложившийся фольклор, по-своему его просветили и одухотворили, тем самым дав сильнейший толчок дальнейшему его развитию. К примеру, татарские *мунаджаты* (арабское слово, означающее «беседа с самим собою») или казахские *дастаны* (персидское слово, означающее «поэма», «история») содержат, как говорят исследователи, доисламский пласт, но в большей своей части представляют суфийское по духу творчество. Многие произведения фольклора народов Турана развивают некоторые темы суфийской поэзии вроде темы Лейлы и Меджнуна или просто пересказывают стихи известных суфийских поэтов.

Случалось, что во главе братств становились шейхи, более всего известные именно в качестве поэтов. Так, Руми, чья кубба сохраняется в анатолийском городе Конье (куда шейх прибыл издалека специально ради общения с монахами тамошнего христианского монастыря), стал основоположником едва ли не самого знаменитого из суфийских братств — «Кружащихся дервишей» (члены этого братства исполняют экстатический танец, имитирующий движение небесных сфер).

Братства в принципе — интернациональные организации, но внимание, какое уделяет суфизм психологическому «рельефу» каждого отдельного племени, способствовало тому, что под сенью его складывалось самосознание различных племен и народов. Туркмены, например, в этом смысле считают себя обязанными шейху Махтумкули, поэту, которого они ставят рядом с пророком Мухаммедом и чьи стихи, как говорят, нередко заменяют им Коран.

Спуск «в народ» имел для суфизма не только положительную, но и отрицательную сторону: некоторые его элементы неизбежно подверглись упрощению и огрублению, а то и прямому искажению. Так, своеобразное «таинство» суфиев, состоящее в ритуальном экстатическом танце (*зикр*) — возможно, изначально рискованном в духовном смысле, поскольку рискованны всякие обращения к стихиям, — местами, особенно в тех краях, где еще не умерло шаманство, выродилось в подобие языческого радения (знакомого и некоторым христианским, в частности протестантским, сектам — выразительное описание одного такого радения дал Марк Твен в «Жизни на Миссисипи»). Удивительно ли, что оставленные о нем свидетельства крайне разноречивы?<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Разноречивые свидетельства могут встретиться у одного и того же автора — таков Теофиль Готье, путешествовавший по Алжиру и Турции в середине XIX века. Вот его впечатление от зикра одного из суфийских братств: «Бред, катаlepsия, гипнотический экстаз, воспаление мозга и прочие нервные нарушения, выражавшиеся в рыданиях, судорогах, столбняке, заставляли спазматически сокращаться их мышцы и искажали лица, в которых не осталось ничего человеческого». Но вот другое братство («Кружащихся дервишей»), другой зикр — и совершенно другое впечатление: «Ни у Фьезоле, ни у Моралеса, ни у фра Бартоломео, ни у Мурильо, ни у Сурбарана нет таких просветленных, мистических лиц, исполненных веры и опьяненных неведомыми райскими видениями» (Готье Т. Путешествие на Восток. М., 2000, стр. 65, 166).

К тому же в число дервишей сыздавна вошло немало шарлатанов. Отсюда устоявшееся на мусульманском Востоке отношение к страннику в одеянии дервиша — осторожное: он может оказаться настоящим дервишем, а может оказаться обманщиком. При всем том «простым людям» дервиш всегда был ближе и в каком-то смысле понятнее *улема* (ученого богослова).

### Павлин и лев

Упадок ислама в XIX и на протяжении большей части XX века, быть может, большее всего задел именно суфизм. Крупнейший мусульманский поэт XX века Мухаммад Икбал (1877 — 1938), не мысливший себя вне суфийской традиции, лучше многих других отдавал себе в этом отчет: «Землетрясение потрянуло суфийский винный погребок, / И впали старцы в размышленье, уставив очи в потолок». «Землетрясение», о котором идет речь, вызвано западными «волшебниками» — это радикальное переустройство человеческого бытия, которое не могло не коснуться также и Востока и не потрясти умы его обитателей.

По некоторым признакам суфизм антитетичен тому умонастроению, которое давно уже является на Западе господствующим. Запад рационален и активен — суфизм иррационален и созерцателен. Особенно «отсталым» он выглядит оттого, что слышком уж у него сегодня, как считают, «простонародное» лицо. Хотя к нему по-прежнему тяготеет значительная часть интеллигенции, особенно художественной. На взгляд многих, не только на Западе, но и на Востоке, суфизм — «фольклорная» религия, которую исповедуют «темные» массы, еще не преодолевшие влияния босоногих и зачастую дурно пахнущих дервишей. Чем больше Европы вкусил мусульманин, тем скорее он расстается со своим суфийским прошлым. Татарский национальный поэт Габдулла Тукай (1886 — 1913), глубоко пропитавшийся русской культурой, почти уже отрекается от суфизма («Суфием я себя считал...»), хотя суфийские мотивы продолжают звучать в его стихах, какова бы ни была его сознательная позиция по отношению к прошлому.

Широчайшие массы в мусульманском мире остаются приверженными суфизму. А в Турции, например, суфийские братства восстанавливают свое влияние после длительного периода гонений, начатых Атаатюрком. Нечто подобное происходит и на территории бывшего СССР, где в прежние времена суфизмом было «охвачено» почти все мусульманское население<sup>13</sup>. При всем том на суфизме в целом сохраняется печать «отсталости»; во многих братствах, как утверждают, от подлинного суфизма осталась одна оболочка, поддерживаемая лишь силою традиций.

«Трещит по швам хирка на [мусульманской] Азии», — с сожалением констатировал Мухаммад Икбал (между прочим, не только поэт, но и один из самых значительных мыслителей Азии первой половины XX века). Спасение Икбал видел в отказе от односторонней созерцательности и переходе к творческой, преобразовательской деятельности; надо, писал он, «ходить под Богом», но в то же время «не бояться ошибиться», ибо не бывает творчества без ошибок.

Объективно такая возможность была заложена в высоком суфизме, о чем я уже говорил. Павлину как символу созерцательности (его пышный хвост будто отражает звездное небо) в суфийской мифологии противостоял лев как символ мужественности и «тайного искусства». Алхимики называли «зеленым львом» философский камень, долженствующий преобразить железо в золото, каковое, в свою очередь, есть символ Божественного света. Философского камня алхимики не нашли, но создали новую религиозно-культурную пара-

<sup>13</sup> В июне 1925 года, на восьмом году революции, ташкентская газета «Красный рубеж» писала: «Влияние тасавуфа (духовного пути суфиев. — Ю. К.) на уклад жизни мусульман (в СССР. — Ю. К.), освященное обычаем, установилось очень прочно».

дигму, встав на путь «усовершенствования» природы, иначе говоря, сотворчества с Богом. Этот путь рано оборвался на мусульманском Востоке: лев уступил павлину; он был продолжен в Европе, принявшей алхимию (ал-химию) из мусульманских рук (впрочем, сами мусульмане взяли алхимическую идею из рук Гермеса Трисмегиста).

Очевидно, что от пересмотра отношений между павлином и львом зависит будущее суфизма. И что результат его будет иметь значение не только для мусульманского мира. Взаимопонимание христиан и мусульман зависит от того, насколько будет реализована внутренняя способность ислама к движению и разнообразию.

### *Ars vivendi* для XXI века

«Воспользуемся твоим писанием и Писанием моим» — так говорил Иоанн Дамаскин, обращаясь к «сарацину» (мусульманину), дабы разобраться в вопросах, разделяющих ислам и христианство («Беседа сарацина с христианином»). Примечателен здесь миролюбивый тон; хотя, естественно, христианин не мог уравнивать две священные книги (только одна из них пишется им с большой буквы).

Ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке во времена Дамаскина (отчасти и в позднейшие времена), некоторые современные исследователи называют «религиозным фронтиром». Ее черты: подвижность, неустойчивость. Различные религии легко приобретают новых адептов и столь же легко их теряют; находятся люди, кто по несколько раз переходит из одной веры в другую. И речь отнюдь не идет только об исламе и христианстве. Распределение профессиональных предпочтений здесь гораздо более сложное: другие религии, такие, как зороастризм или манихейство, тоже борются за души смертных, а главное, само православие расколото догматическими спорами, в результате которых из него выделились монофизиты, несториане, маркиониты... В этой ситуации Дамаскину пришлось «держаться» сразу несколько «фронтов»: не только против ислама, но и против ересей; и самый ислам он рассматривает как одну из ересей. Мусульмане утверждают тварность Духа и Слова, но так же думают ариане. Мусульмане почитают Иисуса как только человека (пророка) — но так же относятся к Нему и несториане. Мусульмане отвергают всякие изображения святости — но разве не так же поступают иконоборцы, одержавшие верх (на время) в самом Константинополе?

Так что в догматическом плане мусульмане — не единственный и, может быть, даже не главный противник. Другое дело, что в практическом плане они завоеватели и хозяева положения, и с этим приходится считаться. И что здесь задевает внимание: Дамаскин, как и позднее св. Григорий Палама, хорошо знаком с исламом и умеет разговаривать с мусульманами.

Показательно сравнение с западноевропейскими выступлениями против ислама, например, с трактатом кардинала Торквемады 1465 года, в котором «прелестник Магомет» награждается такими эпитетами, как *stultus, delirius, bestialis, geprobus, scelerissimus* (глупый, безумный, зверообразный, отвратительный, погрязнувший в злодеяниях), а иногда и еще худшими.

А к истории я обратился потому, что нынешняя Россия (и не только она) тоже обретает черты «религиозного фронта», хоть и не столь резко выраженного. Чересполосица вер такая, какой никогда не было в прежние времена. Притом остается мощный резерв «невозделанных земель» (наследие атеистического режима) — тех, кто не определился с верой. С разных сторон идет наступление сект. И, наконец, ислам; все больше случаев добровольного перехода русских в ислам, чего раньше тоже практически никогда не бывало.

Разброд намечается и среди мусульман. Огрубляя, можно выделить у них два направления: одно, пока еще преобладающее, — традиционалистское, второе — так или иначе тяготеющее к ваххабизму. Успехи «нивелизаторов» от ваххабизма не случайны: за годы советской власти была основательно вытоптана



почва, на которой в былые века пророс суфизм; да и мировые поветрия сейчас таковы, что почва от них только сохнет. А ваххабизм упрощенно-рационален и адресуется к «человеку вообще»; в рамках ислама это наиболее сильно выраженный тип религиозного законничества (аналог фарисейства у иудеев). О суфизме можно сказать, если сравнивать его с официальным исламом, что он одновременно более земной и более небесный, а ваххабизм — «выше леса стоячего, но ниже облака ходячего». Наконец, ваххабизм настроен на борьбу с внешними (по отношению к религиозной общине) врагами, что легко находит отклик на постсоветском пространстве; джихад для него не менее, а иногда и более важен, нежели задачи внутреннего устройства.

Речь идет, согласно кораническому разделению, о «малом джихаде» — борьбе с «неверными». Суфии тоже не сторонились ее, когда находили ее необходимой. Достаточно напомнить о дервишах, вдохновлявших османов на штурм Константинополя в 1453 году, или о шейхе Мансуре, ставшем организатором сопротивления северокавказских племен русскому нашествию. И все же на первом месте для суфия всегда был «большой джихад» — борьба с «неверным» в самом себе.

Вообще же сейчас сложилось несколько преувеличенное представление об изначальном и роковом предрасположении мусульман к джихаду («малому»). Их дебют на мировой арене был действительно воинственным: в считанные годы воины Аллаха «на острие меча» распространили ислам по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. Но надо учитывать, что их действия в какой-то степени были спровоцированы фактом раскола христиан, часть которых сама призвала их на помощь. В дальнейшем огонек джихада теплился в душах мусульман довольно-таки условным пламенем, лишь на отдельных участках истории разгораясь в большой пожар.

Примечательна в этом отношении эпоха крестовых походов. Когда отряды *фаранги* (франков, то есть вообще западноевропейцев) явились на Восток, мусульмане считали, что они просто ищут себе там «земли и воды»; в их глазах это было продолжение вяловатых войн с Византией, в которых с обеих сторон давно уже поуявилась религиозный пыл. Прошли годы, прежде чем мусульманская сторона уразумела, что европейским рыцарям нужна не вообще земля, но Священная земля и Гроб Господень в ней. В то время один арабский автор писал, не скрывая восхищения: «Фаранги легко расстаются с жизнью, чтобы защитить свою религию... Единственная причина, побуждающая их воевать и жертвовать собою, состоит в их преданности Тому, Кому они поклоняются, и в желании славы ради веры»<sup>14</sup>. Мусульманская публицистика первой половины XII века полна сетований на недостаток религиозного рвения у правоверных, она гремит против либертенов и либертинок, создавших в обществе атмосферу расслабленности в дни, когда суровый враг вознес свои стяги на холмах Иерусалима. Ситуация, почти наоборотная той, какую мы наблюдаем сегодня.

Где нынче возгорается джихад, ответ должен быть, как выражаются политики, адекватный. Призыв Габдуллы Тукая «Вал Искандера построить — ограду от зла векового» («румийскому» царю приписывали идею сооружения вала, защищающего от варварских нашествий) звучит еще более своевременно, нежели столетие назад; конечно, имеем в виду вал не только в географическом смысле — хотя и в географическом тоже. Но «по сию сторону» вала надо заново осваивать искусство жить с мусульманами — не условными, но вполне реальными. *Agis vivendi*, которое, может быть, окажется в нынешнем веке самым необходимым...

Еще раз проведу сравнение с дореволюционными временами. Тогда шла мощная экспансия русской культуры, волны которой захватывали также и «внутренних» мусульман или по крайней мере их культурную верхушку. Ха-

<sup>14</sup> Цит. по кн.: Religionsgespräche im Mittelalter. Wiesbaden, 1992, S. 210 — 211.

рактенно раздвоение того же Тукая между исламом и, условно говоря, Пушкинным (из стихотворения «Пушкину»: «Идти повсюду за тобой — мой долг, мое стремленье, / А то, что веры ты другой, имеет ли значенье?»). Сейчас степень вовлеченности «внутренних» мусульман в общероссийскую жизнь несравненно большая, но влекущая сила — скорее цивилизация, чем культура. А цивилизация — теплохладная вещь, не способная в достаточной мере удовлетворить потребности ума и сердца (к тому же она нынче сильно хромает, особенно в российском варианте); на роль «соперницы» религии она подходит гораздо меньше, чем культура. Поэтому вряд ли я ошибусь, если скажу, что в предстоящие годы самоидентификация по религиозному признаку будет только возрастать (данные социологов о количестве «реально верующих», скажем, по Татарии и Башкирии не должны обманывать на сей счет: пока еще постсоветское, мусульманское в частности, население не вполне пробудилось от атеистического сна). Ерго, повторюсь, надо искать созвучия и подобия на высоте веры.

Оставим в покое догматику. На догматическом уровне между исламом и христианством есть много общего (принцип Откровения через избранных мужей, единобожие, схема движения времени от поэтапного сотворения мира и грехопадения к концу истории и Последнему Суду, почитание Иисуса Христа — у мусульман как пророка, — рожденного от Девы Марии наитием Духа, и так далее), но есть и принципиальные различия, которые, вероятно, останутся до конца времен. Догматика имеет острые углы, и с этим ничего нельзя поделаться. Другое дело — духовная жизнь. Скажем так: если догматика — скала, духовная жизнь — льнувшее к ней облако. Так вот, на уровне этого облака возможна такая близость между христианским миром и «просвеченным» суфизмом мусульманством, о какой многие, как мне кажется, до сих пор даже не подозревают.

Особенная близость возможна между русским православным миром и мусульманством, поскольку Запад в своих бесконечных эволюциях утратил или полуутратил нечто существенное из того, что когда-то было общим достоянием христианского мира.

Уточню. Россия есть неотъемлемая часть Европы и христианского мира — таков факт, с которым тем, кому он не нравится, придется, скрепя сердце, смириться. И в деле борьбы с мусульманским экстремизмом Россия была бы обязана целиком и полностью быть солидарной с Западом даже в том случае, если бы сама от экстремизма не страдала.

Но это, так сказать, квалификация по основным признакам; а картина объективно складывающихся «симпатий» и «антипатий» может быть более сложной. Есть вещи, которые сближают русское православие с суфийской традицией: страдальческое в своей глубине переживание жизни (подготавливающее к восприятию жизненных невзгод, а равно и катастроф, без которых вряд ли обойдется XXI век); острое чувство греха и покаяния; склонность к созерцанию (для постижения мира по меньшей мере столь же необходимого, как и активное отношение к нему) и к художественному мышлению; способность испытывать «пианственные» восторги от лицезрения Творения — без участия вина или каких-либо других одуряющих средств (при том, однако, что экстатические состояния, граничащие с оргазмом, православием не приемлются), но в обязательном сочетании с трезвостью, не в смысле рассудочности, а в смысле приятия объективного порядка вещей; смирение и готовность «терять себя» в религиозном Предмете; понимание того, что посмертная часть есть главная часть бытия человека. Сюда можно приплюсовать некоторые частности, такие, как способность ценить убожество (не любое, а то, которое «у Бога») или традиция «замкнутой жизни женщин» (И. А. Ильин), хотя в православии она, конечно, далека от тех крайних форм, какие принимает в мусульманстве. Христианский по своим корням Запад от всего этого мало что сохранил; хотя ничего «архаического» в перечисленных чертах нет: человек действительно оказался более пластичным, чем это можно было предполагать, ка-

жется даже, что в иных случаях его можно просто «размазать» по тем или иным внешним обстоятельствам, но есть же в нем и несминаемое, вложенное в него Творцом и — будем думать — «ждушее» часа, когда оно сможет проявиться.

Если сравнить вышнюю истину с солнцем, тогда христианство есть область попадания прямых его лучей, а ислам — косых (это, разумеется, точка зрения христианина, с которой мусульманин не сможет согласиться). Но оттого, что небо христианства стало слишком непрозрачным («Бога за сором не видно», — как говорится в одной русской дореволюционной повести), иной раз приходится признать временное преимущество за теми, кому доступны хотя бы косые лучи.

В каком-то ограниченном смысле возможно даже союзничество между русским православным миром и суфийским мусульманством: оно было бы направлено и против некоторых аспектов западного мышления и образа жизни (психологический натурализм, плоская рассудочность, нечувствие онтологии и, как следствие, избыточная самонадеянность), но, главным образом, против новейших эволюций мусульманства, по сути, представляющих собою болезненную реакцию против верховенства европейского культурного мира. И прежде всего: оно могло бы пригасить нынешнюю его (мусульманства) воинственность.

Вот та кое, узко понятое, евразийство могло бы сыграть определенную позитивную роль в будущей нашей истории.



---

---

# ПОЛЕМИКА

РЕВЕККА ФРУМКИНА

\*

## ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ Я, НО СТРАННОЮ ЛЮБОВЬЮ...

*Идеологический дискурс как объект научного исследования*

**Р**азумеется, книга И. Сандомирской<sup>1</sup> — не о Родине, а о **концептах**, позволяющих вербализовать сложное переплетение мыслей и чувств, свойственных человеку русской культуры. Автор рассматривает главным образом следующие четыре концепта (далее концепты мы выделяем «марровскими» кавычками, а слова — курсивом) — 'Родина', 'родина', 'Отечество' и 'отчизна'. Концепты эти анализируются в соответствии с тем, как они представлены не столько вообще в русском языке, сколько в **советской** ментальности и идеологическом дискурсе. Таким образом, объектом анализа является преимущественно именно дискурс.

Нелишне уточнить, что далее понимается под дискурсом. Ибо *дискурс* я бы отнесла к тем квазитерминологическим образованиям, которые, по аналогии с особым типом слов, в свое время удачно названных «ложными друзьями переводчика», следовало бы назвать «ложными друзьями исследователя». Понятное описание истории освоения термина дано в работе А. К. Жолковского, где *дискурс* предложено понимать как «воплощенные в речи мироощущение и жизненную позицию»<sup>2</sup>, что мне представляется удачным. Можно добавить, что для исследователя языка и литературы дискурс — это некий способ говорения, выраженный в корпусе текстов и доступный достаточно **объективному анализу на основании этого корпуса**. Отсюда широко употребительные в трудах гуманитариев выражения *политический/советский/постсоветский/психоаналитический/властный/тоталитарный дискурс* и им подобные.

Рассматриваемый в обсуждаемой книге дискурс — прежде всего идеологический. При этом интерес автора сосредоточен не только на выборе **типа дискурса**, но еще и на особо значимых для описания этого дискурса **инструментах**. Это разнообразные тропы и прежде всего — метафорика.

Итак, предмет книги — способ воплощать в речи мироощущение, связанное с родной нам страной. Начинается она с теоретического введения, озаглавленного «Идеологическая конструкция как идиома культуры» (мне мысль автора была бы более внятна, если бы заголовок назывался «Тропы и идиомы как идеологические конструкции»; впрочем, о внятности см. ниже). В дальнейшем изложении автором использован любопытный ход, позволивший удачно сопоставить контрастирующие дискурсивные практики. Трех практикам, подлежащим рассмотрению, соответствуют три центральные главы. В

---

Фрумкина Ревекка Марковна — лингвист, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН. Автор научных книг и статей на русском и английском языках, постоянный автор и сотрудник «Русского Журнала» ([www.russ.ru](http://www.russ.ru)). См. статью «Маленькие истории из жизни науки» («Новый мир», 2001, № 6).

<sup>1</sup> Сандомирская Ирина. Книга о Родине. (Опыт анализа дискурсивных практик). Wien, 2001. (Wiener Slawistischer Almanach. Sbd. 50).

<sup>2</sup> Жолковский А. К. Ж/З. Заметки бывшего пред-пост-структуралиста. — В кн.: Жолковский А. К. Инвенции. М., 1995, стр. 190.

первой главе источниками служат образцы советского официального (именно официального, а не официозного) дискурса. Это буквари, учебники, тексты газетных статей и популярных песен, где фигурируют такие клише, как *малая родина, наша советская Родина, защитник Родины, лозунг «за Родину!»*. Контрастом служит представленный во второй главе образец советского частного дискурса. С этой целью автор анализирует уникальный документ — записки полуграмотной советской женщины, Евгении Григорьевны Киселевой.

В поисках истоков официального дискурса о Родине и Отечестве в третьей главе автор знакомит нас с деятельностью А. С. Шишкова — идеолога и «новатора наоборот», ревнителя русской исконности и автора знаменитого «Рассуждения о любви к Отечеству». Здесь Сандомирская весьма выпукло показала, как творится идеология — не апологетика, повторяющая нечто, продиктованное властью, а идеология, выступающая как активное начало, определяющее дискурсивную практику.

Как и когда оказывается идеология востребована — вопрос отдельный. Во всяком случае, размышляя вместе с автором, убеждаешься в том, что лексикографические подвиги Шишкова — это не его сугубо личные фантазмы, поскольку сформировались они далеко не на пустом месте. Наконец, в четвертой главе этимологизаторство и прочие специфические «шишковизмы» рассматриваются в более общем контексте герменевтических штудий разных авторов и эпох.

Заключение к книге приоткрывает некоторые личные переживания автора — русской лингвистки, живущей последние годы в Швеции и периодически посещающей постсоветскую Родину.

Заметим, что при всем разнообразии пониманий слова *идеология* современная наука видит в ней неустранимую и безусловную компоненту культуры. Поэтому ни лингвистика в ее современном изводе, ни тем более изучение литературы и прочих культурных практик не могут обойтись без учета этой нередко трудноуловимой, но оттого не менее могущественной компоненты — назовем ли мы ее с точки зрения, так сказать, «внутрисубъектной» — *умонастроением* или объективируем как *идеологию*.

Разумеется, здесь и далее идеология как таковая мыслится не в том сугубо советском варианте, к которому мы усвоили подсознательное отвращение, а в «нормальном», терминологическом. Например, в духе Клиффорда Гирца — тем более, что в его концепции особое место отводится метафоре как ядру идеологического мышления. Именно в тропе, по мнению Гирца, идеология осуществляет ту разметку социальной среды, которая позволяет коллективу и индивиду обживать социальное пространство<sup>3</sup>. Идеология всегда закрепляется в языковом узусе и составляет плоть прагматики текста. В постгутенберговском обществе именно через тексты идеология транслируется в массы. В свете нынешних «приключений» нашей государственности извивы и двусмысленности идеологического дискурса в разные эпохи существования Российской империи, Советского Союза и затем России читаются как череда попыток решить по-прежнему болезненные проблемы — такие, как национальная идентичность, национальная символика, отношение Россия — Запад (Европа) и Россия — Восток (Азия). Не удивительно, что живые и многочисленные отклики вызвала посвященная этой проблематике книга А. Зорина «Кормя двуглавого орла»<sup>4</sup>. Книга Сандомирской тематически отчасти пересекается с ней — оба автора исследуют среди прочего языковое и идеологическое творчество Шишкова. Однако же не тема побуждает к сопоставлению подходов, предложенных Сандомирской как лингвистом и Зориным как историком литературы и культуры.

<sup>3</sup> Гирц К. Идеология как культурная система. — «Новое литературное обозрение», 1998, № 29.

<sup>4</sup> Зорин А. Кормя двуглавого орла... М., «Новое литературное обозрение», 2001. См. рецензию В. М. Живова на эту книгу: «Новый мир», 2001, № 2.

Отметим, что до недавнего времени именно лингвистика (которая не всегда была так уж блистательно строга) признавалась среди прочих гуманитарных наук **образцом дисциплинированности** рассуждений. Как раз эти качества, воплощенные по крайней мере **как цель** в лингвистике структурной, принимались лингвистическим сообществом как *conditio sine qua non* исследования, претендующего быть научным трудом, а не эссе.

Что касается штудий историко-литературных и историко-культурных, то здесь (если вычесть текстологию и шире — методику архивной работы) основными рабочими принципами были не абсолютная доказательность и строгость, а скорее убедительность и отсутствие явного рассогласования с уже накопленными знаниями.

Сравнение методов, используемых Сандомирской и Зориным, дает картину, **явственно обратную ожидаемой**. А именно: Зорин, как мне представляется, мог бы, безусловно, принять эстафету у Леопольда фон Ранке, который призывал историков писать о том, «как это было на самом деле». За вычетом отрицательных коннотаций, которыми наше время снабдило все производные от слова *позитивизм*, труд Зорина — безусловно, образцовый тип позитивной науки. В книге об идеологии и литературе мы находим не игры вольного ума и не веяния нестесненного духа, а реализацию строго очерченных целей с помощью принятого в русской академической традиции анализа литературных текстов и разножанровых документальных свидетельств.

Тем временем книга лингвиста Сандомирской неожиданно являет собой не только изобилие своевольных толкований и размах воображения. В обсуждении семантики культурных концептов авторские **импрессии** вообще решительно преобладают, оставляя науке весьма скромное место. Читая «Книгу о Родине», испытываешь желание сказать, что автор вправе делиться с нами своими реконструкциями, домыслами и фантазиями, а читатель вправе ему **верить** — но и предлагать собственные.

Импрессии всегда проявляются не столько в содержании рассуждений, сколько в их тональности и стилистике. Количество и характер ссылок, будь то упоминание всей череды модных авторов, от Делёза и Лакана до Мишеля де Серто, или, наоборот, упоминание заведомо научных работ Анны Вежбицкой или В. Н. Телия, у которой училась Сандомирская, — все это не меняет модуса изложения.

Импрессионистичность подхода проявляется уже в первой главе, где автор выбирает тексты со словосочетаниями, содержащими слова *Родина, отечество, родной* и т. п. Разумеется, не обязательно требовать, чтобы автор привел список использованных текстов и предъявил нам статистику обследованных «культурных идиом», хотя, например, М. Л. Гаспаров скорее всего поступил бы именно так. В конце концов, можно сослаться на то, что представители хотя бы среднего поколения потенциальных адресатов этой книги еще не ощущают как дезактуализированные тематические и словесные **советские клише**. То есть можно полагать, что соответствующие метафоры известны и воспринимаются именно как «мертвые слова».

Но что все-таки считать в данном случае **научным анализом**, выходящим за рамки фигур речи и изобилия иллюстраций? Обратимся к тексту главки «Изгнанник Родины», где вслед за краткими, на одну страничку, примерами метафорики и фразеологии *изгнанничества, одиночества, чужбины* и проч. следуют затейливо изложенные, но общеизвестные рассуждения о судьбах разных волн русской эмиграции. Мелькают имена Гиппиус, Бродского, Солженицына...

Особенно удивила меня интерпретация одного частного, но типичного случая. Сандомирская цитирует инскрипт на книге — символе Родины; это Тургенев, «Записки охотника». Книга была подарена отцом-эмигрантом маленькой дочери еще в 1920 году **на чужбине**, в Берлине. Глубоко человеческий, общепонятный жест. Естественно и обращенное к дочери завещание — любить свою Родину; подпись — «папа». Но двумя строками ниже (видимо, как комментарий к «сентиментальному» инскрипту) читаем: «фетишизированные

контексты, в соприкосновении с которыми нарциссическое „я” переживает свое небытие на Родине, свое и Родины взаимное отсутствие». Что бы это значило?

Создается впечатление, что автор книги с младенчества и навсегда ранен фальшью советской пропаганды. Невольно начинаешь думать, что для автора не только реальная тоска эмигранта по родине, но и счастливое детство, родные места, просторы, родная природа, «особенно рябина» и даже хрестоматийная *моя деревня и дом родной* — суть не **реально существующие**, не свои подлинные ментальные сущности, а только минус-идеологемы, некое зловредное марево, ядовитые испарения сталинизма.

Тут законен вопрос: разве, например, *эмиграция* и остро переживаемое *изгнанником* чувство *чужбины* — это феномен сугубо «советского» или даже сугубо русского дискурса? А польская эмиграция, Шопен и Мицкевич? (Впрочем, они все-таки упомянуты как «возможные» в советском нарративе о вольнолюбивом поэте-изгнаннике. Спасибо.) А «француз убогой»? И наконец, Байрон, по сравнению с которым поэт чувствовал себя «еще неведомым *изгнанником*» и «*странником с русской душой*»?

Хотя автор и предупреждает, что не будет работать с авторским словом, но в приведенных мною примерах перед нами конечно же типические «общие места». И продолжая ту же мысль: если *Родина* Герцена была «другая» 'Родина' и его *изгнанничество* — другим, нежели во времена, когда покинутая Россия стала именоваться «*советской Родиной*»; если прежний дискурс о Родине основывался на совершенно иных метафорах и фразеологизмах, то покажите мне их!

Однако об Одиссее, «блудном сыне Итаки», в связи с концептами 'чужбины' и 'изгнания' в книге Сандомирской говорится на полутора страницах (я не поняла зачем), о Герцене же, кажется, ни слова.

И так везде: топикализация **преднайдена** автором, для которого эти яды все еще актуальны. А потому все сюжеты — малая родина, защитники Родины, Павлик Морозов и т. п. — воспринимаются читателем даже не как этнографически остранные мотивы в чужих или древних заклинаниях, а как детские кошмары, от которых автор едва — и окончательно ли? — очнулся.

Примечательно, что тексты-клише, иллюстрирующие тематизацию основных идеологических конструкций, даны автором столь нерегулярным образом, что мне не удалось усмотреть хоть какие-то резоны, по которым для клише *защитник Родины* или *сыновья и дочери Родины* текстовые примеры приведены, а клише *мирный труд* и многие другие, вместо удачных фрагментов, взятых в иных случаях из советских букварей и учебно-пропагандистской литературы, сопровождаются приведенными вразброс цитатами — и не всегда из собственно советского дискурса.

Итак, не найдя в главе о советском дискурсе *метода*, но вчувствовавшись в авторские интенции, я не оспариваю фактичность материала. Он впечатляет тем, что эмоционально насыщен. Возможен ли иной, лингвистический и притом научно-корректный анализ идеологического дискурса — то есть такой, при котором у всех исследователей при одинаковом исходном материале был бы примерно одинаковый результат? Я не уверена.

Впрочем, не исключено, что анализ дискурсивных практик в том виде, как это сделано в обсуждаемой книге Сандомирской, потому и впечатляет, что в нем больше импресии, чем науки.

**Наука вообще редко впечатляет.**

Так, блистательные анализы культурных концептов, предложенные Анной Вежбицкой (в том числе — анализ слов *Faterland, Heimat, Отечество*, польск. *ojczyzna* и т. д.<sup>5</sup>), равно как и анализ концептов **родина-1** и **родина-2**, предло-

<sup>5</sup> Wierzbicka A. Understanding cultures through their key words. N. Y. — Oxford, 1997

женный В. Н. Телия<sup>6</sup>, или анализы культурных концептов у Ю. С. Степанова<sup>7</sup>, не задуманы как захватывающее чтение. Но наука и не обязана быть **интересной** — у нее иные критерии успешности и адекватности замыслу. Это отточенный методический инструментарий и научный анализ, проводимый согласно заведомо вербализуемым правилам или техникам, так что он воспроизводит хотя бы в принципе. Это и пребывание в плоскости закономерных соотношений данного научного сочинения с другими научными же сочинениями. Т. Кун отнюдь не отменил кумулятивности научного знания — он лишь показал специфику этой кумулятивности и ее границы.

Сандомирская — не знаю, осознанно ли, — позиционирует себя не как беспристрастный исследователь, а как современник, «взглянувший окрест себя» — и далее уже по тексту Радищева. Поэтому получается, что ее наблюдения воспринимаются (во всяком случае, русским читателем) преимущественно как плод «сердца горестных замет».

Выше отмечалось, что во второй главе представлен анализ чрезвычайно выразительного образца советского *частного* дискурса. Записки полуграмотной пенсионерки Киселевой в отредактированном виде фрагментарно публиковались в «Новом мире»; Сандомирская (работавшая над текстом Киселевой в соавторстве с социологом Н. Козловой) предоставляет нам возможность обратиться к обширным цитатам из текста-источника<sup>8</sup>.

Тематически записки Киселевой — это сочетание дневника и воспоминаний. Естественно, что «герои» такого текста — это прежде всего так называемая «малая группа»: родственники, соседи, сослуживцы. Следующий круг образуют те, кто не является «своим», но от кого так или иначе зависит жизнь и благополучие героини и ее семьи, — это «ближнее» начальство, начиная с управдома. И наконец, предметами разнообразных эмоциональных оценок выступают те, кого Киселева видит и «знает» издали, по телевизионной картинке: это герои и вожди, от Ленина и Брежнева до Горбачева и Рейгана.

Киселева не упоминает ни *Родину-мать*, ни *Отчизну* — то есть в ее тексте нет таких слов. Но пишет она о социально «родном», «своем», и в ее дискурсе постоянно присутствуют именно на уровне слов *наша страна, СССР и Россия*. Для Киселевой наша страна замечательна именно своей «советскостью»: именно поэтому она неповторима, исключительна и заведомо противопоставлена странам «чужим»: Америке с ее «глупыми руководителями», ФРГ, которую надо слить с ГДР, чтобы «уся Германия была демократична», и т. п. Частный неофициальный дискурс автоматически воспроизводит «большой стиль» и его пропагандистские клише. В очередной раз мы видим, что в эпоху ускоренной и к тому же насильственной модернизации «народ» **не имеет своего языка** — он пользуется языком, созданным для него средствами массовой информации. В случае Киселевой — это доступные ей тексты газет, радио и телевидения.

Сандомирская отмечает, что, читая рукопись Киселевой, «не можешь понять, почему из ее кругозора совершенно выпадает малейшее свидетельство о сталинских репрессиях» — то ли Киселева идентифицировалась с режимом, то ли вытеснила из памяти соответствующие воспоминания<sup>9</sup>. В связи с этим скажу, что, читая книгу Сандомирской, в очередной раз обнаруживаешь, что так называемый «исторический опыт» — это горькая фикция.

Автору, выросшему (а может быть, и родившемуся) **после смерти Сталина**, как бы не приходит в голову, что полуграмотная пенсионерка Киселева была скорее всего достаточно научена жизнью, чтобы и в 1987 году не доверять по-

<sup>6</sup> Телия В. Н. Рефлексы архетипов сознания в культурном концепте «родина». — «Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой». М., 1999, стр. 466 — 476.

<sup>7</sup> Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.

<sup>8</sup> Киселева Е. Кишмарева, Киселева, Тюричева. — «Новый мир», 1991, № 2; Козлова Н. Н., Сандомирская И. И. Я так хочу назвать кино. «Наивное письмо»: опыт лингво-социологического чтения. М., 1996.

<sup>9</sup> Сандомирская И. Указ. соч., стр. 128.



добные мысли бумаге. Даже если бы такие мысли у нее были — в чем Сандомирская справедливо сомневается.

Обширные цитаты из записок Киселевой позволяют составить представление о том, как выглядел искренний и неподдельный, но притом вполне **тоталитарный** дискурс рядового человека советской эпохи и каков внутренний мир человека, выражающего себя этим языком в этом дискурсе.

Глава с цитатами из текста Киселевой построена в соответствии с выделенными Сандомирской тематическими клише типа «защитник Родины», «сыновья Родины» и т. п. На мой взгляд, этот прием нерезультативен, ибо заведомо ведет к тавтологии. Если бы объектом анализа были не записки жительницы провинциального городка, а, допустим, дневник колхозницы из глухой деревни, где нет ни газет, ни телевизора, то и здесь было бы крайне наивно предполагать, что о войне или политике такой автор сможет писать, не используя клише, а именно «своими словами». Однако в последнем случае исследовательский интерес был бы в том, откуда в столь «особом» случае заимствовался бы дискурс.

Возвращаясь к уже упомянутой книге Зорина, подчеркну, что чтение книги Сандомирской «на фоне» текста Зорина полезно для **выявления тенденций внутри науки**. Перед нами кардинально разные типы научного дискурса. Сандомирская, будучи по самоидентификации лингвистом, отнюдь не озабочена строгостью своих этюдов. В противоположность ей Зорин, для которого референтным фоном являются не только «новый историзм»<sup>10</sup> и антропология Гирца, но и идеологически проинтерпретированные метафоры событий 1991 — 1993 годов, остается академическим ученым.

В наибольшей мере этот контраст проявляется в разделах, посвященных одной и той же идеологически значимой фигуре — Шишкову. В отличие от Зорина, Сандомирская не слишком озабочена увязыванием творчества Шишкова с расстановкой политических сил и задачами обеспечения империи работающими идеологами в критический для государства период. Она как бы рассматривает Шишкова «вообще» как создателя определенного типа русского патриотизма, не акцентируя не востребованность его идеологием на государственном уровне вплоть до начала наступления Наполеона и, напротив, совпадения с политическими ожиданиями в момент мобилизации русского социума для противостояния иноземному нашествию.

Но вне анализа конкретных идеологических задач и структуры социальных взаимодействий, с которыми в определенные периоды Шишков был связан и от которых он после 1814 года, по существу, был — не только по государственной воле, но и по причине смены расстановки идеологических акцентов в обществе — отодвинут, остается непонятным, почему в памяти потомства Шишков считался чудачком и автором абсурдных этимологий.

Именно поэтому те две главы книги Сандомирской, где внимание автора центрировано на Шишкове, его сакрализации языка, его концепции «народного тела» и особого типа патриотизма, представляются мне наименее удачными. Во-первых, они композиционно рыхлы и тематически не выстроены. Можно так или иначе понять, что именно Сандомирская имеет в виду под «археологией Родины». Но многочисленные цитаты — тексты самого Шишкова или парафразируемые им места из Священного Писания — не систематизированы вокруг какого-либо организующего стержня, будь то исторические события, идейные столкновения или культурные стереотипы. Все эти мотивы упомянуты, но калейдоскопически.

Во-вторых, способ изложения столь витиеват и прихотлив, что испытываешь желание немедленно проверить, не высказался ли кто на ту же тему —

<sup>10</sup> Ср.: Козлов С. Л. На rendez-vous с новым историзмом. — «Новое литературное обозрение», 2000, № 42, стр. 5 — 12.

пусть не так возвышенно и «модерно», но зато просто и ясно, минуя имена Эко, Фуко и Музиля.

Просто — не значит примитивно. Поэтому откроем хотя бы известную книгу Б. А. Успенского<sup>11</sup>, где Шишкову вполне воздано должное. Тот, кто желает подробно узнать о «Беседе...» и читанных там текстах, может обратиться к работе М. Альтшуллера<sup>12</sup> (Сандомирская на эту работу ссылается, но вскользь). И наконец, близкие предметы в качественно ином освещении представлены в тщательно документированной статье О. Проскурина об отношениях между «Арзамасом» и «шишковистами», в которой, в частности, показано, что «в системе ценностей Шишкова *Отечество* — видимо, вопреки субъективным намерениям адмирала — фактически заняло место Бога или, во всяком случае, слилось с Ним»<sup>13</sup>.

Главный же упрек, который хотелось бы адресовать рассказу Сандомирской о Шишкове, о его метафорике патриотизма и идеологически обусловленному пристрастию к «корнесловию», — это разрыв автора книги с наукой и переход к эссеистическому повествованию, сделанный, так сказать, без предупреждения.

Автор эссе не может быть беспристрастен ни к своим героям, ни к своим любимым идеям — *raison d'être* эссе не в его истинности, а в той стилистической элегантности, которая побуждает видеть новое или хотя бы неожиданное в любых интеллектуальных ходах, и более всего — в ходах рискованных. Однако же отечественная традиция историко-литературной науки давно уже строится на твердом отказе от эссеистических фантазий. Прививка ответственного свободомыслия, некогда сделанная формалистами и вовремя повторенная Лотманом, дала свои плоды.

Отчего же в лингвистике и «вокруг» нее столь часто заявляет о себе тенденция противоположного свойства? Не оттого ли, что цели слишком грандиозны, а доступные инструменты недостаточны?

<sup>11</sup> Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI — XIX вв). М., 1994; см. также ставшую классической работу: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры. — Успенский Б. А. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. М., 1996, стр. 411 — 572.

<sup>12</sup> Альтшуллер М. Предтечи славянофильства в русской литературе. (Общество «Беседа любителей русского слова»). Ann Arbor, 1984.

<sup>13</sup> Проскурин О. Новый Арзамас — Новый Иерусалим. — «Новое литературное обозрение», 1996, № 19, стр. 101.



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ

\*

## МЫСЛЬ, РАЗОМКНУВШАЯ КРУГ

Готовясь писать эти заметки о Лидии Яковлевне Гинзбург, я перечитал ее книгу «Человек за письменным столом». Перечитал и затосковал... Вот ведь какой должна быть настоящая проза, все время держащая читателя в напряжении, увлекающая резким, опасным поворотом мысли, суггестивная, страстная, как какой-нибудь лирический цикл. Кстати, лет пятнадцать назад я уже писал статью, в которой пытался показать, что повествования (она сама так определяла некоторые из своих текстов) Лидии Яковлевны отнюдь не повествовательны, а лиричны. Их объединяет с поэзией способность воздействовать на читателя каким-то боковым, косвенным по отношению к прямой логике высказывания образом. В замечательных стихах — это осязаемый, тайный пульс интонации. В эссе Гинзбург — лихорадочный пульс мысли. Именно лихорадочный, несмотря на внешнюю размеренную аналитичность безукоризненных в своей стилистической завершенности фраз.

Это необычайное — интеллектуальное, я бы сказал, беспокойство, если бы не боялся неуместного в данном случае оттенка суетливости, — определяло и личность Лидии Яковлевны. Лишь дважды в своей жизни я видел людей, наделенных таким отчетливым ореолом мыслительной мощи. Вторым был Мераб Мамардашвили, блистательную лекцию которого мне довелось слышать в ленинградском Доме ученых.

Меня познакомили с Л. Я. в начале 1984 года. Она жила в то время на улице Шверника, в очень зеленом и относительно тихом районе. Помнится, приятель показал ей несколько моих стихотворений, и они ее заинтересовали. Это было так важно тогда — любое профессиональное внимание. Кто такая Лидия Гинзбург, я, конечно, знал, но смутно представлял себе ее книги, пугаясь чопорного термина «литературоведение». Как выяснилось позднее, сама Л. Я. его не переносила, предпочитая говорить, что занимается историей литературы.

Дверь открыла маленькая и при этом очень грузная старая женщина с совершенно седыми волосами. Я даже слегка опешил, по рассказам представляя ее совсем иной. И точно — через полчаса нашего общения ничего не осталось от первого впечатления.

Она пригласила нас (я был с Колей Кононовым) в комнату, села у большого письменного стола и сразу же предложила читать стихи. Это было тоже неожиданно, но оказалось самым верным способом «налаживания взаимопонимания». Как-то сам собой завязался интересный и динамичный разговор, продолжившийся на кухне за круглым столиком, на котором возникла бутылка водки, селедка и яйца под майонезом — неизменные атрибуты всех наших кухонных бесед, сколько их помню.

Самое замечательное, что мы очень скоро перестали чувствовать возрастную дистанцию (в шестьдесят лет), настолько увлекательно, остро и энергично Лидия Яковлевна откликалась на любую мысль, любой тезис, можно ска-

---

Машевский Алексей Геннадьевич — поэт, эссеист, педагог. Родился в 1960 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Автор четырех поэтических сборников и статей о поэзии, литературе, философии.

зять, впивалась в них, извлекая нечто общезначимое, важное и неожиданное. Эта умственная гибкость и динамичность раз и навсегда заслонила физическую дряхлость моей собеседницы. Иногда мне приходилось делать усилие, отождествляя Л. Я. с ее «далеко за восемьдесят». И еще одно: никакой позы, никакой артистической упоенности собой в ее интеллектуальном лидерстве не было. Все происходило очень просто, строго и зачаровывающе изящно — как будто вы играли в шахматы с гроссмейстером. На какой-то стадии оказывалось, что все возможные ходы ваших «мыслей-фигур» учтены и дело движется к неизбежному и прекрасному в своей логической завершенности эндшпилю. Куда бы ни отклонялся разговор, Л. Я. всегда удерживала главную линию, всегда умела в самый неожиданный момент сопрячь «далековатые понятия». И если вспомнить, что Ломоносов считал именно такую способность признаком настоящего поэта, то можно сказать: Лидия Гинзбург была настоящим поэтом интеллектуальной беседы. Мы испытывали, общаясь с ней, почти физическое наслаждение — тем более, что разговор всегда шел на равных.

Возможность слушать ее, спорить, задавать вопросы была не просто редкостным в наше время удовольствием, но каждый раз еще и стимулом к творческому усилию, а может быть, и уроком интеллектуального бескорыстия. Как часто косвенно в разговоре мы выясняем отношения, стараемся отстоять себя или «дружески» потеснить другого! Эти невидимые заряды взаимного соперничества, недоверия и раздражения пронизывают самые отвлеченные темы, заставляя постоянно быть начеку, чувствовать дискомфорт и усталость. Игра самолюбий, привносимая в любую беседу, — явление теперь тотальное, свидетельствующее об уязвимости современного человека, о неумении мужественно сопротивляться всяким и всяческим комплексам. В таких условиях общение из радости превращается в тяжелую обязанность, от которой стремишься увильнуть, до предела ограничивая круг, замыкаясь в себе самом. В этом отношении Лидия Яковлевна была человеком уникальным, совершенно свободным от мелочной озабоченности «своим», точнее, «своим» для нее становился предмет разговора, поиск истины, уяснение нового, удовлетворение почти юношеского интеллектуального любопытства. Отсюда необыкновенная раскованность, радость, самоуважение, какое-то умственное, нравственное обновление, которое ощущали многие, переступавшие порог ее дома. Кстати, подобная атмосфера позволяла вполне откровенно обсуждать темы, казалось бы, затруднительные, имеющие непосредственное отношение к гостям и хозяйке, к их творчеству.

Я, например, несколько раз читал ей свои записи, касавшиеся отдельных ее работ или наших разговоров. Их было много, самых разных, — и о политике, и о стихах, и о счастье, шуточных (Л. Я. обладала неподражаемым чувством юмора, всегда требовала, чтобы ей рассказывали свежие анекдоты) и серьезных. Размышляя о романе Пруста, мы могли заняться «исследованием» любви или, говоря о «Форели» Кузмина, коснуться проблемы индивидуалистического сознания.

Как-то в ноябре 1986 года я заехал к Лидии Яковлевне вернуть рукопись «Возвращение домой». Л. Я. поинтересовалась, как мне понравилось ее эссе, и я, пытаясь суммировать свои впечатления, начал говорить о соотносении этой прозы с Прустом, даже, точнее, с «Любовью Свана», и о различиях, которые, может быть, еще заметнее сходства.

Я говорил об экономности средств и многообразии внутренних связей, о емкости формы, отличающей ее записи от Пруста, о том, что ее произведения выглядят более суггестивными, интеллектуально «заряженными». Она засмеялась, поблагодарила и возразила, что форма гигантского, разворачивающегося на протяжении многих томов, вовлекающего в рассмотрение огромный материал романа была совершенно необходима Прусту: «Ведь в этом все дело, это и есть поиски утраченного времени». Лидия Яковлевна, правда, тут же заметила, что «утраченного» — «поэтизация» переводчиков. У Пруста — проще и ин-

тереснее: «В поисках потерянного времени». Вот человек терял, терял, а потом попытался найти и написал книгу.

Она еще долго рассказывала о том, как строится этот роман, какие части его не переведены на русский и что в них. По ходу дела речь зашла о последней книге — «Обретенное» (или найденное) «...время», где, по мнению Л. Я., наблюдается уже явная деградация.

— Он, знаете ли, был сильно болен, понимал, что умирает, и торопился довести работу до конца. За исключением финала, который, как известно, был написан раньше, эта часть очень сумбурна, и потом, там уже проступает настоящая патология: гомосексуалистами оказываются решительно все, за исключением разве одного автора... Насколько это автобиографично?.. Вопрос сложный. Например, известно, что образ Альбертины связан с секретарем Пруста, неким Альфредом, которого тот держал в своем доме так же, как Марсель Альбертину в «Пленнице».

— Вам не кажется, что амбивалентность Пруста наложила отпечаток на его любимую идею «ускользания» — идею вечной тщетности наших надежд на обладание?

— Да, безусловно. Но ведь бисексуалами были и вполне счастливые люди, отношение которых к миру не укладывалось в прустовскую схему ревности. У Пруста же это главное чувство, только и делающее возможным и любовь, и вообще всякое стремление человека. Ценностью для него является лишь то, чем он в данный момент не обладает. Обладание же сразу делает предмет страсти ненужным, скучным.

— А это потому, что Пруст — чувственный человек.

— Чувственный, гм... Пожалуй, но его книга вся проникнута глубочайшим интеллектуализмом. Ведь весь метод его строится на своеобразном объяснении мира. Собственно, там различные типы объяснений. Есть и простейшие, когда он по отдельным деталям понимает что-то о психологии или причинах поведения своих героев. Но это было и до него. Гораздо важнее то, что, пользуясь конкретным человеком или событием как толчком, он совсем от них уходит, начиная рассуждать о явлении в целом, например, о смерти или ревности... Получается, что весь роман представляет собой единое движение мысли.

— Это так, Лидия Яковлевна, но знаете, интеллектуальность Пруста всегда оставляла у меня странное впечатление. Дело в том, что его, в сущности, совершенно не интересует результат рассмотрения. Тут своеобразное интеллектуальное чревоугодие. Пока идет процесс наблюдений, он получает удовольствие, конечная же цель — ничто. Любой вывод, любое найденное определение словно бы не затрагивает автора, он их сразу же бросает для новой увлекательной погони. Здесь опять действует механизм «ревности — скуки». Интеллектуальное движение интересно лишь постольку, поскольку, пока оно длится, мыслитель может испытать наслаждение. Кстати, это с неизбежностью должно было привести к грандиозной многоотомной форме циклически развертывающегося повествования. Он просто не может остановиться, делая все новые и новые витки, используя этот найденный им чудесный способ вторичного чувственного переживания жизни. Удваивает, утраивает, удесятеряет.

У вас, кстати, — иначе. Вы человек интеллектуальный, кроме самого движения мысли вас волнует еще и результат, который должен послужить фундаментом для дальнейшего рассмотрения. Здесь различие в отношении к ценностям. Для интеллектуала ценностью является обретенное, то, что переведено им из разряда непонятого в разряд понятого. Отсюда, между прочим, и иное отношение к жизни, в частности, механизм «ревности» не работает. Я не знаю, способствовала ли нетрадиционная сексуальная ориентация чувственности Пруста, но для «ревности» она просто необходима. Ведь это же идеальный вариант: все время стремиться, не достигая.

— Ну да, ведь при такого рода отношениях связь не может кончиться ничем: ни семьей, ни рождением ребенка, ни устроенным бытом. И заметьте,

ведь у Пруста любовь всегда направлена на недостойных. Сван увлечен ничтожной Одеттой, Шарлюс — мерзавцем Морелем. Марсель — Жильбертой, затем герцогиней Германтской, тоже порядочной стервой.

— А это обязательно, иначе, если речь идет о равных, нет антиномии, следовательно, и стимула — ревности.

— Причем любопытно, что любовь по Прусту — это всегда чувство однонаправленное еще и потому, что ни один из любящих не желает вмешиваться во внутреннюю жизнь предмета своей страсти, не пытается его как-то переделать, изменить. Создается впечатление, что этим влюбленным вообще не важно, в кого они влюблены, — лишь бы разыгрывалась комбинация: погоня — ускользание. Тут, кстати, вы, Алеша, не правы, связывая модель ревности Пруста с амбивалентностью. Например, у Кузмина действуют другие механизмы. Он, напротив, склонен возвышать объекты своих стремлений, и, кажется, у него достигнутое не становится скучным.

— Это потому, что Кузмин не чувственный, а нежный. Отношение же к жизни у него интеллектуальное.

— Пожалуй... Во всяком случае, в его поэзии интеллектуальный момент имеет большое значение. Так что же, получается, что говорить о чувственности или интеллектуальности можно лишь в смысле отношения к ценностям? Хм... любопытно!

Лидия Яковлевна, довольная разговором, откидывается назад в широком зеленом кресле. Ей явно доставляет удовольствие моя задиристость и увлекательная парадоксальность выводов, которым она не очень-то склонна доверять, по опыту зная, как нагромождения отдельных догадок и интуиций начинают при серьезной проверке рассыпаться в пыль. Впрочем, далеко не всегда разговоры с ней приобретали такой интеллектуально-игровой характер.

Я перечитываю сейчас записи Л. Я. — и сталкиваюсь с каким-то материализованным безумием жизни. Передо мной свидетельства высочайшего духовного наполнения бытия — грандиозная жадность и полнота видения, бескомпромиссная последовательность и одновременно диалектическая широта мысли, интеллектуальная страстность и чувственная аналитичность. Куда уж больше! Этот мир обдуман, пережит и запечатлен. Казалось бы, опыт проделан, приобрел завершенные формы, и бессмысленно повторять его, тем более в ухудшенном, неряшливом виде.

Но вот Лидии Яковлевны нет (как нет множества других жизнелюбцев и «осмыслителей»), а мы идем по тому же самому кругу, лишь отчасти переживая и понимая то, что уже было пережито и понято. Ощущение невнятной бесцельности происходящего мешается с чувством какой-то странной оправданности — тебя, чужого прошлого, мира в целом. Оправданности именно в этом чтении, в прикасании к явленной подлинности мысли и жизни. Ощущение столь достоверное, что невольно спрашиваешь: уж не *оттуда* ли задается вопрос? И кем?

Лидия Гинзбург была атеисткой. И в то же время как-то язык не поворачивается назвать ее неверующей. Я попробую объяснить почему.

Она любила вспоминать пушкинскую дневниковую запись 1821 года о его разговоре с Пестелем: «Сердцем я атеист<sup>1</sup>, но разум этому противится». Когда разум так одухотворен, я бы сказал, так *осердечен*, как это было в случае Л. Я., когда сознание во всей своей полноте так совпадает с образом человека, трудно уже разделять.

Она как-то по-особому остро и мужественно умела помнить о смерти и никогда не сбрасывала ее со счетов. В эссе «Мысль, описавшая круг» Л. Я. прямо сказала о «теме понимания смерти... необходимой для понимания, может быть, для оправдания жизни»<sup>2</sup>. Эти слова паразитительно перекликаются с

<sup>1</sup> Л. Я. так цитировала по памяти. В записи Пушкина от 9 апреля 1821 года, сделанной по-французски: «matérialiste».

<sup>2</sup> Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. Л., 1989, стр. 432.

фразой Мераба Мамардашвили: «Смерть, если мы сопрягли себя с символом, есть способ внесения в жизнь завершенных смыслов, внесения в жизнь бес-смертия. Если что-то завершилось, то со мной ничего не может случиться»<sup>3</sup>.

У Лидии Гинзбург есть несколько почти точных повторений этой мысли: «Понимание смерти возможно, когда жизнь осознается как факт истории и культуры. Как биография. А биография — структура законченная и потому по самой своей сути конечная. Тогда жизнь не набор разорванных мгновений, но судьба человека. И каждое мгновение несет в себе бремя всего предыдущего и зачаток всего последующего»<sup>4</sup>.

Интересно, что при атеистической установке Лидия Яковлевна в этой работе как бы сбивается на почти религиозные формулы. Так, включенность человека в единый исторический поток ближе всего к христианскому пониманию, когда отдельная жизнь — лишь прообраз и часть большой человеческой истории, которой заранее назначено исполнение сроков (что, заметим, и придает процессу некую целостность, осмысленность, завершенность).

Поиск смысла, настойчивое стремление докопаться до значения явления (ну хотя бы значения собственного творческого усилия) — поразительное свойство Лидии Гинзбург. Поразительное еще и потому, что с точки зрения индивидуалистического сознания, сбитого с толку имманентностью ценностных установок, — противоестественное.

Имманентного человека мучают внеположные ценности, вернее, их отсутствие. Парадокс, на который обращает внимание один из героев повествования «Мысль, описавшая круг». Но как похожа такая ситуация на тертуллиановское «верую, ибо нелепо», на кьеркегоровский парадокс веры. Возникает ощущение, что атеизм еще не есть неверие. Атеизм — лишь начальная установка сознания. Неверие начинается при соединении атеизма с равнодушием, когда для сознания не остается уже никакого выхода, кроме бесплодного релятивизма.

«Человек не понимает, не приемлет, однако не возражает... Это установка бессвязной импрессионистической души, с подсознательным, с бессознательным, запутанной между прошлым и настоящим, между памятью и забвением и вовсе не уверенной в том, что она существует. Ей дано непосредственно лишь хаотическое, неизвестно кому принадлежащее чувство жизни; некая до безумия непонятная сущность, которую человек этот носит в себе, относительно которой вся его сознательная душевная жизнь — только недостоверное явление... При всей субъективности это сознание, в сущности, неиндивидуалистично, — оно не смеет уже удивляться собственной конечности»<sup>5</sup>.

Это написано в конце 30-х годов, то есть задолго до «Анатомии деструктивности» Эриха Фромма, введшего в обиход понятие кибернетического человека, чьи некрофильские реакции отягощены шизоидным комплексом расщепленности эмоции и сознания. Только такая расщепленность (хаотической, по определению Лидии Гинзбург, души) и позволяет существовать, жить, любить без понимания, без уверенности, что это именно ты, именно живешь, именно любишь.

Я не согласен только с определением такого сознания как неиндивидуалистического. Напротив, оно представляется крайней стадией индивидуализма, пожирающего самого себя, вытесняющего человека в пустоту даже с того плацдарма, который вначале представлялся незыблемым.

«В отличие от физического наслаждения, от материального блага ценности невыводимы из замкнутой личности. Они некий сублимированный идеальный опыт, не всегда абсолютный, но и в своей относительности всегда имеющий всеобщее значение. Самые непосредственные, неоспоримые, неразложимые свидетельства о смысле и ценности человек получает в актах любви и

<sup>3</sup> Мамардашвили М. К. О философии. — «Вопросы философии», 1991, № 5, стр. 7.

<sup>4</sup> Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом, стр. 475.

<sup>5</sup> Там же, стр. 470.

творчества». И продолжу цитату: «В любви — величайшая общедоступность самых, казалось бы, редких вещей — пафоса, блаженства и, что особенно важно, — простота и бытовая общедоступность жертвы»<sup>6</sup>.

Мы почти уже перешли на библейскую терминологию. И это не из-за злонамеренного желания подогнать цитату под заранее выстроенную концепцию. Просто речь о смысле... А смысл, по словам Лидии Гинзбург, — «это и есть структурная связь, включенность явления в структуру высшего и более общего порядка... Структуры иерархического ряда жизнеосмысления, вмещающая друг в друга, набирают высоту. Так что смысл и ценность образуют неразложимое переживание»<sup>7</sup>.

И только целомудрие имманентного человека препятствует появлению в подобном контексте слова «Бог».

Преодоление индивидуализма вовсе не в хаотическом импрессионизме расщепленной души, не могущей соотнести способ жизни со своими теоретическими установками. Преодоление индивидуализма демонстрирует Лидия Яковлевна Гинзбург, самой своей «Мыслью, описавшей круг» как раз круг и размыкающая.

Вот цитата: «Как возможен вообще человек с имманентным переживанием ценности? То есть как может эгоцентрик найти в своем опыте предельную для него ценность, не только не выводимую из наслаждения, но почти никогда не совместимую с наслаждением? Только если самая форма прирожденного каждому переживания ценности высвободилась и сама для себя подыскивает содержание»<sup>8</sup>.

Форма переживания ценности в данном контексте — это любовь, творчество, привязанность к своему делу, иными словами, дар, который человек застает в себе как нечто высвободившееся, большее его самого. И эта странная противоестественная имманентная внеположность, которая для «иудея соблазн, а для эллина безумие» (то есть соблазн для воли и безумие для разума), переживается душой как величайшая достоверность — прекрасная тайна жизни, намек на нечто большее.

Последние строки «Мысли, описавшей круг» вообще звучат как замечательная проговорка верующего человека: «Недостаточно равнодушные втайне надеются на то, что форма свидетельствует о содержании»<sup>9</sup>. Проговорка человека, готового к встрече с... и дальше уточнять не требуется. Потому что свидетельствующая о содержании форма подсказывает: истинно прекрасное не может быть внутренне пустым, само мое стремление за пределы природной обусловленности обнаруживает нечто, скрывающееся за этими пределами, намекает на некий трансцендентный опыт.

Это то, что другой замечательный мыслитель, религиозный философ Яков Друскин, назвал верой, которая не верит, — самой сильной верой, способной творить чудеса. На эстетическом уровне эти чудеса и явлены нам прозой Лидии Яковлевны Гинзбург.

С.-Петербург.

<sup>6</sup> Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом, стр. 464.

<sup>7</sup> Там же, стр. 463 — 464.

<sup>8</sup> Там же, стр. 480.

<sup>9</sup> Там же.





---

---

# О П Ы Т Ы

ЛЮБОВЬ СУММ

\*

## ОДИССЕЙ МНОГООБРАЗНЫЙ

*Юрию Павловичу Дикову.*

«**М**энин азйде теа», «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына» — первый звук «Илиады», первый звук нашей поэзии, и все же еще не совсем начало. Началу требуется время, чтобы осуществиться. «Илиада» — еще не вполне «наша» поэзия, свет, излившийся в первом акте творения, а не светила, возникшие на четвертый день. Человеческому восприятию необходимы светила. Песнь о гневе Ахилла вся почти принадлежит традиции, индоевропейскому миру, и мы можем радоваться этим древним связующим узам, повторяющимся формулам, «неувядаемой славе», находящей свой точный аналог в «Махабхарате», огненному блеску успехов, аллитерациям, передающим грохот оружия, конский топот и морской прибой (втрое больше строк оркестровано на «р» в этой поэме, нежели в «Одиссее»), мы можем праздновать симметричный строй «Илиады» — но истинным началом, не только светом, но и светочем европейской поэзии, станет «Одиссея» — утрата и узнавание, изменение и сохранение себя. Римляне знали это: первой книгой для них стал неуклюжий, топорный перевод «Одиссеи» — второй греческой, но первой европейской поэмы.

«Ветер шелестит страницами вечных книг», по-разному открывая их для каждого поколения. На чем-то нынче нам откроется «Одиссея»?

### Имя и тень

Гилберт Кит Честертон напоминал, что при всем соблазне написать на старинную книгу рецензию так, словно она только что вышла в свет, это не удастся — и потому, что нам с ее автором не совпасть ни во времени, ни во вкусах, и потому, что классическое произведение несет в себе семена будущего. Не выйдет у нас разговора о Гомере так, словно после Гомера ничего не было. И все же как бы хотелось вывести первую строку отзвука: «Новая поэма мистера Гомера, давно заслужившего общее признание своей „Илиадой“»... Хочется написать так еще и потому, что на расстоянии в без малого три тысячи лет легко перепутать людей и события разных столетий, не то что разных поколений. Для нас обе поэмы Гомера существуют от века. Как ощутить то особое состояние, тот краткий промежуток времени, когда поэзия уже началась, но еще недовыполнилась, когда уже была «Илиада» и не было «Одиссеи»?

«Андра мой эннепе, муса, полютропон» — «Мужа мне воспой, муза, многообразного». Не стихийная страсть станет предметом этой поэмы, не «гнев-мэнин», как в «Илиаде» (с «рифмой» «оуломенен-гибельный» — в следующей строке), а человек — не одно лишь качество, целиком поглотившее и Ахилла, и его судьбу, а весь человек.

И богиня-муза здесь названа по имени, и сам поэт сразу же вошел в свою поэму, притаился в ней хоть и безударным «мне». Человек, о котором пойдет

---

Сумм Любовь Борисовна окончила классическое отделение филфака МГУ. Переводчик произведений Г. Честертонa, Франциска Ассизского и других авторов. См. ее эссе «Римский стык» («Новый мир», 2000, № 11).

рассказ, и человек, открывающий этот рассказ, — рядом, в одной стопе гекзаметра. Поэт говорит с музой, человек говорит с богами — и в этом диалоге рождается судьба Одиссея.

Одиссей еще не назван по имени. В этом отношении его судьба еще решается, его литературная судьба. Кто будет воспет? «Андра полютропон», «муж многообразный», может быть буквально кто угодно — и в этом тоже его многообразии. Какое лицо, какая судьба *на этот раз* возникнет за общим обозначением? Постепенно проступают детали: «который много бед претерпел, после того как разрушил священную Трою», «видел многие города и людей и нрав их изведал», «много выстрадал бед в море, спасая свою жизнь и судьбу спутников», — героем поэмы станет человек, много вынесший, многое повидавший и тесно связанный с другими людьми (как звуки, составляющие эпитет «полютропон», многократно повторяются в соседних словах и строках, так в шестой строке появится анаграмма «етароус еррусато» — «спасая спутников»).

На протяжении двадцати строк нанизаны подсказки «для тех, кто знает»: преступление спутников, любовь Калипсо, в 18-й строке названа наконец отчизна — Итака, но только в 21-й поименован сам Одиссей. Так рождается литература. Автор и герой нащупывают друг друга, мы присутствуем в момент выбора. И даже когда этот выбор уже сделан поэтом, появляется вдруг иная возможность: боги, собравшиеся на совет, заводят разговор вовсе не об Одиссее, а об участии Агамемнона, его убийца и мстителя-Ореста, и только вмешательство Афины предотвращает превращение «Одиссеи» в «Агамемнонию».

«Агамемнония» так и останется подспудной, нереализованной возможностью. В «Одиссее» пятикратно заходит разговор о судьбе полководца, изменнически убитого женой, о нем вспоминают на совете богов, у его брата Менелая, во дворцах его соратника Нестора, и в подземном царстве Одиссей повидается с Агамемноном, и в самом конце поэмы, когда Одиссей восторжествует над наглыми женихами, в обители умерших души их встретит царь Агамемнон и вновь позавидует Одиссею, мужу верной жены.

Какой прием, мистер Гомер, какой прием! Кто способен на такое — в вашем ли времени, в нашем ли и во все века, что пролегли между нами? Не вставная новелла, до конца исчерпанный и все-таки подчиненный центральной теме сюжет, не намеки, дразнящие воображение читателя, — а за ним-то, может быть, ничего и не скрывается, — а история, полностью рассказанная в нескольких строках и при всей малости уделенного ей в поэме пространства несомненно равновеликая «основному» сюжету. Мучительная проблема зависимости персонажа от автора, произвола автора по отношению к персонажу преодолена: мы видим, что судьба Агамемнона не зависит от Гомера, и верим, что не зависит от него и судьба Одиссея. В «Илиаде» герои торжествовали, терпели поражение и погибали по воле богов или в силу судьбы, в начале «Одиссеи» мы видим богов, растерянных перед своеволием человека, перед тем, на что дерзает он «сверх судьбы».

Человек свободно выбирает свою судьбу, поэт — своего героя. Но если персонаж, как самодостаточный человек, свободен от капризов автора, то тем больше зависимость реального героя от поэзии: воспетый Одиссей останется в нашей памяти, невоспетый Агамемнон соскальзывает в забвение.

Поэзия в «Одиссее» начинает осознать свое право. Поэт оказывается наиболее священным, наиболее близким к богам существом. Истребляя захвативших его дом женихов, Одиссей отказал в пощаде жрецу, но помиловал поэта:

Сам сожалеть ты и сетовать будешь, когда песнопевца,  
Сладко бессмертным и смертным поющего, смерти предашь здесь.

В «Илиаде» поэзия, как и визуальное искусство, лишь *воспроизводит* события: Ахилл поет славу героев, Елена заполняет гобелен образами Троянской войны; в «Одиссее» искусство может, в свою очередь, *повлиять на события*.

Агамемнон поручает присматривать за своей женой певцу, и лишь с его смертью Клитемнестра приступает к выполнению своего зловещего плана — аэд может не только создать «Агамемнонию», но и препятствовать развитию ее сюжета в жизни. Так и Пенелопа, «любимая всеми жена — не Елена, другая», не отражает на своей ткани события, а меняет их, тайком распуская по ночам нити на незаконченном саване, заставляя женихов ждать, покуда не будет завершена ее работа.

В «Одиссее» звучит и первая литературная критика. «Люди любят послушать новую песню», — говорит Телемах. «Новая песня» — это песня об участи его отца. В «Илиаде» время героев отделено от времени певца, забвение уже поглощает их имена и подвиги — Гомер взывает к Музе, моля напомнить хотя бы имена царей. В «Одиссее» герои и воспевающие их поэты становятся современниками.

Возникает обратная связь между поэзией и судьбой: Одиссей, персонаж Гомера, встречается с Одиссеем — героем другого певца. Нищий, безымянный странник, занесенный волнами к феакам, просит на пиру славного Демодока спеть о том, как «божественный Одиссей» придумал погубившую Трои хитрость — деревянного коня. Демодок исполняет его желание, и Одиссей «тает», исходит слезами, «плачет, словно жена, на глазах у которой погибает муж», — плачет и называет свое имя.

Плачет — вспомним, — как плакали троянские жены, видевшие участь мужей с городской стены.

Самому герою не пришло бы в голову сравнивать себя с женщиной, это делает за него поэт, мы же, только что слышавшие о гибели города, поневоле увидим в этих вдовах Андромаху, Гекубу, Елену. «Илиада» начинает сдвигаться в сторону «европейской» литературы именно благодаря троянцам. Что-то произошло на стыке индоевропейской и малоазийской культуры, что-то случилось с победителями-ахейцами после десятилетней войны — троянцы ли, Гомер наделили их (пусть в зачаточном еще виде) способностью откликаться на чужое горе, и героические ценности — отвага, сила, жестокость — хоть отчасти вытесняются любовью к жизни, привязанностью к своему месту, семейственностью. Потом-то греки сочтут все это собственными качествами и в позднейшие века будут путаться: не был ли Гомер троянцем или троянцы — греками? И были ли греками те ахейцы и данайцы, что устремились под Трои? У греков историческая память прерывиста.

Убив Гектора, отомстив за Патрокла, Ахилл и этим не утоляет свой гнев: он привязывает тело Гектора к своей колеснице и таскает его вокруг надгробного кургана. Этой нехитрой забавой он тешит двенадцать дней, пока старик Приам, собравшись с духом, не решается наконец явиться в греческий лагерь и молить Ахилла о милосердии.

«Илиада» строится симметрично: в начале поэмы отец выкупал попавшую в плен дочь — и едва избежал расправы; в конце Приам, царь ненавистной Трои, отец Париса, виновника войны, отец этого самого Гектора, убийцы Патрокла, приходит с выкупом к Ахиллу. Здесь происходит великий перелом, здесь ахейцы становятся эллинами, здесь начинается наша история. Припав к ногам Ахилла, Приам молит: «Вспомни отца своего, богам равный Ахилл: он мой сверстник», — и Ахилл отвечает ему слезами.

Да, были у эллинов основания подозревать Гомера в пристрастности и считать его троянцем, ведь греки, слушавшие, а потом и читавшие «Илиаду», — уже не те греки. Они, как Одиссей, «растаяли».

В основе культуры лежит утрата, и различие между культурами, может быть, и заключается в том, как они видели, как переживали утрату. Город или сад, близость к Богу или власть над природой, бессмертие, единый язык, человеческие отношения — что оставлено в золотом веке? Есть своя память у Израиля, своя потеря — у Рима. Маялись ощущением какой-то нынешней не-правильности, невозвратности былого и греки, но не было ясного осознания этой утраты. Нет единого греческого мифа об изначальном, правильном со-

стоянии, нет постоянного проживания этой беды. Гесиод скажет о золотом веке, без войн, без труда, Пиндар — об Островах Блаженных, с вечным танцем и неувядающей юностью, Платон придумает Атлантиду, но единого мифа нет, и, вероятно, именно поэтому грекам так и не удалось превратиться в единую нацию — ни в пору величайшего расцвета, ни в Средние века. Один из древнейших народов Европы государственность обрел лишь в Новое время, в числе «молодых наций».

Что же такое утратили греки, что не давало им даже постичь эту потерю? Не память ли?

Мифы Платона — огромный затонувший остров, цельный человек, рассеянный богами надвое, пещера, от обитателей которой скрыт истинный свет, — не тоску ли по прежнему единству, по принадлежности к какой-то большей цельности выражают они? И сам Платон упрекает эллинов как раз за «короткую память» — три-четыре поколения предков насчитывают они, а там уже — прародитель Зевс. На самом-то деле от богов нас отделяет цепочка в несколько сот поколений, но мы все забыли.

Потеря памяти — печальнейшая из утрат, ведь человек как бы и не ощущает ее.

Одиссей все время на грани этой утраты. Отвадавшие лотоса спутники Одиссея перестают стремиться домой, другие его сотоварищи, подвергшиеся чарам Цирцеи, едва не остались навеки в животном облике. По пути домой Одиссей теряет соратников, теряет добытое богатство, теряет корабли — теряет свою биографию, не может отыскать дорогу на Итаку, а когда вернется спустя годы домой, то под чужим именем. Но главный его противник — время.

В «Илиаде» все подвиги совершались на узком клочке земли под Троей. Время в героической поэме определялось событиями, день наиболее ожесточенного сражения растянулся настолько, что богам пришлось самим опустить на землю ночь, точно занавес; когда же особых событий не наблюдалось, совокупность дней обозначалась одной строкой или даже одним словом — «эннемар», «девятиднев». В «Одиссее» время обрело самостоятельность и стало ощущаться как величайшая загадка, как колдовство. Цирцея может изменить человеческий облик волшебным напитком, но и без ее зелья каждый человек меняется во времени. Меняется — и остается собой?

Те, кто ждут на Итаке, не знают, каким вернется к ним — если вернется — Одиссей.

...С ним же,  
Может быть, сходен и видом уж стал Одиссей, изнуренный  
Жизнью трудной: в несчастьи люди стареются скоро.

Как только Одиссей ступает на берег Итаки, он возвращается из заколдованного времени — военного похода, героики, мифа — в обыденное, человеческое. Богиня Афина «проливает на него безобразную старость». Одиссей не превращается в другого человека, но и на себя прежнего он не похож. Для узнавания требуется примета, то есть память близких.

Тень Агамемнона неотступно присутствует в «Одиссее» — призрак, которого беспмятность унесет в небытие, память — наполнит жизнью.

Одиссей же сидит на берегу острова Калипсо, мечтая хоть издали увидеть «дым отечества». Агамемнон — тень, дым, вьющийся над погребальным костром; Одиссей, стремясь к дыму отечества, начинает путь от тени к полноте бытия, к имени, родственным узам, памяти.

### Одиссей и Протей: отказ от метаморфозы

Заплакав, Одиссей вновь становится Одиссеем. «Теперь я назову свое имя», — говорит он царю. Обретение себя начинается с имени.

«Я Одиссей, превзошедший хитростью всех смертных, слава моя восходит до небес». Он называет некое постоянное свое качество. Это еще «Илиада» — Ахилл вспылчив, Одиссей хитер.

«Я обитаю на Итаке... и нет для меня ничего слаще этой земли». Две только строки Одиссей посвятил своей хитрости и славе, восходящей до небес, десять — каменистой Итаке, на которой нет места даже для конского пастбища. В отличие от тех героев Одиссей — не сам по себе, он становится Одиссеем только вместе с Итакой.

Я же не ведаю края прекраснее милой Итаки.  
Тщетно Калипсо, богиня богинь, в заключении долгом  
Силой держала меня, убеждая, чтоб был ей супругом;  
Тщетно меня чародейка, владычица Эи, Цирцея  
В доме держала своим, убеждая, чтоб был ей супругом, —  
Хитрая лезть их в груди у меня не опутала сердца;  
Сладостней нет ничего нам отчизны и сродников наших.

Кирка-Цирцея касается Одиссея своим жезлом: «Иди, хрюкай вместе со свиньями». Вокруг вместо человеческих лиц — свиные рыла, спутников героя волшебница уже превратила в домашний скот. Но Одиссей не поддается колдовству, и Цирцея отступает в испуге: «Или ты — Одиссей полютропос, что у тебя в душе неизменный нус?»

У ахейцев не было единого понятия «душа». «Псюхе», психея, вопреки современной терминологии, почти не проявляла себя при жизни — это посмертная душа, призрак, обитающий в Аиде. «Тюмос», дух, наполняющий легкие, податлив эмоциям — это он побуждает человека то ко гневу, то к печали, то к радости. «Нус» ближе к нашему «разуму» (впоследствии его обожествит в качестве правителя вселенной Анаксагор), это постоянное внутреннее качество, которое вместе с тем предполагает и внешнее проявление, — так, Одиссей, лишь мимоходом посещая различные народы, успел узнать их «нус», то есть «обычай».

«Неизменный нус» Одиссея предполагает сохранение не только разума, но собственного облика (превращенные в свиней спутники обливаются слезами, то есть человеческого сознания они не утратили, однако «нус» у них уже не тот). Для греков форма и содержание нерасторжимы, и греческая «идея», превращенная в термин Платоном, первоначально обозначала «внешний вид», нечто «видное».

Удивительно, как эта авантюрная повесть противится метаморфозам. Казалось бы, жанр обязывает — побольше чудес, спецэффектов, и ведь Одиссей ничем не скован в своем рассказе, он один уцелел, свидетелей нет, так что, вполне вероятно, кое-что он и приврал в повести, рассказанной феакам, — и все же он не переступает определенную грань, поэзия не превращается в кошмар с расплывчатыми формами. На всю поэму имеется одно лишь волшебное превращение — на острове Цирцеи, — но и перед ним Одиссей устоял и спутникам вернул прежний образ.

«Неизменный нус» Одиссея оберегает его не только от внутренней, но и от внешней метаморфозы. Что же означает в этом контексте эпитет «полютропос»? Понимание его затруднено, поскольку у Гомера он встречается всего дважды — здесь и в первой строке «Одиссеи», — в художественной литературе он отсутствует и возникает гораздо позже в диалогах Платона и в научных трактатах преимущественно медицинского и биологического характера, в паре с «пойкилос»; словари также предлагают в качестве синонима «пойкилос», то есть «пестрый», «многовидный», «полиморфный», а затем и «псудес», «лживый», — вновь хитрость становится определяющим качеством Одиссея. Первая часть эпитета присутствует во многих современных терминах в виде «поли» («много»); проблему представляет в особенности второй компонент сложного слова — «тропос» от «трепо», «поворачивать, изменять». Слово «тропос» означает и буквально «поворот», и «прием» или «способ действия», и

«поэтический образ» («троп»), и изменение, принятие нового облика. Если мы примем первые два значения, «полютропос» окажется синонимом постоянных эпитетов Одиссея — «изворотливый», «многохитростный». В таком случае, мы недалеко ушли от «Илиады» — хитрость есть некое неотъемлемое свойство Одиссея, и оно заявлено как в начале поэмы, так и в тот миг, когда он устоял перед превращением, сохранил свое постоянное качество. Если же мы примем значение «многообразный», оно может показаться на редкость неуместным в ситуации, когда Одиссей как раз отказывается принять новый облик.

И все же есть основания именовать Одиссея «многообразным» — он несколько раз сочиняет себе новое имя, новую биографию, доходя в этом процессе почти до самоотрицания («Никто» у Полифема), теряя способность узнавать ту самую Итаку, с которой связывает тождество своей личности, — выйдя из пещеры нимф, Одиссей в тумане принимает родной остров за еще одну неизвестную землю и, спеша в страхе укрыться за очередной маской, сочиняет для повстречавшейся ему (и также не узнанной) Афины-покровительницы очередную побасенку. Тогда-то Афина и превратила его в старца.

Вместе с тем эти метаморфозы не только не оказываются необратимыми — напротив, Одиссей выходит из них еще в большей степени самим собой: отплывая от берега циклопа, Одиссей кричит ему: «Твой единственный глаз вырвал герой Одиссей», встреча с Афиной завершается не только узнаванием Итаки, но и разработкой плана окончательного возвращения, вхождения в свои права. В третий раз Одиссей сочинит для свинопаса Эвмея историю, уже более близкую к истине, — в ней он окажется спутником Одиссея; в последний раз, во дворец к Пенелопе, он также придет «человеком, знающим что-то об Одиссее». На Итаке притворство уже не отдаляет Одиссея от собственной личности, но приближает к ней. Так и тень Агамемнона трижды появляется в чужом, «приплетенном» к основному сюжету рассказе, в четвертый раз — в царстве мертвых, в Аиде, а в завершении поэмы Агамемнон предстает чуть ли не одним из владык загробного мира. Он тоже, на свой лад, движется к более полному бытию. Быть собой и Одиссей, и Агамемнон могут лишь в своем уделе.

На Итаке Одиссей осуществляет себя во всей полноте человеческих связей. Странная вещь: хотя в первых же строках поэмы анаграмма «ерусато етароус» показывала, как важны для Одиссея его спутники — и без них он не вполне Одиссей, — по ходу повествования они превращаются в «пушечное мясо». В «Илиаде» названы по имени даже те, кто лишь на несколько строк появился в воинственной поэме, чтобы тут же пасть от копья, но Одиссей в своем рассказе забывает упомянуть имена людей, с которыми десять лет сражался бок о бок и по меньшей мере год провел в плавании: еще стольких-то сожрал Полифем, а шестерых выхватила Сцилла, и они «простирали дрожащие руки», умоляя Одиссея о помощи, но и их имена забыты. Названы лишь ближайšie помощники да нелепо погибший Эльпенор — самый молодой из спутников; напившись, он уснул на крыше дворца Цирцеи и спросонок свалился оттуда. Эльпенор поименован, быть может, как раз потому, что этот пир у Цирцеи стал поворотным моментом в плавании Одиссея. Устояв перед колдовством Цирцеи, не подвергшись метаморфозе, Одиссей и его спутники обрели надежду на возвращение. Колдунья помогает им, указывает — пусть окольный и тяжкий, через Аид — путь домой.

В пещере людоеда Одиссей отрекается от своего имени, а спутники, буквально превращающиеся в мясо, и вовсе теряют личную судьбу. Проклиная ослепившего его героя, Полифем взывает к своему отцу Посейдону: «Пусть он никогда не вернется домой, если ж судьба ему вернуться, пусть вернется один, без спутников, и в доме своем встретит горе». У Одиссея может быть «судьба» вернуться. У спутников своей судьбы нет, они — лишь часть его беды.

Так выглядит дело в перспективе бесконечного морского странствия, и как часто повести о приключениях и космическая фантастика, в отличие от исторического романа и фэнтези, следуя образцу «Одиссеи», выделяют героя или группу героев, а все остальные отбрасываются по мере надобности, точно

балласт с тонущего корабля, точно ступени ракеты, способствуя продвижению вперед избранных. Но не Гомер строит так свое повествование, а рассказчик — Одиссей. Гомер показывает нам совершенно иную точку отсчета — Итаку.

Хотя боги уже приняли решение вернуть Одиссея домой, возвращение будет отложено до пятой песни. Действие тем временем переносится на Итаку. Прежде чем Одиссей двинется в путь, мы узнаем, что такое эта столь желанная Итака, и на собрании старейшин зазвучат имена воинов, отправившихся под Троию с Одиссеем, — имена сыновей, которых эти старцы оплакивают и спустя десять лет:

Первое слово тогда произнес благородный Египтий,  
Старец, согбенный годами и в жизни издевавший много;  
Сын же его Антифонт копьевержец с царем Одиссеем  
В конеобильную Троию давно в корабле крутобоком  
Поплыл; он был умершвлен Полифемом свирепым в глубоком  
Гроте, последний похищенный им для вечерняя пиши.  
Три оставались старцу...  
Но о погибшем не мог позабыть он; об нем он все плакал,  
Все сокрушался.

(Кстати, тем самым подтверждается и достоверность рассказа Одиссея о пещере Полифема — но в нем сын Египтия не назван по имени.)

Вот почему Одиссею насущна Итака, ибо там не забывают, там есть кому печалиться о нем.

Но Пенелопа, к себе возвратясь, там в светлых покоях  
Плакала горько о милом своем Одиссее, покуда  
Сладкого сна не свела ей на очи богиня Афина.

Узнав свою Итаку, Одиссей должен пройти через целый ряд узнаваний. Только сыну он открывается сам, ведь юноша, оставленный им некогда младенцем в колыбели, ни по каким приметам не мог бы опознать отца (кроме одной: этот незнакомец ведет себя именно так, как Телемах ожидал от Одиссея). Все остальные узнают Одиссея по тому или иному признаку, и этот признак для каждого свой.

Пес знает хозяина, его запах, не меняющийся несмотря ни на какие внешние изменения (даже если бы Афина превратила Одиссея в другого человека, запах скорее всего остался бы прежним — сцена возле дома свинопаса Эвмея, когда собаки лают на невидимую Афину, убеждает, что собачий нос проникает даже в хитрости богов). Няня помнит тело, которое она обмывала в детстве, шрам от раны, которую она же, несомненно, лечила. Чтобы утвердить себя в качестве хозяина дома, нужно согнуть лук, чтобы утвердить себя в качестве мужа, должно помнить о брачном ложе.

Одиссей на Итаке и впрямь становится полютропос, он многообразен, и его суть не может быть передана одним эпитетом, одним качеством. Он — хозяин Аргуса, воспитанник Эвриклеи, владелец лука, муж Пенелопы, сын Лаэрта, царь Итаки. Одиссей многообразный, имеющий в душе неизменный нус.

В «Государстве» Платона рассказывается, как выбирали себе новую долю прошедшие очищение «психеи». Души Агамемнона и Аякса облекались в тела льва, орла, но Одиссей выбрал жребий «простого человека». Последующие толкователи, и языческие, и христианские, видели в «Одиссее» притчу о странствии души. Так вот что такое Одиссей — «просто человек», чью личность составляет множество связей с другими людьми. Ради этого он возвратился, отказавшись для кратковечного земного союза — от бессмертия.

В каких бы формах ни представляла в сознании людей та утрата, потеря первоначального «правильного» состояния, бессмертие непременно составит часть ее. (В шумерском «Эпосе о Гильгамеше» тоска о бессмертии превращается в основной сюжет.) Греки придавали этому меньше значения, но, со

свойственным им экспериментаторским духом, проверяли и примеряли на себя всевозможные варианты бессмертия — все они выходили какими-то половинчатыми, неполноценными, а то и вовсе никчемными.

Бессмертием боги пытались наделить своих сыновей, богини — возлюбленных. Для одного избранника богини бессмертие обернулось вечной старостью, для другого, сохранившего юность, — вечным сном.

Пелей, отец Ахилла, за близость с Фетидой расплатился гибелью своего рода, продолжившегося только в рожденном троянской пленницей незаконном внуке. Горькие жалобы Ахилла на свою кратковечность и его право (единственного среди героев «Илиады») выбирать между краткой и славной жизнью и долгим существованием в безвестности — все, что осталось от упущенного им наследства (а ведь если бы Фетида стала женой Зевса или Посейдона, рожденный ею сын мог бы править миром).

Полидевк, сын Зевса и брат Елены, разделил вечность со своим смертным братом Кастором. Даже Геракл получил только половину бессмертия — устойчивая версия предполагает, что кроме Геракла, пирующего среди богов, есть и тень в Аиде — и этот осколок бессмертия достался Гераклу страшной ценой: он прожил жизнь рабом, истребил свою первую семью, сам погиб от рук второй жены, не оставив детям царства.

У Гомера лишь один герой, вернее, одна супружеская пара удостоивается бессмертия: Менелай и Елена. В отличие от Полидевка, Елена и Менелай своим бессмертием не делятся, хуже того: если они становятся «неумирающими», то симметричная им пара, Агамемнон и Клитемнестра, брат Менелая и сестра Елены, превращаются в довольно агрессивных призраков (небывалый персонаж — тень Клитемнестры — появляется в трагедии Эсхила).

Единственная причина бессмертия Менелая и Елены — родство с Зевсом. Понять это довольно трудно, тем более что Зевс не спас в «Илиаде» даже любимого сына Сарпедона, не награждал бессмертием достойных мужей и женщин. Бессмертие Менелая и Елены не является наградой и даже не отличается качественно от их земной жизни — они перенесутся на Острова Блаженных от неторопливого размеренного течения жизни в золотом спартанском дворце, где египетское зелье позволяет забыть все печали (а с ними вместе и все человеческие отношения, ибо, пригубив этот напиток, человек будет смеяться, даже если у него на глазах умрет кто-то из близких).

И вот что удивительно: бессмертие Менелая посулил Протей.

Египетское божество, связанное с водой, изменчивое, как вода. Менелай крепко сжимал его в объятиях, пока Протей проходил через все свои метаморфозы, оборачиваясь львом, драконом, пантерой, вепрем, деревом, водой. Обретя наконец истинный свой образ, Протей указал спартанскому царю обратный путь, поведал о судьбе спутников, прорек такое вот бессмертие, не относящееся с земной жизнью, как вечность со временем, ведущее даже к некоему оскудению жизни.

Протея нередко выбирают в качестве символа литературы. Но нет, не водная стихия вещающего старца была колыбелью нашей литературы, не примерившиеся на краю земли острова забвения, а тот единственный остров. На возвратном пути от тени и дыма к памяти и узнаванию, к близким царь Итаки обретает право быть символом нашей поэзии. Не метаморфоза ведет европейскую поэзию, а метафора, вечность, заглядывающая в окошко времени, узнавание, что превыше бессмертия.

Ведь Калипсо предлагала Одиссею бессмертие. Он же сидел, печальный, на берегу ее острова, мечтая увидеть издали хотя бы «дым отечества», эфемерный этот дымок предпочитая вечной жизни. Он отказался от бессмертия, чтобы вернуться домой — не навсегда даже, ему предстоит вновь пуститься в путь, умилостивляя Посейдона, бродить по чужим странам с веслом на плече, пока сухопутный, не ведающий моря местный обитатель не спросит: «Что за лопату ты несешь на плече, чужеземец?» Бессмертие он променял не на спокойную жизнь на Итаке — на миг узнавания.



### Полет ласточки

Много написано о циклическом времени греков, об их неспособности вести счет годам и дням, выстраивать хронологическую последовательность, тем более — совмещать параллельные потоки времени. Круговратен по природе своей эпос. Герои бились и бьются и снова будут совершать подвиги, а что раньше, что потом — в общем-то, все равно. И нынешнему человеку нелегко преодолеть синдром возвращения, смириться с тем, что жизнь без него шла своим чередом. Каково же гомеровскому герою?

Мог ли Одиссей осознать, какие перемены ждут его дома, или издали, на войне, в морском странствии, все представлялось неподвижно-вечным — все так же мал и неразумен сын, молода и прекрасна жена, бодр охотничий пес? Но это застывшее время — не подобие ли бессмертия, которое Одиссей отверг?

Одиссей изначально, еще в «Илиаде», отличается от эпических персонажей, и не только тем, что не так неистово предан сражениям и славе и в поход пошел против воли, потому что уклониться от него мог лишь ценой жизни новорожденного сына, — Одиссей отличается тем, что видит издали конец войны. Для всех остальных осада Трои превратилась в постоянное занятие, альтернатива которому — все бросить и бежать домой, к женам и «неразумным детям» (которые давно уже стали разумными). Одиссей крепко помнит пророчество: Троя должна пасть на десятый год — и ждет исполнения сроков. Когда же десятый год наступает, а завершения войны так и не видно, Одиссей сам кладет ей конец, прибегнув к хитроумной уловке, совершенно не укладывающейся в существовавшую систему стратегических приемов.

Персонажи «Илиады» с легкостью раздают обещания «на после войны». Особенно свойственно это Агамемнону: и пленница Хрисеида состарится в его доме, и Ахилл получит в жены его дочь и подвластные города в приданое. Но «сейчас» под Троей и «потом» в Греции никак не соединены. Только Одиссей устремлен в будущее, вырастающее из настоящего. Все герои клянутся своим родом: «Да не зовусь я сыном Тидея, Атрея, Пелея, если я...» — и один лишь Одиссей клянется сыном: «Да не зовусь я отцом Телемаха».

Движешься ты или остаешься на месте, время продолжает свой бег. И к не покидавшему свой дом навевается ностальгия. Блаженному Августину загадка времени представлялась равной загадке собственной души. Ни о том, ни о другом мы не знаем: оно ли нам дано, мы ли ему, в нас ли заключено время и душа, или это нечто большее нас. Если «Одиссея» — притча о странствии души, о жизненном пути, то важно не преодоленное пространство — дорогá непрерывность жизни.

Достаточно ли узнавания, чтобы свести воедино разомкнувшиеся края времени? Телемах принимает Одиссея, однако младенец, оставленный в колыбели, вырос, так и не зная отца. У них может быть общее будущее, но совместного прошлого у них нет. Любуясь Телемахом, Одиссей не избавится от горечи о безвозвратных, врозь проведенных годах.

Даже с Аргусом его связывает больше воспоминаний — они успели еще поохотиться, прежде чем Одиссей ушел в Троянский поход. Но век собаки недолог — движение навстречу вернувшемуся хозяину оказалось последним в жизни пса. Прошлое есть, будущего не осталось. Рана не исцелена, края зарубцевались.

Что склеит этот провал во времени? Отказ от бессмертия, равенство с судьбами близких.

Калипсо предлагала Одиссею вечность — вечное настоящее, вне прошлого и будущего. Она сулила ему юность, а он выбрал старость: старость — будущее человека.

...И смерть не застигнет тебя на туманном  
Море; спокойно и медленно к ней подходи, ты кончину  
Встретишь, украшенный старостью светлой...  
Выслушав, умная так Пенелопа ему отвечала:

«Если достигнуть до старости нам дозволяют благие Боги, то есть упование, что наши беды прекратятся».

Старость вместе с супругой — вот чего не пожелал Одиссей отдать в обмен на «вечную младость».

Боги могут вернуть человеку юность лишь постольку, поскольку дело касается его самого — Афина то делает Одиссея молодым и прекрасным, чтобы произвести впечатление на феаков, то проливает на него безобразную старость, то возвращает тот облик, какой он имел при отправлении под Троию (и тем самым только настораживает Пенелопу, страшась признаться в прекрасном пришельце мужа). Но и боги не могут вернуть человеку прожитые годы, подменив его память, ввергнув его близких в исходное состояние. Неуязвимым, не ведающим старости богам не дано соединить прошлое с будущим. Это под силу только человеку, ибо он смертен.

(Или: пока он смертен? Что будет с нами, что будет с памятью, единственной константой нашей души, нашего земного времени, во что превратится любовь и разлука, печаль и встреча, если наука исхитрится-таки подарить нам бессмертие?)

Сколько определений дано греческой классикой человеку: разумное животное, общественное животное, существо, обладающее речью и смехом, двуногое без перьев...

Ни одной из этих формул не уловить человека, смертного, живущего со смертными, пропускающего через себя время. А там — хоть перьями обрасти, как горестные сестры греческого мифа. Пока голос Прокны и Филомелы, ласточки и соловья, звенит слезами, они не перестанут быть людьми.

Шрам на колене Одиссея, шрам, подтверждающий его смертную, уязвимую природу, — вот что соединит разошедшиеся пластины времени. Когда Эвриклея коснется рукой рубца, оставленного на ноге Одиссея клыками кабана, это прикосновение вызовет не только рассказ об охоте, но и воспоминание о первых днях его жизни, о том, как младенца-внука Эвриклея положила на колени наведавшегося в гости деда, хитреца Автолика. Узнавание по шраму вместило в себя все прежние узнавания — и снова охота, как с Аргусом, и снова младенец, как Телемах.

В этом узнавании Одиссей предстает чем-то большим, чем мы знали его до сих пор: не только муж, отправившийся в поход и возвратившийся спустя двадцать лет, не только воитель и странник — нам открываются другие двадцать лет, мы видим Одиссея подростком, видим его младенцем, видим его в возрасте тогдашнего и теперешнего Телемаха. И все это — тоже он, человек многообразный, проходящий через разные этапы своей жизни, живущий во времени и вмещающий его в себе.

Соединившись со своим прошлым, Одиссей начинает движение в будущее, к старости с милой супругой.

Одиссея, плачущего о прошлом, о былых подвигах и погибших товарищах, Гомер сравнил с женой, печалющейся о муже; Пенелопа, узнавшая Одиссея, зарывает от радости, словно моряк, достигший берега после кораблекрушения.

Не Одиссея ли имел в виду Честертон, создавая притчу о мореплавателе, отважно «открывшем» родную Англию, о кругосветном путешественнике, спешащем домой «с другой стороны»? Не Одиссей ли его «Man Alive» — «жив человек», вновь и вновь завоевывающий собственную жену? Человеку вроде как не суждено дважды войти в одну и ту же реку, не родить вновь и не воспитать того же ребенка, не обновить отношений с родителями. И только супругам дано вновь и вновь проверять и подтверждать свои отношения. Только Пенелопа вправе усомниться в личности вернувшегося домой Одиссея, только ради нее он — муж и хозяин — наравне с молодыми наглými женихами подвергнется испытанию в стрельбе из лука. Должно быть, двадцать с лишним лет назад Одиссей уже участвовал в этом соревновании, когда добивался руки Пене-

лопы. Состязание в стрельбе — один из самых известных в фольклоре и ранней поэзии способов сватовства.

Стоя на пороге родного дома, Одиссей тщательно осматривает свой лук: «целы ль / Роги и не было ль что без него в них попорчено червем». К счастью, оружие оказалось цело. Вот оно наконец, нечто неизменное, сохранившееся таким, каким было. Одиссей сильной рукой сгибает лук, натягивает тетиву, соединяя разошедшиеся концы времени.

Как певец, приобькший  
Цитрою звонкой владеть, начинать песнопенье готовясь,  
Строит ее...  
Так без труда во мгновение лук непокорный напряг он.

Натянутая тетива подобна напряженной струне. Столетия спустя Гераклит назовет лиру и лук символами объединившего противоположности космоса: «Расходящееся само с собой сходится: гармония лука и лиры». С этого лука начнется ряд ключевых образов европейской поэзии и философии.

Лук и лира, пиршество битвы, поэзия, искусство, праздник как образ сражения — давно привычные для нас образы. Вполне возможно, что они присутствовали в фольклоре, в мифе, однако для поэзии дословесные формы, интуиции, архетипы являются тем же, чем белковые соединения в биологии, — из них возникает жизнь, но возникает отнюдь не по необходимости. Чудо может произойти, а может и не произойти. Когда Гомер впервые называет рядом лук и кифару, это чудо происходит на наших глазах, мы присутствуем при акте творения. Перебирая струны форминги, певец сравнивает свой профессиональный жест с движениями своего героя. Эпическая иерархия рушится, герой выступает из нее и становится вровень с автором.

Стрела вылетает из лука, пробивая двенадцать колец, и тогда Одиссей грозно восклицает: «Пора... пение с звонкою цитрой... на новый лад перестроить». Выйдя за пределы эпоса, сравнение обернулось метафорой.

Гомеровские сравнения — вне времени, индивидуальное событие, поединок *этих* двух бойцов, гибель *этого* героя сравнивается с тем, что происходит всегда, — движением волн, охотой, пахотой, трудом пастуха. Даже глагольные формы здесь отличаются от основного текста — настоящее время вместо прошедшего, даже язык сравнений по диалектным особенностям ближе к более поздней эпохе. Эти сравнения «с точки зрения вечности» невозможны в устах героя, живущего во времени, и Одиссей у Гомера пользуется иными оборотами, нежели сам автор, сравнениями, индивидуально окрашенными: Навсикая оказывается похожа не просто на стройную пальму, а на единственное в своем роде дерево, что он видел на священном острове, тонкая переливчатая ткань напоминает кожицу лука. Но и эти не совсем гомеровские сравнения для Одиссея — лишь нащупывание своего «я». Он скрывает свое имя от Навсикаи, а о коже лука говорит, рассказывая Пенелопе, как выглядел ее супруг, когда он («не-Одиссей», нищий странник) видел его в последний раз. В тот момент, когда Одиссей утверждает себя в роли мужа, хозяина, царя, сравнение превращается в метафору. С метафоры начнется все, что не эпос, — лирика, драма, философия, и Пиндар, воспевая олимпийских победителей, будет сравнивать свое поэтическое ремесло со стрельбой из лука и гонкой колесниц и прочими состязаниями, в которых отличались его заказчики, на метафоре будет выстроена греческая трагедия, метафора породит философскую терминологию, которой мы пользуемся и по сей день.

Просквозив двенадцать колец, стрела продолжает полет, нанизывая в своем полете всю европейскую поэзию.

Ласточкиным голосом вскрикнула натянутая Одиссеем тетива — этот голос отзовется в греческой трагедии плачем «варварской ласточки» Эсхила, откликнется в русской поэзии мандельштамовской «касаткой»-Кассандрой.

---

---

# МИР ИСКУССТВА

ЖАННА ГОЛЕНКО

\*

## УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ

**В**ообще-то такой миниатюры — «Умирающий лебедь» — нет. Есть просто «Лебедь», когда-то придуманный Михаилом Фокиным под впечатлением от музыки Сен-Санса. Но эмоциональный зритель додумал, окрестил, и вросло в название это слово-эпитет, а в результате появился новый фразеологический оборот. Но фразеологический оборот — это из области «низкого», «утилитарного», а из области «высокого» — родился новый Образ — образ Хрупкости, Мечты и недолговечности всего Прекрасно-Идеального.

Подобно мхатовской чайке, Прекрасный Лебедь трансформировался в символ Балета и балетную символику, «перелетел» на эмблемы всевозможных конкурсов, на холодные диски наград, на глянец рекламных плакатов... Один такой, с изломанной в изящных муках белой птицей, висит у меня дома, время от времени заставляя вспомнить *душный* июнь с его конкурсными днями и вечерами в Большом, царящую тамошнюю суету, усталость и... *безжизненный* остров сцены в волнах алого бархата кресел.

Этот июньский IX Московский Международный конкурс артистов балета и хореографов задумывался устроителями (и надо сказать, их было предостаточно) как нечто в XXI веке крупнейшее и первейшее в мире искусства, видимо, поэтому и был поименован в честь Галины Улановой. Но музыка отгремела, дали занавес, а в сознании остались не «приятные моменты», не громкие слова и претензии с афиш и буклетов, а сомнения и вопросы...

Что же происходит сейчас с балетом, в частности с *нашим*? Почему отечественная современная хореография в таком «голодном», бедственном состоянии? Нужна ли кому-нибудь сейчас русская классика и прежде всего — самим русским? И вообще, целесообразны ли в текущий момент такие конкурсы, как московский?

Вопросы, вопросы...

И раньше и теперь мы очень часто слышим, что русский балет — это прежде всего история, чистота традиций (или *традиции*), поэтому первостепенно важно их сохранять. Давайте же честно выполнять музейные функции, ничего не ломая и не заглядываясь на «модерновый» Запад. Будем стражами порядка. Однажды даже сделали такое заявление: «Мариинка — исключительно хранилище классики, любая современность здесь ни к чему». Откуда такой апломб? Ведь монопольные права на так называемую «чистоту» (как и на строчку «впереди планеты всей») нами изрядно утеряны, и тот же Московский Международный это наглядно подтвердил. (Вообще данное мероприятие, как ноев ковчег, вместило в себя столько всего, что может теперь служить примером любой балетной проблемы.)

Заглянем за так называемые кулисы, вглубь некоторых причин.

Конечно же одно из обстоятельств, повлиявших на «потерю прав», есть оскудение педагогического состава. Иных уж нет, а те далече. Времена Педагогов, гармонично, истинно соединяющих в себе художника и мастера, как,

---

Голенко Жанна Анатольевна — студентка третьего курса Литературного института им. А. М. Горького. Родилась в 1973 году в Москве. С 2000 года публиковалась в журналах «Балет» и «Московский вестник». В «Новом мире» дебютирует.

например, Асаф Мессерер, Елизавета Гердт, Алексей Ермолаев, Галина Уланова, выпускавших на сцену целые созвездия талантливейших воспитанников, похоже, канули в Лету. Мало кто из ныне живущих и работающих помнит те самые *уроки*, те самые *традиции*, что заключались прежде всего не в технике и даже не в артистизме (который, надо признаться, сейчас — редкость), а в чем-то большем, переносившем нас из сфер инстинкта в сферы духа.

Анна Павлова говорила: «Балерина танцует не ногами, а душой». В ногах недостатка нет, благо для их умножения, как грибы после дождя, возникают все новые и новые частные школы, ну, например, хореографическое училище М. Лавровского, хореографическое училище НГУ Н. Нестеровой. В одной только Москве их пять, а скоро будет шестая — Школа-студия Д. Брянцева. Но нет уверенности, что все они исходят из старой системы воспитания и не теряют что-нибудь по дороге, как «потерялись» занятия по фортепьяно в школе М. Лавровского. Пример, прямо скажем, вопиющий. И таких утраченных «фортепьян», похоже, немало. А в результате — «потеря» *души*. Достаточно вспомнить нынешнюю немзыкальность исполнения классики (техника — отдельно, музыка — отдельно), полное непонимание, неадекватность исполняемой роли, явную установку на трюк и откровенное желание поскорей поразить эффектным па прискучавшего зрителя. Но «публика — не дура», и зритель соскучился по *настоящему*, а не по трюкам из фигурного катания или гимнастическим упражнениям, на которые все больше и больше становится похож классический балет.

Педагоги (и *наши*, и *не наши*), присутствовавшие на пресс-конференциях конкурса, охотно соглашались со всеми претензиями. Но в качестве утешения пообещали: «Мы их будем дрессировать». Да не «дрессировать» их надо, результаты такой дрессуры, если говорить о конкурсе, налицо: не присуждена «Гран-при», из двадцати пяти наград только четырнадцать нашли своих обладателей, и среди этих четырнадцати призерство большей половины весьма и весьма сомнительно! Не дрессировать, а вернуться к *истокам*, вспомнить уроки Вагановой, традиции Дягилева (вот, кстати, где *истинные традиции!*), от которых отталкивались и Голейзовский, и Горский, и Якобсон, и все вышеперечисленные классики советского балета. Касается это, кстати, не только частных школ (не стоит думать, что все частное заведомо плохо, а нечастное — хорошо), но и государственных, старых и, казалось бы, проверенных временем. Но время, как это ни грустно, не щадит никого (или почти никого — будем деликатны): неспособностью объяснить (а ведь когда-то это было объяснимо), что значит *сцена*, *музыкальность*, *артистизм*, *искусство*, привить (хотя это уже сложнее) «души исполненный полет» грешат и знаменитые МГАХу, и Вагановка, и Пермь, и Киев, и Уфа... Получается внедрение в хореографию *вульгарного* формализма. Но, к сожалению, уже и с *этой стороны* не все в порядке — уже и техническая сторона дела подводит. Зрителя можно (наверное) диалектично уговорить, что душа в танце — вещь нераспознаваемая, поэтому довольствуйся техникой. А когда и техники нет? Когда нет даже хорошо выученного урока или примитивной зубрежки? Сцена все чаще и чаще демонстрирует «грязное» исполнение: отсутствие стоп, рук, недотянут носок, нет вращения, падают и так далее. На это уже уговорить зрителя сложнее.

Помнится, первые дни конкурса (ставшие, по сути, отборочными — при таком обилии всех желающих, «благодаря» неудачному демократизму под девизом: «Танцуй, если хочешь, только деньги плати») измучили зал элементарной технической и творческой невоспитанностью. Какой-нибудь крохе амурчика танцевать, а она с легкой руки своего наставника, едва делая *develorpe* и удерживая бубен, роковую Эсмеральду пытается изобразить. Смешно смотреть на девочку, грустно — на «учителя».

Ну хорошо, «иных уж нет» — ушли из жизни А. Мессерер, Голейзовский, Ермолаев, а что значит «те далече»? Отечественный педагогический состав редет и за счет отъезда за рубеж хороших мастеров (в прошлом талантливейших

танцовщиков). Прозаические житейские причины брали и берут свое. За рубежом О. Виноградов, В. Васильев, С. Мессерер, И. Колпакова, Н. Тимофеева...

Как-то на семинаре поэзии в Литературном институте одного студента упрекнули в подражании такому-то поэту. Студент клянется, что книжек этого поэта он даже в глаза не видел. На что ему мастер отвечает: «Значит, вы читали того, кто читал того, кто читал того, кто читал данного поэта». Владимир Васильев работал и учился (слово *учился* следует понимать многопланово) у Ермолаева (который в свою очередь — у Лопухова), работал с Голейзовским, который учился у Фокина и Горского, а Фокин в свою очередь учился у Дягилева, работая вместе с ним... И таких педагогов, несущих связь времен, память земли, осталось не так много. Отъезд из страны последних — удар по русскому творческому генофонду. И опускать занавес на этот вопрос, вопрос *образования*, — непоправимая ошибка.

Но тут же возникает следующее сомнение — о «спросе» на русскую классику *там*.

Из отдельных примеров складывается такое впечатление, что *корни* в настоящий момент продолжают подпитываться интересом и давать цвет лишь в дальневосточных пределах — в Китае, Корее, Японии. Всем хорошо известны их верная любовь и колоссальное внимание к русской школе — школе, которая лежит в основе и китайского (достаточно вспомнить легендарного Гусева), и корейского, и японского балета. Отсюда и регулярные гастроли в Страну восходящего солнца наших трупп, и частые приглашения русских педагогов ставить классику (например, «Лебединое озеро», «Щелкунчик», постановка в Корее Юрием Григоровичем «Спартака») и возглавлять коллективы (тот же Олег Виноградов пять лет руководил в Корее балетной труппой). Прибавим регулярное участие в конкурсах, на которых восточные танцовщики нередко являют образец рисунка и демонстрируют русским, *как* надо исполнять собственную классику. Последнее, кстати, было до обидного наглядно на том же IX Международном. Приходится согласиться: как это ни печально, но в технике, артистизме, сценическом воплощении — одним словом, во всем, что перечислялось как *подростерянное* «нами», Япония, Китай сильнее. И первые женские премии у них.

Премии, конечно, деталь, и, может быть, не стоит обобщать, но если учесть, что отечественный сценический «нз» — это ученики давно «ушедших» мастеров, а равнозначной смены не предвидится; если вспомнить «лебединую» Жизель в исполнении Ван Циминь как *единственное* оправдание эмблемы балета и имени Галины Улановой, в честь которой было это оксюморонное мероприятие; если вспомнить филигранный, «чистый» рисунок Куранаги Мисы в вариации Маши из «Щелкунчика» или в вариации из «Классического падеде» Дж. Баланчина; если вспомнить вообще подлинное искусство самовыражения в балете, сочетающееся с восточным изыском и отточенностью, у японских и китайских танцовщиков, — понимаешь, что золотые награды — не случайная деталь, а скорее *эстафетная палочка*, и уже не в наших руках.

Сегодня мы занимаемся классическим балетом по инерции. «Железный занавес» выполнил функцию кастрюли, где мы долго варились в собственном соку и тянули шеи к Западу, мечтая о новых формах. Есть такое выражение: «перекипело». Так и у нас: за долгие годы истории любовь к балетным традициям «выкипела», испарилась, и теперь мы ее пытаемся синтезировать. Возможно, это же ожидает и молодой, по сравнению с нами, балетный Восток. Возможно, и они скоро натанцуются классикой и их станет тянуть к модерну. Как натанцевался Запад и как, похоже, натанцевались мы.

На Западе классика уже не популярна. Небольшие труппы существуют в отдельных театрах. Все внимание — на современную хореографию. Эти слова, кстати, были самым расхожим и чуть ли не единственным в устах членов жюри объяснением, почему Москву не почтили своим вниманием ни Англия, ни Франция, ни США, ни Дания, ни Италия, ни... Ехать же к нам с «совре-

менностью» абсолютно не было смысла, так как существует кардинальная разница в западном и нашем понимании того, что есть этот танец.

До конкурса пресса высказывала надежды, что включение в программу нового пункта — «состязания» в современной хореографии — наконец-то решит вопрос о наличии или отсутствии таковой на русской земле. Ответ получился однозначный: «Современной хореографии в СНГ и на Востоке — нет».

В чем различия между «сторонами света», приведшие к такому тотальному умозаключению?

В том, что проповедует теперешний Запад, нет ничего оригинального. Это уже давно было «выдуманно» мирискусниками во главе с Дягилевым. Остается лишь порадоваться за Европу, которая столь бережно хранит их постулаты.

Дягилев говорил: «Современный балет — это синтез живописи, музыки и хореографии». Живопись и музыка (в особенности живопись) диктуют пластику, сценическую речь. В танцевальной лексике нужно отталкиваться прежде от них, таким образом вырабатывая *свой язык*, на котором ты расскажешь *свою* историю. Новый, авторский пластический язык — суть модерна, в том числе и при интерпретации классики. Но выбор «инструментов» для рождения новых форм здесь может идти только в сторону *осмысленных* музыки и живописи. Вспомним, что Дягилев работал исключительно с серьезными, большими художниками и композиторами, а не с бутафорами и ремесленниками. А Бакст до конца жизни был убежден, что если бы не его декорации, то Фокин не придумал бы ни единого па. Нет «несущих балок» — нет балета, а есть просто танец.

Точно так же современной хореографии необходим сюжет. В десять минут его сложно вместить, но нужно пытаться. Вспомним, как пример всему сказанному, уже ставший классическим «Послеполуденный отдых фавна».

Но все призывы будут мертвы без Актера (своего рода глины, из которой можно лепить), без учета артистической индивидуальности, ведь только она может вдохнуть в задуманное жизнь, сделать его искусством. У Дягилева для этого был Нижинский, потом Мясин, потом Лифарь. Фокин ставил на Павлову, Карсавину.

Судя по тому, что представляли залу, измученному сначала так называемой «классикой», наши хореографы, балетмейстерская история основательно забыта и о Сергее Павловиче, «Великом Дяге», и его творческих принципах («абвгд» любого балетмейстера) они слышать не слышали. О разнице между нынешним балетным модерном и современной пластикой — не знают. Но охотно берутся за дело, почему-то полагая, что все современное не требует сфер духа и его гораздо легче ставить и исполнять, чем какого-нибудь «Лебедя». А как же, например, работы Бежара, Пти, Эйфмана? Современных западных постановок бесспорно больше, здесь они «впереди планеты всей» и определяют уровень и школу. Но Запад Западу рознь. Мысль не остановить, модерн будет все более и более популярен, он нужен как поиск, открытие других кодов в искусстве. Более ста лет назад Дягилев и его единомышленники (Бакст, Бенуа, Нувель и другие) проповедовали новое эстетическое восприятие и мироощущение, новый подход к самоощущению, самоценности и бесполезности красоты. В третьем тысячелетии пора научиться различать, где истинное новаторство. А не смотреть «голодными глазами», наивно принимая муляж за яблоко, уродство — за последнее слово в хореографии. Язык может быть (и должен быть) любой, но говорить он должен о *высоком*. Суетные же катания по полу, «отсутствие» музыки, костюма, актера (!), бессмысленные движения на основе классических па, названные весьма неотягченно «Видениями» и «Сновидениями», — это не хореография, не искусство вообще, это даже не из области инстинкта. И здесь конкурсы не нужны. Они могут только запутать и без того плутающих. Состязаться в том, кто причудливее говорит и выговаривается, — это в конечном итоге подталкивать к фокусу (шарлатанству), эффектному трюку. И понятны мотивы Запада, не откликнувшегося на пригла-

шения IX Московского. Какие возможны соревнования, когда мы только первые шаги на этом поприще делаем?

Это же касается вопроса о классике. *Следует окинуть историю взглядом современности и преклониться только перед тем, что ценно.* Сбросить, подобно Дягу, выцветшие кружева «павильонов армид», но беречь и ставить «Спящую красавицу». (Ну стоило ли, например, год назад ГАБТу зачинать столь дорогое реанимирование столь безнадежного для сегодняшнего дня балета, как «Дочь фараона», забравшего массу сил и денег и «убранного» со сцены за ненужность через унижительно малый срок?) И тогда станет ясно, почему Московский Международный со своими удушающими пылью муляжными одалисками, сванильдами, корсарами потерял былой престиж и не состоялся как грандиозный праздник. Станет ясно, почему «высокое» столь часто вызывает лишь скуку, хотя и с оттенком почтения. Станут очевидны принципы возрождения образования. И сама собой исчезнет фальшивая обстановка картонных трюкажей, исчезнет установившееся между публикой и артистами что-то вроде условного *laissez aller*<sup>1</sup>, когда неверующие жрицы кое-как, на скорую руку исполняют устаревшие обряды перед скептической и рассеянной толпой... И, возможно, станут уместны слова Абея Боннара, сказанные после Русских сезонов 1910 года: «Мы уже не знали более, что такое танец... И какая зато радость для нас найти снова в русских танцах человеческое тело со всем его ослепительным разнообразием, с неистощимой изобретательностью жестов. Это уже не та унылая гимнастика, которую проделывают иногда наши танцовщицы. Мы видим, как в этой мощной мимике тела чувства снова выражаются не только на крошечном театре лица, но проникают все существо с головы до ног, внезапно пересоздают его, так что на минуту это существо становится радостью или скорбью до корня своих волос. Оно превращает его в живой иероглиф ненависти, гнева, страсти...»

---

<sup>1</sup> Небрежность (франц.).

---



---

---

ОЛЬГА НЕТУПСКАЯ



## ДРАМЫ ЛЕРМОНТОВА НА СОВРЕМЕННОЙ СЦЕНЕ В СВЕТЕ РОМАНТИЗМА И АНТИРОМАНТИЗМА

...Как обстоит дело с современной театральной критикой? Да так же, как и с литературной, только хуже. Литература сохранила (и приумножила) толстые журналы, в какой-то степени сохранив и их авторитет, а применительно к театральной печати как нельзя более уместно определение, в незапамятные времена данное крупнейшим писателем о театре XX века Павлом Марковым: «На задворках печати». А в газетах — бесчисленные, крупные и мелкие фактические ошибки, ёрнические интонации диджеев, превращение спектакля как «театрального факта» в акт презентации, высокомерный, презрительный тон заурядного газетчика по отношению к рядовому актеру...

Это с одной стороны. Но с другой — ежегодно из школ и гимназий Москвы, а в последние годы и из российских городов поступают на театроведческий факультет РАТИ (ГИТИС) девочки (по преимуществу) со светлыми головами, свободной речью (устной и письменной), без особой любви, но и без заведомого отворачивания к Книге (и на том спасибо!), с предрасположенностью к Театру во всех его проявлениях, а не только к номинациям на призы фестивалей драгметаллов; к тому, что происходит на премьерах и 554-х спектаклях, дебютах юных и вводах на роли пожилых, спектаклях дипломных, академических, антрепризных; авангардных, арьергардных, обозных, тыловых; столичных, периферийных, зарубежных; на сценах больших, малых и вообще без сцен и стен.

Кажется, и в статье более взрослой Жанны Голенко, уже учащейся в Литинституте, и в статье совсем юной Ольги Нетупской, ученицы гимназии, которой до вступительных экзаменов в институт остался еще последний учебный год, есть чувство захваченности стихией театра, без чего невозможно постичь его живую жизнь; есть и сопричастность истории, культуре, смыслу, без чего невозможно «оправдание театра».

Что ж, если молодые авторы выбрали путь осмысления театра до «полной гибели всерьез», напомним им ободряющие строчки Гёте, взятые о Павлом Флоренским в качестве эпиграфа к «У водоразделов мысли»:

*Прекрасно творить самому, но если тебе посчастливилось узнать  
И оценить созданное другими — разве это не станет и твоим достоянием?*

А если молодые авторы не только люди искусства, но и люди веры, им помогут слова апостола Павла: «Молись о даре истолкования». (1 Кор. 14: 13).

Профессор Б. Н. Любимов,  
заведующий кафедрой истории театра России  
Российской академии театрального искусства.

«**Н**овое время», «Новейшая история» — так обычно называются учебники по истории последних веков и десятилетий. С ними знакомятся в старших классах: до того школьники узнают о Синеусе и Труворе, Грозном и Петре I, а вместе с этим и после этого начинают проживать не известную пока никому будущую историю. По ней пособия и брошюры еще не выходили.

В учебниках для эпох, для войн, драматических коллизий, для общественных и политических перемен определены четкие рамки. Выстраивается схема:

предпосылки — событие — последствия. Но ведь за причинно-следственными связями скрывается нечто более важное, духовное и одухотворенное, осмелюсь сказать, сакральное. За пышно декорированной сценой, где проходит официальная жизнь, за кулисами этих театральных подмостков звучит пресловутый *vox populi*; сквозь наигранную декламацию первых лиц слышен голос частного человека, человека из толпы.

Историческая концепция создается в нашем сознании не только на основе учебников и пособий. Отчасти мы строим ее на собственном опыте, отчасти — обращаясь к «виртуальной реальности» литературы. Каждый из писателей-классиков рассматривал отношения частной и официальной жизни, личного и общественного, ролевого. Из того, как у них обрисовано соединение путей официальной и приватной истории, можно сформировать и оценку дня сегодняшнего.

*Классика* — самоанализ через историю, к которому мы так или иначе постоянно прибегаем. Примеров тому бесконечное множество: от вошедших в повседневную жизнь афоризмов, фразеологизмов до коренящихся в сегодняшнем человеческом сознании хрестоматийных, например пушкинских, характеров и типов. По В. И. Далю, «классик — каждый писатель или художник, признанный общим мнением *классическим*, то есть превосходным, примерным, образцовым». Если классическую литературу представить индикатором, а восприятие классики, читательскую и зрительскую реакцию — химическим процессом, то можно увидеть отпечаток современных настроений и сегодняшних ценностей на лакмусе вечного.

Что значит для нас сегодня М. Ю. Лермонтов? Выученные наизусть «Парус» и «Утес», сочинение по «Герою нашего времени» или грустный, тяжелый, чуть ироничный взгляд молодого человека: «Нет, я не Байрон, я другой»? Без сомнения, Лермонтов сегодня — классический писатель, для всех его имя стоит рядом с Пушкиным. Но творчество Пушкина мы воспринимаем как всеобщее и всечеловеческое. Об этом говорил еще Достоевский, предвидевший и предсказавший не меньше Пушкина. Оттого ли, что много кровей текло в жилах писателя, или оттого, что звезды так сошлись, но Пушкин первым угадал и показал культуру России в контексте культур разных народов и стран, интегрировал эти слагаемые. Его «Рыцарь бедный», «маленькие трагедии», «Борис Годунов», «Цыганы» — примеры того, как Пушкин через опыт Шекспира, Сервантеса, Мольера, обратившись к поэтике средневековых европейских легенд и цыганского фольклора, создал новый образ современной ему России, уникальный и в то же время понятный только в общекультурном контексте. Отсюда и возникает общечеловечность пушкинских героев.

С творчеством Лермонтова все обстоит иначе. По сравнению с художественными созданиями Пушкина оно локально. Между автобиографизмом лермонтовской поэзии и его постоянным ощущением собственной гениальности, избранности существовала мучительная коллизия. То ли поэт давал выход прочно оставшимся в юношеском сознании сценам семейной драмы, то ли доказывал, что он — новый Байрон, новый Пушкин. Вряд ли сам он мог ясно ответить. Лермонтов обладал чуткой художественной восприимчивостью, но внутренняя борьба не дала ему достичь пушкинской всечеловечности. П. А. Вяземский назвал поэта «русским и слабым осколком Байрона».

Поэзия и проза Лермонтова — это всегда внутренний спор с самим собой, анализ индивидуальных проблем. Но откровенно демонстрирует сокровенное, личное поэт далеко не всегда. Отсюда — иногда проскальзывающая, иногда видимая отчетливо *театральность* стихотворений, драматических произведений. Театральность — в другом смысле, нежели сценичность: правдивое и искреннее, то, без чего поэта нельзя до конца понять, скрыто за той или иной маской. Такая театральность может быть недосказанностью, а может — подражанием. Свойство лермонтовской натуры Вяземский принял за ошибку художественного вкуса, слабость дарования: «В созданиях Лермонтова красуется

перед вами мир театральный с своими кулисами и суфлером, который сидит в будке своей и подсказывает речь, благозвучно и увлекательно повторяемую мастерским художником».

Театральная маска, скрывающая от посторонних глаз естественное желание выговорить мучительные мысли, договорить что-то с бабушкой и отцом, со всем светом, стала парадоксом Лермонтова, сделавшим все, оставленное им, иногда неясным, иногда загадочным, но всегда глубоко личным. В этих противоречиях и сформировался его герой — одинокий, непонятый, страстный, по-человечески несчастный и одаренный свыше. Отражение самого Лермонтова. За этой маской читатель или зритель может разглядеть автора — или самого себя.

О своем зрителе Лермонтов мечтал всегда. Не оттого, что заманчивой и обольстительной казалась слава театрального деятеля, драматурга. Честолюбивые мечты, конечно, занимали молодого поэта, были его мощным двигателем, но привлекала Лермонтова суть театра — театральная игра. Перевоплощение, лицедейство, маскарад. Природа театра подходила лермонтовской натуре. Возможно, в этой природе театрального искусства Лермонтов увидел отражение собственного внутреннего спора, из которого он и родился как поэт. Обратившись к драматургии, пятнадцатилетний юноша не столько пробовал реализовать свои амбиции, сколько искал способ творить, открывая читателю душу и вместе с тем не отнимая от нее маски.

Отсюда возникает попытка соединить сцены семейных конфликтов с вершинами, открытыми Байроном и Шиллером. Романтический принцип восприятия мира привлекал поэта самой двойственностью: несоответствием идеального реальному, бушующими страстями и недосказанностью, поисками совершенства, отказом от всего косного и «земного». Но здесь же скрывается причина неудач лермонтовских драматических опытов. Поэзия Байрона и драматургия Шиллера были не просто художественными ориентирами поэта, но и маской, прикрывавшей несовершенство юношеских драм. Ранние драмы лишены светотени и полутонов. Их основа автобиографична, а форма подражательна. Как будто, создавая пьесы в черно-белых тонах, Лермонтов демонстрирует читателю и зрителю все тот же внутренний спор.

Драму «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти») Лермонтов написал после «Испанцев» в 1830 году, в ней — богатейший материал к изучению биографии поэта и ключ к пониманию личности Лермонтова и всего его творчества. Здесь впервые отчетливо обозначены причины, сформировавшие молодого человека ироничным насмешником, прожигателем жизни — и поэтом, почти узнавшим «свое призвание... в мире умственном» (В. К. Кюхельбекер).

«Трагизм положения всею тяжестью давил молодого поэта... Положение высокоодаренного мальчика между аристократической бабушкой и каким-то редко выдаемым, бедно обставленным отцом было тяжелое», — так описывает состояние Лермонтова П. А. Висковатов, характеризуя ситуацию как «нравственную пытку», «горькая чаша» которой вылилась на страницы трагедии «Люди и страсти». Но тем интереснее сегодняшнее восприятие этой юношеской пробы пера.

О пьесе редко вспоминают, тем более — ставят в театрах. Прежде всего — из-за несценичности. Поэтому так интересно было идти на премьеру «Людей и страстей» в Московский драматический театр «Сфера». Режиссера Е. Еланскую и актеров привлекло не столько драматургическое качество произведения, сколько возможность разобраться, что же творилось в голове и чувствах одаренного и несчастного молодого человека.

Впрочем, еще до спектакля понимаешь, что он станет противоречить авторскому замыслу и самому автору. Лермонтовское обозначение пьесы *трагедией* театр меняет на *романтическую драму*. Тут слышится диссонанс с лермонтовским четким, негативным и обобщенным восприятием внутрисемейной ситуации. Семантика выражения «романтическая драма» вводит в трагедию

светотени, полутона. Искажается черно-белое мировосприятие поэта. Трагедийны «Люди и страсти» и в перспективе происшедшего с Лермонтовым впоследствии — его ранней смерти. В поэтическом и эмоциональном пространстве пьесы новое определение не соответствует духовному состоянию героев. Трагедийность не должна смотреться гротескной, но сохранить резкие черты, преувеличенность подросткового мироощущения необходимо, не смягчая и не исправляя акценты.

В постановке Еланской пьеса в самом деле переосмыляется как романтическая драма. В спектакле акцентирована среда, в которой действует герой. На фоне дома старухи Громовой показан мир крестьянский, звучат народные песни. В романтизме фольклор, с его сказочностью и легендарностью, символизирует идеальное, невозможное в прозаическом быту. Вставками — народными песнями — Еланская как бы добавляет психологические черты образу героя и сопоставляет по законам романтизма аристократическую и крестьянскую культуру.

«Русская песня как вода в запруде. Кажется, она остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из вешняков, и спокойствие ее поверхности обманчиво» — это поэтическое сравнение сделано уже автором XX века. Кстати, инсценировка романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» идет и сегодня в «Сфере». Но тем страннее и непонятнее, отчего русская песня в спектакле «Люди и страсти» превратилась в оперетку, водевиль. Яркие краски грима и костюмов, более, чем следует, подчеркнутая игра в песню заслонили «тоскующую силу». Двойная роль Л. Корюшкиной (лживая Дарья и девушка из хора) окончательно разрушила романтическую дуполярность. Вместо лиризма и искренности чувствовались лицедейство и маска. Поэзия народная, лишенная нерва, «тоскующей силы», стала аксессуаром косного дома Громовой. Как следствие все возвышенные порывы героя — двойника Лермонтова Юрия Волина — мельчают. В такой аранжировке зритель воспринимает трагедию «Menschen und Leidenschaften» на уровне современной приземленности — как драму не столько романтическую, сколько житейскую, кризис переходного возраста.

В то же время образ Юрия Волина, вопреки «современной» деромантизации трагедии, остается сильной стороной спектакля. Фактически в «Людах и страстях» поэт напророчил себе гибель. Возможно, уже за написанием пьесы необыкновенно чувствительный и впечатлительный юноша порешил свою жизнь. Понял: так и сбудется. Уместно, что прологом и эпилогом к спектаклю стало предисловие автора к романтической драме «Станный человек» (1831): «Я решился изложить драматически происшествие истинное, которое долго беспокоило меня и всю жизнь, может быть, занимать не перестанет». Поэт никогда не забывал гибели отца, но и не прощал себе того, как резко отрицательно представил Арсеньеву в «Людах и страстях». Лермонтов последует за словами Волина: «У моей бабки, моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадет». Все это сольется в пожизненную маску — юмор висельника, эпатаж, дуэль, смерть. Отсюда же возникает сквозная тема его творчества: «Есть слова, объяснить не могу я, отчего у них власть надо мной». Сцена отцовского проклятья, толкнувшая Юрия за рубежную черту, — одна из самых выразительных в спектакле. Юрий Волин пьет яд и морщится. В чуть уловимом движении мышц лица, напряжении, готовности к неизбежному и отчаянью во взгляде актера С. Коршунова видится все то, что еще только произойдет. Кажется, на мгновение сброшена маска, явлено подлинное лермонтовское двоемирие, и авторское восприятие пересекается с читательским, зрительским. Мгновение настоящего романтизма — живого и сегодня, но спрятанного за деромантизированной, прагматичной действительностью.

В этом же сезоне режиссер В. Шамиров выпустил на сцене Драматического театра им. К. С. Станиславского премьеру «Маскарада», драмы 1835 года, ставшей завершением драматургических опытов Лермонтова.

Сравнивая Юрия Волина с Евгением Арбениным, можно проследить перемены, происшедшие с единым лермонтовским героем, а значит, и с его автором: пылкий юноша стал трагическим циником. Появилось нервическое отчаянье, будто внутренний спор разгорелся до головной боли, до гамлетического «умереть, уснуть». Скорее болезненным, чем осмысленным и последовательным кажется стремление Лермонтова во что бы то ни стало добиться цензурного разрешения постановки «Маскарада».

Б. М. Эйхенбаум писал о драме: «Замысел автора: показать трагедию человеческого общества, устроенного так, что настоящее... стремление к добру, насыщенное мыслью и волей, неизбежно должно принять форму зла — ненависти, мести». В постановке Шамирова это потайное дно человеческой природы вывернуто наизнанку, деформирована увиденная поэтом основа жизни.

Спектакль последовательно строится в соответствии с эстетикой деромантизации. По сравнению с постановкой Еланской у Шамирова сформулирована сама концепция антиромантизма, разработана антиромантическая образность, и конфликт недолжного и идеального разворачивается заведомо искаженно.

Мир «Маскарада» на сцене (художник П. Каплевич) так же загадочен и мистичен, как мир лермонтовской драмы, — и при этом нарушает замысел поэта во всем. В декорациях как будто проглядывает величие античных форм, но на самом деле витые лестницы, аркады, колонны — либо полуразрушены, либо недостроены, недоделаны. Словно зритель видит обломок мраморного дворца, а коричнево-розовые тона напоминают брюлловский холст «Последний день Помпеи». Нарушение и разрушение формы как следствие духовного падения — и в костюмах героев: к платьям английскими булавками прикреплены лоскутки. На смену античной гармонии пришли упаднические формы времен разрушения Римской империи.

Существуют две стадии романтического умонастроения: вслед нравственному бунту приходит отчаяние. Постановка принадлежит ко второму этапу и рождает у зрителя тягостное ощущение безысходности. Конечно, можно сказать, что так же двигался Лермонтов, заканчивая ряд бунтарских пьес романтической драмой «Маскарад». Но если преступление Арбенина, порожденное «веком нынешним, блестящим, но ничтожным», и бунтом против него — убийство опороченной молвой верной Нины, — по мысли автора, должно вывести зрителя из морального равновесия, то финал, снимающий с героев маски, призван подарить чувство духовного очищения, катарсиса.

В постановке Шамирова настроение совсем иного рода. Разрушающаяся жизнь: декорации, костюмы, намеки на гомосексуализм Казарина, ненормативные стихи Пушкина в исполнении Нины — тоже выводит из морального равновесия, но приводит к другому итогу — антиромантическому отчаянью, за которым должен последовать провал в забвение.

Показательна деталь шамировского спектакля. Режиссер убрал образ Незвестного — часть темной, инфернальной силы, управляющей судьбами. Незвестный — нерв лермонтовской драмы, мотив необъяснимой власти — таинственной власти слова. Ю. Завадский в знаменитой постановке «Маскарада» на сцене Театра им. Моссовета создал образ Капельмейстера, дирижировавшего спектаклем. Режиссерский ход вполне соответствовал идее Лермонтова. У Шамирова получается, что Арбенина и Нину погубила клевета, то есть порочнее, лживое слово.

Художественное пространство шамировского «Маскарада» оказалось плоским, спектакль получился одноплановым и прямолинейным, и как следствие — образ Арбенина потерял первоначальную стихийность. Его бунт, перестав быть эмоциональным и духовным откровением, вылился в бытовую драму супружеской ревности. То есть фактически концепция «Маскарада» Шамирова так же дискредитирует двойственность лермонтовского героя, как «Люди и страсти» Еланской.

Локально ли сегодняшнее обмельчание и упразднение традиционно возвышенной идеи неотмирного, страстного, поэтически одаренного героя? Нет,

это отголосок современных технологий, техники человеческих взаимоотношений, тиражируемых по образцу пресловутых бестселлеров. В то же время (вечные лермонтовские парадоксы!) именно из этих спектаклей понимаешь, что классическое наследие тридцатых годов позапрошлого столетия живо: актеры остались верны автору вопреки режиссерским новациям. С. Шакуров, не заслоняя образ Арбенина вычурной психологической интерпретацией, обнажил противоречия творчески одаренной личности в «блестящем, но ничтожном» веке. Лермонтовская экспрессия, прелесть неоднозначности наполняет игру молодых актеров И. Гриневой (Нина), В. Толстого (баронесса Штраль), С. Коршунова (Волин), Е. Ишимцевой (Любовь) в «Маскараде», в «Людах и страстях».

Но главным критерием понимания Лермонтова остается отношение к его поэзии.

Исповедальность и недоговоренность одновременно — таков характер всей лермонтовской лирики. Особенно остра форма полемики с самим собой в юношеских стихах. Но, несмотря на сквозные автобиографические мотивы, каждое стихотворение — метафора прежде всего. Метафора судьбы художника, творца. Прочтение лермонтовских стихотворений в спектаклях Шамирова и Еланской более всего обнажает антиромантизм современного мироощущения. Шелли, один из крупнейших лириков романтизма, определил поэзию как «воздушную игру вымысла, острые и тонкие переходы чувств» — на этом основан принцип суггестивности, читательского домысла. Оба режиссера вспомнили «Парус» — визитную карточку поэта, причем Шамиров сопроводил лирическую вставку нескрываемой иронией. На нетрезвую голову Казарин (А. Самойленко) почитывал стихи сквозь усмешку над Арбениным. Хорошо, не над Михаилом Юрьевичем! В спектакле Еланской прозвучали еще «Молитва», «Утес», «Тучки небесные, вечные странники...». Музыкально-поэтические мотивы создавали фон для образа Юрия Волина. И в мелодичном исполнении Д. Новикова чувствовался нерв. Но напряжение не шло дальше приятного внешнего эффекта, бархатистого тенора в музыкальном пространстве Г. Свиридова, А. Даргомыжского, А. Рубинштейна. Лермонтовские стихи, даже положенные на музыку замечательных композиторов, воспринимались хрестоматийно. Кроме параллели Волин — Лермонтов лирические вставки ничего не дали спектаклю. Однозначность трактовки романтической поэзии означает непонимание ее.

Эпатаж Шамирова в обращении с поэзией Лермонтова и, как ни странно, Пушкина превзошел произвольность интерпретации самой драмы. Режиссер последователен в создании мрачного, тягостного ощущения распада. Больше не существует идеи сакральной силы слова. В сцене на балу Нина поет куплеты — маленькое пушкинское отроческое стихотворение к Наталье, написанное с непристойностями. В чем же смысл такой находки? Видимо, все в той же последовательной деромантизации.

Однако неправильно судить спектакли «Люди и страсти» и «Маскарад» только как симптомы упаднических настроений и обманувших идеалов в XXI столетии. В них с неизбежностью сочетаются культурно-историческая преемственность и переосмысление прежних ценностей и критериев. С. Шакуров и С. Коршунов, воплощая образ романтического героя, сохранили чисто лермонтовское противоречие истины и маски, личной участи и творчества и по-новому раскрыли метафору судьбы художника. Ведь концепция романтического историзма состоит не в изображении картин прошлого, но жизни, длящейся при свете истории.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ



## ОБОСНОВАНИЕ СЧАСТЬЯ

*О природе фэнтези и первооткрывателе жанра*

**П**оэт и журналист Алексей Цветков в передаче на радио «Свобода» «Властелин сердец» сказал о Дж. Р. Р. Толкиене: «Этот дудочник, английский крысолов, увел за собой не только целое поколение детей, но и всю русскую литературу... Я подразумеваю не доморощенную российскую „фэнтези“, которая за считанные годы расцвела таким пышным цветом, что по изобилию и убожеству побивает все западные рекорды. Нет, я говорю о литературе, которую сила привычки все еще заставляет именовать серьезной, и именно эта литература отправилась в невозвратную сторону побега... „Властелин колец“ — это в конечном счете соблазн, протез реальной нравственности. Подобно тому, как сам Толкиен на всю жизнь бежал от ужасов войны в свой фантастический мир, целое поколение российских писателей пытается отвести глаза от катастрофы, постигшей страну. Но реальность нельзя оставлять без присмотра, она имеет свойство мстить за невнимание».

Почему российская (и не только российская, конечно) литература направилась в области фэнтези? Цветков дает вариант ответа. Мир вокруг нас стал слишком релятивным. Понятия добра и зла перемешались в нем, смазались, расплылись. И человек захотел определенности как отдыха. И тогда ему открылся Толкиен с его «Властелином колец», где все откровенно и строго, абсолютно и определенно. Если злодей — то злодей беспримесный, практически не маскирующийся, всегда опознаваемый. Если герой — то тоже подлинный. Это мир, в котором нет места нравственным колебаниям и поискам.

На вопрос, почему именно во второй половине XX века такая литература оказалась крайне важной и нужной очень многим людям, этого ответа, наверное, недостаточно. По тому, что востребовано, часто (не всегда) можно судить о том, что было необходимо. Насчет релятивности морали — должно быть, верно, но немного неконкретно. «Протез реальной нравственности» может быть очень разным. В XIX веке такими протезами оказались, например, Маркс и Ницше. Почему этот «протез» принял в веке XX такой вид? вид литературы фэнтези? У меня нет никаких претензий к Цветкову, его эссе и не было предназначено для того, чтобы разбирать подобные вопросы. Его слова — это слова очень обеспокоенного человека, который полагает, что фантастическая литература — еще не вся литература, что есть проблемы, которые она не может поставить и тем более решить просто в силу жанровых ограничений. Я попытаюсь несколько уточнить его тезисы. Итак, почему же все-таки фэнтези?

В эссе «О волшебной сказке»<sup>1</sup> Толкиен пишет: «Любой человек, унаследовавший фантастический дар человеческой речи, может сказать „зеленое солн-

---

Губайловский Владимир Алексеевич — поэт, эссеист, критик. Родился в 1960 году. Окончил мехмат МГУ. Постоянный автор «Нового мира» (стихи, проблемные статьи, WWW-обозрения), лауреат премии журнала за 2001 год.

<sup>1</sup> Толкиен Дж. Р. Р. Приключения Тома Бомбадила и другие истории. СПб., «Азбука», 2000, стр. 368. (Я использую здесь разные транскрипции фамилии писателя (Tolkien) в зависимости от цитируемых источников и собственного предпочтения.)

це», а многие могут к тому же представить его себе или даже изобразить. Но этого мало... Сделать достоверным вторичный мир, в котором светит зеленое солнце, повелевать вторичной верой — вот задача, для выполнения которой понадобится и труд, и раздумья, и конечно же особое умение, род эльфийского мастерства».

Что будет убедительным и достоверным? На мой взгляд, то, что логично вытекает из немногих принятых на веру аксиом. В книге Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» (переложении сказки американца Ф. Баума) солнце, небо и дома в городе как раз зеленые. Объяснение простейшее — все жители города обязаны носить зеленые очки. То, что в зеленых очках небо соответствующего цвета, каждый человек знает на своем реальном (внелитературном) опыте, который и есть в данном случае первичная очевидность. И никаких дополнительных объяснений не нужно. Но это случай слишком простой — здесь нет ничего чудесного. Толкиен говорит, конечно, о другом. У него самого все много сложнее. И аксиоматика глубже. Но именно существование таких начальных посылок, которые читатель соглашается принять как обстоятельства игры, и определяет естественность и убедительность картины. Читатели, как собеседники Сократа, соглашаются с простыми, как им кажется, и ясными тезисами и даже не подозревают, к чему их легкое согласие приведет. Эти начальные послышки могут быть глубоко запряваны в реальность, только немного подправляя ее, или, напротив, могут быть резко полярны по отношению к ней. Но доверие читателя безгранично, его нельзя испытывать бесконечно. Нельзя умножать первичные сущности, нельзя менять условия игры. Читатель всегда хочет быть игроком, а не «болваном в польском преферансе», как говорил герой известного фильма.

Литература фэнтези строится так же, как строятся математические модели. И так же, как эти модели, замкнута относительно семантических первоэлементов и нескольких правил построения, всегда очень простых.

Толкиен отказывается считать волшебным миром (миром *faury* — фейным миром, как он говорит в своем эссе) каждый из тех выдуманных миров, которые являются продолжением мира реального. Таким продолжением он считает, например, мир лилипутов у Свифта. Ничего необычного в этом мире нет. Просто в нем живут очень маленькие человечки, во всем остальном подобные людям. Размер меняет качество мира, но не принципы его устройства и существования. Не является волшебным и мир научной фантастики, например, мир Уэллса. В нем, так же как у Свифта, развивается вполне имманентная линия. Например, описывается марсианская цивилизация, которая стремится покорить землю так же примерно, как человечество покоряет природу. И вымирают марсиане от вполне банального микроба. Все как у людей.

Толкиен сразу устанавливает отчетливую границу между волшебным миром и миром человека. Эта граница утверждается как закон природы волшебного мира — здесь действуют другие силы, человеку неизвестные, — силы магические. Палантир (драгоценный шар, который позволяет видеть любое событие, происходящее в Средиземье) — это не телевизор и не компьютер, палантиры связаны друг с другом силой магического заклятия. Силой — сверхъестественной. Ей нет и не может быть аналогов в мире современного человека.

Модель должна быть жесткой и точной. Если в какой-то момент ввести новую действующую силу, которая противоречит уже заявленным, система рассыплется, потому что потеряет единственную опору, на которой держится, — правила логического вывода, правила игры. Не случайно самым, может быть, большим достижением структурализма оказались работы Проппа о волшебной сказке, в которых Пропп убедительно продемонстрировал жесткую и всегда одну и ту же структуру волшебной сказки, не зависящую от того, какие персонажи действуют в ней и какой волшебный антураж их окружает.

Впрочем, Толкиен с гневом отвергает в своем эссе выводы, подобные пропповским, он отказывается видеть во всех сказках одну. Для Толкиена дра-



гоценны частности, и это, конечно, так и должно быть, поскольку он писатель.

Когда я впервые прочел полный перевод «Властелина колец»<sup>2</sup>, еще находясь под непосредственным впечатлением созданного Толкиеном мира, я с ходу прочитал и «Приложение» — довольно объемное, включающее в себя краткую предысторию Средиземья — до войны Кольца, перечисление и историю населявших его рас, описание языков и алфавиты этих языков. «Приложение» произвело на меня едва ли не более сильное впечатление, чем сама книга. Его сухой, академичный стиль, находящийся в полном контрасте со сказочными картинами книги, дал ощущение глубокой подлинности. Относительная краткость «Приложения» заставила почувствовать, что писавший его человек — ученый, посвятивший себя изучению Средиземья и говорящий ничтожно малую толику того, что он на самом деле знает. Просто не пришло время изложить все подробно и детально, остановиться на существенном и характерном, упомянуть частное. Но самое сильное впечатление произвели алфавиты. Я разглядывал письмена и руны, и холодок бежал по спине. Если существовал язык, значит, существовал народ и, значит, страшно представить, все, все сказанное — правда, а не выдумка, не свободная игра фантазии. Именно алфавиты стали для меня той первичной очевидностью, которая убеждала в реальности сказанного полнее и глубже, чем даже картинка или фильм.

Начальных очевидностей, повторю, не должно быть слишком много, потому что в каждой необходимо убедить читателя, убедить же можно только апелляцией к реальному миру, к его, читателя, повседневному, бытовому опыту. А это всегда требует выхода из сказочных границ.

Модель — это некоторая система примитивов, замкнутая относительно операции. Например, если сложить два натуральных числа, то опять будет натуральное — мы не выходим за границы множества. А вот относительно вычитания уже не так. Если из  $A$  вычесть  $A + 1$ , натуральное число не получишь. Относительно вычитания натуральный ряд не замкнут.

Одна из непрерывных операций, которую совершают герои фэнтези, — это путешествие. Они обязательно куда-то идут и что-то ищут. Чтобы произведение было именно моделью, необходимо задать границы перемещения. Это — карта страны, причем желательно всего пространства, по которому могут двигаться герои. Если границы не заданы явно, случиться может все, что угодно, забрести можно куда угодно, а этого как раз нельзя позволить, поскольку в этом случае условия игры становятся практически произвольными и у автора оказывается несравнимо больше свободы, чем у читателя. Поэтому карта — это первое, что рисует писатель фэнтези. Он подравнивает свое знание со знанием читателя, по крайней мере в области общей географии волшебного мира. Совсем не обязательно он всю карту раскроет сразу. Он может приоткрывать ее шаг за шагом, ведя своих героев по неведомым (пока) читателю путям, но постепенно, по мере чтения, читатель должен понять, что с ним играют по правилам и правил этих не меняют. Очень важно, чтобы это была карта не одной отдельно взятой страны или города, а всей ойкумены. Границы карты — это границы мира. Автор может намекнуть, что за этими границами что-то есть, но он же должен в таком случае доказать — доказать текстом, — что эти границы непроходимы ни туда, ни обратно. Примерно так, как это делается в герметическом детективе, когда действие происходит в ограниченном пространстве, отделенном от всего остального мира, — на корабле, в самолете, в замке, отрезанном непогодой, на «острове негритят»... А если герои что-то ищут, то искомое обязательно должно существовать. Пусть и не совсем в том виде, в котором представлялось поначалу.

<sup>2</sup> Толкиен Дж. Р. Р. Властелин колец. Перевод с английского Н. Григорьевой, В. Грушецкого. Л., «Северо-Запад», 1991.

Во «Властелине колец» карта мира — Средиземья — постепенно проявляется из небытия. Продвигаясь по этой земле вместе с героями, мы открываем ее шаг за шагом. Но то, что мы открываем, оказывается узнанным и познанным и уже не может быть отменено.

Если автор припишет герою какую-то способность, явно превышающую описанные ранее возможности персонажа, — он разрушит свой же хрустальный замок. В этом мире совершенно недопустимы ходы такого, например, типа: «И тут он неожиданно вспомнил, что умеет летать, и полетел», — между тем как ни автор не намекал на предыдущих страницах, ни читатель не подозревал о таком умении. Это качество *ad hoc*. Все объяснения, приводимые задним числом, будут неубедительны. Полет героя должен быть заранее объяснен исходя из его, героя, качеств и законов волшебного мира. Читатель должен вспомнить это объяснение и укорить себя за невнимательность. В литературе фэнтези автор настолько сильнее, то есть свободнее, читателя, что обязан жертвовать своей, по сути, неограниченной свободой во имя убедительности. У читателя попросту нет никаких других средств контроля за автором, кроме тех, которые он сам ему предоставляет, иначе повествовательная ткань грубо рвется. Толкиен никогда не позволяет себе подобной игры. К сожалению, его последователи далеко не всегда так же строги к себе.

Все правила и ограничения даны изначально, но не обязательно должны быть читателю изначально ясны. Они могут, как и в случае с картой, проявляться не сразу, ставя внезапно читателя в тупик, удивляя его. То есть читатель может сначала столкнуться с неким явлением, а понять его сущность много позднее. Так Бильбо находит кольцо Всевластья, совершенно не догадываясь, что же он нашел. Замечательно, что и Гендэльф, волшебник, навещая Бильбо в Хоббитоне, не торопится открыть хоббиту великую тайну. Он тоже не до конца уверен в своей догадке. Такая неуверенность и колебания героев ставят их в один ряд с читателем и повышают его доверие к тексту.

Модель всегда замкнута и полностью исчерпаема. Во всяком случае, это верно для тех моделей, которые используют авторы фэнтези. «Властелин колец» — это исчерпывающее описание фантастического мира, описание полное и непротиворечивое, как логика предикатов. Этот мир отделен от всех неразрешимых проблем и тайн реального мира. Этот мир самодостаточен. Потому-то в нем так уютно. После того как вам стали ясны все принципы этого мира, возможно только повторение. В нем нет глубины и многослойности реалистического романа или лирического стихотворения. Но он может быть необыкновенно изящен и по-своему величествен. Мир фэнтези прост, как паззл. Сложите его — и вы увидите картину, может быть, картину прекрасную. Но сложить из фрагментов можно только одну картину — ту, которую задумал автор головоломки.

Модельное построение текста необходимо Толкиену для полной и исчерпывающей познаваемости созданного мира. Для того чтобы стать таковым, этот мир должен быть последовательно секулярным — отдельным, отделенным от мира, в котором пребывает читатель. Именно этой отдельности и требует Толкиен в своем эссе, отказываясь принимать как сказочный — сюжет «Гулливера». Мир фэнтези надежно отделен наличием в нем магии, наличием сил и существ, которые есть только в этом мире. Толкиен утверждает, что самое интересное происходит как раз на границе нашего мира и мира фантастического. Но его рассказы в этом роде, такие, как «Кузнец из большого Вуттона», не стали столь же знаменитыми, как «Властелин колец». Встреча на границе — и на границе, проходимой в обе стороны, — тревожна, это встреча с неизвестным. А мир фэнтези прозрачен, он затуманен только первоначально, но потом писатель протирает стекло — и все становится ясным и солнечным.

Самое существенное, от чего отделен мир фэнтези, — это смерть и тайна смерти. Здесь этой тайне нет места. Смерть может случиться и здесь, но она необязательна. Эльфы — перворожденные — бессмертны. Драконы, если их не убьют, живут неограниченно долго. Смерти может избежать и такое конечное

существо, как хоббит; если он, как Фродо или Бильбо, был причастен к Кольцу, тогда его могут забрать с собой на шхуну, уходящую на запад из Серебристой гавани.

Смерть в нашем лучшем из миров и есть самая что ни на есть откровенная реальность, и приближение к смерти — это приближение к реальности. Смерть нельзя повторить или переиграть. Это — точка разрыва. И не важно даже, к чему приближается человек с его субъективной точки зрения — к абсолютной пустоте или к вечной жизни. Первому, вероятно, тяжелее, потому что он идет к тупику по исчезающе короткому коридору. Все меньше окон, все меньше света, все тяжелее темнота, и он знает, что в конце — стена, в которую он ткнется лицом, и ничего уже не будет. Рациональный атеизм, который был представлен в русской культуре такими крупными именами, как Александр Герцен и Лидия Гинзбург, — это мировоззрение крайнего отчаяния. В чистом виде атеизм встречается очень редко. Как точно заметил Рассел в своей статье о Марксе («История западной философии»), Маркс не был последовательным атеистом, иначе совершенно необъяснима и нелогична марксистская уверенность в прогрессе мировой истории. С чего это все развивается от худшего к лучшему? Герцен, например, считал, что никакого прогрессивного развития нет. А если оно предполагается, то это может вытекать только из последовательного деизма, но никак не из атеистического неверия в контроль над историей извне. Если же приближение к смерти — это приближение к вечной жизни, а ведь Толкиен был правоверным католиком, то это тоже приближение к реальности, но к реальности другого рода. Эта реальность апофатична, непрозрачна, сколько ни протирай стекло. А вот этого-то и нет в фэнтези. В упомянутом эссе Толкиен пишет: «Существует самое древнее и глубокое желание — осуществить Великий Побег, Побег от Смерти. В сказках есть много примеров и способов этого Побега, — можно сказать, здесь присутствует истинно эскапистский дух». Толкиен говорит, что конец сказки обязательно должен быть счастливым. И приводит как пример такого счастливого конца для истории человечества — евангельское Воскресение.

«Вероятно, каждый писатель, создающий вторичный мир, Фантазию, желает в какой-то мере быть творцом реальности или использовать ее элементы. Он надеется, что характерные особенности его вторичного мира... выведены из реальности или вливаются в нее. Если он действительно достигает в произведении качества, которое хорошо описано словарным определением „внутренняя логичность реальности“, трудно представить себе, чтобы это произведение не соприкасалось каким-либо образом с реальностью. Соответственно „радость“ в успешно созданной Фантазии можно объяснить как неожиданное видение скрытой реальности или истины.

Но „эвкатастрофа“<sup>3</sup> в один краткий миг разворачивает перед нами более возвышенный ответ — далекое сияние, эхо Евангелия в реальном мире...

В Евангелиях содержится волшебная сказка или скорее всеобъемлющий рассказ, вмещающий в себя суть всех волшебных сказок...

Но этот рассказ вошел в Историю и в первичный мир. Вместо стремления творить вторичные миры перед нами — исполнившееся Сотворение мира первичного. Рождество Христово — эвкатастрофа истории человечества. Воскресение — эвкатастрофа истории Воплощения. Рассказ начинается и кончается Радостью. Он в высшей степени обладает „внутренней логичностью реальности“.

„Сказочная“ радость пахнет истиной первичного мира. Иначе она не звалась бы радостью. Она полна ожидания Великой Эвкатастрофы (или воспоминаний о ней: в данном случае различие несущественно). Христианская радость, *Glōgia*, сродни ей, но невероятно (я бы сказал — бесконечно, если бы наши способности не были конечны) высока и полна счастья. Рассказ о Хри-

<sup>3</sup> «Счастливая развязка» — термин Толкиена, от древнегреческого *eu* — благой, *katastrophe* — переворот, исход.

сте выше всех прочих, и то, что в нем говорится, — правда. Реальность подтвердила Искусство. Господь — владыка ангелов, людей... и эльфов. Легенда и история встретились и слились».

Однако Воскресение — это воскресение в другую реальность. А счастливый конец волшебной сказки — это практически всегда восстановление справедливости или посюстороннего равновесия — равновесия, которое было разрушено в завязке и на восстановление которого были брошены все силы.

Петр Малков, анализируя «Сильмариллион», указывает тот момент толкиеновской теогонии, когда происходит разрыв между библейской традицией и миром фэнтези: «Весь мир, по учению Православной Церкви, есть арена действия метакосмических сил, по воле Божией управляющих вселенной. Именно таковы и толкиеновские Айнуры, ставшие Стихиями, Валарами. Они спускаются в мир, и мир украшается и устрояется при их прямом участии. Каждый из Валаров начальствует над областью природных сил в земном строе, в границах которой он только и может действовать. И вот тут-то впервые начинают проявлять себя отдельные совершенно внехристианские, языческие элементы толкиеновского предания. Валары облачаются в плоть. Само по себе явление ангелов в плотском образе для христианского вероучения не есть нечто полностью неприемлемое. Людям даже может казаться, что встреченные ими „незнакомцы“ вкушают вместе с ними пищу; человек может принять ангела за простого путника, не поняв, кто на самом деле стоит перед ним. Толкиеновское отступление от христианской традиции заключено не в этом, а в том, что его Валары являются на землю в облике мужчин и женщин, „ибо таково различие их характеров, данное им изначально“. Здесь толкиеновские Айнуры начинают напоминать не ангелов Библии, а божества древних языческих культов; это — подготовка писателя к переходу к мифологической реальности собственно „Сильмариллиона“ — „Книги утраченных сказаний“, смысл которой — попытка объединить на основе христианского мировоззрения и мировосприятия языческие верования разных народов и эпох. Другой внехристианский элемент — введение в текст „Айнулиндалэ“, наравне с упоминанием о грядущем появлении в Мире Сушем людей, упоминания и о других Детях Илуватара — эльфах. Судьбе эльфов в основном и посвящен „Сильмариллион“. И здесь делается попытка перекинуть еще один мостик через пропасть, разделяющую исповедуемое Толкиеном христианство и дорогую сердцу писателя дохристианскую индоевропейскую мифологическую и культурную традицию в целом»<sup>4</sup>.

Вознесение — это счастливый конец, но за пределами мира, счастливый конец, но там, где само земное представление о человеческом счастье отсутствует и поэтому говорить о нем бессмысленно.

Толкиен, вероятно, чувствовал то внутреннее противоречие, которое было неизбежно в его космогонии. Поэтому так и не издал «Сильмариллион». Книга вышла уже после его смерти, отредактированная и, видимо, дописанная по черновикам уже его сыном.

На мой взгляд, Толкиен вообще автор одной книги — «Властелина колец». Даже «Сильмариллион» читать необязательно. «Приложения» хватает вполне. А «Хоббит» — это легкое введение к основному труду. Все остальное — то, что было издано после смерти Толкиена, — читать стоит только в академических целях, и то с определенным скепсисом. Просто все, что выходит с брэнднэймом «Толкиен», пользуется неизменным огромным спросом, и если фирма «Tolkien Enterprises», которой принадлежат все права на все книги Толкиена (ребята не поленились запатентовать даже имена гномов), найдет совершенно неожиданно еще одну незаконченную рукопись, я не очень удивлюсь. Во-первых, потому что набросков у такой книги, как «Властелин колец», и должно быть очень много (как сказал Цветков, «это монументальное полотно, выпол-

<sup>4</sup> Малков Петр. Сотворение мира в мифе и сказке современности. — «Альфа и Омега», 1995, № 3 (6), стр. 169.

ненное колонковой кисточкой», а при такой работе неизбежно множество вариантов и черновиков), во-вторых, уж очень хочется.

Если модель глубоко проработана и жестко формальна, проявлен ее синтаксис и семантика достаточно богата, с ней можно и хочется поиграть. Изменить наборы первоэлементов, переменить все утверждения на отрицания (как в «Черной книге Арды» — вместо «Алой книги», которую Толкиен называет своим основным источником), попробовать вывести новые следствия из аксиоматики. Это и происходит с «Властелином колец». Появляются все новые и новые «продолжения» и римейки. Вероятно, одной из самых известных вариаций на темы «Властелина колец» стала книга Ника Перумова «Кольцо Тьмы»<sup>5</sup>, и на ней хочется остановиться подробно. Не потому, что эта книга нечто из ряда вон выходящее, а, напротив, как раз потому, что она совершенно типична, и очень многие моменты литературы фэнтези как таковой, которые у самого Толкиена преображены талантом, у Перумова предьявлены в чистом виде.

В статье «Заглянем за стенку» («Новый мир», 2001, № 9) Виталий Каплан пишет: «Будь автор сколь угодно талантлив, будь в его книгах и глубина мысли, и блестящий язык, и отсвет душевного жара, все равно клеймо „фантаста“ отлучит его от „большой“ литературы, все равно в глазах множества людей его творчество останется в лучшем случае успешной беллетристикой, а в худшем — способом заработать на хлеб с маслом». Ну что ж, заглянем за стенку и посмотрим на глубину мысли и блестящий язык Ника Перумова. Попробуем проанализировать его книгу безо всяких скидок на жанровую принадлежность, то есть так, как, видимо, предлагает автор новомирской статьи о фантастике.

Какой бы текст ни создавал писатель — традиционный реалистический или фантастический, читатель должен видеть то, что происходит с героями, видеть пейзаж и портрет. Писатель не только повествователь, но и описатель. А вот для описания язык приспособить не так легко, как для повествования, когда вроде бы достаточно глаголов, передающих действие. Чтобы у читателя возник нужный образ, необходимо мастерство владения инструментом — языком. Поэтому как раз описание — пробный камень таланта. А с описаниями у Перумова не очень гладко. «Последние ключья изорванных свежим западным ветром облаков исчезли в затянувшей восточное небо предвечерней мгле, а на западе огромный багровый диск неторопливо опускался в незамутненные, прозрачные воздушные бездны. Алая полоса вдоль горизонта без единого облачного пятна казалась атласной лентой, которую обронила какая-нибудь красавица. Путники невольно остановили коней, чтобы полюбоваться на это великолепие». Если солнце опускается в «незамутненные прозрачные воздушные бездны» — то есть заходит за чистый горизонт, — откуда возьмется полоса? Полоса бывает только тогда, когда солнце подсвечивает облака. Но ведь их нет. Чем же любовались «путники»? Автор не видит пейзажа. Он склеивает его из нескольких разрозненных впечатлений, которые он почему-то счел «красивыми», и эти картины, друг другу противоречащие, гасят друг друга. Читатель может не обратить внимания на такие «мелочи», но он все равно обокраден — ему не показали того, что обещано, только отняли время пустословием. Эпитеты в книге — это чистые штампы, безо всякого образного усилия. Плащ — «видавший виды», даль — «таинственная, подернутая голубоватой дымкой», хоббит — «охваченный отчаяньем», тропа — «едва заметная». Или для разнообразия — «темно-зеленые копыя молодых елей». Есть и просто нелепости — «черная, прозрачная, точно зеркало, вода», но прозрачная вода почти ничего не отражает, а зеркало не прозрачно. Я цитирую практически подряд. В принципе, вместо любого описания можно было бы поставить ярлычок: дорога, лес, дом — ничего бы не изменилось.

<sup>5</sup> Перумов Ник. Кольцо Тьмы. Т. 1. Эльфийский Клинок. СПб., «Северо-Запад», 1993.

Что ж, описания — не самая сильная сторона Перумова. Но, собственно, он и не обещал нам набоковских красот. Он ставит перед собой другую задачу. Задачу — повествовательную. Он рассказывает о Средиземье, но через триста лет после Войны кольца. Главный герой, хоббит Фолко (при быстром чтении так и хочется подставить «Фродо»), отправляется в путь, гонимый жадой приключений, начитавшийся Красной книги — той, в которой действуют его предки Бильбо и Фродо. Опять на Средиземье надвигается Тьма, только на этот раз вроде бы не с востока, а с севера. И опять хоббит с гномом по имени Торин бросаются защищать разумное, доброе, вечное. Основной источник книги Перумова — это конечно же «Властелин колец». Именно толкиеновская книга и есть та первичная реальность, к которой постоянно отсылает Перумов. Причем он играет с читателем в поддавки. Оказывается, что Красную (она же Алая) книгу никто из героев, кроме Фолко, не читал (Торин ее читает уже по ходу действия), и Фолко все время приходится ее пересказывать, иногда близко к тексту, иногда украшая повествование новейшими сведениями. Читатель Перумова прекрасно знаком с толкиеновской эпопеей и потому образованнее туповатых героев. Это, наверное, приятно, но сам прием стоит недорого: слишком легко достигается результат — убедительность куплена лестью читателю.

Перумов очень близко следует географии Средиземья, где живут те же расы — только эльфов стало поменьше. Даже ушедший за море Гендэльф является Фолко, правда во сне. Мы постоянно находимся в атмосфере книги Толкиена, но что же нового мы узнаем? Перумов раскрывает те умолчания, которые Толкиен сознательно оставил. Например, он провел своих героев через Морию, но провел как бы по касательной, они с трудом прорвались через подземный мир, но увидели там лишь малую толику того, что этот мир хранил в себе. Перумов ведет героев прямо в Морию, на самое дно преисподней, но тем самым он только разрушает хрупкую тайну фэнтези, которая не тайна никакая на самом-то деле, а только выглядит таковой. Толкиен очень осторожно ее отгораживает, чтобы создать видимость глубины и неисчерпаемости своего мира. А Перумов эту тайну разрушает. Ну походили они по подземелью — и что нашли? Да чтобы они там ни нашли, их находки несравнимы с будящими воображение, открытыми в черную глубину и полную неизвестность коридорами толкиеновской Мории. Перумов убеждает читателя: в Морию можно спуститься. А Толкиен-то пытался доказать, что нельзя. Совсем смешно выглядит поход героев в Исенгард и проникновение в башню Ортханк — в ту башню, куда не мог попасть даже маг Гендэльф. Герои попадают туда через выбитое окно, как сельские мальчишки в оставленный дачный домик. И ничего там не находят, кроме мерзости запустения, — оказывается, Великий Король уже все оттуда увез и даже мозаику выломал, бережливый такой. В этой башне живет голос, который все время что-то говорит, но героям некогда его слушать. Конечно, их ждут великие дела.

И если сам Толкиен называл создаваемый им мир «вторичной реальностью», то книга Перумова — третичная реальность. А это несколько чересчур. Перумов понимает требование прозрачности и исчерпаемости мира фэнтези слишком буквально, у Толкиена это только возможность, у Перумова — свершившийся факт. Я очень хорошо представляю себе, зачем человек пишет такую книгу, как «Эльфийский Клинок», — он хочет доиграть партию, которую соперники бросили, потому что им уже все в ней понятно. Но приходит третий и говорит: нет-нет, у черных еще есть шансы, можно побороться. И продолжает играть, не очень отдавая себе отчет в том, что у черных форсированный проигрыш, а он сам просто этого не видит, выбирая за белых ошибочные варианты. Почему не поиграть? Такие книги ничего не добавляют, а значит, отнимают. Не лучше ли еще раз перелистать самого Толкиена? Ведь наверняка что-нибудь новое откроется.

Нет, взгляд за стенку мне явно не удался, но, вероятно, есть другие писатели-фантасты, чей стиль блистателен, а мысли глубоки...

Композиция «Властелина колец» удивительна. Здесь действуют две светлых силы: Арагорн и Фродо — и одна темная: Саурон. Светлые силы помогают друг другу, как могут. И победа приходит в тот момент, когда Фродо приближается к жерлу Ородруина, а Арагорн стоит у ворот Мордора и вызывает черного волшебника на бой. Разница между ними в том, что Фродо может смелостью и хитростью добиться окончательной победы, а Арагорн в одиночку — только героически погибнуть. Их согласованность и взаимопомощь очень трудно перевести в чисто формальные правила, например, в компьютерную игру, что-то тут не клеится. Ведь то, что Арагорн потерпел бы поражение без Фродо, ясно с самого начала. Армия Арагорна как бы поддерживается той героической энергией, которую вырабатывают Фродо и Сэм, идя в свою совершенно безнадежную экспедицию. Это и есть «Развенчание власти» («The Dethronement of Power») — как называется эссе Клайва С. Льюиса о «Властелине колец»: «С одной стороны — кровопролитная война, топот копыт, пение горнов, лязг стали о сталь. С другой — двое крохотных хоббитов, изможденных и изнемогших, крадущихся, точно мыши по груде шлака, по вулканическим сумеркам Мордора. И мы твердо знаем, что судьба мира зависит куда больше от этой пары, нежели от сталкивающихся в битвах армий. Это — мастерский сюжетный ход, стержень, важнейшее звено, благодаря которому „Властелин колец“ заставляет сопереживать персонажам, восхищаться ими, а иногда над ними и посмеиваться»<sup>6</sup>.

Фантастический мир Толкиена подробен и эмпиричен, как мир настоящего англичанина. Убедительность этого мира покоится на его подробности. Толкиен делает попытку этот мир инвентаризировать — весь до последнего листика травы и поворота тропы. В действительности этого не требуется (даже если бы подобное было возможно). Есть некоторый порог релевантности описания, дальше которого читатель не пойдет, но подвести его к этому нужно, чтобы он поверил даже не миру, который вырастает у него перед глазами, а тому, что писатель знает об этом мире все. В этом Толкиен ничем не отличается от писателя-реалиста. Реалисту в чем-то легче — многое можно не описывать, читатель и сам это видит, но в чем-то и труднее — именно в силу того, что читатель это видит, и видит не совсем так или совсем не так, как писатель ему предъявляет. Здесь — другая убедительность.

Роман Честертона «Шар и крест» завершается сценой эмпирического наблюдения чуда: «Огонь лежал двумя мирными холмами, а между ними, как по долине, шел маленький старец и пел, словно гулял в весеннем лесу. Когда Джеймс Тернбулл увидел это... глаза его были... сияющими и прекрасными. Многие скептики ругали его потом в журналах и газетах за то, что он предал стоящий на фактах материализм. До сих пор он и сам верил, что материализм стоит на фактах, но, в отличие от своих критиков, предпочитал факты — даже материализму»<sup>7</sup>. Честертон пишет о своем герое — Тернбулле — как о последовательном и строгом атеисте, настолько последовательном, что он даже готов умереть за свои убеждения. Глубинное противоречие, которое легко и иронично формулирует Честертон в последней фразе, оказывается имманентно неразрешимым. Собственно, к этому писатель и подталкивает. И здесь проявляется одно из существеннейших различий между литературой фэнтези — и самим Честертоном и Клайвом Льюисом, близким другом Толкиена. Чудо необъяснимо изнутри нашего мира. Оно здесь гость, явленный как эмпирический факт недостаточности нашего представления об универсуме, который больше, чем наш имманентный мирок. А в фэнтези чудо или, точнее, магия —

<sup>6</sup> Клайв С. Льюис. Развенчание власти. Перевод Д. Афиногенова. — Цит. по сб.: Толкин Дж. Р. Р. Сильмариллион. Перевод с английского. М., ООО «Издательство АСТ»; СПб., «Terra Fantastica», 2000, стр. 544 — 545.

<sup>7</sup> Честертон Гилберт Кит. Шар и крест. Перевод с английского Н. Трауберг. — В его Собр. соч. в 5-ти томах. Т. 2. СПб., «Амфора», 2000, стр. 143.

они естественны, нормальны, понятны без мотивировок. Они отличают мир фэнтези от того, в котором живет обычный человек, но в самом волшебном мире ничего необычного не случится, если случайно пролетит дракон или гном зайдет перекусить и выкурить трубочку у камина.

Я здесь не зря вспомнил этот роман Честертона. Само противопоставление секулярного замкнутого и очень красивого объема — золотого шара — и намеренно разомкнутого и отчетливо ориентированного относительно неба и земли (или ориентирующего небо и землю — это как посмотреть) креста очень важно. Толкиен хотел бы, чтобы крест был вписан в шар, но на поверку оказалось, что крест вне шара и довольно далеко от него<sup>8</sup>.

Когда человек попадает в неразрешимо сложную ситуацию, он всегда пытается построить ее модель. Он выделяет область, которая ему подконтрольна, — ограниченную область, в которой он неограниченно свободен. Проблема в том, что же именно он моделирует. Толкиен моделирует героическое сверхусилие слабого человека.

Фантастический мир холоден. Несмотря на всю его внешнюю красочность и декоративность. Здесь нет людей, есть только модели. «В реалистическом произведении потребовалось бы „описание характера”, а Толкиену достаточно назвать своего персонажа эльфом, гномом или хоббитом, и все становится ясно. Вымышленные существа доступнее и „прозрачнее”, нежели подлинные люди; проще разглядеть, что у них внутри. А что касается человека в целом, человека как части вселенной, разве можно познать его до тех пор, пока он не предстанет перед нами в облике героя сказки?» (Клайв С. Льюис).

Но так мы видим человека только извне. Мы видим человека глазами гнома или эльфа. Этот человек — всегда чужой.

Мир Толкиена, мир фэнтези, ясен и независим от человека, читающего книгу. Это мир чисто объектный, такой, каким виделся человечеству весь универсум в XIX веке. Это — островок безопасности.

Читать реалистическую прозу — это всегда труд, и прежде всего это труд сочувствия. Читать фэнтези — это увлекательный отдых. Там некому по-настоящему сострадать. Все то, что происходит в волшебной стране, со мной не может произойти ни при каких обстоятельствах. Это — бесконечно удаленный мир. Конечно, можно посочувствовать и его героям и даже поволноваться за них, но это сочувствие сквозь пуленепробиваемое стекло. Отдыхать всегда приятнее, чем работать, а сочувствие — еще и труд души. Ну ее к лешему, эту прозу «критического реализма», одно расстройство. Почему так грязны и нелепы бывают российские фильмы под голливудский канон? В этих фильмах исключительно по непрофессионализму и недосмотру авторов появляются пускай какие-то недоделанные, но люди. А это-то недопустимо. Нельзя даже давать заподозрить, что те двадцать или тридцать человек, которых замочил в порыве праведного гнева исключительно положительный главный герой, — что эти люди испытывают боль или страх. Фэнтези решает задачи охранения читателя от его собственного сочувствия радикально и последовательно, делает само предположение о том, что вы можете встретиться с героями волшебного мира на улице, совершенно необоснованным.

Литература фэнтези — это дитя XX века, даже его второй половины, и Толкиен — основатель этого жанра, сколько бы ни говорили о его предше-

---

<sup>8</sup> По сходному поводу Владимир Березин («Октябрь», 2001, № 12, стр. 186) пишет: «...вся литература фэнтези по сути антихристианская. Это ее неотъемлемое свойство... Толкиен стал по-настоящему популярен... именно потому, что построил свой эпос на совершенно нехристианской основе кельтской мифологии». Я думаю, жанр фэнтези нельзя назвать антихристианским, как конечное множество нельзя назвать антибесконечным. Оно не «анти», оно — другое. Что касается непосредственно Толкиена, то, повторю, он, работая с мифологическим и сказочным материалом, пытался вопреки его сопротивлению воплотить в нем «сказку сказок» — Евангелие и именно на него ориентировался как на первичную реальность. Это необходимо помнить, читая его книгу. Другое дело, что задача была до конца невыполнима.



ственников. Они действительно есть, и можно их называть поименно. Но всегда приходится делать различные оговорки. Скажем, псевдоготические романы Майринка — это не фэнтези. Он открывает чудесное вокруг себя: Голем бродит в еврейском квартале Праги. На улице Алхимиков живут алхимики. Магическое настолько укоренено у Майринка в реальном, что взыскуемый героем «Ангела западного окна» Джоном Ди Камень оказывается камнем в почках, от которого герой и умирает.

Единственным действительным источником фэнтези оказывается народная волшебная сказка. Не эпос даже, а именно сказка, и Толкиен на этом настаивает в своем эссе «О волшебной сказке», в котором он анализирует и собственную работу, конечно.

«Властелин колец» — великая книга. Принципы ее построения и глубиннейшая проработка — и лингвистическая, и композиционная — делают ее единственной и неповторимой. Сколько бы ни писалось вариаций и продолжений, мир фэнтези можно было открыть только однажды. Это было не только открытием жанра, но в известном смысле и его закрытием — его исчерпанием. Оттого что люди глубоко и полно исследовали такую богатую формальную систему, как логика предикатов, они, конечно, не перестали мыслить логически, и строгая логика рассуждений может удивлять и радовать и сегодня. Но в некотором смысле эта логика все-таки исчерпана — ее синтаксис выстроен, и хотя содержательное наполнение бесконечно разнообразно, оно всегда имеет только прикладное значение, самой логике вполне постороннее. Во «Властелине колец» самое важное — это почти толстовская энергия заблуждения, попытка доказать, что главное в этом мире — радость, что счастливая развязка — единственно возможный исход, предельная реальность нашего мира. Это попытка обосновывается Толкиеном апелляцией к последней реальности Рождества и Вознесения. Так же как Толстой всю свою жизнь стремился обосновать имманентное добро, Толкиен стремится обосновать реальность счастья. Те логические и гносеологические ошибки, которые он при этом делает, не приводят к распаду его мира именно потому, что они согреты и просветлены предельным усилием и ответственностью автора. Но это относится только к самому Толкиену и практически никогда — к его последователям в жанре фэнтези, даже самым глубоким и успешным, таким, как, например, Урсула Ле Гуин. «Толконутые» в Нескучном саду — это своего рода аналог толстовцев. Это люди, воспринявшие как раз внешнюю форму «Властелина колец», а не его глубокую внутреннюю интенцию.

Когда и почему люди перестают интересоваться окружающей их жизнью и устремляются в сказочный мир? Когда они эту жизнь не понимают и боятся ее, как чего-то незнакомого и чужого. Мир фэнтези насквозь понятен и ясен, потому что замкнут и исчерпаем. Это — мир формальной свободы.

В статье Лидии Гинзбург «Литература в поисках реальности»<sup>9</sup> развитие литературы рассматривается как снижение порога релевантности — дробности и различимости. Если мифологическая традиция оперирует целыми категориями — неизменными во времени эквивалентами универсальных понятий, то уже в литературе Нового времени исследуются характеры и типы — более тонкие дистинкции. В XIX веке литература доходит до уровня психологии отдельного человека, уже не характеры показаны через персонаж, а сам персонаж разлагается и исследуется по чертам характера, и этот персонаж не постоянен, как в мифологической литературе, а изменчив, подвержен влияниям обстоятельств, случайности. В литературе Просвещения (XVIII век) ничего случайного не бывало. Все совпадения, подслушивания, внезапные встречи подчиняются четкому каркасу, все события, происходящие с персонажем, происходят как бы вне его, и он ими оплетен, как прозрачной, но бесконечно прочной сетью.

<sup>9</sup> Гинзбург Лидия. Литература в поисках реальности. М., «Советский писатель», 1987, стр. 4.

В психологическом романе образ человека вырастает из биографии и среды, но здесь он свободен, способен изменяться и познавать мир и самого себя. Именно в XIX веке литература становится соразмерна человеку, ее средства — описание и анализ среды и человека, помещенного в эту среду, — максимально приближаются друг к другу.

XX век продолжает снижение порога релевантности — уточнения могут продолжаться практически бесконечно, никогда не исчерпывая предмет. Для описания одного дня может понадобиться целая книга, и это не выглядит ни затянутым, ни чрезмерным. Литература пытается строить человека из бесконечно малых величин, интегрировать его жизнь из микропоступков и микроявлений, из мгновений, и здесь она только следует общему пути познания. В XX веке человек постоянно сталкивается с вещами, которые он может представить только в виде математических, химических или каких-то других формул, то есть в виде фактов языка. Исследования микромира и Вселенной привели к тому, что язык остался единственным соразмерным человеку объектом во внешнем мире. Единственной его опорой. Слишком многое нельзя потрогать, понюхать, попробовать и даже услышать и увидеть. Чем пахнет очарованный кварк?

Ребенок держит на ладони продолговатый предмет и говорит: «Камень». Что он этим хочет сказать? Что на самом деле лежит у него на ладони? Обломок отшлифованного ветром и водой, чуть солоноватого на вкус гранита? Мириады молекул выстроенных в кристаллическую решетку минерала? Непредставимое множество элементарных частиц, удерживаемых вместе электромагнитными и ядерными силами? Множество волновых функций, операторов координат и импульсов в гильбертовом пространстве?

Сама возможность постановки этих вопросов означает кризис достоверности. В проверке непротиворечивости и полноты нуждаются не только формально-языковые конструкции, такие, как язык математики или языки программирования, но в не меньшей степени обычные слова естественного языка. Мы предъявляем к языку очень серьезные требования, потому что очень многое ему доверяем. Язык становится центром бытия, и не только как выразитель объективных истин, но и как носитель их. И язык, чтобы прояснить темные стороны своего бытия, требует моделирования — требует властно. И люди строят модели и вторичные миры — и читают фэнтези. Если удастся, как, например, Пелевину, проиграть на конкретном содержании, на заданной материальной интерпретации хотя бы какую-то деталь действительности языкового существования — это всегда успех и удача. Можно ли говорить о смерти реалистического романа? В каком-то смысле да. Просто мы сегодня понимаем, что тексты Толстого не менее фантастичны, чем тексты Толкиена. Они — тоже «случай из языка». Снижение порога релевантности, необходимого для сегодняшнего человеческого существования, уничтожило реалистический роман, такой, каким его видел даже Набоков. Смысл просыпался сквозь слово, как сквозь дырявое сито, и осел битовой крошкой на дорожках винчестера. Из этого не следует, что слово утратило смысл. Но этот смысл уже не сводится к тривиальности означаемого — этот смысл надо брать с боем, его нужно каждый раз конструировать заново. В том числе и с помощью фантастической модели.

Так называемый реалистический роман — это, быть может, только один из вариантов фантастического. Но необходимо исследовать пограничные явления бытия. Нужно рисковать. Просто потому, что смерть есть смерть, и как бы мы ни отворачивались от нее, как бы ни прятались, она есть. И мир не познан и сложен и труден, и мы, все глубже зарываясь в универсум, все меньше в нем понимаем. Спрятаться можно, но выходить все равно придется. И держать ответ — перед миром и перед языком, которым мы описываем этот мир и который этим миром порождается.



---

---

# Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

## ЗАПРЕТНЫЙ САД

Анна Матвеева. Па-де-труа. [Повести и рассказы. Предисловие Н. Коляды].  
Екатеринбург, «У-Фактория», 2001, 624 стр.

**А**нне Матвеевой искренне интересны ее герои. Не такое уж распространенное качество по нынешним временам: авторам прозы часто не хватает энергетики, чтобы наделить персонажи живым кровообращением. В результате и сюжет составляется из событий, которые не очень важны персонажам и не особенно интересны читателям. Автор, что называется, живет для себя — и хорошо, если он при этом обладает достаточно богатым личностным миром и неплохим языком. Но такой литератор никогда не напишет, например, истории на тему «любит — не любит». Просто потому, что ему по большому счету безразлично, сложится у героя личная жизнь или не сложится. Важно, чтобы сложился текст, — и в этом есть, конечно, своя профессиональная правота.

Матвеева — писатель очень молодой («Па-де-труа» — первая «настоящая» книга, потому что предшествующий «Заблудившийся жокей» был изданием спонсированным и малотиражным). Она не совсем еще профессионал. Будь Матвеева постарше и поопытней — она бы, возможно, поостереглась писать рассказы, несущие столь явные признаки так называемой «женской прозы». Многие коллеги «женскую прозу» не жалуют — и я ее, признаться, тоже не люблю. Я считаю, что сугубо женского жизненного опыта при всей его эмоциональной насыщенности для литературы недостаточно. Пусть кого-то это шокирует, но нашей сестре писательнице надо сначала стать бесполом существом — и только потом, уже со стороны, можно возвращаться к гендерной специфике. Те, у кого получилось через это пройти, пишут тексты, о которых есть смысл разговаривать всерьез. Те, у кого не получилось, неплохо издаются в книжных сериях, тисненных золотом, и это тоже по-своему счастливая судьба. Но путать одно с другим — непродуктивно и грешно.

В случае Анны Матвеевой как раз возможна путаница — по чисто внешним признакам. Такое случается: хороший гриб можно принять за поганку, полосатую муху, крашенную под осу, — за осу. Самым криминальным признаком выглядит то, что Матвеева пишет про любовь. Причем подает сюжет не в каком-то метафорическом либо в метафизическом ключе, а один к одному, не чуждаясь и элементов мелодрамы. Ей всегда любопытно сравнивать соперниц — как выглядят, как одеты. Любопытно оценивать и предмет соперничества, причем глазом скорее женским, нежели писательским. В ее рассказах часто бывает так, что люди хорошо знакомые встречаются после прохождения первой жизненной дистанции — от юности к молодости. Тут автору интересно, кто преуспел, а кто сделался неудачником, кто «постарел», а кто не очень, кто приобрел товарный вид, а кто, наоборот, опустился. Такое впечатление, что все герои Матвеевой — бывшие ее одноклассники, с которыми она «встречается» в собственной прозе. Здесь, в текстах, продолжают истории, уходящие корнями во впечатлительное детство и неопытное отрочество. Здесь расцветают бывшие дурнушки, а первые школьные красавицы терпят постыдный крах. Здесь неловкие подростки, превратившись в успешных молодых мужчин, попадают в брачные сети поумневших девочек, работающих в рекламных фирмах. И так далее.

Еще одна характерная особенность. Герои Анны Матвеевой отличаются от традиционных «маленьких людей» сердобольной российской прозы тем, что отнюдь не бедствуют, а, наоборот, зарабатывают деньги и ведут соответствующий образ жизни. А поскольку автор взглядчив и точен в подробностях (линии дорогой одежды, достопримечательности туров), то тексты приобретают некоторый налет глянцеватости, что также делает их уязвимыми. В общем, книга Анны Матвеевой противоречит эстетике «прекрасных задворок», к которой привык уважающий себя мейнстрим.

Однако при отсутствии «профессиональной правоты» проза Анны Матвеевой обладает правотой естественности. На самом деле мелодраму очень трудно написать нефальшиво. Вернее, трудовыми усилиями здесь ничего не добьешься: надо обладать особым даром рассказчика, умением «оживлять» героя и в дальнейшем правильно его провоцировать. Таким букетом способностей молодая писательница обладает вполне. Маленькая повесть, давшая название всей книге, — чистой воды мелодрама. Когда-то героиня по имени Нина закрутила роман с женатым человеком, чем доставила его «старой» тридцатилетней половине немало неприятностей. Через некоторый период времени ровно та же история произошла и с ней самой. Думая склеить семью, Нина утащила мужа в двухнедельный тур по Италии, но молодая соперница последовала за ними. «Танец втроем» на римско-венецианском фоне протекает с переменным успехом участников. В итоге выясняется, что юная разлучница — дочь той самой «старой» стервы и бывшего любовника главной героини. Возмездие свершилось, круг замкнулся, а треугольник распался на трех чужих друг другу людей. Казалось бы, банальная ситуация: юная любовница приглашает «старую» жену вместе пройтись по магазинам, чтобы унижить ее «мадамством», а та не остается в долгу и третировать девчонку за отсутствие вкуса. Но психологически в диалогах все сделано очень точно. То же и с другими элементами «танца». Повесть, кроме того, демонстрирует присущую автору жажду новизны, расширения мира: это буквально песня об Италии, увиденной не поверхностным взглядом туриста, но свежим и жадным глазом молодого познающего существа. Эта свежесть особенно проявляется в путевых очерках Анны Матвеевой, к сожалению, не вошедших в книгу «Па-де-трау». Среднестатистический турист, много наслышанный о Лувре или, к примеру, о Тадж-Махале и увидавший воочию знаменитые чудеса, испытывает некоторый шок: реальный объект никогда не вкладывается точно в то представление о нем, что имеется у человека в голове. В сущности, туристический объект, каким бы подлинным и древним он ни был, есть большой аттракцион: так надо для адаптации туриста, и соответствующий бизнес еще больше театрализуется для него событие встречи, окружая объект аттракционами уже специально созданными. Что касается Анны Матвеевой, то она взглядом попросту считает с объекта все пленки ненастоящего и видит его таким, будто туристического бизнеса не существует вообще. Поэтому в повести «Па-де-трау» знаменитый Коллизей и нагловатый продавец цветов стилистически равноценны. Кстати: стремление познать мир, расширять опыт свидетельствует о том, что Анна Матвеева не замкнется на чисто женских эмпирических сюжетах и не станет автором той специфической прозы, которую дамы среднего возраста читают в метро.

Главным текстом книги «Па-де-трау» стала как раз «неженская» вещь: повесть «Перевал Дятлова». В основе ее лежит реальное событие: загадочная и жуткая смерть девяти туристов в 1959 году. Историю эту хорошо помнят в Свердловске-Екатеринбурге. Группа, возглавляемая Игорем Дятловым и состоявшая по большей части из студентов УПИ, вышла на сложный зимний маршрут и целиком погибла на склоне горы Холат-Сяхыл, что в переводе с языка манси означает «Гора мертвецов». В обстоятельствах этой гибели много странного. Почему-то опытные туристы покинули палатку, бросив там одежду и продукты, причем некоторые бежали без обуви. Раненные, они развели костер, для чего обламывали ветки кедра, в то время как рядом имелся валежник: это может свидетельствовать о том, что туристы были ослеплены. На месте происшествия были обнаружены эбонитовые ножи, не принадлежавшие никому из участников похода, при этом нож отсутствовал. Не менее таинственны поисковые и следственные сюжеты. Впечатление такое, будто властям было что скрывать. За сорок с лишним лет, прошедших со дня трагедии, образовалось множество версий: тут и испытание военными секретного вакуумного оружия, и появление НЛО, и нападение медведя-шатуна.

Чтобы написать «Перевал Дятлова», Анна Матвеева много работала в архивах, встречалась с родственниками погибших туристов, с другими людьми, причастными к событиям. Наверное, сейчас никто лучше, чем она, не владеет информацией об обстоятельствах трагедии — во всяком случае, той частью информации, что доступна частным лицам. Правда, существуют и силуэтно проступают в повести некие люди, которым доподлинно известна причина гибели дятловцев: «Кто страш-

нее: лубочный маньяк-убийца из „эскадрона смерти” или мирный пенсионер, бывший инженер или военный, выращивающий морковь и внуков и хранящий молчание?..» Сама Анна Матвеева собственной версии не создает. Она подбирает и излагает факты, допуская мысль, что какому-то читателю может из текста открыться истина.

Надо сказать, что повесть организована довольно прихотливо, не без влияния Милорада Павича. Внутри текста читателю предлагается несколько «маршрутов», присутствует и специальный дятловский словарь, где толкуются понятия и предметы, значимые в пределах рассказанной истории. Нравятся или не нравятся такого рода приемы — дело целиком вкусовое. Сам материал такую структуру, в общем-то, не поддерживает. Современная линия повести тоже как-то не тянет на трагедийный и бытийный уровень, заданный базовым non-fiction. Линия представляет собой историю молодой писательницы, от которой муж ушел, а потом вернулся и сделался товарищем в нелегком расследовании дела о гибели дятловцев. Этот сюжет мог бы стать основой одного из изяшных любовных рассказов Матвеевой, но в теле повести он, сказать по правде, неорганичен. Впечатление, будто подлинную фотографию погибших туристов вставили в неподходящую, слишком нарядную рамку. Зато у Матвеевой замечательно получились сами дятловцы. Каким-то образом она сумела понять своих ровесников той глубоко советской послесталинской поры — через их дневники, через какие-то пронзительные детали, например, через протокол осмотра вещей, найденных на месте происшествия. Автор вдруг поражается тому, насколько вещи у ребят одинаковые и, в общем-то, невеселые: будто — это уже мое читательское ощущение — все дятловцы из одного сиротского приюта.

Что приятно в этой прозе — при всей ее выраженной принадлежности молодому автору, в ней нет ничего агрессивно-поколенческого. Истории, которые рассказывает Матвеева, происходили раньше, происходят сейчас и будут происходить всегда. Всегда люди будут влюбляться, изменять, ревновать. Другое дело, как это может быть описано в литературе. Современный тип письма более всего проявляется у Матвеевой в рассказах с элементами шаманства. «Представь себе дом...» — новелла о молодой женщине, наделенной сверхвпечатлительностью, особенной способностью задавать вопросы неодушевленным предметам. Этот природный дар основан на том, что для героини не существует прошлого и будущего: все совершается одновременно.

Проявляется свойство природы, казалось бы, через вздор: героиня ревнует мужа к его прежней возлюбленной и, разрушая семейную идиллию, выпытывает у него подробности давнего романа. Она никому не может объяснить, для чего ей надо взглянуть на дом, где муж много лет назад провел с соперницей несколько самых счастливых часов. Дом стоит далеко, в маленьком городке, куда надо добираться по плохой дороге на раздолбанном автобусе. Уже тогда, когда здесь состоялось свидание, дом пустовал и был предназначен под снос. Однако именно пустота — самая долговечная вещь на свете: когда героиня, ведомая наитием либо неким демоном, отыскивает этот заколдованный замок, он оказывается на месте почти не изменившийся: «Демоны ныли: „Тот, тот самый!” — и Маша пошла на сближение с прошлым мужа. Ей стало казаться, что она сейчас увидит в окне (она сразу нашла то самое окно, и демоны соглашались, кивая мордами) влюбленные силуэты. А может быть, Ольга хозяйкой спустится со второго этажа, и за ней потянется волшебный шлейф паутины». Видимо, необъяснимые человеческие поступки становятся основой самых удачных рассказов. Необъяснимые, но узнаваемые через какой-то глубинный эмоциональный опыт. Эхо рассказа «Представь себе дом...» я нахожу, например, в романе Алессандро Барикко «Шелк». Там путешественник-француз обретает в Японии таинственную возлюбленную, а жена путешественника после, когда тот уже прочно осел на родине, посылает ему письма от имени той далекой женщины. Зачем, казалось бы? Затем, чтобы таким шаманским способом хоть ненадолго превратиться в соперницу, стать ею, войти в ту историю, где ей не отвели и не оставили места. «Маша всегда любила читать чужие письма и шарить по столам и буфетам, не в поисках столового серебра, конечно, просто она изо всех сил вклинивалась в постороннюю жизнь, где про Машу не знали, не ждали ее участия, не пускали в запретный сад. Тем слаще было вампирить над тонкими

строчками любовных посланий и разглядывать незнакомые лица старых снимков». Последнее — уже из Анны Матвеевой. Кстати: заимствование у популярного итальянца исключено, поскольку «Шелк» был опубликован по-русски много позже первой публикации рассказа.

В тонких человеческих переживаниях всегда можно найти метафору писательства. Мне кажется, что проза и есть тот запретный сад, куда литератор попадает некоторым нетривиальным способом, в обыденном смысле — не вполне законным. Анна Матвеева это уже умеет. Наверное, и хорошо, что молодая писательница на первом, решающем этапе развития так далека от конъюнктуры. Может быть, «женская проза» в ее исполнении вернет себе первоначальную свежесть и ценность.

Ольга СЛАВНИКОВА.



### ПРОМЕЛЬК НЕБА НА БЕДНОЙ ЗЕМЛЕ

Алексей Решетов. Темные светы. Стихотворения. Екатеринбург,  
«Банк культурной информации», 2001, 318 стр.

**Ж**изнь коммунальная, тесная и в то же время — нестерпимо одинокая. Докучливая молва о чуде поэте, который стихами ничего себе заработать не может. Ведь никто не поверит, что — *не хочет*.

Алексей Леонидович Решетов никогда не зарабатывал на хлеб литературой. Разве что в ту недолгую пору, когда в середине восьмидесятых работал в Перми литконсультантом при местном отделении Союза писателей.

«*Мы божжи от поэзии...*» — написал как-то Решетов. Их было не так уж мало — даровитых русских поэтов, которых советская литературная власть с радостью приняла бы «от станка» на свое довольствие, но они бежали заманчивой участи. Остались в механиках, сторожах, бухгалтерях, итээровских служащих. В этом чаще всего не было ни снобизма, ни андеграундного протеста, ни гордыни. Нежелание превращать в ремесло свое тайное призвание, совесть, стыд — вот что сохранило этих поэтов от присмотра властей. Только с начала девяностых нам стали потихоньку открываться их судьбы. В толстых журналах появились публикации *подспудной* поэзии, созревшей далеко от столицы. Некоторые стали настоящим событием для литературы и открытием для читателя. Вспомним, какой вспышкой было появление в Москве Бориса Александровича Чичибабина, много лет служившего бухгалтером в харьковском троллейбусном парке.

Но далеко не все успели выйти на подмостки под яркий свет софитов. Не все успели обрести всероссийского читателя в те дни, когда свежие стихи были еще равны свежей новости. И первые публикации становились иногда посмертными. Так случилось, к примеру, с замечательными стихами Сергея Леонидовича Кулле (1936 — 1984) — его подборка появилась в № 1 «Ариона» за 2001 год. Поэт после окончания университета всю жизнь работал в ленинградской многотиражке «Кадры приборостроения», опубликовав при жизни всего четыре стихотворения.

Решетов понемногу печатался в пермской периодике, раз в десять — пятнадцать лет выходили тоненькие сборники. Первый из них, вышедший на рубеже шестидесятых годов, «Нежность», был отмечен Борисом Слуцким. И поэт «как писал свою интимную лирику, напоминающую вешнюю или преддождевую, музыкального звучания капель, так и продолжает слагать ее» (Виктор Астафьев, 1999).

Но книга стихов, такая, какая отразила бы *луть*, появилась только сейчас.

Давно заметил, что у вагонного окна книги читаются совсем иначе, чем дома. В дороге чтению сопутствует дымка, промельк, быстрое чередование простора и глухомани. То весенний лес спешит навстречу, перепрыгивает через канавы, озера и затопленные огороды. А то столько воздуха откроется и воды... Кругом вода, синяя глубь — еще более синяя, чем высь.

Текст, как мы сейчас называем даже стихи, теряет в такие минуты свою предметность, она осыпается, и нам счастливо брезжит видение забытого детского мира, промельк неба на бедной земле...

Конечно, и стихи для этого должны быть хороши, одного законного пейзажа мало.

Мирный дворик. Горький запах шепок.  
Голуби воркуют без конца.  
В ожерелье сереньких прищепок  
Женщина спускается с крыльца...

Поэзия, должно быть, торжествует именно в такие моменты. Наша неспешность в несущемся поезде, близость первозданного мира и открытая книга... Ее потряхивает в руках, и где-то незримые веса колеблются.

Лирика — дитя свидания, назначенного в уединении. Лидия Яковлевна Гинзбург заметила однажды: «Лирике в особенности нужен понимающий читатель. Этот вопрос не следует смешивать с вопросом о культурной подготовке читателя, об его интеллектуальной изошренности...» И дальше Гинзбург говорит, что даже грамотность — совершенно необязательное условие для восприятия и понимания, и приводит пример: «Устная крестьянская поэзия всегда имела понимающего слушателя, в высшей степени способного расшифровать систему ее иносказаний...»

Не случайно о *лирическом читателе* писал человек, переживший революцию, маршевый ритм двадцатых годов, блокаду... О возможности лирики, вернее, о ее невозможности в определенные эпохи писал и Михаил Бахтин, старший современник Лидии Гинзбург. Из своих наблюдений он вывел закономерность: «Всякая лирика жива только доверием к возможной хоровой поддержке, она существует только в теплой атмосфере...»

С теплой атмосферой у нас всегда были проблемы. Гоголь жаловался Жуковскому: «Время еще содомное. Люди, доселе не отрезвившиеся от угару, не годятся в читатели. Чувство художественного почти умерло...»

От читателя лирика почти ничего не требует: немного созерцательности, чуть-чуть праздности (как ее ценил трудоголик Чехов! — он говорил, что истинное счастье невозможно без праздности), каплю доверчивости да три минуты тишины. «И ты ключом, приятель, не стучи, / Ты эти три минуты помолчи...» Это из песни Юрия Визбора, где «тишина плывет, как океан». На флоте принято три минуты в час соблюдать тишину в эфире — чтобы не пропустить сигналы бедствия.

Созерцательность, доверчивость, тишина... Сегодня эти требования оказались почти запредельными. Океан тишины вычерпан. Угаром страха и мести охвачена уже не одна шестая суши, а, похоже, все человечество. С каждым поколением слух на поэтическую речь пропадает все у большего числа людей.

Какая у нас идиллия может быть, какая праздность... Вот только если в дороге душа малость отмякнет...

Кажется, я отвлекся от книги Алексея Решетова. Но когда смотришь на даты под его стихами — а тут рядом 1958 и 2000 годы, — то невольно эти цифры толкают к обобщениям, само собой думается и о русской поэзии, и о *лирике* как утрачиваемом состоянии русской души.

Издавелека судьба Решетова выглядит самоизоляцией. Вдали от столичных искушений, моды, общественного поприща — тоже, можно сказать, романтика. А на самом деле — совсем *другая жизнь*. Романтики в ней и со спичечный коробок не наберется.

В Березники («Город расположен на богатейших месторождениях калийной, магниевой и поваренной соли, в 278 километрах к северу от Перми», — сообщает энциклопедия «Города России») семья попала по трагическому предписанию эпохи. В 1937 году отец будущего поэта, известный хабаровский журналист, был арестован по доносу и вскоре расстрелян. Домашнюю библиотеку свалили во дворе и сожгли. Мать, Нину Вадимовну, уволили с работы и в июле тридцать восьмого арестовали, отправили в лагерь на Колыму, где женщины-заклученные работали на лесосплаве. Годовалый Алеша остался на руках у бабушки. В сорок пятом году, после освобождения Нины Вадимовны, они приехали в поселок близ Соликамска,

а через два года семью Решетовых вместе с частью строителей Соликамскстроя перебросили в Березники.

Окончив в Березниках Горно-химический техникум, электромеханик Решетов много лет работал на Березниковском калийном комбинате. Постоянное чувство тошнотворной, гнетущей опасности. Ранние утраты, проводы в последний путь товарищей, приятелей, соседей... Обвал на калийной шахте — событие, увы, всего лишь районного масштаба.

Печальной кучкой друзья  
Собрались в столовой на рынке.  
Дешевая водка, кутя —  
Не первые в жизни поминки...

Тут все слишком всерьез. Убивают — до смерти. Напиваются — вдрызг. И если что-то падает, то обязательно — вдребезги. Для иронии — не тот климат. Но все пронизано любовью — странной, полунемой, чурящейся иногда самого этого слова — «любовь»...

Даже там, в больничном зданье,  
За решеткой и за шторкой,  
Бонапарт целует няне  
Руки, пахнувшие хлоркой.

Этот безумный и нежный поселковый Бонапарт разлива 1970 года — он кажется старшим братушкой водовозу Степану Грибоедову из баллады, написанной Александром Башлачевым в начале восьмидесятых. Перед тем, как ее исполнить, Саша говорил: «Еще одна шуточная песня... Я до сих пор не понимаю, о чем она. Может, кто-нибудь поймет и мне потом скажет...»

...Спихватились о нем только в среду.  
Дверь сломали и в хату вошли.  
А на них водовоз Грибоедов,  
Улыбаясь, глядел из петли.

Он смотрел голубыми глазами.  
Треуголка упала из рук.  
И на нем был залитый слезами  
Императорский серый сюртук.

Иногда поэты, разбросанные по разным временам, пишут одно стихотворение. Финал истории о поселковом Бонапарте, возможно, еще не написан. Хотя продолжение этой нешуточной темы легко можно найти в стихах внезапно ушедшего Бориса Рыжего. И некому объяснить, о чем же эта песня... Тем, кто остается жить дальше, надо набраться терпения.

Невеселое вино,  
Дров осиновых шипенье...  
Раз нам счастья не дано —  
Дай нам, Господи, терпенья.

Молитвенное «потерпи, душе моя...» слышится в каждой строчке позднего Решетова. Вспоминается максима русского философа Сергея Фуделя: «Терпение будней есть наша верность любви, и это самое важное и самое трудное в жизни».

Писать о глубокой провинции легко, когда покинешь ее. Или хотя бы знаешь, что можешь взять и уехать. А если ты прикован к ней и семейными обстоятельствами, и возрастом, и близостью родных могил — то тут ни придыхания, ни восторга. Горечь, печаль, скорбь... Отчаяние иногда охватывает, как пожар. Обиды нет.

Я не был в счастливой рубашке  
рожден,  
И грезы мои не сбылись.  
Но вырву свой грешный язык, если он  
Начнет оговаривать жизнь...



Или вот в совсем недавних стихах:

Как же мне не полюбить  
Жизни,  
Если, может, завтра быть  
Тризне?

Первые стихи в книге, повторяюсь, датированы 1958 годом, но ни летописи, ни хроники в ней не найти. Ни одно общественное событие не заставило поэта «откликнуться». Здесь события — осень, весна, вид в больничном окне, редкий приход друзей, пилка дров или поездка на подводе...

От кирпичного завода  
На кожевенный завод  
Заунывная подвода  
По лесам меня везет.  
Вот и первые снежинки  
Начинают угрожать:  
Не сумели паутинки  
Дней погожих удержать.  
То исклеванный шиповник,  
То нахохленный стожок.  
И вздыхаешь, как виновник,  
Будто мог, да не помог...

Только природа — отрада неизменная, сердечная, спасительная... Не среди людей, а здесь происходит все самое важное и таинственное. В этом пасмурном мире не много красок, всего, быть может, две или три. Но к этой скупости быстро привыкаешь. С ней смиряешься, когда понимаешь, что, к примеру, серый цвет здесь вовсе не тот, мышинный, который нам обычно представляется. Серый у Решетова не принадлежит вещам или пейзажам, это цвет жалости и тихого любования. Этот особенный осенний свет сквозь тьму кажется братским, родным — он не светит, но ощутимо греет.

Темные светлы ненастной погоды,  
Тусклые краски предзимнего дня...

Книга Решетова похожа на кружение по одному пятаку, но почему-то это не надоедает, не хочется прерывать это бродяжничество. И политическая подоплека, и изощренность поэтических форм, и салонный эпатаж — все это оказалось в тягость душе, и так хочется звука чистого, незамутненного. Пусть осеннего, грустного, но *ясного*.

Дерево возле пивного ларька,  
Ты мне любимой моей показалось.  
Я любовался тобою, пока  
Пивом канистра моя наполнялась.

Той же прически осенняя медь,  
Те же движенья и та же осанка.  
Множество милых совпавших примет.  
Даже недавно зажившая ранка.

Дерево возле пивного ларька,  
Я не решился к тебе прикоснуться  
Слабой, дрожащей рукой старика.  
Только глядел и боялся коснуться.

Пусть скажут, что Решетов — поэт одной ноты, одного мотива. Но эта нота, быть может, самая важная. Это тот внутренний мотив, с которым продрогший человек согрывает в руках что-то живое и такое же продрогшее.

Очевидно, кончается лето:  
Приумолкли кукушки в лесу,  
Покраснели листья бересклета,  
Паутинки скользят по лицу.

Правда, дни непогожие редки,  
И приятно бродить с кузовком,  
Но вечерние тихие реки  
Обдают погребным холодком.  
Ночью ветры играют с овсами,  
Звезды падают каплями слез,  
И, наверно, не счесть за лесами  
Не прижившихся на небе звезд.

Неожиданный — сухая вспышка в конце стихотворения! — образ: звезды, не прижившиеся на небе. Есть тут что-то от судьбы и своей, и ровесников. Сергей Дрофенко, Николай Рубцов, Геннадий Шпаликов, Борис Марьев... Их голоса иногда вдруг проступают сквозь ткань стиха. *«Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов...»* (А. Блок).

Заколочены дачи.  
Облетели леса.  
Дорогая, не плачьте,  
Не калечьте глаза...

Как здесь не услышать интонации Геннадия Шпаликова, ко времени написания этого стихотворения (1978 год) уже погибшего... А прочитав вот этот осенний этюд, как не вспомнить о Николае Рубцове:

Я плыл в сентябре на пароме,  
Открытом, без теплых кабин,  
И все человечьи пороки  
Казались мне пеной глубин...

Речь не о влияниях и даже не о переключке. Здесь что-то от общего неизбывного сиротства, от родственного понимания и непонимания вещей, от того, что дышали, в общем-то, одним воздухом, хотя друг о друге толком и не знали...

Отчего человеческий отклик,  
Слабый свет незнакомой души  
Я ловлю, как растерянный отрок,  
Потерявший дорогу в глуши...

Книга Решетова вышла в не успевшей еще стать известной серии «Библиотека поэзии Каменного пояса». Ее редактор — критик, профессор Уральского государственного университета Леонид Быков — еще в начале восьмидесятых годов стал составителем уникальной для того времени поэтической серии «Выдающиеся поэты Отечества». Книги этой серии, вышедшие в Средне-Уральском книжном издательстве, оснащенные толковыми комментариями, были великолепно оформлены Александром Рюминым (нынешним главным художником журнала «Наше наследие»). Томики из этой серии до сих пор остаются примером того, как надо издавать русскую поэзию.

Другое детище Леонида Быкова — серия «Зеркало XX века» — выходило до недавнего времени в издательстве «У-Фактория». Вышли книги Г. Шпаликова, А. Галлица, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Володина, Л. Филатова... Увы, обе серии — и «Зеркало...», и «Библиотека поэзии Каменного пояса» — приостановлены издательствами по банальным финансовым причинам. Сиюминутные требования рынка сбивают с толку даже издателей с серьезной репутацией. Казалось бы, культурные проекты, просветительские по сути, могли бы получать поддержку если не на федеральном уровне, то хотя бы на региональном. Но пока получается, что книга Алексея Решетова — последняя в своем роде, итоговая не только для поэта, но в чем-то и для читателей.

Жду тебя, а ты нейдешь,  
Зря гляжу в окошко.  
Там идет то снег, то дождь,  
То пуста дорожка...

Дмитрий ШЕВАРОВ.



## ПОЛЕТЫ НАД ПЛОСКОСТЬЮ

Марина и Сергей Дяченко. Долина совести. Роман. М., «ЭКСМО-Пресс», 2001, 384 стр.

**В** русской фантастике появляется отчетливый интерес к метафизике личности, и это отраднo. Социальная проблематика, еще не так давно преобладавшая в отечественной литературе (и особенно в фантастике), начинает потихоньку приедаться. Уже недостаточно констатировать и осудить «злобу дня сего» — ведь за ней, «злoбой», встают вопросы посложнее. Вот к ним-то, этим глубинным слоям, сейчас обращается внимание писателей. Не только в мейнстриме, но и в фантастике заметно это движение вглубь — в область философской антропологии.

И тут, если говорить о нынешней русской фантастике, прежде всего приходит на ум творчество супружеского дуэта Марины и Сергея Дяченко. Уже в первом своем романе «Привратник» (1995) они обратили на себя внимание нестандартностью подхода, нежеланием вписываться в те или иные жанровые схемы. С тех пор ими написано немало (тетралогия «Скитальцы», романы «Ведьмин век», «Скрут», «Пещера», «Казнь», «Армагед-дом», «Магам можно все», множество повестей и рассказов). Интерес к человеку, к глубинам его души — главная тема любого их произведения. Нестандартная ситуация (создаваемая специфическими средствами жанра) служит авторам чем-то вроде проекционного фонаря — и на фоне обыденной жизни вдруг проявляются серьезнейшие метафизические коллизии.

В «Долине совести», новом их романе, фантастический прием, по сути дела, прост. Вот есть такая всем хорошо известная вещь, как привязанность к кому-либо. Частенько ее принимают за любовь. Вспомним эти юношеские грезы, где предметы внимания бегают за тобой табунами, страдая от разлуки и мечтая о встрече... Невидимые, но прочные нити привязывают людей друг к другу, и бывает очень больно, когда они рвутся. А отчего рвутся, отчего возникают — нам неизвестно. Мы не властны над этими таинственными узами.

Конечно, ниточки, узлы — это не более чем красивая метафора. При желании все можно свести к рефлексам, феромонам, биохимии. Только как ни объясняй, факт остается фактом: «оно» от нас не зависит.

А если представить, что ниточки эти обладают некоей материальностью? Что разрыв уз не в фигуральном, а в буквальном, медицинском смысле убивает человека? Каково быть источником таких уз? А жертвой? А одновременно и тем и другим?

Такова исходная авторская посылка. Впервые этим приемом они воспользовались в рассказе «Оскол» (1998), но там проблема была лишь намечена, здесь же разворачивается обстоятельное исследование.

Главный герой романа, даровитый и обаятельный Влад Палий, обладает чудовишным свойством — все, с кем он более-менее регулярно общается, попадают от него в своего рода наркотическую зависимость. Стоит им расстаться с Владом хотя бы на несколько дней — и начинаются мучения душевные и физические, возникают тяжелые заболевания. Иногда дело оканчивается и летальным исходом, а медицина бессильна.

Понятно, что такое свойство — замечательный тест на внутреннюю порядочность. Нетрудно ведь воспользоваться *узлами* эгоистически, расчетливо привязывая к себе людей и беря от них все, чего захочется. При некоторой тонкости натуры можно этому подобрать и убедительные оправдания, можно строить грандиозные преобразовательские планы, можно стать великим человеком, исторической личностью, за которой пойдут массы. Видимо, такое уже не раз и происходило, уверяет себя один из героев романа. Слов нет, перспективы тут открываются заманчивые.

Но Влад к его чести на подобные соблазны не купился. Изначально чистый и порядочный, он дорого заплатил, прежде чем осознал всю силу и всю безжалостность таящихся в нем уз. И потому он принимает жесткое, но единственно воз-

можное в его ситуации решение. Живя среди людей, он тщательно избегает любых сколько-нибудь устойчивых контактов, уходит в некую внутреннюю эмиграцию. Возможно, на его месте кто-то пошел бы и более радикальным путем — но Влад на самоубийство не способен. Все-таки при всей своей вынужденной аскезе он слишком любит жизнь.

Конечно, ему было бы куда легче, окажись он верующим человеком. Осознал бы и оценил свою трагическую ситуацию в рамках той или иной религиозной традиции, ушел в глухой скит, а главное — всецело положился на Промысел Божий и тем изрядно разгрузил бы душу. Однако Влад не религиозен, и с точки зрения авторской задачи это правильно. Герой не имеет благодатной поддержки свыше, герой страдает и мечется, пытаясь самостоятельно разобраться в себе, и потому его внутренний мир воспринимается гораздо убедительнее. Да, авторы не дают ему форы, оставляют один на один с его бедой, и потому беда эта предстает во всей своей глубине.

Кое-кто назвал бы его жизнь адом, но вряд ли это будет справедливо. Ад — это ведь актуализация внутреннего состояния души, когда в ней все выгорело, когда уже невозможно верить, надеяться, любить. А Влад сумел сохранить душу живую. Полюбив в юности девушку, он нашел силы навсегда отдалиться от нее, чтобы не поработить ее и не погубить. Но любовь не умерла, эта любовь, проявляющаяся лишь в нечастой переписке, согревает его душу, не дает отчаянью взять верх.

И тут со всей остротой встает вопрос: а что же такое настоящая любовь и настоящая свобода? Ясно, что *узы* — не более чем жалкая имитация. Как дьявола называют «обезьяной Бога», так и «привязанность» можно назвать «обезьяной Любви». Сложность, однако, начинается там, где истинная любовь возникает независимо от наличия уз. Ведь стоило Владу сделать признание Анне — и та полюбила бы совершенно свободно, искренне. Из текста это следует достаточно определенно. Совершенно прав Влад, решая за обоих, оберегая Анну от паутины уз. А как быть Анне (которую, одну из немногих, Влад посвятил в свою тайну)?

Любовь немислима вне свободы, любовь по принуждению ужасна, все так. Но ведь истинная любовь — это всегда и добровольное самоограничение, отсечение своей воли, самопожертвование. Онтологический парадокс — свобода лишь тогда становится подлинной, глубинной свободой, когда преодолевает свою самость, когда актуализируется в смирении. Возможно, парадокс снимается, если говорить о преобразовании свободы внешней, «свободы от» во внутреннюю свободу, которая «во имя». Но можно ли тогда утверждать, что *узы* и впрямь посягают на истинную свободу? Особенно если кто-то готов добровольно подвергнуться их действию? Возможна ли и при *узах* настоящая, высокая любовь? Анна, похоже, готова пойти на такую жертву, но чем бы это окончилось на практике? Вообще где тот предел, когда уменьшение свободы внешней (действие тех же уз) становится уже критичным для свободы внутренней? И есть ли он вообще, сей предел?

Ответ, видимо, искать нужно уже не в романе, а в жизни. Вспомним великих людей, действительно менявших мир, — Александра Македонского, Юлия Цезаря, Петра I, Наполеона... не говоря уже о тоталитарных тиранах минувшего века. Несомненно, некой «харизмой» (почему бы и не назвать ее *узами*?) все они обладали. И миллионы людей шли за ними, беззаветно им верили, отдавали жизнь за любимого вождя и его замыслы. Причем ведь своей зависимости жертвы не замечали, веря, что поступают свободно... Но свободы на самом деле не было. И где они — великие царства, грандиозные проекты? Все разваливалось со смертью харизматического лидера, все возвращалось на круги своя. В романе одна героиня, выстраивая ряд исторических примеров действия уз, кощунственно включает в этот ряд и Христа. Сама жизнь разбивает такие построения. Вот уже две тысячи лет люди идут за Христом, идут свободно, и никакой внешней принудительной силой этот свободный волевой выбор не объяснить. Подлинная свобода возможна, подлинная свобода действительна, но она находится совсем в ином измерении, куда не дотянуться ни фантастическим *узам*, ни вполне реальным оккультным практикам и манипулятивным технологиям.

Конечно, фантастика есть фантастика, и ясно, что *узы* — не более чем условный прием. Однако проблемы-то в романе ставятся нешуточные. Можно ли, допустимо ли поступиться высшими этическими принципами ради реального блага милли-

онов? Что такое подлинная свобода, подлинная любовь? Нет, конечно, в рамках религий или философских учений имеются ответы, но такие общие... а жизнь так конкретна... Нам всем в той или иной мере приходится искать *свои* ответы в *своей* ситуации. И литература тоже ведь не дарит решений. Вот искусственно заострить проблему, вычленив ее из потока обыденности, показать спектр возможностей и вытекающих из них последствий — это да, это достижимо. И у супругов Дяченко, кажется, получилось. Фантастический элемент в их творчестве никогда не бывает самодостаточным — это лишь прием, но прием, необходимый для углубления взгляда.

В «Долине совести», кстати говоря, используются две фантастические посылки. Первая понятна — это загадочные *узы*, дар-проклятие некоторых людей... или уже не совсем людей? Вторая же проще — это топонимика. Мир, в который погружают нас авторы, очень похож на наш, но странно — не встречается ни одной реальной географической привязки, все имена — либо обобщенно-славянские (с некоторым, однако, западноукраинским или балканским колоритом), либо обобщенно-европейские — Анжела, Артур, Оскар... Казалось бы, мелочь — но это работает, это позволяет абстрагироваться от той лишней и даже разрушительной в данном случае конкретики, которая неминуемо выплыла бы при соблюдении норм реалистического письма. К примеру, Владова методика «откосов» от армейской службы «по жизни» совершенно недействительна, юность Влада в маленьком городке неизбежно пришлось бы изображать в «советских» декорациях, что перегрузило бы текст либо увело в сторону. Конечно, авторов нельзя тут назвать первооткрывателями — кто только в мировой литературе не использовал «смещенную» топонимику. Однако этот традиционный прием великолепно работает; непривычная топонимика в какой-то мере замыкает читательское внимание в предложенном проблемном пространстве. Именно *в какой-то мере* — потому что главным образом «Долина совести» воздействует на эмоции, вызывает эффект соприсутствия, когда читательская мысль естественным образом вытекает из внутреннего переживания. Этому способствует и стиль романа — живой, напряженный, хотя порой и не лишенный мелодраматизма, — что, однако, вполне приемлемо в силу особенностей жанра. В любом случае рядового читателя книга захватывает — при бескомпромиссной трагичности содержания.

Конечно, наше время, мягко говоря, не способствует излишнему оптимизму. Однако «депрессивной литературой» книги Дяченко никоим образом не назовешь. И вовсе не из-за благополучных финалов — финалы зачастую у них горькие. Но все мрачное и горькое, на что направлен их взгляд, встраивается в некую пронизывающую текст этическую систему. Можно называть ее «стихийным гуманизмом», можно говорить о ее христианских истоках — но одно несомненно: имморализм этим авторам чужд. Да, добро не всегда побеждает, но оно — *есть*. Да, добро подчас слабее, беззащитнее, наивнее зла — но оно *выше*. Зло всегда растекается по плоскости, третье измерение ему неизвестно. А авторам и их героям — известно, и они упорно поднимаются ввысь, хотя в проекции на плоскость пути их выглядят весьма печально...

Виталий КАПЛАН.



### «ЧЁРТ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» В ЗАПИСЯХ И ЗАМЕТКАХ

Евгений Замятин. Записные книжки. [Составление, вступительная статья, примечания Ст. Никоненко и А. Тюрина]. М., «Вагриус», 2001, 254 стр.

**В** известной серии «Записные книжки» издательства «Вагриус» впервые в России напечатаны блокноты Е. И. Замятина 1914 — 1936 годов из Бахметевского архива Колумбийского университета (США)<sup>1</sup>. Замятин вел записи в разных

<sup>1</sup> А. Н. Тюрин проделал сложную текстологическую работу по расшифровке блокнотов и опубликовал большую их часть в 168/169 (1987), 170 (1988), 172/173 (1988), 175 (1989), 176 (1989) номерах нью-йоркского «Нового журнала». Небольшая выборка из данных публикаций была напечатана в «Общей газете», 1993, № 16/18, 5 — 11 ноября

блокнотах, не датируя их, поэтому датировка здесь — предположительная, исходящая из связи записей с творческой биографией писателя. Все они отнесены составителями к трем большим периодам в литературной деятельности Замятина: российским — раннему и зрелому, и зарубежному: 1931 — 1936. Хотя такая периодизация подготовительных записей Замятина почти совпадает с этапами его писательского пути, методологически наполнение каждого раздела все же спорно: например, в блок записей 1922 — 1931 годов включены те, которые явно связаны с дооктябрьским творчеством писателя.

Как справедливо сказано во вступительной статье, «яркая документально-образная картина России и некоторых европейских стран той эпохи запечатлена в этих записях зачастую не менее красочно, объемно, чем в художественных произведениях Замятина. Так что эти записные книжки можно рассматривать не только как подготовительные материалы к будущим книгам, но и как самостоятельное художественное произведение, как еще одну форму в многообразном творческом наследии писателя». Можно сказать, что это форма прозаической или драматической миниатюры, а также художественно воссозданного документа всероссийской катастрофы.

В записных книжках Замятина слышится его живая образная речь. Она звучит в стихотворениях в прозе и драматических сценках, набросках рассказов, повестей, пьес, статей, отражающих кредо писателя. Заметки 1921 года «Народный театр» и «Литература» помогают оценить принципиальность и мужество, эти отличительные черты Замятина — художника слова и наставника молодых писателей из группы «Серапионовы братья»: «Да, он должен воспитывать, как древнегреческий. Но в древнегреческом театре не только пели зрителям оды, но и нещадно смеялись над ними, если это было надо. В воспитании — две стороны; у нас же — только одна»; «Вот отчего литература молчит: она не может говорить правду, а полуправду — не хочет, честная ее часть. ...Поощряются исключительно угодническая литература, исключительно одописцы, исключительно ослы, прибегающие лягнуть мертвого льва — буржуазию. ...Вот — если ты писатель — ты посмей не ползти на брюхе перед могучим львом, посмей ему прямо взглянуть в глаза...»; «Футуристы... провалялись. С ними поступили так же, как с левыми эсерами: использовали их — затем выгнали за дверь». Примечательно, что «скульптурно-орнаментным» образом футуристов и имагинистов Замятин противопоставляет здесь масштабные, «архитектурные» образы Н. Клюева и А. Блока. Высказанные в наброске мысли нашли окончательное воплощение в замятинских статьях 20-х годов «Цель» (у Замятина это название иронически закавычено) и «Я боюсь», которые сыграли большую роль в борьбе литературных группировок тех лет и снискали их автору опасную для того времени репутацию внутреннего «сменовеховца» и ревнителя формального мастерства.

Большая часть записей Замятина основана на русском материале, который интересовал автора рассказа «Русь» с определенных сторон — языка, быта, национального своеобразия. Записанные Замятиным во время поездок по Уралу и Северу русские народные поверья, присловья, частушки свидетельствуют о глубоком интересе к народной культуре: «Воскресение Христово, пошли женишка холостого, в чулочках да в порчонках...»

По Замятину, русская деревня — особый мир со своим языком, психологией и поэзией, в котором живет «органический» человек, тесно слитый с природой.

«Деревня. Мужик пашет. Проведет борозду — и на свежую разрытую землю стаей грачи: клюют червяков. Все время — за пахарем, садятся ему на плечо, на соху...» Такой образ мира создан и в дореволюционных рассказах писателя, основанных на деревенском материале, — в «Чреве», «Старшине» и «Кряжах».

Замятин пытается проникнуть в тайну русского национального склада: «Мужик Алексей Васильич любит свободу больше всего. Выселился из Мшаги на хутор. Вырыл яму в песке — и в яме живет. Зовет себя: „Олешка“». А среди записей 1919 — 1920 годов запоминается набросок о человеке, поделившемся в голодную пору с проституткой последним, что у него было, — вареной картошкой. Характерные, по мнению Замятина, русские черты: вольнолюбие, любовь «к последнему

человеку и к последней былинке» (слова писателя из статьи «Скифы ли?» и из речи на вечере памяти А. А. Блока в 1926 году).

В записях 1914 — 1919 годов выдвигается на первый план тема, с которой Замятин вошел в русскую литературу, — жизнь российского «уездного» (повести «Уездное» и «Алатырь»). Отношение Замятина к российской провинции — беспощадная, «ненавидящая любовь». Об этом — и в зарисовке «Тамбовское поле»: «Кому не случилось идти бескрайним тамбовским полем? Ширь, удаль, размах, и самое солнце затерялось, и так заливается какой-то жаворонок малюсенький, и далеко, на самом краю, сияют кресты: там — город; такой же, должно быть, широкий и вольный город построил себе тамбовский люд. А прийти в город — все обрванное, облупленное, грязное, и посреди города в луже свинья». Тут, как и в своей прозе, Замятин фиксирует тягостный контраст между разными слагаемыми российской жизни начала прошлого века: красотой природы, естественных основ бытия, с одной стороны, и тупым бытом русских миргородов — с другой. Эта миниатюра своей законченностью близка «стихотворениям в прозе» Тургенева.

Ряд записей относится к периодам революционных событий 1917 года и Гражданской войны. Хотя Замятин и пережил в юности короткий бурный роман с «огнеглазой любовницей», послеоктябрьские записи тематически близки «Окаянным дням» И. Бунина, что отметил в своей рецензии Владимир Березин<sup>2</sup>. Но есть при этом существенное отличие: Замятин избегает рассуждений о природе большевистской власти, проклятий по ее адресу. «Будто вечером приговорили, утром рубят мне голову. Больно, но не очень. А главное — к утру она опять вырастает, и опять ее рубят. Так каждый день. Но однажды утром узнаю: сегодня уж не голову будут рубить нам (я не один, не знаю — кто еще), а четвертуют. И тогда вот только стало страшно». Или: «Будто Сологуб приговорен к повешению и устроил вечером, накануне, у себя ужин... Оказывается, надо ему ехать в Москву (там это все будет), и... он просит меня: „Купите мне каких-нибудь книжечек поинтересней — ночью читать, а то без книг...” И я понимаю». Описание этих кошмарных снов действует, пожалуй, не менее сильно, чем бунинские филиппики против советской России. Красный террор, голод изображены Замятиным в лаконичных несентиментальных картинках: «Ночью по Каменноостровскому мчится автомобиль с кожаным верхом и слюдяными окошечками. Прокатил, стоп — высунулись винтовки, и залпы. Почему, что?»; «Хлеб с соломой, похожий на заборы из навоза и глины с соломой в Тамбовской губернии: такой же коричневый, колючий. Выучились печь соленые лепешки из картофельной шелухи. Жеребятина».

Наделенный ярко выраженным дарованием сатирика, Замятин постоянно обращал внимание на страшное и абсурдное в послереволюционной России. Квинт-эссенция этих впечатлений в его блокнотах — символическая картина «выставки достижений» времен Гражданской войны: триста качающихся под водой трупов белых или красных «арапов»<sup>3</sup> сводят с ума случайно увидевшего их водолаза. Так исподволь возникали в творчестве писателя — политического «еретика» — важные для содержания его «Последней сказки про Фиту» и романа-антиутопии «Мы» мотивы насилия и безумия: насилия общества над личностью и потери ею из-за этого рассудка. А реплика, услышанная Замятиным в трамвае, гротескно передает атмосферу ненависти: «Да вы что это в самом деле — буржуй вы эдакий: на двух ногах стоит! На одной-то не можете?»

Среди записей 1922 — 1931 годов интересны и наброски новелл на вечные темы любви, ревности, людских страстей. По этим наброскам видна тяга Замятина к художественной лаконичности сказа и анекдота как особой формы миниатюры. Посредством своего знаменитого сказа писатель, ставший в 20-е годы признанным литературным мэтром, создавал колоритную речевую маску малообразованных советских руководителей вроде председателя сельсовета Ивана Чеснокова:

<sup>2</sup> Березин В. Короткая проза записных книжек. — «Ex libris НГ», 2001, № 31, 23 августа.

<sup>3</sup> «Арапы» — название сказки Замятина, написанной в 1920 году. В ней осуждается Гражданская война.

«1925 года июля ... дня мы, настоящий председатель сельсовета Чесноков Иван в лице граждан села... такого-то производили гибель посевов у граждан означенного села...» Запоминается и персонаж сценки-анекдота о статуе в помещицьем доме: «„Это кто?“ — „Марс“. — „Да-к что ж вы, черти? Разве можно его разбивать? Это наш самый исток!“» Кстати, за невольной игрой слов невежественного героя сценки проступает комическое сравнение Маркса с богом войны. Диалог этот вошел потом в рассказ «Слово предоставляется товарищу Чурьгину».

В «Записных книжках» выделяются и своим объемом, и художественным уровнем наброски романа о Гражданской войне, к сожалению, так и не написанного. Судя по этим материалам, Замятин намеревался создать редкий для русской литературы авантюрный роман в новеллах. Истории кубанского казака Ивана Николаича, дочери профессора Софьи Владимировны, Симы, героев-военных, батьки Махно, зачастую основанные на рассказах участников революции и Гражданской войны, — все это почти законченные главы-новеллы из эпического полотна о великой трагедии России. Замятин по-своему, не так, как М. Шолохов или М. Булгаков, показывает в этих набросках и «красных», и «белых». С его точки зрения, они часто делали свой выбор в силу случайностей либо особенностей натуры, а отнюдь не из-за убеждений или социального положения.

В 1931 — 1937 годах, живя за границей, Замятин с увлечением работал над историческим романом об Аттиле «Бич Божий». Следы этого есть и в его блокнотах. В одной из последних записей писатель, тоскующий по России, призывает на землю Франции новых варваров, предводительствуемых современным Аттилой: «О Аттила! Когда же наконец вернешься ты, любезный филантроп, с четырьмя сотнями тысяч всадников и подожжешь эту прекрасную Францию, страну подметок и подтяжек!» И на чужбине писатель оставался верен символистскому мифу о молодых варварах, несущих дряхлому европейскому миру гибель и обновление.

Литературное качество «Записных книжек» «чёрта советской литературы» (самооценка Замятина из письма к Сталину) чрезвычайно высоко. Лучшая часть их — еще одно «Слово о погибели Русской Земли».

Татьяна ДАВЫДОВА.

---

## КНИЖНАЯ ПОЛКА ПАВЛА КРЮЧКОВА

### +10

Георгий Чистяков. «Господу помолимся». Размышления о церковной поэзии и молитвах. М., «Рудомино», 2001, 174 стр.

...Когда десять книг собрались вместе на этой «полке», между ними сами собой образовались какие-то счастливые связи, обнаружились тайные сближения. Кажется, все они — о воскрешении памятью, о любви и боли, о служении. Как бы торжественно ни звучали эти слова, они обозначают ровно то, что обозначают.

Чтение книг о Георгии Чистякова (у меня их шесть, одна из недавних — «Над строками Нового Завета») всегда приносит с собой — помимо главных и больших радостей — маленький инструмент, ключик, с помощью которого читательское зрение становится шире, обновленное сознание и воображение странным образом оживляют сердце у самого хладнокровного человека. Вероятно, это происходит потому, что автору дарован *такой* горячий талант проповедника и просветителя, такое умение вести беседу, что невозможно не заразиться его любовью. Любовь к Богу и к людям. В одной из прежних книг он смотрит глазами поэта на надпись «Антонелла, я тебя люблю. Луиджи» — поперек гигантского моста через римскую эстакаду — и через две страницы приводит читателя к тому, что «поэзия, которая



бывает и религиозной, не делит людей на верующих и неверующих, а дается всем как уникальный способ освоения мира и действительности». А далее — к строгим словам о молитве, которая если и схожа в чем-то с настоящей поэзией, так это в целебной возможности оторваться от земли и посмотреть на себя со стороны.

Мне радостно сообщить читателям об издании, которым открывается эта полка. Это не «строгий» богословский труд, хотя в нем подробно и обстоятельно рассказывается о Чуде молитвы и той поэзии, которая «бывает и религиозной». В написанной в середине 80-х годов для самиздата (и дополненной позднее) книге автор видит свою задачу в том, чтобы «показать, каковы основные мотивы, главные темы церковной поэзии... какими путями слово молитвы доходит до сердца своего слушателя или читателя». Богослов, филолог, переводчик и публицист, о. Георгий пользуется всеми красками своей духовной и художественной палитры — палитры пастыря и писателя. Так, через размышления над поэзией Псалмов Давидовых, через анализ обоих вариантов Иисусовой молитвы, через пасхальные песнопения, латинские гимны; через глубокое прочтение слов Ефрема Сирина и тему молитвенного безмолвия, наконец, через личные наблюдения и рассказы о судьбах непрестанно молящихся священник ведет нас к твердому и ясному выводу о том, что молитвенная поэзия лучше любого другого источника говорит о тайнах человеческого сердца. А маленькая хрестоматия в конце книги становится дополнительной неожиданностью: наравне с монашескими именами в нее включены *светские*, как принято считать, авторы. Из современников посчастливилось Семену Липкину, его стихотворению о Богородице. И как чудесно срифмовалась последняя строфа («Когда Сикстинскою была...») с эпизодом из последней главы (*Богородице Дево, радуйся*) — рассказом о маме о. Георгия Чистякова, Ольге Николаевне, ее давнем посещении выставки Дрезденской галереи и невероятном событии, которое там с ней произошло.

Молитва — это всегда исповедь, всегда встреча, пишет о. Георгий. В одной из первых своих книг он пользуется образом телефонной трубки, растолковывая механизм *диалога*. ...Я не знаю, откуда попала в меня, благодарного читателя этой книги, возможно, и неловко сложенная мысль, что всякая горячая молитва — сердцем, устами ли — это еще и маленькая часть Воскрешения...

**Гильгамеш. В стихотворном переложении Семена Липкина. СПб., «Пушкинский фонд», 2001, 120 стр.**

Есть какая-то музыкальность в том, что старейший русский поэт в год своего 90-летия выпустил в свет новый перевод, возможно, самого старого памятника стихотворной культуры. В обширном послесловии к изданию Вяч. Вс. Иванов пишет, что именно с самых ранних шумерских сказаний о Гильгамеше, сложенных еще в III тысячелетии до нашей эры, «нужно начинать родословную всей стихотворной эпической письменной литературы Старого Света». Отправной точкой этого события (а появление нового, отличного от других, стихотворного переложения «Гильгамеша» по-русски я предлагаю считать событием грандиозным) была, судя по некоторым интервью Липкина, книга выдающегося востоковеда И. М. Дьяконова — «Эпос о Гильгамеше» («О все выдавшем»). «Меня поразило не только сходство описания потопа с библейским, но и то, что потоп задумал бог Эллий, чье имя так похоже на иудейское Элохим и арабское Аллах. „Гильгамеш” так очаровал меня, что я решил, без надежды на публикацию, изложить аккадский эпос русскими стихами...»<sup>1</sup> Это было в середине 80-х, когда Липкин не имел возможности публиковать не только свои оригинальные стихи, но и переводы. Он перевел «в стол» четыре песни из двенадцати (в *песни* превратив клинописные *таблицы*), тяжело занемог, пережил три операции и уже в новое время (1998), вновь очарованный сказанием, взылся за него<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Постникова Ольга. Эпос без пафоса. — «Общая газета», 2001, № 38, 20 сентября. К слову, Эл — вариант обшесемитского обозначения Бога, откуда подмеченное переводчиком сходство (см.: «Мифы народов мира», т. 2. М., 1988, стр. 660).

<sup>2</sup> Тем, кто впервые обратится к эпосу и, пережив вместе с главным героем и его другом-двойником Энкидой битву с чудовищем Хумбабой, гнев богов, победу над Небесным Бы-

За чтением сказания мне то и дело слышался поэтический голос самого Семена Липкина, его мудрая строго-простодушная интонация, если под простодушием понимать сердечность ума и ясность взгляда. Ничего лишнего, четкая музыка, за которой (как и положено — незаметное) мастерство работы со звуком: переливы, созвучия, отзвучающиеся двойным, а то и тройным эхом рифм. Найдя новый стихотворный размер и новый ритм (Шилейко и Дьяконов перевели дольником), Липкин вернул, наверное, самый важный долг древнему рапсоду (Вяч. Вс. Иванов отмечает, что оригинал ниневийской версии отличался изощренностью звукового построения) и снова поднял гениальный древний текст до высоты великой поэзии<sup>3</sup>. «Гордо смею сказать я: не мои ли собратья / Всех умельцев важнее? / Мы, писцы, — не пловцы ли? Мы, писцы, не певцы ли? / Если петь не умеешь, / До конца песнеслова — как до берега морского — / Добредешь ты навряд ли...»

**Герман Плисецкий. От Омара Хайама до Экклезиаста. Стихотворения, переводы, дневники, письма. М., 2001, 512 стр.**

В воспоминаниях друга Плисецкого — Виталия Вигса (В. Г. Сыркина) — есть рассказ о том, как осенью 1991 года Герман Борисович отдал ему папку с ранними вещами, сказав про остальное: «Это разберет Димка». Через год Плисецкий умер. Еще через десять лет его сын, о котором отец в 1967 году любовно писал, что он «ничего не читает, кроме шахматных книжек и журналов»<sup>4</sup>, издал этот том. Из предисловия сына становится понятно, что путь к изданию был нелегким: годы работы с рукописями, фактами, общение с людьми. Наверное, эта книга могла бы выйти и ранее, но тогда к ней не было бы так применимо писательское понятие *выношенности*. Подобные книги делаются один раз, навсегда.

Для меня, как и многих людей моего поколения, поэзия Плисецкого открылась после выхода тоненькой брошюры в библиотеке «Огонька» («Пригород», 1990), а еще ранее — подборки в «Новом мире» (1988), которая предваряла публикацию «Доктора Живаго». Тогда-то и прочиталось известное: «Я всю жизнь как будто на отшибе...» Девушка, за которой я ухаживал, «просвещая» стихами, теперь, став моей женой, хвастается тем, что «вот Плисецкого я открыла сама», и читает на память из поэмы «Чистые пруды»: «Любовь начинается, как дифтерит: с утра лихорадит и горло болит...»

Он был ярким человеком с чувством собственного достоинства. Помню вечер, посвященный столетию Пастернака, — как Герман Плисецкий долго шел к сцене — читать свое знаменитое «Поэты, побочные дети России!..». И книга вышла красивой, с «длинным дыханием». Здесь и письма, и отрывки из дневников, и множество стихотворений из архива, голоса друзей, близких, конечно же, переводы, в том числе знаменитые — из Омара Хайама. Здесь и стихотворное переложение «Из книги Экклезиаста», с предисловием о. Александра Меня. Священник пишет, что поэт искал созвучия своей жизненной философии, своим мыслям у мудреца-проповедника. (Тут я вспомнил и о выстраданном комментарии поэта Александра Сопровского — на поколение младше Плисецкого — к Книге Иова.)

---

ком, потерю друга, потоп и поход в преисподнюю, прочитает ретроспективный очерк Вяч. Вс. Иванова, будет интересно узнать, какие приключения испытал древний сюжет на пути к современному читателю. Как он от списка шумерских царей, через множество версий, «пришел» к классическому изложению на древнем семитском языке — аккадском; как позднейший, «ниневийский» список (VII в. до н. э.) привел в конце XIX века англичан к изданию, как перевели эпос о Гильгамеше поэт Гумилев и ученый Шилейко. И — как актуален и интересен «Гильгамеш» сегодня: автор послесловия упоминает о десятках сайтов в Интернете, посвященных сказанию, сообщая попутно о недавно присвоенном Гильгамешу — «На одну треть он — смертный, божество — на две трети» — титуле «современного древнего героя».

<sup>3</sup> Как жаль, что этого не ощутил талантливый критик А. Уланов, который в своей рецензии («Ex libris НГ») *сравнение* работ И. Дьяконова и С. Липкина доводит до неких попреков последнему в вольности и считает возможным свое неудовольствие от нынешней книги (на которое он, бесспорно, имеет право) публично оглашать в дни 90-летия поэта. Это кажется совсем немusыкальным.

<sup>4</sup> Ныне Дмитрий Плисецкий — известный шахматный мастер и журналист, многолетний зам главного редактора журнала «Шахматы в СССР» («Шахматы в России»)

Но еще это и очень горькая книга, за ней боль: судьба состоялась, а настоящее свидание с читателем оказалось перенесенным. Но ничего поправить было нельзя, да и сам Герман Борисович, насколько я понимаю, даже в самые «свободные» времена не суетился и никому себя не навязывал. «Всему свой срок. Всему приходит время». Это — из его переложения Экклезиаста.

**«Мы уйдем, мы исчезнем, потонем...» Сборник стихотворений. Составитель Виталий Науменко. Предисловие и комментарии Анны Трушкиной. Иркутск, 2000, 56 стр. («Барка поэтов»).**

Эту и следующую книгу, также помеченную 2000 годом, я ставлю на полку не только по причине их научной и библиографической редкости (первая вышла в Иркутске тиражом 350 экземпляров, а вторая хотя и в Москве, но также практически недоступна). Обе они пропитаны ошутимой благодарной любовью.

Иркутская книжная поэтическая серия «Барка поэтов» существует более трех лет, редактор серии — наш постоянный автор, известный поэт Анатолий Кобенок. После выхода нескольких сборников современных сибирских поэтов (мне знакомы пластичные «джазовые импровизации» Андрея Богданова и проникновенная лирика двадцатичетырехлетнего Виталия Науменко) наконец вышла книга, давшая название серии. Это стихи легендарных иркутских модернистов, объединившихся в начале 20-х в поэтическое сообщество, прогремевших в своем кругу и канувших в небытие. Одни перестали писать, других раздавил молох 30-х, их редкие публикации и рукописи знакомы достаточно узкому кругу литературоведов<sup>5</sup>. Удивительно, что собирали и комментировали эту книгу совсем молодые люди, которыми двигала ясная идея — заполнить пробел и выразить свою благодарность поэтам-романтикам за то, что они были. Сегодняшние «сверстники через время» воспринимают культуру, уже — историю поэзии, как живую цепь, где «каждое звено — даже непроявленное — продолжает существовать и предполагает последующие звенья» (В. Науменко).

«Большая часть их стихов — несовершенна. Но право на память они все-таки заслужили. В сибирской литературной жизни первых лет новой власти эти поэты-модернисты, собиравшиеся на старом, деревянном суденышке, были похожи на какие-то случайные сумасшедшие звезды, упавшие с неба», — сказала мне Анна Трушкина. Автор комментариев подарила мне и газету «Зеленая лампа», где четыре страницы оказались посвящены «барочникам». Одиннадцать имен — от «мэтра» Сергея Алякринского, послужившего у Колчака и обменявшегося письмами с Блоком, до энциклопедиста Ельпидифора Титова и эксцентричной «эрофутуристки» Нины Хабиас. Тут есть и двоюродный брат композитора — Андрей Шостакович, и недолговременный наставник Д. Алтаузена и И. Уткина, проживший всего 27 лет, Игорь Славнин. Ни в одном «барочном» стихотворении я не нашел хотя бы мелькнувшего отражения той кошмарной и фальшивой действительности, внутри которой они писали, разве что на уровне протестующего синтаксиса. Чистый декаданс, ничего не сбросивший с «корабля современности» и нахально пристроившийся сбоку от него, на борту старой барки. Так или иначе, спасибо тем, кто готовит и издает эту почти эфемерную серию, мгновенно обретающую коллекционный статус.

**Источниковедение и краеведение в культуре России. Сборник к 50-летию служения Сигурда Отговича Шмидта Историко-архивному институту. М., Издательский центр РГГУ, 2000, 519 стр.**

Рецензировать такой фолиант решительно невозможно. Уникальность его очевидна: более 170 авторов со всей России и из-за рубежа, кажется, около 1000 имен в указателе и даже внешний вид, придающий сходство с энциклопедическим то-

<sup>5</sup> В подготовке сборника использовались, в частности, материалы из архива замечательного сибирского краеведа, историка литературы Василия Трушкина, советами и помощью — из центра — помог Вл. Нехотин, позже составители не без гордости сообщили мне о заинтересованной реакции на выход сборника знатока поэзии начала века Льва Турчинского...

мом, заставляя развести руками. Но — только не архивистов, музееведов и историков. И уж не тех, кому дорого имя главного героя, в честь и вокруг которого эти авторы собрались. «50 лет служения» — это и 50 лет знаменитого Кружка источниковедения в Историко-архивном институте. В начале 80-х С. О. Шмидт выступал в Днепрпетровске на 4-й Всесоюзной конференции по источниковедению и специальным историческим дисциплинам. Он уже покидал трибуну, когда из зала его попросили дать в одной фразе определение историческому источнику. Ни секунды не медля, ученый ответил: «Исторический источник — это все то, что источает историческую информацию, от слова „источник“...» В книге три главы: «Источниковедение и специальные исторические дисциплины», «Памятниковедение. Региональная история. Краеведение» и «Историография». Тут дорого и интересно все — и общее, и локальное: начиная от «Ценности устных сообщений очевидцев» (Б. Ф. Егоров) до «Родника платоновского языка (письма крестьян 20-х гг.)» (В. В. Кабанов). Тут говорят об архивах, летописях, обществах, отдельных ученых, приемах, методах, отдельных произведениях литературы и архитектуры, церквях, библейских цитатах, взаимодействии краеведения и земства — Бог знает о чем! — и все это не рассыпается, а держит друг друга, скрепляясь именем учителя и труженика<sup>6</sup>.

Здесь имена и тех, кого недавно не стало: В. Э. Вацура пишет о Пушкине и Денисе Давыдове в 1818 — 1819 годах, а Н. И. Катаева-Лыткина рассказывает о взаимоотношениях С. О. Шмидта с Культурным центром «Дом-музей Марины Цветаевой».

Возрастные рамки книги причудливы: между самыми молодыми и самыми пожилыми участниками сборника — не менее семидесяти лет. Из молодых имен хочу упомянуть историка Сергея Шокарева и московеда Дмитрия Ястжембского. Первый пишет о новом направлении, примыкающем к краеведению, — *некрополеведении*, то есть о многозначной для историка погребальной теме; второй — о личном архиве легендарного краеведа Бориса Земенкова (1902 — 1963), первооткрывателя многих памятных мест Москвы и Подмосковья. Именно Ястжембскому удалось найти в свое время и опубликовать бесценный текст Земенкова о пространстве мемориального музея, что мне как экскурсоводу «со стажем» очень пригодилось в работе.

**Венецианские тетради. Иосиф Бродский и другие / Quaderni veneziani. Joseph Brodsky & others. Составитель и художник Екатерина Марголис. М., «О.Г.И.», 2002, 256 стр.**

Я пишу эти строки — «я пишу эти строки», нечаянно повторяя финал венецианского диптиха Бродского — в декабре 2001-го, а на титуле-то уже стоит 2002-й. И даже зная, что издатели соотносили выпуск книги с проектом «Non fiction», я не в силах отделаться от полюбившейся идеи отражения, когда единица, искривленная рябью воды, обретает подобие двойки. Эта книга, конечно же, подарок: и самому загадочному в мире городу, и читателю, и — главное — поэту, его памяти. «Написанная им самим и теми, кто был ему близок в литературе, в жизни или в общей сопричастности Венеции. Развивая Бродского, можно сказать: „Город диктует форму“. Черточки и штрихи на бумаге собираются в буквы, слова, лодки, дома и окна. Из ряби на воде собирается отражение. Перевод — то же отражение: одного языка — в другом...» Я процитировал этот текст составителя еще и потому, что он — красив и точен, как и венецианские акварели, растворенные между страниц «Венецианских тетрадей». Все строится вокруг и около «Венецианских строф» поэта: упомянутые в них имена и стихотворные строки разворачиваются тут не в глоссарий, не в венок многих текстов вокруг одного (вернее, двух — потому что текст «Строф» дан и на том языке, на каком был написан, и в переводе) и уж тем

<sup>6</sup> Пользуясь случаем, хочу помянуть добрым словом схожий по духу сборник «Русское подвижничество» (1996), посвященный 90-летию Д. С. Лихачева. Многие ученые, представленные в нем, фигурируют в качестве авторов и в сборнике, посвященном С. О. Шмидту. Кстати, сам Шмидт выступил в Лихачевском томе с сообщением «Подвиг наставничества. В. А. Жуковский — наставник наследника царского престола».

более не в хрестоматию<sup>7</sup>, а в драматургическое, почти античное действо, продолжающееся и после того, как главный герой сошел со сцены (стихи Уолкотта, Лосева и Венцловы).

Только здесь, перечитывая с юности любимый текст и заглядывая в его авторизованный перевод на английский (напечатанный на бумаге *несколько иного цвета*), я воочию разглядел, как именно отражается язык в языке.

Площадь пустынна, набережные безлюдны.  
Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе:  
дева в шальварах наигрывает на лютне  
такому же Мустафе.

И вот английский текст — после двоеточия в строфе, самого зеркального знака препинания, — о деве в шальварах и том, кому она дарит музыку.

...a lute's being strummed by a frescoed, bejeweled maiden  
to her similarly decked Said.

Можно, конечно, сказать, что «нарицательное» имя Мустафы никак не рифмуется с abandoned (покинутый, безлюдный) и потому-то здесь возник Саид. Но можно дать и поправку на рябь воды.

**Лидия Чуковская. Сочинения в 2-х томах. М., «Арт-Флекс», 2001. Т. 1. Повести. Стихотворения. 592 стр. Т. 2. Публицистика. Отрывки из дневника. Открытые письма и др. 688 стр.**

Минул год, и вслед за первым двухтомником Лидии Чуковской (см. рецензию Юрия Кублановского «При свете совести» — «Новый мир», 2000, № 9) пришел второй. В прошлогоднем помимо уже известной прозы, стихов, воспоминаний были впервые помещены сгруппированные по темам отрывки из дневников (о Симонове, Пастернаке, Бродском). Неосведомленному читателю могло показаться, что все основное — опубликовано. Немногие знали: есть еще книга. И даже книги.

«В один прекрасный день я все долги отдам...» Так начиналось ее стихотворение 40-х годов. Кажется, такой день наступает, и не только для автора.

В августе 1984 года Лидия Корнеевна записала у себя в дневнике: «..., Прочерк» — самая мне дорогая книга — никому не будет нравиться. Потому что она не от искусства...» Эти слова приведены публикатором книги (дочерью, Еленой Чуковской) в главе-приложении, названной «После конца». Книга о муже, выдающемся физике-теоретике — Матвее Бронштейне, убитом в феврале 1938-го — Тридцать седьмым. «Главное, что я помню о нем, — это его отсутствие. Нестерпимое. Себя в его нестерпимом отсутствии... Оно определило мою судьбу до встречи с Матвеем Петровичем и в особенности после — после насильственного разлучения». Такое признание.

Книга писалась шестнадцать лет и не была закончена. Меня всегда смущало в разговорах о Л. К. Чуковской, что многие люди (это-де легко вычитывается из ее книг) считали Лидию Корнеевну — очень... понятной. Мол, правдоискательница, максималистка, воистину, как написал ей Пастернак, «представительница декабристов и Герцена в нашем веке». Все так — и не так. «Прочерк» — возможно, самая откровенная и неожиданная ее книга<sup>8</sup>. И самая, между прочим, мужественная. Я

<sup>7</sup> Замечательный пример — книга Алексея Кара-Мурзы «Знаменитые русские о Венеции» (М., Издательство «Независимая газета», 2001).

<sup>8</sup> Прежде всего — о большой любви, о себе и о нем, прожившем всего тридцать два года Мите (вариант названия — «Митина книга»). О добровольном, больше всего похожем на сумасшествие ослеплении, об алогичности происходящего в том, Тридцать седьмом году. Впрочем, куда отнести необходимое требование государства оформить по суду брак с мертвым мужем, чтобы иметь право охранять его научные труды? Даже не само требование, а описание судебного заседания в 1957-м? Со свидетелями. И получение в загсе справки о смерти — с *прочерком* о причине — под портретом генералиссимуса? А кафкианский поход Чуковского к Верховному суду — Ульриху, а вести с *того света* в 90-е?

теперь думаю, что не открытые письма, не «Софья Петровна» (1939), не «Записки...» — возможно, для нее самой *подвигом*, единственным долгом, второй в жизни (после детской в храме) *исповедью* — была вот эта рукопись, которая «никому не будет нравиться». Теперь и к прозе, и к стихам, и к самой Чуковской, к ее судьбе как будто открыт пароль. Она не успела придать ему окончательную форму, но успела получить несколько отзывов от самых близких.

А продолжалось то стихотворение 40-х так: «Все письма напишу, на все звонки отвечу, / Все дыры зачину и все работы сдам — / И медленно пойду к тебе навстречу...» Мне кажется, что тем, кто уже полюбил автора этого двухтомника, «придется» полюбить еще одного человека. Другой читательской реакции я, честно говоря, не представляю.

Еще одна неизвестная книга Чуковской, деликатно названная в аннотации «poleмикой», — это более чем двухсотстраничное, по определению самой Чуковской, *противоядие* от «Второй книги» Надежды Мандельштам. Главная тема та же — память. В «Прочерке» — воскрешение ее (и ею), в «Доме поэта» (первоначальное название — «Несчастье») — тщательно подготовленный и вместе с тем яростный бой за нее. Но это другая тема, другая музыка. Скажу только, что Лидия Корнеевна не понимала тех, кто, не слыша фальши в звуке, в интонации, охотно толкует о «ценности фактуры». Это удивляло и возмущало ее так же, как выражение «моя врач пришла»<sup>9</sup>. В последней части двухтомника (многолетние «*Мои чужие мысли*», выписки из книг) я увидел цитату, на мой взгляд, объясняющую и то, чему посвящен «Дом поэта»: «Ты не стала на высоту, на которую тебя поставил удар судьбы» (А. И. Герцен — Н. А. Тучковой-Огаревой).

**Анастасия Баранович-Поливанова. Оглядываясь назад. Томск, «Водолей», 2001, 192 стр.**

Далеко не каждая подобная книга, занимая свое место в невидимой «энциклопедии эпохи», становится фактом литературы. Воспоминания дочери Марины Казимировны Баранович — друга и корреспондентки Пастернака, переписчицы и одной из самых талантливых читательниц «Доктора Живаго» — несомненно стали. Автор предисловия, Андрей Немзер, начал с того, что дело это (предисловия к книгам, описывающим, в общем, недавнее время) — «почти безнадежное». И тут же открыл один из главных секретов их привлекательности: здесь есть единая музыка, когда «портреты» и «приметы» эпохи, рифмуясь, создают образ уникальной среды, которая в советские годы «почиталась несуществующей». «Возвращаясь в Москву, мы сначала отравились морем с Кавказа в Крым. Ночью в Сухуми сидели на невиданных размеров белый теплоход „Россия“, бывший „Адольф Гитлер“. Он оглушал и ослеплял грохотом маршей; я вспоминала о нем спустя много лет, когда смотрела „Амаркорд“ Феллини...» Я выбрал, может быть, самую нейтральную и незазвную цитату, да и о культурной среде тут ни слова, но разве даже здесь нет этой самой рифмовки и музыки?

Что же до «известных имен», то портреты Волошина, Солженицына, Копелева не выделены здесь в особые главы, а вплетены в повествование, доверительно появляясь в том или ином месте «по праву памяти». Только Пастернак счастливо-неизбежно присутствует в книге сквозной музыкальной темой и, в ее составе, уникальными (несмотря на опубликованный том переписки) замечаниями Марины Баранович о романе, стихах и о самом поэте. «Многие, по-видимому, считали Б. Л. гораздо глупее, чем он был. Он часто хвалил людей, с точки зрения других — преувеличенно и незаслуженно. А это диктовалось только его глубочайшей жалостью...»

Художник книги — внук поэта, Петр Пастернак.

Воспоминания Анастасии Александровны посвящены памяти матери.

<sup>9</sup> Последней работой Лидии Чуковской была статья «Моя грач прилетела» — в защиту русского языка.

**Виктор Куллэ. Палимпсест. М., «Багаряцкий», 2001, 223 стр.**

В многозначительности названия этого первого поэтического сборника Виктора Куллэ мне более всего дорог автопортретный мотив. Не знаю, совпадем ли в образе, но для меня палимпсестом оказалось не столько время, «воздушная громада» поэзии или питерское полупрозрачное бытие ныне укорененного москвитя (каким оно увиделось из стихов). Палимпсестом оказался он сам, «гремящая смесь нежности, стыда и горечи», с болью пишущий свою судьбу поверх прожитого, как ему часто кажется, более подлинного. Можно думать, что времени нет («...но для Бога времени нет, и вновь / будто зверь бездомный дрожит любовь...») — написал когда-то Кенжеев, в поэтическом обзоре *того еще* «Континента» предрекший Куллэ серьезное поэтическое будущее), — так вот, можно думать, что времени нет, можно утешаться тем, что и у любимых автором «Палимпсеста» поэтов первые поэтические сборники начали выходить в преклонной половине жизни, — но никуда не уйти от того, что эта книга материализовалась в бумажный том значительно позже, чем могла бы. И что бы там ни писал Лев Лосев на обложке о «самом ярком петербургском поэте поколения нынешних тридцатилетних», книги тогда не было. А между тем, прочитав «Палимпсест», начинаешь думать, что на самом деле она была — в сознании поэта, — что именно на ее полустертые страницы он записывал стихи из этой, уже совсем другой, жизни.

«Он все время носится с другими и меньше всего с собой»<sup>10</sup>, — уважительно, с легким оттенком зависти говорят о нем некоторые коллеги по цеху (из числа любящих). Я стал его читателем/слушателем случайно, оказавшись свидетелем блестящего застольного экспромта-импровизации, и впоследствии всегда восхищался этим его как будто старомодным ремеслом — с полной отдачей тратиться на плотные, замысловато-энергичные послания себе и друзьям. 1 января прошлого года он рассказывает сам себе о времени, в котором «что-то сместилось», — и ничего не ждет: «Удел словоблуда — / терпенье. Но волчья слюна / надежды не пачкает зева, покуда / гортани дана / свобода от смены контекста, от цеха, / успешного слух ублажать, / свобода не ждать отголоска, но эхо / собой продолжать».

Как это ни странно, Куллэ — поэт не питерский и не московский. Конечно, как и большая часть ленинградских стихотворцев, он «перепропитан» классической и неоклассической филологией, англо-америкой, историей, эллинизмом и проч., и проч. По-московски в лучшем смысле — «отвязан», по-московски романтичен, над его строфами висит чад застольных сражений и запой «вечных» вопросов, не зря ему так дороги Левитанский и Окуджава. Он, кажущийся каким-то странным лицеистом «последнего призыва», может ублажить вкус филолога и превратить реальный алкогольный запой в сонет. И из своей «одиноким лёжки на дне» по-рыцарски светло декларировать, что «когда настоящее рушится / и стервятники жирные кружатся, / остается последнее мужество: / не изгадить себя изнутри...».

**Сергей Аверинцев. Стихи духовные. Киев, «Дух і Літера», 2001, 145 стр.**

Прочитав, я вернулся к началу и, заглянув в пространную аннотацию, очень захотел «защитить» автора от первых двух фраз: «„Стихи духовные“ — парадоксальный комментарий к научным сочинениям С. С. Аверинцева. Здесь проговаривается то, что неизбежно оставалось „за скобками“ монографии или статьи». Защитить — тем более, что тут же говорится, что это «не поэзия ученого» и уж никак не «ученая поэзия», а особый тип и опыт исповедального слова: «Вот я весь...» В проникновенном и уж точно исповедальном «Слове к читателю» автор вспоминает первоначальный вариант строки Пастернака, более острый «в своей гениальной *беспомощности* (курсив мой. — П. К.): «Вот я весь. Я вышел на подмостки...»

Ровно десять лет назад в издательстве с *парадоксальным* названием «Советская Россия» вышло первое за семьдесят лет собрание духовных стихов, подготовленное

<sup>10</sup> Читатели «Нового мира» (в том числе обзоров «Периодики») хорошо знают Куллэ как литературного критика, переводчика, редактора «Старого литературного обозрения», исследователя творчества Бродского и Окуджавы.

Ф. М. Селивановым. 134 текста — от «Голубиной книги сорока пядень» до «Откуда чай и кофе, табак и картофель». Я открыл и ее, хотя сразу доверился С. С. Аверинцеву, что им написанное — никак не стилизация, но тот самый взгляд вперед, без оглядки на себя. «Мне хотелось, чтобы мои стихи были настолько заняты своим предметом, чтобы они как можно меньше помнили обо мне. И только мой страх перед маскарадом, перед личиной удержал меня от того, чтобы укрыться под псевдонимом...» Кстати, и это важно, автор, заботливо подготовляя читателя к встрече со стихами, помянул о замене ритма, привычного для старых духовных стихов. То есть по канону — но без стилизации.

Дальше — трудно. Это первое издание *такой* книжки Аверинцева. Неловкость пишущего эти строки, надеюсь, понятна: и дело тут не только в «весовых категориях», не только в том, что мне немного мешала фраза коллеги: «Там растворен еще и серьезнейший богословский трактат». Дело в осознании читательской готовности взвалить на себя эту невесомую тяжесть и перейти от стороннего созерцания к духовной и поэтической сопричастности. Духовные стихи пели в голос, вот автор замечательно рассказал во вступлении, как он в грузинском храме подслушивал духовные напевы убиравшей церковь женщины... Иначе говоря, спросить бы себя: ты можешь спеть стихотворение из этой книги? Я пока не могу даже задать себе этого вопроса, но мне захотелось продекламировать себе не из «Стиха о Петре Апостоле», или — об уверении Фомы, или даже не из стиха о великомученице Варваре, который невозможно не перечитывать несколько раз. А вот из такого, тридцатилетней давности, идущего еще до первой главки:

Неотразимым острием меча,  
Отточенного для последней битвы,  
Да будет слово краткое молитвы,  
И ясным знаком — тихая свеча.

Да будут взоры к ней устремлены  
В тот недалекий, строгий час возмездья,  
Когда померкнут в небесах созвездья  
И свет уйдет из солнца и луны.

«Духовные стихи не звали к возмездию на земле, — пишет в своем предисловии к „Стихам духовным“ Ф. М. Селиванов. — Это была поэзия милосердия и упования на справедливость Божьего суда». Три года назад, в дни шестидесятилетия ученого, священник Георгий Чистяков написал об Аверинцеве: «...кажущийся робким и застенчивым, он наделен какой-то особой смелостью, которая бывает присуща только очень слабым физически и психологически не защищенным людям (вероятно, таким был любимый им Осип Мандельштам)...» Теперь у него хватило смелости и на эту удивительную книгу.

## ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО

**О**быкновенная — «мертвая» — афиша для театрального критика дает достаточно поводов и для беспокойства, и для далеко идущих выводов. Афиша или программка, которые нельзя сравнить даже с тенью спектакля, отстоящие от живого театра дальше, чем гербарий — от живого соцветия, для критика — такая же много говорящая «улика», как какой-нибудь шнурок — для следопыта Холмса: взявшись за него, легендарный сыщик буквально «вытягивает», разматывает всю криминальную (в его случае) историю.

По преданиям, Павел Александрович Марков, замечательный критик и не менее замечательный завлит Художественного театра (к слову, как и Михаил Булгаков, он не преминул попробовать себя в режиссуре), сказал однажды, что даже если театр окончательно погибнет, театральная критика проживет еще как минимум деся-



тилетие, занятая спорами о причинах внезапной смерти предмета исследования. Для нас в этой максиме существенно предположение и даже уверенность в том, что критик, конечно, найдет себе занятие и без каждодневных походов в театр.

Начнем с афиш, чтобы постепенно — с их, так сказать, информационной поддержкой — подобраться к спектаклям. К театру, благо он, несмотря на юмористическое предположение ныне покойного Маркова, продолжает здравствовать.

Приглядимся. Среди премьер нынешнего сезона — **«Чайка»** во МХАТе имени Чехова в постановке Олега Ефремова (режиссер возобновления — Николай Скорик); **«Балалайкины и К°»** в «Современнике», постановка Георгия Александровича Товстоногова, режиссеры возобновления — Валентин Гафт, Игорь Кваша и Александр Назаров; к **«Мастеру и Маргарите»** возвращается Роман Виктюк; **«Даму с собачкой»** в Московском ТЮЗе поставил Кама Гинкас... Взгляд цепляет череда восстановлений и возобновлений, в нынешнем словаре — римейков.

Едва обозначив тему, тут же вспомним, что чеховский МХАТ начал сезон премьерой **«Кабалы святош»** в режиссуре Адольфа Шапиро, который «перепоставил» пьесу с новыми артистами, с новым художником, другой музыкой... До того, как в «Современнике» вышел «Балалайкины...», Галина Волчек «вернулась» к старому и успешному спектаклю **«Три сестры»**.

Даже Театр кукол имени Образцова не остался в стороне от этой захлестнувшей первые сцены волны повторений и возвращений к своей славе, к годам своего первого и полного успеха. Там, в ГАЦТК имени Образцова, Екатерина Образцова, внучка великого кукольника, поставила пьесу, которую написала сама в соавторстве с Борисом Голдовским и по книге Сергея Образцова **«По ступенькам памяти»**. И назвала спектакль **«Великий пересмешник»**. В нем о лучшем и великом прошлом этого театра напоминают реконструкции некоторых номеров Образцова: по романсам **«Налей бокал»**, **«Мы только знакомы»**, **«Мы сидели с тобой»**, репризы из репертуара фронтовых агитбригад, знаменитые по **«Необыкновенному концерту»** выходы Конферансье, а также **«Танго»** и **«Укротитель и тигр»** (тут кстати было бы вспомнить, что какое-то время назад похожий «сборник» уже фигурировал в афише кукольного театра, но с иным названием, — тогда спектакль Екатерины Образцовой назывался, кажется, **«Я, Сергей Образцов...»**).

Это веселое попури — пожалуй, и наиболее бессмысленное. Неодушевленная история театра — с куклами из первых, эстрадных еще номеров Образцова — представлена в музее театра на первом этаже. Одушевленная — в еще не сошедших со сцены, бережно хранимых спектаклях (образцовские кукольные представления идут по 40 — 50 лет, а какие-то успели уже отметить и 60-летие!). Взрослым скоро наскучит биографическая канва. Дети не поймут, зачем кукольные номера обрастают отступлениями «от автора», а главное — почему автор в спектакле поделен между двумя актерами, которые все время находятся на сцене: Всеволод Абдулов сидит за столиком в углу сцены и честно читает «авторский» текст, другой же актер, Д. Ворошилин, *играет* Образцова, педантично шагая по ступенькам «его памяти»... Уникальные куклы и уникальные в их исполнении кукольные трюки, прошу прощения за невольный каламбур, мельчают на фоне навязчивого актерского «присутствия». Куклы как кошки — рядом с ними особенно заметна всякая фальшь...

Но верно и то (и не нам принадлежит открытие этой театральной истины), что сцена вообще живет повторениями. Живет по принципу эха: где-то «аукнувшее» название тут же вызывает к жизни череду других спектаклей по той же пьесе, волну нового интереса к выплывшему из долгого или даже, казалось, полного небытия сочинителя (как будто режиссеров вдруг разом обуревают порыв дать клятву верности Максиму Горькому, например, или Леониду Андрееву). Одинаковые «всходы», прорастающие на разных театральных грядках, разделенных порой не одной Тверскою, но сотнями километров, — они как погоня вослед кому-то или даже за собою, но вчерашним или позавчерашним (словно в песне: *«Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком, может, я это, только моложе...»*), как желание верить нынешнее, часто полное сомнений и вопросов, прежним — великим — прошлым.

Ну и хватит об афишных открытиях.

Роман Виктюк в третий раз, по собственному его признанию, обратился к «Мастеру и Маргарите». «Сны Ивана Бездомного» — так обозначает режиссер жанр собственноручно написанной пьесы. И говорит: все вычитывают в романе историю про Воланда и его свиту, не замечая, что в эти три дня Москва погрузилась в сон. И еще говорит про Бездомного, который — нетрудно пофантазировать — вполне мог дожить до наших дней, и было бы ему сегодня немногим за восемьдесят... Все это интересно как рассказ. Но зритель имеет дело со спектаклем. Он приходит в театр, покупает за сто рублей программку, в которой — набор двусторонних открыток, где с одной стороны — иллюстрации к роману Булгакова, а с другой — свечи и давно уже ставшая слоганом реплика Воланда: «*Рукописи не горят*».

Удивительно другое: Виктюк, который, как сказано выше, не в первый раз ставит «Мастера и Маргариту», с этим поверхностным, рекламным, массовокультурным прочтением совсем не спорит, своим спектаклем он как бы утверждает его (романа) ограниченность узким кругом сцен и несколькими десятками всем известными афоризмов и фраз, ставших крылатыми.

За Виктюком, как за всяким крупным режиссером, закрепились определенные слова, которыми уже традиционно пользуются рецензенты. Говоря о его манере, пишут: *яркая театральность*. Если же в спектакле речь идет о чем-то пограничном (с точки зрения общепринятой морали), тем более запретном, то — *пряная театральность*. И все понимают, о чем идет речь. В «Мастере и Маргарите» нет ни того, ни другого. Виктюк вообще выбросил из своей инсценировки всю свиту Воланда, то есть тех персонажей, которые эту самую яркую театральность могли, так сказать, обеспечить.

Вместо этого на сцену выходят люди в шинелях, надетых поверх «гимнастических» трусов и маек, а сама сцена заполонена бюстами Ленина и Сталина (сценография — Владимира Боева). Кроме того, отдельно стоящий бюст Сталина показывает публике красный язык. Эти золоченые истуканы из папье-маше и становятся персонажами и гостями знаменитого бала.

На сцене вообще много лишних предметов: огромная пирамида, как будто взятая взаймы из старой виктюковской (и Владимиром Боевым выстроенной) «Лолиты», больничные каталки, чья театральность давно уже оценена, опробована и, казалось, отработана другими... Но сны — вовсе не синоним чего-то неупорядоченного. Скорее наоборот: сны — тем более театральные, инсценированные — нуждаются в организации даже более четкой, нежели самая явная явь.

Виктюк, которого принято было считать исключительно аполитичным среди наших традиционно политативных мастеров искусств, как оказалось, накопил свой счет к советской власти и теперь, видно, решил рассчитаться по старым долгам.

«Мастер и Маргарита» Романа Виктюка, как и другие, названные и не названные премьеры этого сезона, располагает к общим размышлениям на тему «повторений» и «возвращений».

Движет ли художником (в данном случае — режиссером) желание *договорить*, досказать недосказанное, то, что раньше выговорить было нельзя (запрещалось)?

Или, напротив, *нежелание* другого рода — отнестись к прошлому как к уже действительно прошедшему и невозвратному? Поиски лучшего в этом прошлом и желание повторить этот прежний и неоспоримый успех?

Нежелание смириться с течением жизни, где всякое слово — не воробей? А поймать «воробья» — для того хотя бы, чтобы уточнить смысл или смыслы, — порой очень хочется?

Или в искусстве присутствует феномен, сравнимый с «заиканием», с вообще неспособностью к окончательному и полному «словоизвержению» (поскольку, например, ни одна, даже самая *полная*, интерпретация «Чайки» не может исчерпать все возможные прочтения пьесы)?

К слову, возобновление «Чайки» на сцене МХАТа имени А. П. Чехова вполне могло вызвать недоумение, хотя сегодня этот спектакль справедливо назвать лучшим среди трех уже вышедших в Художественном театре посвящений Ефремову — после «Сирано де Бержерака», которого выпускали уже после смерти Олега Николаевича, и новой редакции «Кабалы святош».

Для возобновления новый худрук Олег Табаков выбрал не легендарную ефремовскую «Чайку» 1970-го, которой режиссер попрощался с «Современником», но «Чайку» 80-х, поставленную уже во МХАТе, но во МХАТе еще не раздельном, и знаменитую не величием замысла, но более — многочисленными составами. Не осталось, кажется, тогда в большой труппе Художественного театра такого знаменитого артиста, который бы не прошел «школу» «Чайки». Лаврова, Вертинская, Мягков, Попов, Саввина, Мирошниченко, Екатерина Васильева, Евстигнеев, Невинный, Давыдов...

Сегодня неспешные повороты декорации Валерия Левенталя, где крупные планы достигаются выдвиганием беседки на самый край сцены, резко контрастные манере игры Евгения Миронова, выступающего в роли Треплева. Миронов, Михаил Хомяков в роли Тригорина, Евгения Добровольская в роли Маши — они играют нервнее (хотя *тогда* казалось, что нервнее, даже невзрачнее, дерганнее, чем играл Треплева Михаил Ефремов, уже и быть не может...), порывистее и как-то стремительнее, жестче. Технически безупречно. Но для спектакля, где главное интерпретации, существеннее, чем любая тенденция, всегда становилась *атмосфера*, этого, пожалуй, недостаточно. Ефремовское в нем — в тех второстепенных персонажах, которые помнят своего режиссера: в Дорне — Владлене Давыдове, в Сорине — Вячеславе Невинном, сохранивших интонацию... Ирина Мирошниченко — Аркадина хороша там, где важной становится комическая, а не драматическая составляющая роли...

Что же тогда вернули? И что хотели вернуть?

...И вот Михаил Левитин присоединился к этой «повторяющей», вторящей самим себе кавалькаде. Его спектакль «Уроки русского по Михаилу Жванецкому» — тоже своего рода повторение, попытка сказать то, что не получалось соединить раньше в одной «точке», если воспользоваться образным словом героя «Кроткой».

Левитин не в первый раз обращается к творчеству своего соотечественника. Говорю так, поскольку Одессу ее уроженцы любят называть местом особенным и ни на что не похожим, со своим языком, своей речью. Когда-то — кажется, еще до того, как Московский театр миниатюр был переименован в «Эрмитаж», здесь шел спектакль «Избранное», где рассказы Жванецкого не читали, а играли, выхватывая друг у друга реплики, Карцев и Ильченко. Позже некоторые рассказы Жванецкого вошли в моноспектакль Романа Карцева «Искренне Ваш...», где Карцев — то ли от Жванецкого (рассказ был — Жванецкого), то ли уже от своего собственного имени (во всяком случае, в игре чувствовались личные ноты) — рассказывал про Бориса Ефимовича Друккера, бесконечно коверкавшего русский язык, «дававшего» Жванецкому двойки, но заставившего-таки и его, и всех одноклассников писать без ошибок.

В «Уроках русского...» Левитин собрал «под одной крышей» все самое любимое и это любимое разделил на всю труппу. И все здесь кажется ошибкой: и Одесса, и сама попытка вернуть ее — и как невозможно далекий уже образ, и как конкретную Одессу, описанную, запечатленную, припечатанную словом Жванецкого. Призрачную, как будто в насмешку — прозрачную, представленную на сцене прозрачными фотографическими занавесами, которые Давид Боровский сделал из какой-то прочной пленки.

Левитин пытается вернуть ту интонацию, повторить ту Одессу и... заставляет актеров подстраивать голоса под Карцева (или — картавить, как не картавил в свое время Карцев, когда рассказывал про того же Друккера; и хотя реальный Друккер, наверное, сильно картавил, в исполнении Карцева рассказ вызывал слезы, а в исполнении не менее замечательного актера Бориса Романова — увы, раздражение). Ни возвращения, ни повторения не выходит. Мы же, черт возьми, слушали Карцева. И слушали Жванецкого. И помним их голоса, благо оба живы и время от времени напоминают нам об этом.

(Про себя примечаете, что сегодняшний, модный, всеми любимый и всеми обласканный Гришковец не на пустом месте возник; еще позавчера та же доверительность, та же мера «отсебятины» шла и «ловила» от Жванецкого.) Одессы

больше нет, говорит Левитин — и ставит, по собственному его признанию, еврейский спектакль. Об Одессе, которую потеряли.

В «Уроках русского...» Одесса предстала последним прибежищем для каких-то мелких уродцев, которые почти как один ходят враскоряку, калечат лица нечеловеческими гримасами и говорят не своими, вымученными голосами, так что и жалеть о потере такой Одессы, кажется, незачем. Местами спектакль похож на кучу малу, когда уже не различить ни слов, ни смысла, и почти не остается ни места, ни времени для тех лирических нот и минут или секунд, сентиментальных мгновений, на которые, конечно, рассчитывали поклонники как Жванецкого, так и Левитина.

Здесь — разбив на «голоса», на всю труппу — режиссер, можно сказать, загубил Одессу Жванецкого, потому что среди актерского многоголосия недостает одного — голоса самого Жванецкого. Когда спектакль заканчивается, Левитин слово Жванецкому дает: в записи Михал Михалыч читает Пушкина, ошибается, сам себя поправляет. Это — одна из удачных находок богатого на всякие выдумки режиссера.

Как тут не вспомнить предупреждения-предвосхищения Вознесенского: *«Не возвращайтесь к бывлым возлюбленным, бывлым возлюбленных на свете нет...»*

Как будто это хоть кого-то остановило! И — как будто не было в истории примеров счастливых возвращений!

Поразительно, что удавшиеся повторения поджидают нас на двух театральных полюсах — там, где ценят реалистическое прошлое традиционного русского театра второй половины прошлого века — в «Современнике», и в горниле метафорических исканий — в Московском ТЮЗе. В «Современнике» вернулись к спектаклю 1973 года «Балалайки и К°», в ТЮЗе Кама Гинкас поставил «Даму с собачкой». «Дама с собачкой» — тоже повторение в своем роде, поскольку прежде чеховскую повесть Гинкас ставил в Хельсинки, потом была попытка сделать спектакль в Москве с Мариной Нееловой и Александром Абдуловым. Почему-то не вышло. Нынешнюю версию можно счесть третьей по счету.

В начале 70-х, когда в «Современнике» задумали поставить «Современную идиллию» М. Е. Салтыкова-Щедрина, было понятно, что так просто с таким текстом на сцену не выпустят. И театр «обезопасил» себя двумя таранами: пьесу заказали Герою Социалистического Труда и депутату, как говорится, всех уровней Сергею Михалкову, а ставить позвали тоже Героя Труда и тоже депутата Георгия Александровича Товстоногова. Премьера обросла дюжиной анекдотов. Игорь Кваша рассказывает, например, как в день сдачи Михалков незадолго до конца вышел из зала и вошел обратно в тот самый момент, когда занавес закрылся и в зале воцарилась тягостная пауза. *«Давно царизм не получал такой пощечины»*, — начал обсуждение классик советской литературы. Еще рассказывают, что у Михалкова пьеса заканчивалась тем, что задник, на котором был изображен двуглавый орел, убирался, открывая вид крейсера «Аврора»... Дочитав до конца, Товстоногов кинулся звонить драматургу, но невозмутимый Михалков будто бы сказал: «Вы ставьте, что хотите, а я написал то, что мне было нужно...» И т. д.

Те, кто хорошо помнят старый спектакль, в один голос говорят о перемене многих мизансцен. Только парные, начальные сцены, где играют двое — Кваша и Гафт, — остались почти без изменений. Да и что можно изменить, когда два человека встречаются, говорят, расходятся, чтобы тут же сойтись снова — в уже ночном, бессонном и бессмысленном, слонянии по дому.

Реконструкции, каким, возможно, и был задуман спектакль, не вышло. Другими стали актеры. Одни, скажем так, повзрослели, а большинство исполнителей — и вовсе новые. Другую стала и сама история.

Иначе выглядит спектакль, хотя костюмы и декорация Иосифа Сумбаташвили — выдержанные в зеленых тонах чиновного сукна — остались почти неизменными. И Квартальный является и исчезает в клубах театрального дыма, аки бес, лелея миф о потустороннем характере всякой, даже низшей, власти.

Из складок сукна выскакивает на сцену Рассказчик — Игорь Кваша. И говорит: *«Сегодня...»* И рассказывает про свое сегодняшнее происшествие так достоверно, что его «сегодня случилось» воображается как сегодняшнее сегодня. И

лишь минуту или даже несколько минут спустя приходит понимание, что все это не вчера произошло. И даже не в начале 70-х.

Итак, рассказчика, как и прежде, играет Кваша. Глумова, как и в старом спектакле, — Валентин Гафт. На роль Квартального так и не нашли исполнителя в собственных стенах, позвали со стороны Валентина Смирнитского. Глядя на него, можно только опечалиться, что нет сегодня исполнителя, равного Петру Шербакову. На роль странствующего полководца Редеди пригласили Сергея Газарова, выход которого — отдельный эстрадный номер... Только Валерий Шальных по-настоящему хорош в роли Балалайкина, которую в прежнем спектакле играл великий лицедей Табаков. В остальном же главным достоинством окружения можно счесть то, что оно не мешает рассмотреть и получить удовольствие от игры Гафта и Кваши.

Игра двух актеров, масштаб двух актеров — Гафта и Кваши, — совершенно иначе заставляет отнестись ко всему, что происходит на сцене. Они — своей сегодняшней игрой, сегодняшней эмоцией и игрой всерьез, не по форме, — как бы переосмысливают и переозвучивают весь спектакль.

«Балалайкин и К<sup>о</sup>» — конечно, в первую очередь история этих двух героев, не Балалайкина, не его компании, но людей, случаясь, именно волей случая, прикнувших, вовлеченных в круг идей и проблем местной «интеллигенции». Они-то — Рассказчик и Глумов — как раз старались всеми силами в эту компанию не попасть, перегодить, побыть в стороне... Не вышло.

Текст Салтыкова-Щедрин — из тех, которые в России не стареют. Сегодня какие-то реплики звучат, кажется, еще злободневнее, чем без малого тридцать лет назад.

Вот Рассказчик говорит, что Молчалин призвал его «погодить»: *«Погодить — это значит приноровиться, что ли, помолчать... Заниматься не тем, чем обыкновенно занимаешься... В еду ударьтесь...»* И — недоумение, непонимание на лицах обоих, попавших в страшный для них переплет. *«Тебе сказано погодить?.. Ну и годи!»* — распаляется Глумов — Гафт. Диалогические сцены напоминают порою почти эстрадный парный конферанс Карцева и Ильченко... Чистый Жванецкий!

*«Мы что, мало с тобой годили?!»* — *«Стало быть, до сих пор мы только в одну меру годили. А завтра как-нибудь иначе годить придется. Мудреное нынче время»*, — подводит философскую базу Глумов. И эта их — обоих — недотепистость, выпадание из времени, политической ситуации трогает, умиляет даже. С одной стороны, оба готовы «папироски крутить» и даже пробуют себя в этом политически безупречном деле, с другой же — выбрасывают руку в «рот фронте» и — идут на прогулку, как на важное партийное задание.

Сегодняшний спектакль — про двух шестидесятников, двух русских либералов, безуспешно пытающихся (вернее, пытавшихся) спрятаться от системы (Системы), от «испытания мыслей». Всю жизнь они годили, пестовали свою честность, ничем, кроме гождения, не запятнанную, чтобы в финале, на старости лет, к сединам оказаться в самом пекле государственной подлости. Но Кваша и Гафт не играют подлецов, как это было тогда, в начале 70-х, когда хотелось этих перерожденцев, коллаборационистов заклеить, прибить к позорному столбу. Сегодняшние их герои — несчастные люди, почти старики, запутавшиеся, сами себя окрутившие, в наручники заковавшие и квартальному сами себя сдавшие — в собственные его властные руки. Подтверждая слова другого классика, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Особенно, конечно, в России.

Прозаическое, не раздробленное на реплики слово будоражит воображение Гинкаса как будто сильнее, чем кем-то уже приноровленное к театральным запросам, разбитое на реплики и ремарки.

В пьесе, которая написана режиссером по «Даме с собачкой», Гинкас и не дробит рассказ Чехова, идет «вдоль» по тексту. Сейчас говорят о том, что перед нами — очередная часть трилогии, поскольку перед тем, как обратиться к «Даме с собачкой», он ставил «Черного монаха», а затем примется за «Скрипку Ротшильда».

Как обычно, для своего спектакля Гинкас выбирает нетрадиционное пространство. На сей раз это — балкон ТЮЗа, где сидят зрители и располагается сама сцена, балкон, уже опробованный Гинкасом в «Черном монахе». В прошлый раз Черный монах — Игорь Ясулович прыгал с балкона вниз, вызывая всегдашнее «ах»

публики, которая не ждет таких фокусов от драматической сцены. Теперь же отсюда — снизу — в начале спектакля, как из моря, выныривают, счастливые и безмятежные, шальные купальщицы. Близость театральной люстры оказывается «к месту»: когда Гуров встречается с Анной Сергеевной в театре, люстра загорается, освещая партер, пустой в театральной реальности, как и для Гурова, который в эту минуту замечает одну только героиню своего курортного романа.

Художник Сергей Бархин выстроил из досок небольшой пляж, а там — на заднем плане, далеко-далеко — уже над настоящей сценой — две лодочки, покачивающиеся на далеких волнах. Артист Игорь Гордин сначала выплывает в бородке и пенсне, вылитый Чехов, но потом и пенсне, и сама бородка летят к черту, и на берег выбирается уже вполне молодой человек, до сорока — в соответствии с написанным у Антона Павловича.

Как обычно у Гинкаса, поражает преобразование героев. И преобразование, совершенная смена манеры игры, которая как будто вдруг всверливается в какие-то глазом невидимые пласты и разом проваливается на какую-то почти пугающую глубину.

Потому что в начале и Гуров, и Анна Сергеевна вовсе неотличимы от двух «господ курортных» — именно так поименованы в программке персонажи, как бы разбавляющие действие; если бы речь шла не о Гинкасе, можно было бы сказать, что они призваны размыкивать скуку, разгонять ее... Но плотность действия у Гинкаса всегда такова, что на скуку времени нет, и господа курортные, являющиеся в самые драматические моменты, порой шокируют несоответствием нашей сюжесекундной вовлеченности в действие, градусу нашего сопереживания. Гинкас не дает нам (и самим главным исполнителям) заиграться в психологический театр. Он играет с нашими представлениями о том, как выглядит на сцене любовь, с нашей неготовностью резко переключаться с веселья, почти клоунады на почти трагический серьез. Где кончается курортная интрижка, пошлый приморский флирт и начинается для Гурова то, что лишит его покоя в московской жизни, не знаем, не замечаем ни Гуров, ни мы. Где человеческая комедия, «цирк», каким порой представляется вся жизнь, становится человеческой драмой? Вот на зонтик, под которым прячется от непогоды Гуров, лет водичку какой-то клоун в тельняшке и во фраке (тот самый «курортный»), и вот сам Гуров, готовый поверить в то, что любовь его — род безумия. Можно взглянуть так, а можно иначе. Так — смешно, этак — невесело...

Игорь Гордин и Юлия Свежакова — Гуров и Анна Сергеевна — в спектакле Камы Гинкаса ничем не схожи ни с Баталовым, ни с Ией Саввиной, которые играли героев в одноименной киноэкранизации. А этого сходства поначалу ищешь. Или, наоборот, можно сказать, что это несходство поначалу кажется основой возможной неудачи. (К слову, Игорь Гордин, сыграв Гурова, стал, на мой взгляд, одним из главных открытий этого сезона, хотя уже исполнил немало ролей в родном ТюЗе.)

Спектакль Гинкаса — по глубине проникновения и понимания чеховского слова — схож с неторопливым и внимательным чтением. Гинкас и идет за чеховским повествованием, что называется, «след в след», не пропуская ни ремарок, ни авторских замечаний, распределенных между актерами, которые легко отстраняются от только что звучавшей «прямой речи» и комментируют реплики своих героев. Явления «курортных» в таком спектакле, уважительном к каждому слову автора, похожи на случайное попадание не на ту страницу: как будто отложенную на время книжку потом раскрыли в первом попавшемся месте, наугад, и это оказывается уже не «Дама с собачкой», а какая-нибудь шуточка Чехова-юмориста вроде того, что, мол, если вам изменила жена — следует радоваться, что изменила она вам, а не отечеству.

Как заклинание, на разные голоса, здесь повторяют и повторяют: «Жизнь прекрасна!» Но повторение этих слов с каждым разом уменьшает их и без того сомнительную достоверность.

В «Даме с собачкой» режиссерского «повторения» почувствовать невозможно — так первичны, остры страсти, чувства. Сама история кажется другой, не тою, чего ждешь, имея в памяти, как в заглавнике, киноэкранизацию, разбор произведения из школьной программы и даже знание того, что сделано Гинкасом до сих пор.

## КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

### ЧТО НАША СМЕРТЬ? — ИГРА!

«Королевская битва» — «скандальный фантастический боевик 75-летнего классика жесткого трэша Кинджи Фукасаку» — действительно может претендовать на лавры одной из самых скандальных картин 2001 года. Безусловно, в том же японском (гонконгском, тайваньском, китайском и т. д.) кино можно найти опусы и покруче в смысле эстетской жестокости, обилия убийств и скорости, с какой они обрушиваются на голову зрителя. Но все эти более или менее изощренные упражнения в стиле экшн занимают лишь фанатов жанра у себя на родине и горстку киноманов по всему миру. Это просто кино, развлечение, не подрывающее социальных основ.

«Королевская битва» — дело другое. В Америке картина безоговорочно запрещена. В Японии «удостоена» редкого возрастного ценза R-15 (дети до 15 лет не допускаются). Тем не менее, по свидетельству газеты «Los Angeles Times», «фильм бьет все рекорды по сборам и изрядно нервирует японский истеблишмент. Фукасаку спровоцировал в масштабах страны дебаты на темы свободы слова, эффективности правительства, системы запретительных прокатных рейтингов и традиционных ценностей японской культуры». В России тоже не обошлось без скандала. Представители КПРФ в Думе пытались запретить фильм еще до выхода на экран. Но картину все-таки выпустили, и в ноябре — декабре она попала в десятку самых кассовых. На официальном русскоязычном сайте «Королевской битвы» бегущей строкой идет сообщение: «Сенсация! Впервые в России прокат продлен по многочисленным просьбам зрителей».

Чем же вызван подобный ажиотаж? С тинейджерами понятно: это кино про них. На экране пятнадцатилетние школьники «мочат» друг друга из всех стволов в режиме компьютерной пулялки. Фонтаны крови, отрезанные головы, эффектные перестрелки... Плюс школьные проблемы, недоверие к взрослым, подростковый максимализм... Короче говоря, выброс адреналина юным зрителям обеспечен, а подростки за тем и ходят в кино.

«Королевская битва» — своего рода антиутопия. «Начало нового тысячелетия, страна в состоянии кризиса. Уровень безработицы — 15%... Преступность в школах вышла из-под контроля, и мятежные тинейджеры устраивают массовые забастовки. Осажденное правительство в ответ на это устраивает им „Королевскую битву“». Каждый год школьный класс, выбранный наугад, посылается на необитаемый остров, где ребята должны перебить друг друга в жестокой игре на выживание» (из пресс-релиза).

Понятно, что вся «социологическая» мотивировка событий — не более чем условность. Такого просто не может быть, потому что не может быть никогда, особенно у японцев, исповедующих подлинный культ детей (что не мешает, впрочем, японским кинематографистам в фильмах о привидениях и т. п. «мочить» детишек направо и налево). Какая-то логика еще была бы, если бы на остров ссылали отъявленных хулиганов и малолетних преступников. Но выбранный наугад класс!.. Среднестатистических мальчиков и девочек, у которых есть папы и мамы!.. Куда смотрят родители?! И потом, почему дети, попавшие на остров, ничего не знают о «Королевской битве», если, как ясно из фильма, она практикуется в Японии не один год и ее итоги пристально и пристрастно освещаются в СМИ? (В прологе картины мы видим, как на большую землю доставляют залитую кровью девочку, победившую в предыдущей игре, и вокруг нее тучей выются охваченные профессиональным азартом телерепортеры). Дети, что, и телевизор уже не смотрят?

Ответов на эти вопросы нет. Да они и не требуются. Перед нами — притча, иносказание, где важно лишь то, что дети по воле взрослых оказываются в ситуации войны всех против всех. Они поставлены перед выбором: убивать или умереть — таковы правила игры, навязанной им внешним миром.

Итак, 9 «б» из Сироива, 21 мальчик и 21 девочка в чистенькой школьной форме (мальчики в костюмах и в галстуках, девочки в белых носочках, из-под светлых

форменных юбочек выглядят жестко накрахмаленные оборки) едут в большом, комфортабельном автобусе якобы на экскурсию. Они смеются, галдят, едят печенье, фотографируются... Ничего необычного. Только почему-то за окном мелькают армейские блокпосты. Только ночью, когда все засыпают, сопровождающая дама почему-то идет по проходу в пластиковом прозрачном противогазе и оглушает очнувшегося подростка страшным ударом по голове.

Просыпаются школьники уже на острове, в огромном ангаре, под дулами вооруженных до зубов автоматчиков. За окнами ослепительный свет и шум вертолета. Перепуганные дети, прильнув к стеклу, видят, как из вертолета спускается их ненавистный классный руководитель Китано (Такешу Китано). Китано — распорядитель игры. Дети в его полной власти. Он объясняет им, что умрут все, кроме одного — того, кто окажется победителем. Для убедительности Китано тут же убивает одну из девочек, ловким броском ножа раскроив ей череп. Второго подростка он отправляет на тот свет, нажав кнопку на пульте и взорвав надетый на шею мальчика электронный ошейник. Такие же ошейники есть у всех. Они будут взорваны, если игра продлится больше трех дней или если кто-то из детей не покинет вовремя запретную зону. Запретные зоны постоянно меняются, так что отсидеться в укрытии никому не удастся.

Ученики 9 «б», как стадо овец, охваченных паникой, мечутся по ангару, но при виде двух трупов стихают, осознав, что это не шутки. Им предлагают посмотреть кассету с правилами игры. Бравурная музыка, заставка «BR» («Королевская битва»), очаровашка дикторша, излучающая радость и оптимизм, сообщает, что каждый получит рюкзак, бутылку воды, сухой паек и оружие — кому какое достанется. Кому — топор, кому — автомат, кому — крышка от кастрюли... Уж как повезет. Детей, бросив каждому в руки рюкзак, по одному выпускают на волю. И битва начинается...

Фукасаку каллиграфически один за другим выводит на экране киноиероглифы — «подозрение», «ужас», «паника» и рядом — кокетливый, веселенький иероглиф «игра». Мы понимаем, что находимся внутри вполне условной знаковой системы, и это позволяет отнестись к происходящему не всерьез, дистанцированно. Однако дистанция все время меняется. Виртуозно переключая действие из одного жанрового регистра в другой, режиссер не позволяет нам закрепиться в своем отношении к происходящему и заставляет испытывать попеременно: ироническую отстраненность, увлечение схваткой, азарт игры, сострадание, ужас, шок (растерзанные детские трупы — зрелище весьма мрачное).

При этом в фильме нет угнетающего, вгоняющего в депрессию «голдингского» мотива тотального расчеловечивания выпавших из цивилизации детей. Подростки не сбиваются в бесформенную озверевшую стаю под властью жестокого вожака. Напротив, каждый выбирает свою стратегию поведения, и все вместе школьники демонстрируют универсальный набор человеческих реакций на предложенную бесчеловечную ситуацию.

Четверо участия в игре предпочитают добровольный уход из жизни. Две дурочки идеалистки забираются на гору и выкрикивают в мегафон пацифистские лозунги, представляя собой идеальную мишень. Кто-то сразу пускает в ход оружие. Кто-то прячется. Кто-то стремится отыскать и спасти близких друзей. Одни пытаются выживать в одиночку. Другие предпочитают принцип командной игры...

Набор типажей стандартен. С одной стороны, романтическая влюбленная парочка — Норико и Нанахара (оба под № 15; мальчики и девочки пронумерованы отдельно) и их благородный покровитель, «самурай» Каваза — подросток из другой школы, уже выживший однажды в подобной игре (№ 5). С другой — абсолютный злодей, тоже чужак Кирияма (№ 6), вызвавшийся играть по собственной воле, и злодейка, девочка-вамп Мицуко (№ 11), которая, как и Кирияма, избирает тактику хладнокровных убийств.

Кроме того: одинокая бегунья (№ 13) — гордость и краса класса; рыхлый, истеричный толстяк (№ 1) — он погибает первым; «компьютерный гений» (№ 19), организующий хакерскую атаку на центр управления игрой... Есть тут и очкастый «ботан»-отличник (№ 16), которому наплевать на всех, кроме себя, и компания бойких, самоуверенных девчонок, создающих этакую феминистскую коммуны...



42 человека, борющихся за лидерство, охваченных комплексами, страдающих от зависти, ревности, мести; исповедующих возвышенные идеалы дружбы, верности и любви... Все как в любом школьном классе, в любом человеческом сообществе, где стандартные пороки и добродетели распределены примерно в равных пропорциях.

И едва эти нормальные дети вступают на тропу войны, маховик убийств, обусловленный логикой «Королевской битвы», начинает раскручиваться с пугающей быстротой. В первую же ночь и наступившее вслед за ней безмятежное утро на тот свет отправляется едва ли не треть участников. Причем если Кирияма и Мицуко убивают, так сказать, из принципа, по убеждению, то все остальные колют, рубят, расстреливают, взрывают и травят своих одноклассников, в общем-то, против воли: кто из трусости, кто защищаясь, кто в пылу справедливой мести... Эпизоды с пулеметной скоростью сменяют друг друга, и практически каждый завершается энным количеством трупов. (На экране всякий раз появляется «счет»: «Погибли: мальчики № такие-то, девочки № такие-то. Осталось столько-то человек».)

Затем, сделав паузу в череде убийств, режиссер сосредоточивается на развитии двух фабульных линий: «мелодраматической» и «хакерско-партизанской».

Нанахара приносит обессилевшую Норико в здание заброшенной больницы; там их встречает Каваза. Вместо того чтобы убить вполне беззащитных влюбленных, делает Норико укол, кормит детей обедом и рассказывает сентиментальную историю о том, как его любимая девочка Кейко погибла в финале предыдущей игры.

Тем временем на какой-то полуразрушенной фабрике трое мальчишек под руководством «компьютерного гения» Мимурэ с муравьиным упорством смешивают уголь с селитрой и, сверяясь с дневником дедушки-партизана, готовят самодельную бомбу. Их план: предварительно обезвредив следящий за ними компьютер, напасть на Китано с его автоматчиками, захватить вертолет и сбежать.

Поворотный эпизод (21 труп — до, 21 — после) не связан ни с одной из этих сюжетных линий, зато исчерпывающе характеризует стилистику картины.

Флэшбэк — девочка-спортсменка в желтом костюме — бежит по лесной дорожке под идиллическую музыку Шуберта. За ней — мальчик на велосипеде. «Я всегда буду у тебя за спиной», — обещает он. Девочка сворачивает на боковую тропинку, видит, что она одна, бежит обратно... Не меняется ничего, все то же: пейзаж, музыка, желтый костюм, только на горле у нее теперь — электронный ошейник. Это уже настоящее: она на острове, а вокруг смерть. Спортсменка Тигуса садится на ступеньки храма, вытирает лицо полотенцем... Тут из кустов вылезает презираемый ею обожатель Ниида (№ 16), вооруженный арбалетом, угрозами пытается добиться от девочки благосклонности. Тигуса презрительно смеется в ответ. Не выдержав насмешек, Ниида стреляет, поцарапав ей щеку.

Один штрих — красная царапина на гладкой девичьей щеке — радикально меняет эмоциональное наполнение сцены. В глазах Тигусы вспыхивает дикий огонь, и со словами: «Ты испортил мне лицо. Теперь ты мой враг! Я ненавижу тебя!» — она хватается за нож, бросается на обидчика и наносит яростные удары ему между ног. Тут из зарослей появляется Мицуко с пистолетом (словно материализация, сгущение разлитой в воздухе агрессии) и с жутковатой улыбкой расстреливает еще не отдышавшуюся после схватки бегунью. Раненая Тигуса доплетается до поросшего травой углубления в дамбе, где ее и находит Хироки (№ 11) — тот самый мальчик, который обещал «всегда быть у нее за спиной». В мирном свете заката, под музыку Шуберта Тигуса тихо умирает у него на плече.

Вообще, все ключевые эпизоды озвучены хрестоматийными отрывками из классики от Баха до И. Штрауса. На фоне открыточно-красивых пейзажей, изумрудных зарослей, синего неба и ласково шумящего моря дети убивают друг друга в стилистике наивно-упрощенной и в то же время изощренно-жесточкой японской анимации «Манга». Убийства обставлены как гладиаторские бои, когда интригу создает неравноценность оружия (пистолет против электрошокера, топор против крышки от кастрюли, арбалет против ножа и т. д.), как кровавый балет (синхронно движутся девичьи ноги в носочках, тонкие руки одновременно вскидывают тяжелые пистолеты, синхронно падают окровавленные тела) или эффектные пиротехнические аттракционы.

Но при этом все акты агрессии психологически мотивированы. «Я никому не доверяю», «Ты перетрахала всех наших парней!», «Я обещал защитить тебя», «Я просто хотела выиграть...» и т. п. говорят мальчики и девочки, нажимая на курок, перерезая горло серпом или же испуская последний вздох. Мотивировки предельно просты и понятны каждому школьнику; но какими бы они ни были — эмоциональными или рациональными, нравственными или безнравственными, правильными или ошибочными, — результат абсолютно один и тот же: смерть. Смертью карается трусость, эгоизм, паника, жажда крови, желание унижить противника... Но смертью кончается и хитроумно спланированная контригра, и стремление спасти всех и каждого, и упование на любовь, дружбу и солидарность... Нравственный закон и закон «Королевской битвы» не имеют друг с другом ничего общего. В ситуации спущенного с цепи, разрешенного, санкционированного насилия гибнут все.

В финале, правда, добро якобы торжествует. В живых остаются «хорошие» — Нанахара, Норико и Каваз (Фукасаку все-таки снимает фильм для детей — «лучший подарок школьникам» — и не может разочаровывать их гибелью любимых героев). Однако для того, чтобы хеппи-энд стал возможен, приходится сделать целый ряд абсолютно фантастических допущений. К концу игры выясняется, например, что злой учитель Китано всегда был равнодушен к девочке Норико. Она видит Китано во сне и, проснувшись, говорит: «Какой он все-таки одинокий», — а Китано весь фильм грызет изготовленные ею печенья и рисует лубочную картинку, где среди отрубленных детских голов, рук и ног, разбросанных по зеленому острову, в центре красуется Норико с нимбом вокруг головы. Именно в силу этой сердечной склонности Китано, в нарушение правил, оставляет детишек в живых. Больше того, он прямо-таки вынуждает Нанахару пристрелить его; уже прошитый автоматной очередью, Китано поднимается с пола на звонок мобильного телефона, отвечает дочери, которая его ненавидит: «Я сегодня домой не приду», — доедает последнюю печенюшку, испеченную Норико, и... умирает.

Итак, даже в действиях садиста учителя можно найти «душевные» мотивировки. Однако вся эта сентиментальная клоунада, так же как и внезапное появление Китано в лесу, когда он спасает Норико, спугнув лесную ведьму, ходячую смерть Мицуко, а потом заботливо прикрывает прозрачным зонтиком девочку, склонившуюся над истекающим кровью Нанахарой: «Смотри не простудись», — ни в коей мере не компенсирует шок от 39 детских убийств и самоубийств, пронесшихся у нас перед глазами.

Фильм выстроен так, что в зависимости от собственных предпочтений зритель может воспринимать его как компьютерную стрелялку, перенесенную на экран, как отвязанный эпатаж и вызов моральным запретам или как моралистическое осуждение доведенного до абсурда насилия. Возможность взаимоисключающих интерпретаций заставляет некоторых критиков предположить, что никакого особого смысла тут нет. Просто дедушка-режиссер на старости лет повеселился, складывая на наших глазах хитроумный кровавый паззл.

Однако Фукасаку настаивает, что в основе картины лежит его собственный детский опыт.

«То, что герои — девятиклассники, имеет для меня очень большой смысл. В год, когда заканчивалась война на Тихом океане, я был... примерно в том же возрасте. В то время я работал на оружейном заводе и где-то за месяц до конца войны попал под обстрел, который вели с кораблей... Здесь... ничего нельзя сделать. Снаряды падают неожиданно, и не убежать, не спрятаться. И мы, подростки, лезем друг под друга в отчаянном желании выжить.

Потом на выжженном поле мы собирали трупы, это была наша работа — девятиклассников. Я впервые в жизни видел столько погибших за один раз. У меня осталось в памяти, как мы ходим туда-сюда, подбирая валяющиеся руки и ноги».

Иными словами, режиссер сам побывал в подобной ловушке и хорошо знает, что взростлый мир, настаивающий на своей правильности, законности и безопасности, требующий доверия и послушания, в любой момент способен развязать некую «Королевскую битву». И тогда смерть уже не будет разбирать правых и виноватых, от нее просто некуда будет деться. При этом мотивировки и оправдания будут у всех — слабость, отчаяние, борьба с ненавистным врагом, невозможность иначе

разрешить ситуацию... То, что под глянцевым покровом благополучного мира тянутся каверны кровавого, чудовищного абсурда, — факт, о котором детям полезно знать. Трезвый взгляд на жизнь важнее усыпляющих сказок цивилизованной пропаганды, которая становится к тому же тем лживее, чем ближе подходим мы все к краю бездны. Этот бескомпромиссный и горький анархизм, упакованный в скандальную обертку фильма о подростковой жестокости, собственно, и вызвал настоятельность властей по всему миру.

В связи с «Королевской битвой» невольно вспоминается другой японский фильм о подростковом насилии — «Эврика» Синдзи Аояма. По стилистике он абсолютно противоположен жесткому трэшу старика Фукасаку. Герои «Эврики» — брат и сестра, ставшие невольными свидетелями бессмысленного теракта, — замыкаются в себе, перестают разговаривать, уходят в фантомный, болезненный мир, а мальчик к тому же становится серийным убийцей. Единственный взрослый, который может разделить их ужас и боль, — водитель автобуса Мамото, чудом, как и дети, оставшийся в живых после террористической атаки. И три с половиной часа экранного времени он кропотливо и самоотверженно, порой приходя в отчаяние от собственного бессилия, врачует, соединяет разорванные тонкие ткани детской души. Это предельно медлительное, медитативное авторское кино, игнорирующее в принципе любые кинематографические клише и штампы.

Фукасаку, напротив, строит картину, используя стандартные образцы «консервированной агрессии», поставленные на поток и приносящие гигантские прибыли в системе сегодняшнего масскульта. И, совмещая, накладывая друг на друга модели и правила разных «игр», он наглядно демонстрирует связь, существующую между виртуальным насилием компьютерных стрелялок, телевизионных реалити-шоу (типа «Выживший» или «Последний герой»), кровавых боевиков и реальным насилием, которое сегодня тоже зачастую приобретает характер шоу. Все это, включая всамделишные убийства, воспринимается нами на основе одних и тех же упрощенных психологических механизмов, которые можно определить как механизмы и техники «виртуального сознания». «Виртуальное сознание не включает в себя полноценного сообразования с окружающей реальностью, полной системы связей с ней, и это значит, в частности, что с позиций этой реальности виртуальные стратегии лишены координации и ответственности» (Хоружий С. Эвтаназия. — «Искусство кино», 2001, № 11, стр. 63).

Человеческая агрессия — не просто биологический инстинкт, но такое же наследие первородного греха, как смерть, мучительный, тяжкий труд, боль, страх и т. д. Веками культура пыталась эту агрессию приручить, каким-то образом встроить в систему высоких ценностей, облагородить в героических мифах, рыцарских сказаниях, в строгих кодексах чести... Потом в конце ушедшего века был объявлен «конец истории»; человечество решило, что достигло такой степени «цивилизованности», что ему уже не с кем и незачем воевать. Агрессивные инстинкты спустились вниз, в сферу поп-индустрии, отдали на откуп мастерам шоу-бизнеса, которые наделали из них игрушек для умственно неполноценных детей. А когда «игрушечные» автоматика и пистолетика начали вдруг стрелять, дитя-человечество в изумлении и растерянности совершенно не понимает, что с этим делать.

## WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

*Чаты и форумы. Самопубликации в Сети. «Стихи.ru»*

**М**ы живем сегодня в постиндустриальном обществе. Это общество информационное в первую очередь. Основное и характеристическое его занятие — производство и потребление информации. Это не значит, конечно, что люди перестали производить «реальные» товары. Как и при переходе к индустриальному обществу от аграрного, люди не перестали выращивать хлеб. Но главные приоритеты и предпочтения изменились. Изменились основные средства производства: в аг-

рарном обществе — это земля, в индустриальном — станок, в постиндустриальном — компьютер или, более точно, все средства производства и передачи информации.

Изобретение Иоганна Гутенберга (середина XV века) было одной из первых заявок индустриального общества о себе. Едва угадываемое индустриальное общество чуть ли не первым делом изобретает печатный станок. И начинает печатать книги. И печатает их следующие пятьсот с лишним лет. Меняется до неузнаваемости техника печати, но принцип неизменен: образ — оттиск. Принцип печати меняется только с наступлением эпохи компьютера. Он не отменяет гутенберговую печать, но вводит другую возможность: образ — образ. Не оттиск, а удвоение образа, при котором копия ничем не отлична от оригинала. Это достаточное основание, чтобы сказать о том, что мы живем в эпоху после Гутенберга.

Что меняется в современном мире и конкретно в Сети для существования языка, письменной речи и литературы в частности? Можно заметить интересные сдвиги, происшедшие за очень короткие сроки, всего лишь за десять — двадцать последних лет.

Первое, что делает любой человек, подключившийся к Сети, — он устанавливает почтовую программу и посылает письмо. Это письмо и есть крик младенца: я вышел в Сеть, я полноценный, хотя и юный член информационного сообщества. Что содержит письмо? Как правило, это несколько слов, адресованных знакомому человеку, уже имеющему почтовый адрес: «`Config connect. Подтверди связь`».

Для каждого человека эти (или другие похожие) слова значат очень много — это «еще одно отверстие, связующее с миром». Но ведь это еще и письмо в самом нормальном, домашнем смысле. И вот что интересно: во второй половине двадцатого века люди практически перестали писать письма. Эпистолярный жанр кончился. Казалось, что телефон полностью вытеснил письмо. И вдруг такой всплеск. Количество электронных писем исчисляется сотнями миллионов отправок. А ведь электронное письмо — это только один из видов текстового обмена информацией. Существует много других. Например, обмен сообщениями через ICQ, о чем ниже.

Человек, выходя в Сеть, становится производителем текстовой информации — он пишет, и пишет много, иногда в сотни раз больше, чем до своего подключения к Интернету. Но письмо — это средство обмена конфиденциальной информацией. Следующим шагом становится публичное высказывание. Это может быть короткое замечание на форуме, написанное под псевдонимом и содержащее всего-то смайлик :)). Но, сделав этот шаг, человек становится тем, кем в эпоху Гутенберга были избранные, — он становится писателем. Я нарочно упрощаю, но хочу дать определение писателя: это любой автор любого публичного текста. Пока этого достаточно. Чтобы стать писателем, необходимо и достаточно быть подключенным к Сети. А что нужно было сделать, чтобы попасть в писательский цех прежде? Существовала длинная и сложная технологическая цепочка отбора текстов и полиграфическое производство книг и газет. С этим долгим — иногда занимавшим годы и годы — процессом те мгновения, которые нужно потратить для своей первой интернет-публикации сегодня, просто несопоставимы. Если даже не реально, то потенциально в Интернете каждый — писатель, производитель публичных текстов. И это, конечно, не может не повлиять на бытование литературы как таковой — на сам творческий процесс создания и восприятия общезначимых текстов.

Любой текст в Сети существует в контексте письменной речи, феномен которой и стал возможен только в Сети. Это совсем другая, отличная от печатной, среда. Если традиционный печатный текст помещен в контекст печатной же продукции и устной речи, то в Интернете любой текст существует в контексте записанной устной речи — речи письменной. Это — «говорилки» (chats), гостевые книги, разного плана программы общения в реальном времени (ICQ — I seek you), рассылки, конференции, форумы. Письменная речь так же сильно разнится от печатного слова, как и от устной речи. Устная речь индивидуальна, записанная — анонимна. Устная беседа имеет начало и конец, электронная — не начинается и не заканчивается. В устном разговоре мы всегда знаем, с кем говорим, в электронной речи в разговор может вмешаться абсолютно неожиданный собеседник. Отличие

записанной речи от печатного текста гораздо меньше, чем отличие его от речи устной. Поэтому возникает иллюзия, что всякая гостевая книга — уже литература. Это, конечно, иллюзия. В первую очередь потому, что у письменной речи есть точный адресат; то, что при разговоре присутствует много молчаливых статистов, дела не меняет: хотя и дисциплинирует, но не так, как в случае печатного текста, обращенного к неизвестному собеседнику, в пределе — ко всему человечеству. Поэтому в записанной речи так часто встречается узкоупотребительный «тусовочный» жаргон и понятные только немногим ссылки и реалии — то, что характерно для устной речи, которая всегда локализована. Записанная речь безответственна, не додумана до конца, и это нормально, потому что разговор бесконечен и все можно поправить и объяснить. Вот этим-то отсутствием завершения («формы завершения», по Бахтину), невыделенностью из этического (по Бахтину же) потока поступков и отличается в самом существенном записанная речь от полноправного литературного текста, где все уже сказано и добавить ничего нельзя. Но сама форма бытования записанной речи очень близка к форме литературного произведения, и если она образует его контекст, произведение будет неизбежно меняться и, очевидно, изменится. Литературу заносит илом письменной речи, она почти не поднимается над фоном, она другая.

Текст очень легко сделать общедоступным — сравнимым по доступности с бумажной публикацией, и храниться он будет очень долго, дольше, чем многие книги, и заведомо дольше, чем газеты. А в то же время создать его не труднее, чем бросить несколько слов в разговор. Запись в гостевой книге — это и не реплика в разговоре, и не публикация в журнале, это особенный жанр — жанр письменной речи. И это главный жанр в Сети. Я хочу отметить одно частное отличие письменной речи от разговорной. Слово становится более резким. То, что могло бы выглядеть шуткой в реальном диалоге, где высказывание было бы смягчено или вообще дезавуировано, скажем, похлопыванием собеседника по плечу, в письменной речи может стать прямым оскорблением. Стоит об этом помнить, иначе вы можете обидеть человека, вовсе этого не желая, — ведь он не видит вашей улыбки.

Но гостевая книга — это, так сказать, непреднамеренная литературная деятельность. Хотя и не исключена возможность самореализации именно в этом жанре. Некоторые форумы напоминают мне наши «кухонные» разговоры семидесятых — восьмидесятых годов, которые иногда протекали на очень высоком уровне, и мне жаль, что мы говорили не в Сети, многое просто утрачено — память, увы, сохраняет слово гораздо хуже бумаги или дорожек винчестера. Но эти кухонные разговоры вынесены на всеобщее обозрение. Это, может быть, даже хорошо. Письменная речь — просто потому, что она письменная, — заставляет яснее формулировать свою мысль. И позволяет взглянуть на свою мысль со стороны и понять, что ты сказал не то, что хотел.

От гостевой книги остается один шаг до завершенного и опубликованного высказывания — до собственной попытки литературного творчества. Сделает его далеко не каждый. И делать его совершенно не обязательно. Но можно попробовать. И тогда рождаются сайты самопубликаций. Они близки к форумам, но это уже другое. Это реальная попытка творчества. И здесь очень многих ждет жестокое разочарование.

Направляясь на сайт самопубликаций «Стихи.ru» <[www.stihi.ru](http://www.stihi.ru)>, я примерно представлял, что там найду. Интересный, но, в принципе, легко объяснимый факт — стихи, лидирующие в рейтингах сайта, победители его конкурсов — не лучшие, по-моему, из опубликованных на сайте. Здесь ценится душевность и искренность высказывания, которые вообще-то не имеют отношения к литературной ценности произведения. И общий уровень публикаций очень низкий, что тоже совершенно предсказуемо. Но я хочу обратить внимание на другое. Интернет предоставляет нам физическую возможность читать те стихи, которые писались всегда, но прежде не были доступны никому, кроме самого писавшего и нескольких его близких знакомых. Можно сказать, что читать эти стихи не надо, потому что все они одинаковы, так как копируют интуитивно воспринятый образец, возникший скорее всего из услышанных песенных текстов, в большинстве своем очень низкого уровня. Но человеку свойственно стремиться к совершенству, и, напечатав не-

сколько откровенно слабых стихов, нормальный человек начинает читать. Из тех мальчиков и девочек, которые пишут стихи на сайте, пишут обзоры, критикуют и хвалят друг друга, в конце концов формируется тот самый читатель стихов, по которому принято так тяжело в последнее время вздыхать. Каждый любитель поэзии писал в юности стихи. Просто раньше он их выбрасывал, а теперь он их выкладывает на «Стихи.ру», и я не думаю, что это хуже. Если прочитать стихи на сайте, не все, конечно, это физически невозможно, но хотя бы часть, можно реконструировать образ — не поэта будущего (поскольку всякий художник непредсказуем), но сегодняшнего читателя.

Рейтинг посещений «Стихов.ру» гораздо выше любого другого литературного интернет-проекта за исключением электронных библиотек. И это естественно.

В этот час гений садится писать стихи.  
 В этот час сто талантов садятся писать стихи.  
 В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи.  
 В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи.  
 В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи.  
 В этот час десять миллионов влюбленных юнцов садятся писать стихи.  
 В результате этого грандиозного мероприятия  
 Рождается одно стихотворение.  
 Или гений, зачеркнув написанное,  
 Отправляется в гости.

*(Давид Самойлов)*

«Стихи.ру» — это первый из содружества сайтов, в который входят сегодня: «Литер.ру» — литературный журнал и конкурс, «Проза.Ру» — современная проза, «Классика.Ру» — библиотека классики, «Хи-Хи.Ру» — юмор. Это модель литературы как целого. И модель открытая — она содержит ссылки на другие сайты самопубликаций: «Термитник», «Самиздат», «Стихия», ссылки на онлайн-библиотеки и многие другие литературные ресурсы Сети.

На сайте «Стихи.ру» я могу пройти весь путь писателя — от первой публикации до победы в сетевом конкурсе. До признания, пусть локального, и даже премии, пусть пока небольшой, но с настоящим вручением (впервые прошедшим в сентябре 2001 года, как ни странно, в ЦДЛ), поздравлением и телевидением. Все эти ресурсы вместе — развитая инфраструктура, которая призвана удовлетворить литературные потребности любого дебютанта, удовлетворить настолько, насколько это вообще возможно для массового производителя текстов. Если случится так, что человек втянется в литературный процесс и ему потребуется больше и больше совершенно индивидуальных контактов, сведений и нужных книг, тогда его, конечно, не удовлетворит то, что предлагают «Стихи.ру», но тогда его вообще никакой общий ресурс не удовлетворит. Тогда он начнет выстраивать собственный мир — и, может быть, создаст свой ресурс в Сети или ограничится традиционной печатной словесностью. Но для подавляющего большинства начинающих авторов сайта его содержания — именно в части профессиональных литературных и филологических знаний — заведомо достаточно, даже с избытком. Здесь есть учебник стихосложения, словарь литературных терминов. Кроме спонтанных обсуждений, которые возникают (или не возникают, тут ничего предсказать нельзя, как и в большой литературе) вокруг отдельных публикаций, есть еженедельные обзоры редактора, в которых вполне доброжелательно и профессионально разбираются типичные огрехи, и делается это на примере последних опубликованных на сайте стихов. Автор, участвующий в работе сайта — а таких авторов тысячи, — может познакомиться с новостями литературной жизни, то есть он почувствует себя не на отшибе, а, напротив, в потоке современной литературной действительности.

Одной из самых привлекательных черт сайта является его предельный демократизм — печатать и обсуждать всех. Это прямая противоположность и «Стихов.ру», и любого другого сайта самопубликаций настоящим литературным журналам, где содержание строится на экспертных оценках профессионалов. И очень хорошо, что сайты самопубликаций реализуют эту демократическую возможность. Беда только одна — мне неизвестно ни одного реально значимого имени,

которое бы открыл сайт самопубликаций. Впрочем, может быть, все впереди, и такое новое дело, как «Стихи.ru», еще сделает настоящие открытия.

Но нельзя не отметить и то, что в литературе демократия хороша только до определенного уровня. Только для коммерческих проектов. Это может показаться странным, но и в наш сугубо демократический информационный век действительно талантливые поэты и писатели приходят по старинке в журналы, со всей их осмеянной неповоротливостью и разборчивостью. И открывают авторов как раз журналы. Сама по себе литература — дело некоммерческое. Можно ориентироваться на медленный успех и отклик, а можно рассчитывать на перспективу лет этак в сто.

Сеть приблизила человека к человеку, и сама возможность близкого общения привела к очень быстрой кристаллизации — объединению людей вокруг общих интересов. Я люблю поэзию, я пишу стихи, я хочу, чтобы их прочли. Следовательно, я иду на «Стихи.ru». И оказывается, таких, как я, очень много. Они шутят, они пишут друг на друга пародии, они думают над стихами. Эти люди мне близки, потому что мы смотрим в одну сторону. И нет никаких барьеров, разделяющих нас, — ни временных, ни пространственных. Разрушился барьер между автором и публичным высказыванием — я говорю, и меня может услышать любой обитатель земного шара (другое дело — захочет ли).

Отсутствие барьеров между людьми, между рукописными и печатными текстами привело нас к ситуации прямо догутенберговой. А появление такой услуги, как печать по требованию, когда вы заказываете книгу и ее специально для вас печатают и высылают обычной почтой, делает само существование печатного станка не всегда обязательным, даже если вы хотите читать именно книгу, а не распечатку. Сами сетевые конкурсы, такие, как «Тенёта-Ринет», например, стали возможны только благодаря сетевой близости людей и очень напоминают турниры поэтов во Флоренции или Болонье в XIII или XIV веке.

Та ситуация, которая складывается сегодня, меняет саму роль писателя в обществе. Мы приближаемся к обществу, где писатель — каждый. Андрей Вознесенский когда-то нарисовал пародийную картинку: в зале сидит тысяча поэтов, а на сцене стоит единственный читатель — последний, и поэты устраивают ему овацию за то, что он слушает их. Сейчас положение несколько другое: сцены просто нет. Каждый говорит со своего места, и будут его слышать или не будут, зависит не столько от его статуса Писателя или Поэта — сам этот статус сомнителен, — а от качества текста, который он произносит. О таком положении дел нельзя сказать: было лучше, стало хуже — или наоборот. Было не так. Как будет, мы увидим. Одно можно сказать совершенно определенно: люди продолжают писать, читать, думать над текстом. Так что говорить о смерти поэзии и литературы пока рано.



---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## НАШ ВЕЛИКИЙ СООТЕЧЕСТВЕННИК

Глубокоуважаемый Андрей Витальевич!

В Вашем журнале в № 12 за 1996 год опубликовано сочинение С. Залыгина «Моя демократия», содержащее фрагмент, посвященный математике и экономисту, академику Леониду Витальевичу Канторовичу (1912 — 1986).

Этот фрагмент содержит фактические ошибки.

1) Канторович не разрабатывал систему математической экономики по образцу Америки, а предложил в 1939 году принципиально новые математические методы организации и планирования производства, которые были переоткрыты в 1947 году в США и с 1951 года носят название «линейное программирование». Приоритет Канторовича в этой области никогда и никем из ученых не оспаривался.

2) Канторович не был противником планирования. Он создал математические методы оптимального планирования, эффективные как на микроуровне (предприятие), так и на макроуровне (корпорация или государство). Канторович открыл объективный механизм взаимосвязи оптимальных решений и оптимальных цен в планировании. Эта связь носит научный внеидеологический характер, что давно доказано широчайшим распространением методов линейного программирования во всем мире. Вклад Канторовича в экономическую науку отмечен Нобелевской премией 1975 года.

3) Жизнь Канторовича была подчинена мечте о повсеместном применении найденных им новых методов экономического анализа в хозяйственной практике своей Родины. За воплощение этой мечты Канторович боролся до конца своих дней, невзирая на противодействие власть предержащих ретроградов от науки и политики. Канторович никогда не эмигрировал из нашей страны. В 1970 году он переехал из Новосибирского академгородка в Москву, где работал до своей кончины. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.

Леонид Витальевич Канторович — наш великий соотечественник. Он достоин доброй памяти...

С. КУТАТЕЛАДЗЕ.

1 января 2002 года.

---

---

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»**

**ВЕДЕТ СБОР КНИГ**

**ДЛЯ ТЮРЕМНЫХ БИБЛИОТЕК.**

**Координатор программы — Алена Ярмук. Телефон/факс 209-57-02.**



---

---

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

## КНИГИ



**Василий Аксенов.** Кесарево свечение. Роман. М., «Изографус», «ЭКСМО-Пресс», 2001, 640 стр.

Новая книга Аксенова — еще один вариант художественного анализа судеб своего поколения.

**Акутагава Рюноскэ.** Собрание сочинений. В 3-х томах. Составление Т. Редько. Вступительная статья «Жизнь и смерть Акутагавы Рюноскэ» Татьяны Григорьевой. Комментарии В. Гривнина. СПб., «Азбука», 2001, 5000 экз.

Том 1. Ворота Расёмон. 544 стр. Собрание новелл, писавшихся с 1914 по 1920 год.

Том 2. Усмешка богов. 608 стр. Новеллы 1920 — 1927 годов.

Том 3. Эссе. Письма. 448 стр.

**Кристофер Т. Баркли.** Здесь курят. Роман. М., «Иностранка», «Б.С.Г.-Пресс», 2001, 440 стр., 5000 экз.

Сатирический триллер современного американского писателя в переводе Сергея Ильина, известного как переводчик «американского Набокова».

**Борис Екимов.** Набег. Рассказы. М., «Современник», 2001, 511 стр., 4500 экз.

Новая книга известного прозаика, автора «Нового мира»; «ретроспективное» собрание рассказов — с 1975 по 2001 год.

**Алан Ислер.** Принц Вест-Эндский. Роман. Перевод с английского Виктора Голышева. М., «Иностранка», «Б.С.Г.-Пресс», 2001, 5000 экз.

Роман, материал которого сопрягает современную американскую действительность с артистической жизнью Европы 30-х годов.

**Итало Кальвино.** Собрание сочинений. Замок скрестившихся судеб. Романы, рассказы. Составление и перевод с итальянского Н. Старовской. СПб., «Симпозиум», 2001, 416 стр.

Романы «Замок скрестившихся судеб», «Таверна скрестившихся судеб», «Невидимые города», сборник рассказов «Т нулевое».

**Анатолий Найман.** Сэр. Роман. М., «ЭКСМО-Пресс», 2001, 320 стр., 5100 экз.

Книжное издание нового романа Наймана, посвященного Исае Берлину; первая публикация — в журнале «Октябрь» (2000, № 11 — 12). Роман попал в букеровский шорт-лист за 2001 год.

**Нестолычная литература.** Поэзия и проза регионов России. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 592 стр.

Монументальное, альбомного формата, стильно оформленное издание, представляющее тексты 162 авторов из 49 городов. Составитель, известный интернетовский литератор, куратор сайта «Вавилон» ([www.vavilon.ru](http://www.vavilon.ru)) и издатель новейшей литературы (издательство «АРГО-риск») Дмитрий Кузьмин, в работе над своей антологией ориентировался на творчество писателей, заявивших о себе на исходе 90-х годов.

**Олег Постнов.** Страх. Роман. СПб., «Амфора», 2001, 285 стр.

Роман молодого прозаика, своеобразный вариант современного отечественного «готического романа» на материале современной жизни с использованием стилистики и атмосферы «страшных» украинских повестей Гоголя.

**Уильям Сатклифф.** А ты попробуй. Роман. Перевод с английского Фаины Гуревич. М., «Фантом-Пресс», 2001, 6000 экз.

Один из самых знаменитых сегодня в Европе «молодежных» романов. Остроумное, энергично написанное повествование про любовную маету молодого англичанина, со-

вершающего с подружкой путешествие по Индии, а также про само путешествие, со времен битников ставшее для продвинутой молодежи чем-то вроде ритуала духовной (ну и физической) инициации. См. рецензию на этот роман в одном из ближайших номеров «Нового мира».



**А. А. Искендеров.** Закат империи. М., Редакция журнала «Вопросы истории», 2001, 656 стр., 5000 экз.

Книга профессионального историка, члена-корреспондента РАН о последних годах царствования династии Романовых. Охватывает период от русско-японской войны до Февральской революции и отречения Николая II от престола. Отдельные главы посвящены истории Государственной думы, реформам С. Ю. Витте и П. А. Столыпина, фигуре императрицы Александры Федоровны, истории Григория Распутина, причинам Первой мировой войны и некоторым особенностям участия России в общеевропейской войне. Книга адресована как специалистам, так и широкому читателю.

**Абрахам Г. Маслоу.** Мотивация и личность. Перевод с английского А. М. Татлыбаевой. СПб., «Евразия», 2001, 478 стр., 3000 экз.

Издательство «Евразия» продолжает знакомить русского читателя с трудами одного из самых известных представителей современной американской психологии Абрахама Гарольда Маслоу (1908 — 1970), создателя теории самоактуализации (термин позаимствован им у нейрофизиолога Курта Гольдштейна). Предыдущим изданием была работа «Дальние пределы человеческой психики» (1997, 1999).

**Хосе Ортега-и-Гассет.** Восстание масс. Перевод с испанского. М., «АСТ», 2001, 509 стр., 3000 экз.

В книгу вошли работы «Восстание масс» (перевод А. М. Гелескула), «Дегуманизация искусства» (перевод С. Л. Воробьева), «Бесхребетная Испания» (перевод А. Б. Матвеева) и собрание эссе.

**Т. М. Рожнова, В. Ф. Рожнов.** Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки. СПб., «Вита Нова», 2001, 728 стр.

Книга посвящена истории жизни Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской. Повествование, построенное на документах, обширных извлечениях из писем, дневниковых записей и воспоминаний современников и близких свидетелей, начинается со дня смерти А. С. Пушкина. Особенно подробно хроника жизни Натальи Николаевны (и реакция современников на трагедию семьи Пушкиных) прослеживается в первые месяцы ее вдовства. Повествование в первой части книги, названной «Вдова Поэта», доведено до 16 июля 1844 года — в этот день Наталья Николаевна стала Ланской. Во второй части книги «Потомки супругов Ланских» описывается дальнейшая судьба Натальи Николаевны, а также судьбы ее детей, прослеженные до 90-х годов XX века. Издание вводит в обиход неизвестные ранее источники, хранившиеся в семейных архивах потомков Н. Н. Пушкиной, а также обширнейший иконографический материал — более 600 фотографий, большая часть которых публикуется впервые.

**«Я берег покидал туманный Альбиона...»** Русские писатели об Англии. 1646 — 1945. Составители О. А. Казнина, А. Н. Николюкин. Вступительная статья «Англия глазами русских» О. А. Казниной. М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001, 648 стр., 1500 экз.

Путевые, мемуарные, эссеистические заметки — от А. Д. Кантемира, Е. Р. Дашковой до П. Я. Чаадаева, Н. И. Греча, М. Н. Загоскина, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, П. П. Муратова, В. В. Набокова, И. А. Бунина, В. В. Вейдле и других.

Составитель **Сергей Костырко.**

## ПЕРИОДИКА



«Вестник Европы», «Время МН», «Время новостей», «Газета», «Гражданин»,  
«Декоративное искусство», «День и ночь», «День литературы», «Ex libris НГ»,  
«Завтра», «Известия», «Иностранная литература», «Искусство кино»,  
«Книжное обозрение», «Лебедь», «Лимонка», «Литература», «Литературная газета»,  
«Литературная Россия», «Литературная учеба», «Литературный дневник»,  
«Москва», «Наш современник», «НГ-Религии», «Независимая газета»,  
«Нижегородская Правда», «Новая Польша», «Новый Журнал», «Огонек», «Персона»,  
«Подъем», «Пределы века», «Русская мысль», «Русский Журнал»,  
«Русский переплет», «Север», «СМИ.ру», «Труд», «Урал»

**Александр Агеев.** Голод 60. Практическая гастроэнтерология чтения. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Словом, что там долго ходить вокруг да около, пора же и простую, ясную вещь сказать: [Александр] Мелихов открыто и откровенно (почти единственный в замороженной искусственными „стратегиями“ русской прозе) работает в жанре интеллектуального романа, романа „идей“. Русских предшественников у него раз-два и обчелся (Достоевский, Горький времен „Клима Самгина“ да Леонов 30-х годов), а ближайший сосед и вовсе один — Фридрих Горенштейн».

**Александр Агеев.** Голод 62. Практическая гастроэнтерология чтения. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Я восхищен успехом Татьяны Толстой. Имея за плечами два с половиной тома прозы, получить премию, которую дают по совокупности многодесятилетних заслуг — это и впрямь триумф самоотверженного пиара. Писательнице года хватило, чтобы о ней, полузабытой, не просто вспомнили, но и отправили на пенсию с невозможной в России пышностью, потому что — что такое премия „Триумф“, как не пенсия?»

**Марк Альтшуллер.** А. Пушкин: замысел поэмы о Ермаке. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 224 (2001).

Много, много можно написать о несуществующей поэме.

**Лев Аннинский.** Нить Ариадны. — «Литературная Россия», 2001, № 48, 30 ноября <<http://www.litrossia.ru>>

Ада Якушева. См. другие статьи цикла «Барды»: «Литературная Россия», 1999, № 26, 32; 2000, № 3; 2001, № 10, 13.

**Виктор Астафьев.** Связистка. Рассказ. — «Газета», 2001, № 37, 30 ноября — № 38, 3 декабря <<http://www.gzt.ru>>

Траурная перепечатка из «Нового мира» (2001, № 7).

«Умер самобытный русский писатель, настойчивый правдолюбец. Из первых, кто чутко отозвался на нравственную порчу нашей жизни. Как никто, испытал солдатскую тяжесть войны и поднял ее со дна...» — пишет **Александр Солженицын** («Труд», 2001, № 222, 30 ноября <<http://www.trud.ru>>).

См. также: **Илья Кукулин**, «Архаист из глубинки» — «Независимая газета», 2001, № 224, 30 ноября <<http://www.ng.ru>>; **Андрей Немзер**, «Последний поклон веселому солдату» — «Время новостей», 2001, № 221, 30 ноября <<http://www.vremya.ru>>; **Павел Басинский**, «Неслучайный свидетель» — «Литературная газета», 2002, № 1, 16–22 января; и последнее интервью **Виктора Астафьева** — «Известия», 2001, № 223-М, 3 декабря <<http://www.izvestia.ru>>

**Дмитрий Бавильский.** Обло, стозевно и лайя. (Критический реализм — 17: Вл. Новиков, «Высоцкий»). Главы из книги — «Новый мир», 2001, № 11). — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Потому как, смею утверждать, нам еще только предстоит оценить тот чудовишный вред, который нанесли вирусы, запущенные г-ном Высоцким в русскую культуру. И здесь соперником ему, по силе разрушительных воздействий, может быть разве что второй такой же, с позволения сказать, певец и исполнитель — г-н Окуджава...» Продолжение разговора см. в дискуссионном клубе сетевого «Нового мира»: [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/diss](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/diss)

**Без воли.** Из открытого письма президенту России [В. В. Путину от Э. В. Савенко (Лимонова), председателя Национал-большевистской партии, следственно-обвиняемого по статьям 205, 208, 222 УК РФ, политзаключенного]. — «Завтра», 2001, № 48, 27 ноября <<http://www.zavtra.ru>>

«Освободите Россию, господин президент!»

В газете «Завтра» письмо напечатано с существенными и неслучайными сокращениями; полный текст см. в специальном выпуске газеты «Лимонка» — «Вы завернули не те гайки и повернули руль не туда» (Открытое письмо президенту РФ).

**Сергей Белов.** Великий христианский роман. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 224 (2001).

Не о Нечаеве и нечаевцах написаны «Бесы», а о бессмертии Христа и его дела.

**Александр Беляев.** Автопортрет в компании Пушкина и Гоголя. — «Независимая газета», 2001, № 210, 10 ноября <<http://www.ng.ru>>

Говорит **Владимир Войнович:** «Недавно я прочел в „Новом мире“, что Солженицын, оказывается, на меня очень сильно обиделся за образ Сим Симыча Карнавалова, даже написал, что я, мол, этому своему ненавистному герою приписываю какие-то неблагоприятные вещи. Я пока не собираюсь ему отвечать, но если соберусь, то скажу, что Сим Симыч совсем не ненавистный герой, а один из самых любимых. Я его люблю наравне с Чонкиным».

**Сергей Беляков.** Мальчик, девочка, ангел и литературный маркетинг. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 11 <<http://magazines.russ.ru/ural>>

Словесность, рынок и толстые журналы: «Новая повесть Галины Щербаковой „Мальчик и девочка“ («Новый мир», 2001, № 5) кажется мне показательной в плане этих перемен...»

**Юрий Богомолов.** Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью. — «Известия», 2001, № 228, 8 декабря <<http://www.izvestia.ru>>

«Есть в фильме [„Неуловимые мстители“] что-то хунвейбиновское: четверка подростков порет мужиков, которые им в отцы годятся. Сказка, освободившаяся со временем от идеологической обязанности, держится исключительно на гражданской войне поколений и питаема ее романтикой».

**Максим Брусиловский.** Паранойя как адекватная реакция. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Один из наиболее распространенных мифов о „безумцах у власти“ — сталинский. <...> На самом деле и тиран был вполне трезвомыслящим, и обожателей было не так уж много, явно меньшинство».

**Алексей Варламов.** Случай на узловой станции. Рассказ. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 224 (2001).

Хороший рассказ о 40-х годах: *страх*.

**Алексей Варламов.** В краю замысленных интеллигентов. Михаил Пришвин и декаденты. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 224 (2001).

См. также: **Алексей Варламов,** «Обнажение приема. История одной мистификации» — «Литературная учеба», 2001, № 2; «Пришвин и Бунин. Литературный этюд» — «Вопросы литературы», 2001, № 2 <<http://magazines.russ.ru/voplit>>, «„Двух соловьев поединок...“». И. А. Бунин и М. М. Пришвин: точки сближения и разделения» — «Подъем», Воронеж, 2001, № 5 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>, «Современное прочтение Пришвина» — «Литературная учеба», 2001, № 5, «Пришвин, или Гений жизни» — «Октябрь», 2002, № 12.

**Александр Волков.** Лунатики. — «Огонек», 2001, № 47, ноябрь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

«Судьба распорядилась так, что людям, полетевшим на Луну ради мирного ее освоения, суждено упокоиться там в мире. Эти мужественные люди, Нил Армстронг и Эдвин Олдрин, знают, что у них нет никакой надежды...» Неизвестная/непроизнесенная речь Никсона: в 1969 году он готовился сообщить человечеству о гибели лунной экспедиции, когда Армстронг и Олдрин были живы.

**Андрей Воронцов.** Достоевский и идеал человека. — «Наш современник», 2001, № 11 <<http://read.at/nashsovr>>

«Любители покрывать Достоевского как стилиста не замечают потрясающий факт, что именно стиль шатовских монологов лег в основу стиля авторов „Вех“, „Из глубины“, „Смены вех“!.. А между тем вся главка эта занимает не более десяти стра-

нии: сравните это с тем, сколько накопил за свою жизнь философско-публицистических трудов Лев Толстой — не имевший, кстати, у нас в этой области никаких последователей!»

**Наталья Горбаневская** (Париж). Шаги истории. — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4386, 22 ноября <<http://www.rusmysl.ru>>

«Безнациональная леволиберальная сволочь (употребляю не как ругательство, а как термин) на дыбы станет при самой мысли: „Кто? Солженицын? О евреях? Да как он вообще посмел?!“ ...»

**Андрей Грицман**. О еде и любви, XXI век, Нью-Йорк. — «Литературный дневник». Свободная трибуна профессиональных литераторов. 2001, 2 ноября <<http://www.vavilon.ru/diary>>

*Как хороши, как свежи были розы* — подсознательно-фрейдистский образ еды.

**Владимир Губайловский**. Поэты в ноябрьских журналах. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/period>>

Чухонцев. Рейн. Вольтская. «Одно только знание того, что сейчас живет человек [Максим Амелин], занятый переводом Гомера, наполняет существование весом и полнотой смысла».

**Игорь Джадан**. Долой просвещение! — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Не остается, как кажется, ничего другого, кроме как считать прогрессом любое такое развитие, которое оставляет возможность дальнейшего развития...»

**Василий Димов**. Тбилиссимо. Роман в 16-ти песнях. Вступительное слово Евгения Попова. — «День и ночь», Красноярск, 2001, № 7-8, октябрь — ноябрь <<http://www.krsk.ru/din>>

«ГРУЗИНЫ КРИЧАЛИ. ГРУЗИНЫ КРИЧАЛИ: „ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГРУЗИЯ!“ Грузины кричали, пытаюсь собственным криком...» Автор этого «подлинно новаторского», по утверждению Евгения Попова, текста есть, по утверждению того же Попова, «самая загадочная и независимая персона новейшей русской словесности». Правда, напечатано это сочинение таким мелким кеглем, что даже я, читающий без очков, сразу со вздохом отложил журнал. «Ну а кто сказал, что чтение — это забава?» (Евгений Попов).

«Дневник Мастера и Маргариты». — «Газета», 2001, № 21, 6 ноября.

В издательстве «Вагриус» выходят собранные вместе дневники и письма Михаила Булгакова и Елены Булгаковой. «Москва в грязи, все больше в огнях — и в ней странном образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена. <...> Литература ужасна» (из дневниковой записи Булгакова в ночь с 20 на 21 декабря 1924 года).

**Владимир Емельянов**. Об основной идее булгаковского романа «Мастер и Маргарита». — «Лебедь». Независимый бостонский альманах. Бостон, 2001, № 237, 16 сентября <<http://www.lebed.com>>

«Это роман об абсолютном предопределении; о том, что разум и сознание не дают человеку свободы воли; о том, что границы между добром и злом устанавливаются не людьми, а кукловодами людей. <...> Страшная основная идея булгаковского романа стала главным оправданием для тысяч злодеев, уничтожавших людей в сталинских и гитлеровских лагерях, для лютых цензоров и свирепых следователей...»

«Если говорить о мировоззренческой системе М. Булгакова, как она отразилась в основном романе [„Мастер и Маргарита“], мы можем отнести ее к одной из многочисленных и по духу своему безжизненных вариаций старой гностической темы», — считает **Николай Гаврюшин** («Литостротон, или Мастер без Маргариты» — «Подъем», Воронеж, 2001, № 10 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>).

**Владимир Емельянов** (Санкт-Петербург). Трагедия обретенного смысла. Заметки о [Юрии] Любимове. — «Лебедь». Независимый бостонский альманах. Бостон, 2001, № 239, 30 сентября.

«Как [творческому человеку, нашедшему свою правду], избежать печального доживания в плену собственных идей после обретения смысла?»

**Владимир Захаров**. Пространство как предмет поэзии и науки. — «Декоративное искусство». Журнал современной художественной практики, теории и истории визуальной культуры. 2001, № 1.

«Сколько черных дыр в космосе — точно неизвестно. Но вполне возможно, что [Сергей] Стратановский прав и их довольно много». В. Е. Захаров — директор Инсти-

туда теоретической физики имени Л. Д. Ландау, поэт (в этой последней ипостаси — автор «Нового мира»).

**Игорь Золотусский.** Струна в тумане. — «Литература». Еженедельная газета объединения педагогических изданий «Первое сентября». 2001, № 45, 1 — 7 декабря <<http://www.1september.ru>>

«Выбранные места из переписки с друзьями»: будущие подпольные теоретики Достоевского угаданы именно в этой книге.

**Вольфганг Казак.** Даниил Андреев и смерть. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 224 (2001).

«На творчество Даниила Андреева наложило характерный отпечаток то, что ему было дано восприятие, выходящее за пределы физического зрения и слуха, а также — памяти в ее обычной форме...»

См. также содержательную беседу Вольфганга Казака с главным редактором «Нового Журнала» **Вадимом Крейдом** — «Ex libris НГ», 2001, № 40, 25 октября <<http://exlibris.ng.ru>>

**Карл Кантор.** Проектность мира, культуры, истории. — «Декоративное искусство». Журнал современной художественной практики, теории и истории визуальной культуры. 2001, № 1.

«Проктность, с моей точки зрения, есть одно из коренных свойств (атрибутов) бытия, наряду с такими его атрибутами, как время, пространство, движение, развитие...»

**Свящ. Димитрий Каплун.** Сеть и Слово. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/netcult>>

«Сама всемирная электронная сеть дает христианам возможность такой последней проповеди...»

**Сергей Караганов.** «Я западник, потому что я — русский националист». — «СМИ.ru», 2001, 15 ноября <<http://www.smi.ru>>

«Метания нашей страны между Западом и Востоком являются абсолютной фикцией. Мы не можем метаться между западной и восточной цивилизациями, поскольку мы не полностью принадлежим Западу, а на Востоке нас воспринимают именно как западную страну», — на вопросы посетителей сайта «СМИ.ru» отвечал политолог Сергей Караганов. См. также официальный сайт Совета по внешней и оборонной политике: <http://www.svp.org.ru>

**Надя Кеворкова.** Вторжение постмодернизма. — «НГ-Религии», 2001, № 22, 28 ноября <<http://religion.ng.ru>>

«Я не оправдываю бен Ладена, я стараюсь его понять», — говорит **Григорий Померанец**.

Полный текст другого — схожего по проблематике — интервью **Григория Померанца** («Время МН», 2001, № 200, 2 октября <<http://www.vremyamn.ru>>) см. на сайте **Игоря Шевелева**: <http://www.ishevelev.narod.ru>

См. также пространную беседу Игоря Шевелева с **Григорием Померанцем** и **Зинаидой Миркиной** «Одинок прочерченный путь» — «Персона», 2001, № 9-10 <<http://www.persona-magazine.ru>>

**Илья Кириллов.** Проза риска. — «Завтра», 2001, № 48, 27 ноября.

«Природа его [Проханова] распри с новым укладом в России есть природа религиозная; не понимая этого, невозможно понять феномен Проханова». Тут же — размышления **Владимира Бондаренко**, **Арсения Бессмертных**, **Григория Орлова**, **Дениса Тукмакова**, **Андрея Фефелова** о новом романе Александра Проханова «Господин „Гексоген“».

**Игорь Клев.** Месяц в Швейцарии (экстракт). — «Вестник Европы», 2001, № 2 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>

«Я получал не много западных грантов в своей жизни, но все они были стоящими...» *Берлинскую* повесть **Игоря Клева** «Крокодилы не видят снов» см.: «Октябрь», 1997, № 3.

**Юрий Козлов.** Реформатор. Роман. — «Русский переплет» <<http://www.pereplet.ru>>

«Он поселился в Богемии (до отделения Моравии нынешнее великое герцогство называлось Чешской республикой) пятнадцать лет назад перед самой Великой Антиглобалистской революцией, но так и не научился всерьез относиться к государству, в котором жил...»

**Алла Латынина.** Сумерки литературы. — «Литературная газета», 2001, № 47, 21 — 27 ноября <<http://www.lgz.ru>>

Читатель изменил литературе? Литература — читателю? Алла Латынина начинает *фирменную литгазетную* литературную дискуссию.

Постмодернизм издох, а реализм не победил. «Литература становится проще, элементарнее — это факт», — развивает дискуссию Павел Басинский («Литературные гадания» — «Литературная газета», 2001, № 49, 5 — 11 декабря).

Почему тошнит от нынешней так называемой хорошей литературы? Это Басинский спрашивает. Почему, почему... «*Всей правды я вам все равно не скажу*», — подумал составитель «Периодики» известными словами Горбачева.

**Биргит Лаханн.** Существовать и мыслить сквозь эпохи! Перевод с немецкого А. Егоршева. — «Иностранная литература», 2001, № 11 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

Фридрих Ницше глазами обозревательницы журнала «Штерн».

**Софья Лойгер.** Музы скорби. — «Север», Петрозаводск, 2001, № 4-5-6.

*Заонежская волленица* Ирина Федосова и Анна Ахматова — две вершины русской плачевой поэзии. Автор — профессор кафедры литературы Карельского педагогического университета. См. также двухтомные «Причитания Северного края, собранные Е. В. Барсовым» (подготовленные Б. Е. Чистовой и К. В. Чистовым; СПб., 1997, серия «Литературные памятники») и библиографический указатель «Ирина Андреевна Федосова» (составитель Н. А. Прушинская; Петрозаводск, 1997).

**Юрий Лужков** (так! — А. В.). Возобновление Истории. — «Известия», 2001, № 223, 1 декабря.

Идеология вновь вернулась в Историю. «Холодная война» глобальных проектов. «Сегодняшний мир — это <...> мир с неопределенным количеством полюсов, где точно и до конца неизвестно не только их количество, но и что они собой представляют».

**Ирина Медведева, Татьяна Шишова.** По направлению к биороботу. — «Москва», 2001, № 11 <<http://www.moskvam.ru>>

«Мало у кого за словами „поздний аборт“ стоят реальные картины. Цитируем: „Поздний аборт производится на 5 — 6-м месяце беременности, а иногда и позже. С помощью ультразвукового прибора врач находит ножку младенца и ухватывает ее щипцами. Тянет за ножку и таким образом вытаскивает почти всего ребенка наружу. В родовых путях остается только головка (пока еще живого младенца! — *Авт.*). Затем абортмакер протыкает детский череп ножницами и раздвигает их, расширяя проделанное отверстие. После чего ножницы удаляются, и из черепа специальным отсосом выкачивается мозговая ткань. Головка умерщвленного ребенка уплощается и легко изымается из влагалища женщины”. Вместе с соответствующими иллюстрациями этот текст был приведен в американском бюллетене „National Right Life News” (09.01.97). По этой схеме детоубийство происходит в тех случаях, когда из мозга ребенка готовятся препараты для так называемой „фетальной терапии” (*fetus* — по-латыни „плод”). <...> Причем бросаются в глаза два обстоятельства: во-первых, для препаратов, которые изготавливаются из нерожденных младенцев, требуются здоровые мать и ребенок (то есть поздний аборт по медицинским показаниям тут не годится), а во-вторых, мозговая ткань должна быть „свежей”, потому ее берут у живого ребенка...»

*No comments.*

**Ирина Медведева, Татьяна Шишова.** Логика глобализма. — «Наш современник», 2001, № 11.

«Люди, сохраняющие приверженность традиционным ценностям, будут зачислены [глобалистами] в маргиналы и объявлены „преступниками”, „фундаменталистами”, „изоляциянистами” и т. п.»

**О. Александр (Мумриков).** Иконичность русской культуры. — «Декоративное искусство». Журнал современной художественной практики, теории и истории визуальной культуры. 2001, № 1.

«Понятие иконы в православной традиции допустимо толковать расширительно. <...> Давайте попробуем теперь в деталях рассмотреть „икону Небесной Москвы”...»

«**Мы оказались интеллектуально не готовы к вызовам терроризма.**» Беседа главного редактора газеты «Гражданин» Александра Шаравина с культурологом Даниилом Дондуреем. — «Гражданин». Газета для думающей России. Учредитель — Общероссийское политическое общественное движение в поддержку Вооруженных Сил «Гражданин». 2001, № 2, 20 ноября.

«Мне говорили — не знаю, насколько это правда, — что Путин после поездки в Геную где-то сказал: „Россия участвует и в глобализации, и в антиглобализации“...» (Даниил Дондурей).

**Андрей Немзер.** Шесть Букеров: выбери своего лауреата. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

Шесть заранее написанных — очень разных — откликов на гипотетическую победу каждого из шести финалистов Букера. Статья о победе Улицкой была напечатана в газете «Время новостей» от 7 декабря 2001 года <<http://www.vremya.ru>>

**Юрий Норштейн.** Снег на траве. [Фрагменты книги]. — «Искусство кино», 2001, № 9 <<http://www.kinoart.ru>>

Текст книги подготовлен на основе лекций, прочитанных на учебных занятиях в Токио осенью 1994 года и на Высших курсах режиссеров и сценаристов в 1987 — 1988 годах. Начало см.: «Искусство кино», 1999, № 9, 10.

**Александр Панарин.** Православная цивилизация в глобальном мире. Глава пятая. Священство и царство. — «Москва», 2001, № 11.

Статьи этого автора в «Нашем современнике» выглядят как-то энергичнее (*drive*) опубликованных им в «Москве» — иллюзия, конечно, но симптоматичная.

«Когда говорят о глобализации как о новой победе коммуникационного принципа над изоляционистским, забывают уточнить, что речь идет об игре с нулевой суммой: новая коммуникабельность элит оплачена невиданной изоляцией массы, запираемой в немое пространство гетто. Как назвать этот изолированный мир, из которого все активное и перспективное уходит, уже не возвращаясь? Наверно, здесь и заключена тайна *четвертого* мира, который сегодня противопоставляется не только первому, западному, но даже и третьему, ибо из третьего еще возможен путь наверх, а из четвертого — никогда», — пишет **Александр Панарин** в статье «Народ без элиты: между отчаянием и надеждой» («Наш современник», 2001, № 11).

«Иногда мне кажется, что писания Панарина — не аналитика вовсе, а поэзия и „элита“, „массы“, „прогресс“ — художественные образы...» — иронизирует **Александр Агеев** («Время МН», 2001, № 214, 24 ноября).

*А что же она — политическая аналитика — такое, если не поэзия? Неужели — наука?*

**«Перед вызовом нового века».** Беседовала Татьяна Медведева. — «Нижегородская Правда», Нижний Новгород, 2001, № 122, 30 октября <<http://www.pravda.nn.ru>>

Говорит **Юрий Кублановский**: «Не только у России, а у всей цивилизации, ежели она хочет выжить, должен быть другой, „третий“, путь: человеческому сознанию придется переориентироваться с „потребления“ на самоограничение. <...> Выход из коммунизма [в капитализм] обернулся для нас колоссальной геополитической, демографической, производственной и моральной катастрофой».

**Артуро Перес-Реверте.** Клуб Дюма, или Тень Ришелье. Роман. Перевод с испанского Н. Богомоловой. — «Иностранная литература», 2001, № 10, 11.

«В европейской беллетристике испанский писатель Артуро Перес-Реверте занимается приблизительно тем же самым, чем в беллетристике российской — Борис Акунин. То есть адаптирует всевозможные элитные заморочки до приемлемого и понятного (на грани поповости) широким массам (коммерческого) уровня», — считает **Дмитрий Бавильский** («Марлезонский балет» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>).

Невозможно не отметить, что, экранизируя «Клуб Дюма», наглый Роман Поланский выбросил процентов семьдесят (как раз про Дюма), а из оставшегося сделал «Девятые врата» — фильм про врага рода человеческого.

Скоро, скоро экранизируют и Акунина.

**Письма Георгия Адамовича А. В. Бахраху 1954 — 1956 гг.** Публикация Веры Крейд. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 224 (2001).

«Насчет *Тоунбее*: самые серьезные англ. историки считают его блеффером и болтуном...» (из письма Георгия Адамовича от 14 февраля 1955 года из Манчестера). Письма 1940 — 1953 годов были напечатаны в № 216 и 217 «Нового Журнала».

**«Поздний Набоков — это литература для доцентов».** Беседовал Андрей Мирошкин. — «Книжное обозрение», 2001, № 48, 26 ноября.

«Набоков у [Брайана] Бойда выглядит слишком уж безупречным во всех коллизиях своей жизни. Я так не считаю. <...> Самый главный набоковский текст для Бойда — это „Ада“ <...>. Для меня главный набоковский текст — это, безусловно, „Дар“. А что касается книг американского периода, то они для Набокова были скорей изменой природе собственного дарования», — говорит **Алексей Зверев**, автор биографической книги «Набоков» («ЖЗЛ», 2001).



**Ежи Помяновский.** Инакомыслящий. — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. Варшава, 2001, № 9 (23).

Ежи Гедройц (1906 — 2000) — бессменный редактор знаменитой «Культуры» (637 номеров). Фрагмент мемориального сборника «Ежи Гедройц. Редактор, политик, человек» (2001) под редакцией и с предисловием Кшиштофа Помяна. См. эту статью также в «Русском Журнале» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>

**Евгений Попов.** Культпоход в Кремль. — «Вестник Европы», 2001, № 2.

«Дорогие друзья, — это уже Борис Николаевич говорит, и не одышливо, как, похоже, перед уходом на пенсию, а крепким звонким голосом крутого мэна. — Я рад, что вы пришли на эту встречу, и мы сейчас продолжим наш разговор за обеденным столом».

**Александр Проханов.** Восстание детей. — «Завтра», 2001, № 45, 5 ноября.

«„Крестовый поход детей” [с железными прутьями] — это ответ на распад, разврат, содомизм, процветающие в некогда священной Москве».

**Эдвард Радзинский.** «Стараюсь не раздражать собой людей...». Беседовал Игорь Шевелев. — «Персона», 2001, № 8 <<http://www.persona-magazine.ru>>

«А вот отец Александр Мень подарил [мне] свою книжку „Как читать Библию”. Он очень любил меня, все читал, что я давал ему. <...> Ему очень трудно было быть священником — был слишком умен, искушен».

**Михаил Ремизов.** Погибнуть за статус-кво. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«„Гражданская нация” — наиболее надежная, осторожная, безобидная, наконец, либеральная формула решения национального вопроса. <...> Однако боюсь, что своим всеобщим обаянием эта идея слишком обязана искусству политического конформизма: искусству вовремя останавливать мысль. <...> Что значит определить нацию как сообщество граждан государства? Это значит утверждать, что границы нации производны от юрисдикции государства, то есть в широком смысле — от правового оформления его границ. Иными словами, это значит признать, что данная нация учреждена данным государством (или, если угодно, правовыми положениями о его границах). Чем же тогда учреждено государство? Ирония в том, что конституционная претензия современных государств состоит в том, что они учреждены своими нациями. Которые предварительно учреждены ими. Этот акт взаимного учреждения трудно назвать иначе, чем тавтологией, то есть нулем, то есть пустотой. Нация не может предшествовать государству, потому что такую нацию придется мыслить „этнонационалистически”; государство не может предшествовать нации, потому что такое государство придется обосновывать „недемократически”. И то и другое совершенно неприемлемо для идеологов „гражданской нации”. Чтобы концепция сохраняла тень убедительности, она должна приобретать черты почти мистические — ибо не существует лучшего способа камуфлировать пустоту».

**Михаил Ремизов.** Антропологический аргумент. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Острые глобального террора направлено не столько против абсолютного экономико-технического могущества „нового глобального мира”, сколько против его абсолютного антропологического ничтожества».

**Михаил Ремизов.** Подарок Судьбы. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Хотя бы шепотом мы должны оставлять за собой право спросить: а в какой атмосфере Россия имеет больше шансов на самоосуществление — в атмосфере *мирового порядка* или в атмосфере *катастроф* мирового порядка? Лично я вполне убежден в последнем».

**Александр Рогожкин.** Дом, или День поминовения. [Киноповесть]. Предисловие Алексея Учителя. — «Искусство кино», 2001, № 9, 10.

Военный Мурманск 1943 года. Дом дружбы — публичный дом для моряков-союзников, называемый в народе борделем имени Черчилля. *Сценарий, пролежавший без движения семь лет, — одно из ярких впечатлений минувшего года.*

**Руглый стол № 12.** Кому-кому ты лиру посвятил? Вопросы культурной политики. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

Говорит **Марк Захаров:** «Если бы мне предложили за \$ 100 тыс. устроить у себя в театре „заказное” представление со, скажем, массовыми эротическими сценами, я бы без сомнения сказал заказчику „нет”. Если бы мне предложили за то же самое \$ 500 тыс., я бы и в этом случае сказал „нет”, но далеко не сразу. А вот если бы предложенная сумма составила \$ 5 миллионов, то я бы, скорей всего, согласился бы на та-

кую постановку. Существуют суммы, которые озадачивают. Тут есть над чем всерьез думать и мучиться».

**Рухнули все башни...** С Виктором Розовым беседует Владимир Бондаренко. — «День литературы», 2001, № 12, ноябрь <<http://www.zavtra.ru>>

«К драматургии Александра Вампилова, скажу честно, всегда относился сдержанно. Конечно, талантливый мастер, и горько, что рано погиб, но мне в его написанных пьесах не хватает крови. Эмоциональности больше надо. Это очень важно, чтобы в пьесе была одна, а может быть, даже две сильных эмоциональных сцены. Чтобы дело доходило до хватания друг друга за горло», — говорит **Виктор Розов**.

**Бенедикт Сарнов.** Вспоминая Илью Григорьевича. Из книги «Скуки не было». — «Литература», 2001, № 43, 16 — 22 ноября.

Письмо Эренбурга Сталину от 3 февраля 1953 года. «И кто знает, что произошло бы за те две недели [в феврале 1953 года], если бы Сталину не донесли, что произошла „заминка“, и если бы он не прочел это „лакейское“, как презрительно обозвала его моя жена, эренбурговское письмо».

**Всеволод Сахаров.** У нас была литературная критика. — «Лебедь». Независимый бостонский альманах. Бостон, 2001, № 245, 11 ноября <<http://www.lebed.com>>

«Я могу говорить о ее [литературы] современном состоянии только в стиле „сердитых заметок“, прекрасно понимая, что это очень многим по разным причинам одинаково не понравится. Но таковы уж моя опасная профессия и трудный характер, который и есть судьба». *Сердитые заметки* — литературы в России нет, критики нет, журналов нет — плавно перетекают в *перечень обид*. В частности: «Американским славистам чрезвычайно не понравилась моя статья о Владимире Набокове, и они делают вид, что ее не существует, даже не включают в библиографии. Что это за подход к чужому аргументированному мнению? О какой серьезной науке (библиография ведь тоже наука) здесь может идти речь?»

**Игорь Свиначенко.** «Какую-то правду... какую-то правду... что-то напишу». — «Газета», 2001, № 30, 21 ноября.

Говорит президент «Альфа-банка» **Петр Авен**: «Да, читаю [Акунина]. Это не вполне серьезно, но вполне качественно. Мне кажется, что там есть какие-то разумные представления о жизни, обществе — плюс интересно. По жизни это милые, приятные истории. Хотя насчет детективного интереса: там достаточно быстро все становится ясно. <...> Вот Витя Пелевин мне представляется куда большим писателем. <...> Неоднократно [с ним встречался]. Он не идеальный собеседник, он молчит в основном... Но его книги „Омон Ра“, „Чапаев и Пустота“ — совершенно замечательные книги. Он очень талантливый писатель. Он — писатель! А Акунин — литератор. Они в разных мирах живут. Шкалы разные! Писатель какие-то волны получает от Бога. А литератор — он должен деньги зарабатывать».

**Максим Свириденков.** Пока прыгает пробка. Повесть. — «Москва», 2001, № 11.

«А вчера утром на краю унитаза сидели тараканы. Неужели они чего-то ждали? Но тараканов столкнули в унитаз и смыли. Так и поколение, родившееся в восьмидесятые годы двадцатого века, ждет на краю чего-то». Автор учится в 11 классе смоленской средней школы.

**Ольга Славникова.** Талант отдельно, роман отдельно. — «Время MN», 2001, № 205, 13 ноября <<http://www.vremyamn.ru>>

«Книга Алана Черчесова [„Венок на могилу ветра“] в высшей степени примечательна. В ней много мощи и много фальши. Мощь проявляется в языке, интонации, веской поступи текста. <...> Фальшь заключается в самом предположении, будто эпические масштабы самоценны». См. также о Черчесове: **Дмитрий Бак**, «Триста лет одиночества, или Вечность у реки» — «Новый мир», 2001, № 7.

**Алексей Смирнов.** Пушистое хвостовианство. — «Литературная учеба», 2001, № 5, сентябрь — октябрь.

«Кончим дело нашим собственным подражанием графу Хвостову <...> как бы он описал свое выздоровление, позаимствовав тему у Батюшкова, следуя темпераменту Пушкина, взяв по стиху у них обоих, а остальное привнеся от себя самого...»

**Дж. Ст. Смит.** Образ Англии в поэзии русской эмиграции: «В Англии» Иосифа Бродского. Перевела и подготовила к печати А. Большакова. — «Литературная учеба», 2001, № 5, сентябрь — октябрь.

Фрагмент готовящегося англо-американско-русского сборника, посвященного взаимовосприятию России и Запада на рубеже XX — XXI веков.

**Диакон Владимир Соколов.** Церковь и свобода слова в государстве. — «Пределы века». Всероссийская общественная православная газета. Издаётся с августа 2000 года. 2001/7509, № 14, 15 — 30 ноября <<http://www.predely.org>>

«...если такие основополагающие христианские ценности, как свобода и права человека (сюда же входит свобода слова), будут рассматриваться вне контекста христианского учения о мире и человеке, то это приведет в конечном итоге к тоталитаризму, который погубит и мир, и человека».

**Джордж Сорос.** Тезисы о глобализации. — «Вестник Европы», 2001, № 2.

«Простая дихотомия между открытым и закрытым обществом не прошла испытания временем. Она была полезной во время „холодной войны“, но крушение закрытой коммунистической системы автоматически не привело к созданию открытого общества. Мы обнаружили угрозу для открытого общества там, где ее никто не ждал».

**Евгений Стариков.** Россия: «время Лемминга». — «Наш современник», 2001, № 11. Суицид.

**Борис Тарасов.** Наши «старые» и «новые» силлогисты в зеркале мысли Достоевского. — «Наш современник», 2001, № 11.

Из книги «Непрочитанный Чаадаев, не услышанный Достоевский». См. также статьи разных авторов к 180-летию Достоевского: «Москва», 2001, № 11 <<http://www.moskvam.ru>>

**Архимандрит Тихон (Шевкунов).** Путин и его семья — христиане. Это главное. [Интервью афинской газете «Хора»]. — «Известия», 2001, № 228, 8 декабря.

«В 1917 году в России прервалась почти тысячелетняя преемственность правителей страны, которые являлись бы православными христианами. И в этом смысле сейчас связь времен восстановлена в личности нынешнего президента. Владимир Владимирович Путин — действительно православный христианин, и не номинальный только, а человек, который исповедуется, причащается и сознает свою ответственность пред Богом за вверенное ему высокое служение и за свою бессмертную душу».

**Виктор Топоров.** «У современной молодежи установка на плохой перевод...». Беседовала Елена Калашникова. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Главное наслаждение переводчика — радость углубленного чтения, своеобразный половой акт с понравившимся текстом. Чтение — подобный акт, но перевод куда более интенсивный».

**Виталий Третьяков.** «Наступление пиара на журналистику — это наступление нового тоталитаризма». Интервью брал Сергей Шквалов. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/interpole>>

«...свобода слова — как полноценный феномен — доступна только для тех, кто имеет возможность получить набор [периодических] изданий. Человек, имеющий возможность купить лишь одну газету, не пользуется свободой слова, хотя в обществе она существует».

**Уроки Николая Оцуца.** Вступительная заметка и републикация Бориса Ланина. — «Литература», 2001, № 45, 1 — 7 декабря.

«Редакция „Граней“ просила меня написать статью о Шолохове. Я принял это предложение с чувствами противоречивыми: ведь я — эмигрант, а он — коммунист...» — так Николай Авдеевич Оцуп (1894 — 1958) предваряет свою работу 1956 года. Здесь же — статья того же года «Персонализм как явление литературы».

**Сэмюэл Ф. Хантингтон.** Здоровый национализм. Перевод Андрея Коноваленко. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Здоровый [американский] национализм является альтернативой для разделяющего мультикультурализма, ксенофобного изоляционизма и универсализма». Статья из «The National Interest» (№ 58, зима 1999/2000).

См. также в «Русском Журнале»: **Ален де Бенуа**, «Консервативная „культурная революция“» (перевод Елизаветы Ремизовой) <<http://www.russ.ru/politics>>

См. также: **Владимир Ошерев**, «Что случилось с „плавильным котлом“?» — «Новый мир», 2001, № 11.

**Александр Храмчихин.** Обезьяна на красивом холме. — «Гражданин». Газета для думающей России. 2001, № 2, 20 ноября.

«У автора нет ни малейших доказательств „китайской“ версии американских терактов. <...> Просто из всех версий именно эта лучше всего описывает странности и нестыковки трагедии 11 сентября».

**Александр Храмчихин.** Давид сдается Голиафу. Запад отворачивается от Израиля. — «Гражданин», 2001, № 2, 20 ноября.

«Потеря своего государства стала для палестинцев справедливым наказанием за участие в агрессии [против Израиля 1948 — 1949 годов].»

«Мир по-палестински — это исчезновение Израиля с карты мира. Мир по-ичкерийски — это уход России с Кавказа и воплощение идеи Великой Ичкерии от Черного до Каспийского моря», — пишет **Сергей Македонов** («Русский с евреем братья навек! Может ли Израиль стать союзником России?» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>).

**Ц. Sex, индивидуализм и демократия.** — «Лебедь». Независимый бостонский альманах. Бостон, 2001, № 235, 2 сентября <<http://www.lebed.com>>

Гуманизм (поклонение человеку, а не Богу) — индивидуализм — трансформация секса. «Гомосексуальное лобби <...> [пытается] протолкнуть закон, по которому, в случае, если родители препятствуют гомосексуальной активности ребенка, их могут лишить права на контроль над ребенком...»

**Ольга Чайковская.** Кто он, «Медный всадник»? — «Литературная газета», 2001, № 47, 21 — 27 ноября; № 49, 5 — 11 декабря.

Петр Великий — чудовище. См. также: **Ольга Чайковская**, «Великий царь или Антихрист?» — «Звезда», 2001, № 3 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

**Игорь Шевелев.** Книга о девственности поэта. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«На самом деле это определение прозы: лучшие слова в лучшем порядке. А поэзия — это единственные слова в единственном порядке. Причем они могут быть и худшими. <...> Единственность порядка — вот что важно», — говорит **Вера Павлова**.

«Лучшим из рецензентов на [новую] книгу Веры Павловой [„Интимный дневник отличницы“] был бы, конечно, Гумберт Гумберт из набоковской „Лолиты“...» — пишет **Игорь Шевелев** («Время MN», 2001, № 209, 17 ноября <<http://www.vremyamn.ru>>).

**Мария Шнеерсон.** Самый автобиографический герой Булгакова. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 224 (2001).

Мольер.

**Игорь Шумейко.** Стратегия меньшинств. — «Независимая газета», 2001, № 213, 15 ноября.

«Два убойных, безошибочных пункта стратегии меньшинств — вот что представляется важным.

Мы — безусловно такие же, как все, как и вы. Абсолютно с теми же правами.

Но у нас есть еще и свои организации. Для защиты и лоббирования интересов.

Все. В алгоритме правильно-демократического общества это необходимое и достаточное условие для полной победы, подмятия большинства.

А если задать неполиткорректный, но простой, в общем, вопрос? Если вы такие же, как все, — зачем вам отдельные [„голубые“] олимпиады?»

**Юрий Юрьев.** Молчанием предается Бог. — «Завтра», 2001, № 45, 5 ноября.

Жить без ИНН.

«**Я не умею иначе...**». Письмо К. Н. Леонтьева — Т. И. Филиппову от 10 октября 1888 года. Текст подготовлен к печати Г. Б. Кремневым. Примечания составлены Г. Б. Кремневым и С. В. Хатунцевым. — «Подъем», Воронеж, 2001, № 11.

«*Раз уж нет надежды, чтобы все люди стали более или менее хорошими Православными, то (и не говоря уже о Католичестве!) приятнее было бы видеть, чтобы они стали хорошими мусульманами, буддистами, скопцами, мормонами, хлыстами и т. д., чем обыкновенными европейскими тружениками, съезжающимися на либеральные какие-нибудь заседания. Уж если неизбежно, чтобы огромная часть людей уклонилась от той веры, которую я для моего личного спасения за гробом считаю истинной, если необходимо, чтобы все эти миллионы людей до самого конца света служили началам ложным, то пусть лучше они смиряются перед бесами, чем перед таким общим идеалом, как европейский, средний хам!*» Письмо публикуется (почему-то с «небольшими сокращениями») по машинописной копии, хранящейся в РГАЛИ (фонд С. Н. Дурылина).

*«Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Вопросы философии», «Дружба народов», «Знамя», «Наше наследие», «Новое литературное обозрение», «Октябрь»*

**Вадим Баевский.** Кулацкий подголосок и враг народа: двойной портрет. — «Вопросы литературы», 2001, № 5, сентябрь — октябрь <<http://magazines.russ.ru/voplit>>

Известный смоленский литературовед о дружбе и влиянии на Твардовского литературного критика А. В. Македонова (1909 — 1994), первым распознавшего его поэтический дар, когда тому было 23 года. Между прочим, именно Македонов должен был писать (и блестяще написал, да выпустили А. Дымшица) вступительную статью к стихам Мандельштама в «Библиотеке поэта». Преданный друг, сиделец, рыцарь поэзии, один из первых основательных исследователей Заболоцкого.

**А. А. Белый.** Ценностная компонента науки и становление оптики (от Августина до Леонардо да Винчи). — «Вопросы философии», 2001, № 10.

«Вернемся теперь к вопросу: так что же делает очки очками? Какая сила таится в знании о них? ...» Это я шучу, выхватывая цитату из контекста. Глубокая, неожиданная статья о без/успешности созерцания, внутреннем зрении, иллюзиях и познании.

**А. Н. Бенуа.** Дневник 1905 года. Публикация, подготовка текста дневника, вступительная статья и комментарии И. И. Выдрина, И. П. Лапиной, Г. А. Марушиной. — «Наше наследие», 2001, № 57, 58.

«19 ноября. <...> Вечером был у Бакстов. — Она отвратительнее, чем когда-либо. Он с подлой покорностью переносит ее глупое издевательство и пиление. У Коки как будто ангина. Атя склеила домик для Лели. 20 ноября. Кошмар: я с отвращением ел вареных детей в виде раков — следствие виденной вчера фото<графии> в „Illustration” жертв одесского погрома. — Кока лежит. — Атя нервничает. — Снег валит. — Я днем рисовал в парке...» Дневник — парижский.

**Михаил Гронас.** Безымянное узнаваемое, или Канон под микроскопом. — «Новое литературное обозрение», № 51 (2001, № 5) <<http://magazines.russ.ru/nlo>>

Исследование, подводящее черту под *блоком* «Литературный канон как проблема». Через механизм закрепления в языке — к механизмам каноничности; на примере одного выражения. «Что до двустышия Батюшкова и особенно выражения „память сердца”, то в XX веке и, как ни странно, в „советском” дискурсе они оказались востребованными и достигли „пика каноничности”...» Очень хороша иконография (обложки книг): все — про войну.

**Владимир Губайловский.** Три книги стихов. Александр Беляков. Ярослав Могутин. Полина Иванова. [Связка рецензий]. — «Дружба народов», 2001, № 11 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>

«Отсутствие профессиональной среды, культурной плотности — это не всегда плохо. <...> Но кто знает, кому труднее: провинциалу дотянуться до первой ступеньки или москвичке не остановиться на первой площадке, на которой она оказалась по праву рождения, а продолжать идти».

**Два письма А. А. Фета к И. С. Тургеневу (1867, 1878).** Вступительная заметка, публикация и комментарии Ю. Благовоиной. — «Вопросы литературы», 2001, № 5, сентябрь — октябрь.

«По отношению к нашей размовке я тем решительней склоняюсь к последнему мнению, что от нас вполне зависит устранять те условия, которые могли бы случайность превратить в необходимость. Не знаю, [возбудят] приведут ли эти строки к тому нравственному равновесию, с каким я смотрю на эту прискорбную случайность, но вполне уверен, что они не вызовут человека, подобного Вам, на невежливость...» Каково? Позже, в воспоминаниях, Фет писал, что «смешно же людям, интересующимся, в сущности, друг другом, расходиться только на том основании, что один западник без всякой подкладки, а другой такой же западник, только на русской подкладке из ярославской овчины, которую при наших морозах покидать жутко...».

**Наталья Иванова.** Точность тайн. Поэт и мастер. — «Знамя», 2001, № 11 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>

Третья статья из цикла «Пастернак и другие». Булгаков.

**Кирилл Ковальджи.** Наедине с книгой. Из литературных заметок. — «Вопросы литературы», 2001, № 5, сентябрь — октябрь.

Интересно: о «носящихся в воздухе» строчках — «заигравших» у одних поэтов и «безнадежно затерявшихся» у других. Смешно и грустно: о розыгрыше знакомого поэта-переводчика, которому К. К. подсунил под видом подстрочника четверостишие Пастернака.

**Леонид Костюков.** Великая страна. Метафизические хроники. — «Дружба народов», 2001, № 11.

Очень смешной и очень хитрый роман-игра-пародия, за которым, возможно, ностальгия по мечте. Какой бы она ни была. Про то самое, из-за чего, отправляясь в кинотеатр на хороший фильм (вроде «Амели», скажу я в сторону), осмотрительные люди кладут в карман носовой платок.

Это сочинение уже публиковалось в Сети (<http://www.vavilon.ru/texts/kostyukov> 7 — 1) и было отрецензировано Сергеем Костырко в его «WWW-обзоре» («Новый мир», 2001, № 8).

**Виктор Куллэ.** «Не пробуй этот мед: в нем ложка дегтя». — «Знамя», 2001, № 11.

Критический — и очень скрупулезный — очерк (известный также и как *Открытое письмо*) посвящен тому стихов и песен Булата Окуджавы, изданному в «Новой библиотеке поэта» в 2001 году. «Филологи, к сожалению, не приносят, подобно врачам, клятвы Гиппократу. А стоило бы. Как известно, главнейшая заповедь великого целителя гласит: „Не навреди“...» В тексте использованы материалы из архива поэта, включено и письмо вдовы в редакцию издательского проекта — накануне выхода книги.

**В. А. Лекторский.** Немецкая философия и российская гуманитарная мысль: С. Л. Рубинштейн и Г. Г. Шпет. — «Вопросы философии», 2001, № 10.

«Антипсихологизм вовсе не исключает психологии... [философы] показали, что нельзя понять субъект и индивидуальное сознание, исходя из непосредственных данных этого сознания, что необходимо выйти за его пределы».

**Рената фон Майдель.** «Спешу спокойно...»: к истории оккультных увлечений Эллиса. — «Новое литературное обозрение», № 51 (2001, № 5).

«Нам тяжело жить в России, к-рая, б. м., никогда не переживала такого ужасного и безвыходного положения; знайте, что наша жизнь уже б. 5 лет — виселицы, кафешантаны, порнография, пошлость прессы, растерянность и братская вражда. <...> Мы гибнем и знаем это! Но те, кто услышали Вас и почувствовали, получили возможность последней надежды...» (из письма Эллиса — Р. Штейнеру). Эта публикация — в большом разделе, посвященном «тайному знанию» в эпоху серебряного века. Вот бы этого Эллиса на экскурсию в сегодняшний Центр Рерихов, для утешения.

**Р. А. Медведев.** Андрей Сахаров и Александр Солженицын. — «Вопросы истории», 2001, № 11-12.

Очень похоже на обстоятельно-компилятивную главу из учебника обществоведения. Где-то я все это уже читал. Почти без лирических отступлений, не считая умозаключений типа: «Теперь (после ссылки. — П. К.) государство сняло с себя прежнюю заботу о здоровье Сахарова, но это никак не было компенсировано заботой о нем со стороны семьи».

**Пастернаки в Англии.** Публикация и переводы Е. Б. и Е. В. Пастернаков. — «Наше наследие», 2001, № 58.

Написанные по-английски письма Бориса Пастернака к родителям и сестрам (начиная с 40-х годов) публикуются впервые. Тут же — впервые — фантастические по полиграфии репродукции с картин Л. О. Пастернака, хранящихся в Оксфорде. Замечательны оценки Пастернаком своей главной книги. И вот еще, из письма сестре Лидии Слейтер от 18 апреля 1959 года: «Мои обстоятельства перестали ухудшаться; но еще рано говорить, что они будут выправляться. Но мне это давно уже не интересно. Мысленно я далек от этой видимости настоящего, которое в действительности всего лишь медленно проходящее, застоявшееся и агонизирующее прошлое...»

**Людмила Петрушевская.** Морские помойные рассказы. — «Октябрь», 2001, № 11 <<http://magazines.russ.ru/October>>

В духе прежних сказок писательницы, с поправкой на социальную актуальность. Много сленга — тинейджерского, наркоманского, бомжатно-дворового и т. д. Читаешь и думаешь: откуда что берется? И к тому ж — отличный материал для пародии.

«Покуда над стихами плачут...». Б. Я. Ямпольский — Н. Н. Шубиной (1964 — 1969 гг.). Вступительная заметка, публикация и комментарии А. Я. Ямпольской. — «Вопросы литературы», 2001, № 5, сентябрь — октябрь.

«У Веры Инбер работал печник. „Вы у кого работаете сейчас?“ — спросили печника. „Да у стово... как его... у писателя-то... ну? Веринбер! Ох и баба у него стерва“». В одном из писем — подробное и очень эмоциональное описание похорон Пастернака.

**Александр Пятигорский.** Древний Человек в Городе. — «Октябрь», 2001, № 11.

Новый роман известного ученого и прозаика. Историческая фантазмагория, на первый взгляд. На второй — философско-психологический труд, аккумулирующий попытку взглянуть на историю и время *извне*.

**Наталья Рейнгольд.** Мартин Эмис: реальность покорно следовала за мной. — «Вопросы литературы», 2001, № 5, сентябрь — октябрь.

Специалистка по английскому модернизму в статье о сегодняшней литературной ситуации в Англии («на английской почве сложился особый вариант постмодернизма, во многом связанный с модернистской традицией») приводит обильные фрагменты своих разговоров с автором «Хроники Рэчел». «Теперь, когда постмодернизм сделал свое дело и в целом закончился, романисты пишут гораздо определеннее, чем они это делали раньше. Так что, возможно, я — один из немногих, кто все еще позволяет себе игру, обман».

**Вячеслав Рыбаков.** То, чего не было, — не забывается... — «Октябрь», 2001, № 11.

О ценности жанра альтернативной истории. См. статью **Виталия Каплана** «Заглянем за стенку. Топография современной русской фантастики» в «Новом мире» (2001, № 9).

**А. И. Сыч.** О некоторых социально-психологических последствиях Первой мировой войны. — «Вопросы истории», 2001, № 10.

Скромный текст, подобный пятистраничному очерку профессора Черновицкого университета (Украина), в наше время смотрится неувлимым анахронизмом — с одной стороны, и суперактуальной темой — с другой.

**Андрей Турков.** «Там чудеса...». — «Знамя», 2001, № 11.

«Чтение мемуаров в последнее время иной раз просто озадачивает». В последнее время. Иной раз. Турков терпеливо прочитал воспоминания критика Петелина и поэта Вегина. Обнаружил много пошлости. Еще бы.

**В. Г. Федотова.** Когда нет протестантской этики... — «Вопросы философии», 2001, № 10.

«Попытки прагматических правительств улучшить ситуацию в России невозможны без харизматических идей и их рутинизации. Веберовский механизм перехода от первого ко второму остается главным источником изменений».

**Валерий Шубинский.** Садовник и сад. О поэзии Елены Шварц. — «Знамя», 2001, № 11.

Одиннадцать страниц тщательного анализа стихов «самого петербургского поэта».

**Экология и образование (материалы «круглого стола» журналов «Вопросы философии» и «Экология и жизнь»).** — «Вопросы философии», 2001, № 10.

Восемь человек о выживании человечества и овладении навыками системного экологического мышления. От «предмета» в школе — к мышлению и воспитанию. «Тренировать ребенка к свершению мужественных поступков. Мужественный поступок ребенка может состоять, например, в отказе сваливать полиэтиленовый мусор в лес или речку, хотя в его дачном поселке так поступают взрослые...» (из выступления доктора философских наук Н. С. Юлиной).

Составитель Павел Крючков.



ДАТЫ: 19 (31) марта исполняется 120 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882 — 1969).

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Март*

**15 лет назад** — в № 3 за 1987 год напечатана повесть Андрея Битова «Человек в пейзаже».

**35 лет назад** — в № 3 за 1967 год напечатана повесть «Трава забвенья» Валентина Катаева.

**40 лет назад** — в № 3, 4, 5 за 1962 год напечатан роман Юрия Бондарева «Тишина».

**75 лет назад** — в № 3, 4, 6 за 1927 год напечатана книга Софьи Федорченко «Народ на войне».

## ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

**ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ**  
**(1928 — 2002)**

### Вязальщица

Кто она — черту известно.  
Взор из-под челки сердит.  
Вечно напротив подъезда  
С вечной работой сидит.

Выйду — посмотрит подробно,  
Строчку заполнит крючком,  
И отчего-то под ребра  
Вновь саданет холодком.

Бред?  
Несуветная дикость?  
Полный в мозгу кавардак?..  
Что ж мне мерещится Диккенс —  
«Повесть о двух городах»?

(В Сент-Антуанском предместье  
Тоже плела приговор,  
Тоже вязала из шерсти  
Сводки на сотню голов.

Злобной волчицей рычала —  
Сгнула, точно овца...  
Кто подстрекает начало,  
Плачет еще до конца...)

Так что с вязаньем помедли,  
Яростный взгляд опусти  
И погребальные петли  
Ради себя распусти.

Вяжет...  
А жизнь по привычке  
Ладит нехитрый уют.  
Мимо бегут электрички,  
Дети и птицы поют.

И о районе не скажешь,  
Будто похож на Париж...  
Что ж ты все вяжешь и вяжешь,  
Что исподлобья глядишь?

*«Новый мир», 1987, № 4.*



## SUMMARY



This Issue publishes the new novel «The Saboteur» by Anatoly Asolsky, a story «Zu-u-rich» by Ludmila Ulitskaya and also a narrative in dialogs «The Eighth Martha» by Anna Matveyeva. The poetical section includes new poems by Olga Postnikova, Anatoly Nayman, Larisa Miller and Vladimir Zhilin.

Under the heading «Philosophy. History. Politics» is published the culturologist Yury Kagramanov's article «What kind of Eurasianism we need».

Under the heading «Polemics» readers can find the article «My Country I Love, but My Love is So Strange... Ideological Discourse as an Object of Scientific Research» by the linguist Revekka Frumkina.

Under the heading «Close Remote Past» Aleksey Mashevsky publishes the memoirs about his meetings with Lidia Ginsburg, the well-known writer and philologist.

Under the heading «Experiences» the Lubov Summ's essay «The Multiform Odysseus» — about Homer — can be found.

The section «The Art World» includes the article «The Dying Swan» by Zhanna Golenko about the present situation on the Russian ballet stage; also reader can find here an article of the Moscow schoolgirl Olga Netupskaya «Lermontov's Dramas at the Modern Stage in the Light of Romanticism and Antirromanticism».

The literary critique is represented in this Issue by the Vladimir Gubaylovsky's article «The Basing of Happiness» about the fantasy literature.

---

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

---

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,  
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов,  
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

---

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

---

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: [newworld@newtimes.ru](mailto:newworld@newtimes.ru);

по вопросам зарубежной подписки: [novy-mir@mtu-net.ru](mailto:novy-mir@mtu-net.ru)

Сетевой журнал «Новый мир»: [http://magazines.russ.ru/novy\\_mi](http://magazines.russ.ru/novy_mi)

---

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

---

Сдано в набор 20.11.2001 г. Подписано к печати 29.01.2002 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

---

Тираж 9700 экз. Зак. 2055. Цена договорная.

---

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ,  
101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

## **ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА**

**В 2002 году исполняется 75 лет со дня рождения  
и 20 лет со дня смерти замечательного прозаика  
Юрия Павловича Казакова.**

**Премия учреждена Благотворительным Резервным фондом  
и журналом «Новый мир» в 2000 году и присуждается  
автору, живущему и работающему в России,  
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный  
в текущем году на территории России.**

**Премия имени Юрия Казакова за 2001 год  
присуждена посмертно**

**ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ АСТАФЬЕВУ**  
за рассказ «Пролетный гусь» («Новый мир», 2001, № 1).

**Состав жюри:**

**МИХАИЛ БУТОВ, председатель жюри,  
ответственный секретарь журнала «Новый мир»,**

**АНДРЕЙ ВОЛОС, прозаик,**

**АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,  
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,  
президент Благотворительного Резервного фонда,**

**ОЛЬГА НОВИКОВА, прозаик,  
зам. зав. отделом прозы «Нового мира»,**

**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА, прозаик, эссеист.**

**Координаторы премии:**

**главный редактор журнала «Новый мир»  
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,**

**генеральный директор Благотворительного Резервного фонда  
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.**

**Сумма премии – 3000 \$.**